Я ПРЕДАЛ РОДИНУ

АЛЕКСАНДР

БАРМИН

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В РАЗВЕДКЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Мемуары А. Г. Бармина (1899–1987), дипломата-«невозвращенца», долгие годы были в числе основных источников для зарубежных исследователей советского периода 20–30-х годов. Что касается отечественных историков, тем более массового читателя, то для них эта книга была просто недоступна, поскольку перевода ее на русский язык до настоящего момента не существовало. Причина этого кроется в том, что имя автора вслух не могло быть произнесено, так как он с середины 40-х годов возглавлял русскую службу радиостанции «Голос Америки». Между тем книга А. Г. Бармина представляет несомненный интерес. Автор, активный участник Гражданской войны, один из первых краскомов с академическим образованием, выпестованный, как и многие другие выдвиженцы революции, Л. Д. Троцким, был ему всецело предан. В книге представлена широкая галерея дипломатических и хозяйственных работников, видных военачальников, ставших в роковые 30-е годы «врагами народа». Хорошо передана и напряженная атмосфера тех лет, мучительная борьба людей между долгом и страхом репрессий.

- Александр Бармин
  - ○
  - ○ Книга первая
    - ■ В Греции
    - ■ Западня
    - ■ В укрытии
  - ○ Книга вторая
    - ■ Детство
    - ■ Война и революция
    - ■ Нашествие
    - ■ Скитания
    - ■ Гражданская война
    - ■ Красные курсанты
    - ■ Уроки под огнем
    - ■ Мы не взяли Варшаву
    - ■ Краснознаменная военная академия
    - ■ Академия в период кризиса
    - ■ Большевик на феодальном востоке
    - ■ С афганской границы в кафе «Пегас»
    - ■ Начало советской дипломатии
    - ■ Глухие раскаты грома
    - ■ Рожденные в скорби

- Книга третья
  - Дипломатические проблемы
  - Персия не будет республикой
  - Тегеран, Афины, Рим, Берлин, Москва
  - Борьба с «троцкизмом» и заграничные канцелярские принадлежности
  - Триумф «партийного единства»
  - Париж. Великий план и битва за золото
  - В буржуазном окружении
  - Милан, Лондон, Брюссель
  - Реальности пятилетки
  - Бюрократическое перерождение
  - Встреча старых друзей
  - Дороги торговца оружием
  - Рождение парашютных войск
  - Автомобильный чиновник в сетях бюрократии
  - «Жизнь стала веселей, товарищи»
  - Сталин, каким я его знал
  - Одна драгоценная жизнь
  - Рай для дипломата
  - Первый московский процесс
  - Последняя поездка в Россию
  - Диктатор и музы
  - Мечта о социализме кончается расстрелом
- Эпилог

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18

- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31

Александр Бармин
Двадцать лет в разведке

© Бармин А. Г., 2014
© ООО «Издательство Алгоритм», 2014

* * *

Книга первая

В самом имени античной Греции есть очарование.

Страницы ее истории покрыты славой… а в творениях античного искусства есть недосягаемая красота. Ее климат обладает чудесной притягательностью, так же как ее руины.

Александр С. Мюррей

В Греции

Греция ранним летом представляет собой землю лазури и золота, и в то июньское утро 1937 года она под безоблачным эгейским небом была просто прекрасна. С крыльца моего небольшого коттеджа в Каламаки были видны яркие бело-розовые крестьянские домики, разбросанные по склонам гор среди террасных виноградников. Ниже, на берегу залива, виднелись богатые виллы. Несколько белоснежных яхт тихо покачивались на голубых волнах. За спиной у меня возвышались величественные горы. В десяти милях в легкой дымке скрывались Афины. Казалось, что это был уголок, который боль, нищета и преступления обходили стороной. Могло ли быть такое еще где-то в мире?..

Снизу, с дороги, доносился протяжный призыв водоноса: «Не-ру-л-а-а-с». А совсем рядом было слышно, как дочь садовника, звеня посудой, готовила мне завтрак – кофе, сыр и лепешки.

После завтрака я сел в свой «форд» и по дороге, ведущей вдоль залива, поехал мимо Пирея, мимо Адрианских ворот и памятника Байрону в самый центр Афин. Обогнув огромный овал только что построенного и облицованного мрамором нового стадиона, я подъехал к воротам нашей миссии. Роскошное здание, расположенное недалеко от королевского дворца, принадлежавшее ранее посольству царской России, досталось Советскому Союзу, как говорится, по наследству. Здесь все было в полном порядке. Ни у нашей страны, ни у Греции не было никаких оснований бояться друг друга. В то время, кстати сказать, Греция не интересовала Москву, а потому жили мы мирно.

Афины как столица были довольно спокойным и даже несколько скучноватым в Европе местом. Мои обязанности поверенного в делах во время длительных отлучек посланника Михаила Вениаминовича Кобецкого не были обременительными: нужно было просматривать греческие и советские газеты, писать письма, отвечать на ноты греческого МИДа и поддерживать контакты в дипломатическом корпусе. Дипломат, которому приходится служить в таком месте, как мне казалось, должен был быть самым счастливым человеком на земле. Но у меня на душе в то «благословенное» время было очень неспокойно потому, что я чувствовал, как тревожно развиваются события в моей стране. Похоже, думал все чаще я, Наркомат иностранных дел испытывает какое-то странное оцепенение. Вот уже в течение нескольких месяцев в полпредство не поступало ни указаний, ни

информации. Николай Николаевич Крестинский, заместитель наркома Максима Максимовича Литвинова, был снят со своего поста. С документов отдела Германии и Балканских стран исчезла подпись заведующего отделом Штерна. На мои депеши никто не отвечал. Словом, дома творилось что-то неладное.

Помню, в то утро на столе у меня было лишь несколько писем; статьи в газетах выглядели довольно скучно, а их содержание убаюкивало. Внезапно раздался телефонный звонок. Звонил секретарь полпреда:

– С вами хочет говорить директор греческого информационного агентства, – проговорил он с некоторым волнением в голосе.

Я взял трубку.

– Мы только что услышали по московскому радио, что один из заместителей наркома обороны покончил жизнь самоубийством, – произнес в трубке знакомый голос. – Мы не уловили его имя. Можете ли вы подтвердить это и объяснить, что это означает?

У меня перехватило дыхание. Но я ответил быстро и дипломатично:

– Я такой информации из Москвы не получал. У народного комиссара обороны маршала Ворошилова четыре заместителя: комиссар Гамарник, маршал Тухачевский, генерал Алкснис и адмирал Орлов. Я надеюсь, что с ними все в порядке…[1]

Я повесил трубку. Самоубийство?.. Кто бы это мог быть? Я подумал, что эта неподтвержденная информация могла быть очередной фальшивкой нацистской пропаганды. Прошло уже пять месяцев после окончания суда над Пятаковым и расстрела тринадцати видных советских деятелей. Наверное, аресты и исчезновения продолжались, но мы в своем благополучном далеке надеялись, что все в конце концов образуется, вернется в нормальное состояние. После кошмара первых двух московских процессов над лидерами оппозиции казалось, что их немыслимое унижение и смерть могли позволить Сталину править страной в обстановке безопасности и положить конец террору.

Возвращаясь к почте, я старался успокоить себя этой мыслью. Но два часа спустя в мой кабинет буквально ворвался один сотрудник с вечерней газетой в руке. Его лицо было бледным.

– Гамарник покончил жизнь самоубийством, – сказал он.

Никто из нас не выдал своих чувств. В последние годы русские научились, что бы ни случилось, держать себя в руках. Ни на кого нельзя было положиться, даже на членов своей семьи или близких друзей. Я прочел заметку в газете и ответил насколько мог спокойно:

– Мы должны подождать вестей из Москвы. Бог знает, что там происходит.

В тот вечер сотрудники миссии, как всегда, собрались в уютной полпредовской приемной, чтобы послушать радиопередачу из Москвы. Мы обменивались ничего не значащими репликами, кое-кто даже пытался шутить. Никто не решался говорить о том, что было у всех на уме. Радио донесло голос московского диктора: «…стройка метро идет успешно; продолжается работа партийной конференции, перевыполняется план добычи железной руды…» Он читал бравурные тексты, густо пересыпая их цифрами, характеризующими размах социалистического строительства, а затем, не меняя интонации, будто бы речь идет о самом заурядном факте, бесстрастно произнес: «Бывший член Центрального Комитета партии Гамарник, боясь разоблачения своих антисоветских махинаций, совершил самоубийство…». Итак, генеральный комиссар, еще совсем недавно начальник Политуправления Красной Армии – мертв… Ушел из жизни старый большевик, чье продолговатое лицо с окладистой бородой было знакомо миллионам людей… В это не хотелось верить. Ян Борисович Гамарник в период Октябрьской революции был провинциальным лидером. В последнее время он дважды в неделю принимал участие в заседаниях Политбюро Центрального Комитета партии. Вместе со Сталиным, своим товарищем, он еще вчера решал самые насущные вопросы жизни страны, а теперь тот безжалостно послал его на смерть. У меня не было сомнений в том, что Гамарник избрал самоубийство, чтобы избежать ареста и расстрела… А диктор между тем, завершая последние известия, все тем же ровным голосом сообщил, что… в Москве ожидается ветреная погода…

Не знаю, у кого что, а у меня это сообщение вызвало в душе бурю чувств. Оставаться среди сотрудников дальше мне не хотелось. Я вышел на улицу, в прохладу ночи. Мои надежды на прекращение репрессий оказались напрасными. Зато сомнения рассеялись. «Похоже, – думал я, – агония будет продолжаться».

Последующие несколько дней лишь углубили мое ощущение надвигающейся катастрофы. Вести из Москвы были одна хуже другой. Внезапно были арестованы маршал Тухачевский и еще семь наиболее известных высших военачальников Красной Армии. В сообщении говорилось, что в ходе закрытого суда они были признаны виновными в измене Родине и расстреляны. Мы слышали, как диктор московского радио читал резолюции, принятые многочисленными собраниями рабочих, артистов, ученых и студентов, которые одобряли расстрелы. В резолюциях

звучали знакомые фразы: «фашистские прихвостни», «предатели», «бешеные собаки», «преступные отбросы общества», «смердящие паразиты» и т. д. и т. п.

Но у меня было на сей счет собственное мнение. Большинство из расстрелянных я знал лично. Михаил Николаевич Тухачевский – победитель адмирала Колчака и блестящий командующий в польской кампании – был в последние годы моим близким другом. В Москве я тесно с ним сотрудничал. Я глубоко уважал И. П. Уборевича, наверное, самого талантливого из плеяды советских военачальников. В 1920 году он разбил под Орлом генерала Деникина и в 1922 году завершил разгром белых на Дальнем Востоке. Он был первым, кто выступил за механизацию Красной Армии. И. Э. Якир был также старым большевиком с подпольным стажем. Еще будучи молодым командующим, в 1919 году он отличился тем, что прорвал кольцо вражеского окружения под Одессой. Позже он стал одним из лучших наших военных руководителей и был избран в Центральный Комитет партии. И остальные – В. М. Примаков, Р. П. Эйдеман, А. И. Корк, Б. М. Фельдман. Все они отличились в ходе революции, Гражданской войны и польской кампании. После войны они посвятили себя строительству Красной Армии, стараясь, насколько это было возможно, избегать внутрипартийной борьбы. В 1928 году они оставались в стороне, когда основатель Красной Армии и бывший верховный главнокомандующий Лев Давидович Троцкий был отправлен в ссылку. Опасаясь нанести ущерб единству страны, все они подчинились принятому Сталиным решению. Теперь Сталин обвинил их в измене, в сговоре с нацистской Германией. Я слишком хорошо знал их патриотизм, преданность советскому строю и военному делу, чтобы поверить в эти фантастические обвинения. Они были ужасны в своей абсурдности, особенно с учетом того, что два из восьми генералов – Якир и Фельдман – были евреями, которых гитлеровцы безжалостно изгоняли из страны.

Наиболее правдоподобное объяснение заключалось в том, что расстрелянные генералы возражали против уничтожения Сталиным лучших представителей науки и промышленности, руководителей народного хозяйства и тех необдуманных действий, которые, безусловно, будут иметь для обороноспособности страны фатальные последствия. Особенно это касалось Тухачевского и Уборевича. Механизируя Красную Армию, они готовили **ее** и страну к современной войне, и именно против нацистской Германии. Какого-то неосторожного слова или письма с протестом в ЦК в глазах Сталина было бы вполне

достаточно, чтобы счесть их опасными и вынести им смертный приговор.

Спустя несколько дней из Москвы приехал один сотрудник НКИДа, мой старый друг. Он рассказал о том, о чем не писали газеты. Я узнал, что исчез начальник Протокольного отдела Наркомата обороны генерал Геккер; что только в центральном аппарате около двадцати молодых генералов, с которыми я учился в академии, были расстреляны; что сотни старших офицеров, работавших многие годы вместе с расстрелянными, были арестованы.

Из всех заметных военачальников в живых остались только маршалы Егоров и Блюхер, адмирал Орлов, командующий ВВС генерал Алкснис и бывший адмирал флота Муклевич[2]. В течение нескольких дней, последовавших за расстрелом генералов, в миссии никто об этом не произнес ни слова. И я, и мои коллеги просто делали вид, что верят сообщениям из Москвы. Но я потерял сон. Для меня безоблачное небо Греции было затянуто мрачными тучами. Сомнения меня больше не мучили. Правда жизни была чрезвычайно горькой на вкус. Прежние судебные процессы были только началом. Сталин, которого беспокоило его невыигрышное революционное прошлое, решил замести все следы. Сделать это он мог, лишь физически уничтожив старых большевиков, помнивших все события. Вместе с этими людьми он мог одновременно и навсегда похоронить идеалы, ради которых большевики мирились с его личной диктатурой и с ее разрушительными последствиями.

За несколько недель до этого у меня состоялся разговор с одной молодой гречанкой, афинским архитектором. Она была очень дорога мне – мы строили планы нашей совместной жизни в России. Теперь она видела мое подавленное состояние, мою неспособность говорить. Как же я мог разрушить ее иллюзии о прекрасном новом обществе, в строительстве которого мы должны были вместе участвовать? Выстрелы, прогремевшие в сталинских застенках, оборвали жизни тысяч невинных людей, искренне боровшихся за Советскую Россию и социализм. Но этот бессмысленный террор разрушал и то, что оставалось от моей веры, поддерживавшей меня в моей службе советской власти.

В дни, последовавшие за казнью генералов, меня не оставляло ощущение катастрофы. В миссии никто не произносил ни слова. Каждый был подавлен собственными мыслями. Как-то вечером один из помощников задержался в моем кабинете, не решаясь уйти. Мы обменялись взглядами, и неожиданно я совершил необдуманный поступок, возможно фатальную неосторожность, сказав:

– Что же там все-таки происходит? Это просто ужасно. Лучшие люди – цвет армии…

Я не знаю, как это у меня вырвалось, потому тут же попытался овладеть собой.

– Пойдемте прогуляемся, – сказал я ему спокойным, ровным голосом.

Когда мы вышли на улицу, я рассказал ему все, что узнал от своего друга из Наркоминдела. И в частности, о последнем появлении Тухачевского на публике во время Первомайского парада на Красной площади. Тухачевский только что узнал, что, вопреки недавнему сообщению, он не поедет в Лондон на коронацию короля Георга VI. Вместо него должен туда отбыть адмирал Орлов. Для Тухачевского это был четкий сигнал надвигающейся беды. И все об этом знали. В тот майский день он шел по Красной площади медленным шагом обреченного уставшего человека, заложив большие пальцы рук за поясной ремень. Затем он стоял в одиночестве справа от Мавзолея Ленина на трибуне, отведенной для маршалов. Его окружала ледяная холодность. Никто из присутствовавших офицеров не решался приблизиться к опальному маршалу, опасаясь попасть в немилость к Сталину.

Он стоял неподвижно, и его бледное лицо имело необычный серый оттенок. Последний раз он наблюдал парад войск Красной Армии, которую он помогал создавать и вести к победе. Он, по всей видимости, понимал, что его ожидало. Когда советский деятель теряет власть, для него нет возврата: за опалой почти всегда следует смерть. Незадолго до этого газеты сообщали, что Тухачевский освобожден от обязанностей заместителя наркома Ворошилова и назначен командующим Приволжским военным округом. И случилось так, как и надо было ожидать. После прибытия к новому месту службы в Саратов Михаил Николаевич был арестован и возвращен в Москву в тюремном фургоне. Так же было и с Якиром. Снятый с поста командующего на Украине, он был назначен командующим Ленинградским военным округом и затем арестован вместе со своей женой, когда проезжал туда через Москву. Сталин боялся арестовывать этих известных и любимых военачальников в окружении их войск. Он также боялся оставить их в живых на лишнюю ночь. Согласно газетным сообщениям, восемь генералов были расстреляны немедленно после заседания военного трибунала. В иностранных газетах сообщалось, что в зале суда Тухачевский был ранен и его вынесли на носилках, но это, скорее всего, было выдумкой. Сомнительно вообще, что был какой-то суд. Сталин вряд ли бы рискнул представить свои жертвы перед их товарищами по оружию и

приказать им вынести смертный приговор[3]. Я также рассказал своему молчавшему собеседнику о других обстоятельствах снятия Тухачевского. Его двенадцатилетней дочери ничего не сказали о судьбе отца. В день выхода официального сообщения она была встречена оскорблениями своих одноклассников: никто из них не хотел учиться в одном классе с дочерью «фашистского наймита и предателя». Девочка пришла домой и повесилась. Его мать, которую арестовали на следующий день, сошла с ума, и **ее** отправили за Урал в смирительной рубашке.

Я поведал ему и о том, что только в одном Киевском военном округе было арестовано от шести до семи тысяч старших офицеров за связь с Якиром в годы Гражданской войны и в последующий период. Был арестован директор одного из киевских кинотеатров, пропустивший на экран киножурнал, в котором показывали Тухачевского. Руководители одной из радиостанций были арестованы за передачу похоронного марша – возможно, по чистому совпадению – в день расстрела генералов.

Я был знаком с женой Якира. Она была его верной спутницей в течение двадцати лет, делила с ним тяготы боевой жизни, заботы периода учебы и высокого должностного положения. Как мужественная и образованная женщина, она не раз давала ему полезные советы. В газетах было опубликовано **ее** письмо, в котором она заклеймила любимого мужа как «позорного предателя». Мне было совершенно ясно, что **ее** заставили подписать такой документ угрозами или убедили, что таким поступком она послужит высшим интересам партии.

Газета «Известия» сообщала, что сестра маршала Тухачевского, Мария Николаевна, попросила разрешения сменить фамилию.

Я объяснил своему собеседнику, что кровавая чистка затронула не только Наркомат обороны. Этот ураган пронесся и над Наркоминделом. Был арестован старый соратник Ленина заместитель наркома Крестинский. Десятки ведущих послов и заведующих отделами были отозваны и расстреляны. Чистку Наркоминдела проводил бывший сотрудник ОГПУ Корженко, назначенный новым начальником отдела кадр[4]. Почти никто из заведующих отделами не избежал репрессий. К. К. Юренев, М. И. Розенберг, Я. Х. Давтян и другие послы таинственно исчезли со своих зарубежных постов. Та же трагедия разыгралась в Наркомвнешторге. Нарком А. П. Розенгольц и его два заместителя Ш. З. Элиава и М. А. Логановский, с которыми я проработал несколько лет, исчезли и увлекли за собой во тьму всех, кто был связан с ними по работе или дружбе.

Наконец, я рассказал своему помощнику, что наш прямой

начальник в Наркоминделе Давид Штерн тоже арестован и, подобно Крестинскому, исчез. Штерн, занимавший пост заведующего отделом Германии и Балканских стран, был немецким писателем-коммунистом, который нашел в Советском Союзе свою новую Родину. Когда его арестовывали, жена и ребенок в слезах рванулись за ним на лестничную площадку, но были избиты милицией. На следующий день их вышвырнули из квартиры, располагавшейся в наркоминделовском доме. Я хорошо знал Штерна. Это был молодой, тридцати пяти лет, талантливый писатель и очень трудолюбивый человек, хотя из-за плохого здоровья он вынужден был проводить много времени в санаториях. Скрываясь из дипломатических соображений под псевдонимом Георг Борн, он написал несколько хорошо документированных и ярких романов антифашистского содержания. Наиболее известные из них: «Записки эсэсовца» и «На службе гестапо». Газета «Правда» высоко отзывалась об этих книгах, которые выходили крупными тиражами в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». А теперь «Правда» поместила статью Заславского о немецком шпионе Георге Борне, «этом гнусном продукте гестапо, который наконец-то разоблачен и должным образом наказан». Заславский не указал настоящее имя Георга Борна, поэтому дипкорпус и журналисты так и не поняли, что эта статья объясняла неожиданное исчезновение видного советского дипломата.

Тысячи людей, во всех правительственных учреждениях, стали жертвами безжалостных чисток. Многих из них я близко знал. Было просто невозможно поверить в те обвинения в измене, которые выдвигала пресса против этих преданных сотрудников. Все это выглядело кошмаром.

Разговаривая со своим, похоже, сочувствующим собеседником, я чувствовал облегчение. Но когда я повернул к своему дому, меня охватило чувство тревоги.

– Мой друг, – сказал я себе, – сегодня ты слишком много говорил. Это вряд ли останется без последствий…

Западня

Спустя несколько дней мой помощник, с которым я так откровенно разговаривал, был срочно вызван в Москву. Мы попрощались в моем кабинете, никак не вспоминая о том памятном для нас разговоре. Но у меня закралась мысль, не попросил ли он сам об этом вызове, чтобы лично доложить о моих настроениях. Вскоре я получил письмо от моего друга из Наркоминдела. Он сообщал, что полпред Кобецкий, которого я замещал, умер в московском госпитале. Я опечатал его стол и запросил, что следует делать с его документами, но ответа от Литвинова не последовало. Затем в один из дней ко мне в кабинет зашел шифровальщик Лукьянов с телеграммой от заместителя Литвинова Потемкина. Он выглядел смущенным.

– Я только что получил личное указание от Потемкина, – сказал он. – Я должен опечатать документы Кобецкого и отправить их в Москву. Что мне делать?..

Это указание должно было направлено только мне как главе дипломатической миссии. Налицо беспрецедентное нарушение установленного порядка, и оно могло быть только сознательным.

– Мы обязаны выполнить указание наркомата, – ответил я.

Было ясно, что Лукьянов, брат которого занимал важный пост в ЦК ВЛКСМ, пользовался у тех, кто следил за нашей лояльностью власти, особым доверием. Потемкин не мог предполагать, что через две недели, по горькой иронии судьбы, высокопоставленный брат Лукьянова будет заключен в тюрьму как «враг народа».

К этому времени, должен сказать, у меня пропало всякое желание работать; контакты в дипкорпусе и в афинском обществе стали невыносимыми. Я не посещал приемы и отказывался от приглашений. Если бы я смог спрятаться где-нибудь в пустыне, я бы сделал это. Ну что я мог ответить, если бы какой-то иностранный дипломат вежливо поинтересовался бы у меня тем, что происходит в России? Конечно, я мог бы дать стандартный ответ:

– Теперь, после разоблачения предателей, Красная Армия сильна как никогда. С таким гением, как Сталин, мой дорогой сэр, нам нечего бояться!

Мне вспоминалось выражение моего друга посла в Париже Валериана Савельевича Довгалевского. «Дипломат отличается от свидетеля в суде, – говорил он, – только одним: он должен говорить правду и ничего, кроме правды, но он никогда не должен говорить всей правды». Правда! Я не мог сказать даже

самой малой ее части.

Моя служба за границей в силу моего резкого несогласия с политикой Кремля стала невозможной. Мне надо было уходить. Я написал в Москву письмо с просьбой отозвать меня и приготовился к встрече с судьбой. Даже по московским стандартам против меня не было никаких улик, но неприятностей, конечно, не избежать. Заключение или просто ссылка в какой-нибудь отдаленный регион России мне были обеспечены. Как говорится, не я первый.

Но возникла другая проблема. Могу ли я взять с собой любимую женщину, которая должна стать моей женой?

В Москве свирепствует кампания подозрительности и ненависти в отношении всех иностранцев. С беспощадной тщательностью уничтожалась иностранная колония, эти честные и бескорыстные энтузиасты, которые приехали в Россию, чтобы поставить свои знания на службу социалистическому правительству. Сотни людей были брошены в тюрьмы, казнены или сосланы в Сибирь. Если на меня падет подозрение, то я ничем не смогу помочь ей. Имею ли я право пожертвовать столь дорогим мне человеком, увлечь ее вместе с собой на путь лишений и страданий только потому, что она любила меня и верила мне?

В тот момент она была в Париже на конгрессе архитекторов, и я написал ей о своем предстоящем отъезде в СССР, попросив ее на время отложить мысль о возможности нашего совместного отъезда. Я просил ее не тревожиться, если я какое-то время не буду писать ей. Несмотря на мое молчание, она не должна терять веру в меня. Могут пройти годы, прежде чем мы снова будем вместе.

Я написал письмо и своим сыновьям, которые после смерти моей первой жены жили с моей матерью. Скоро они увидят своего отца. Я писал, что везу им обещанные в подарок велосипеды, а также портфели и альбомы с марками – невероятное сокровище.

Проходили дни, но ответа от М. М. Литвинова не было, и я начал нервничать. Были, однако, и признаки того, что Москва не забывала обо мне. Однажды утром в июле я приехал в миссию раньше обычного и застал одного служащего роящимся в моем столе. Он оказался столь же смущенным, сколько и я.

– Я ищу тут вчерашнюю телеграмму… о визах, – промямлил он.

– Буду вам очень признателен, если вы поищете ее где-нибудь в другом месте, – ответил я.

Еще через несколько дней, спускаясь по лестнице, я заглянул через стеклянную дверь в свой кабинет и увидел, как Лукьянов

шарит в моем портфеле. Я резко повернулся и вошел. В руках у него были мои личные документы. Мы молча смотрели друг на друга. Сказать было нечего.

В тот же день я получил письмо от моего сына Бориса, которого я всегда называл старшим потому, что из близнецов он казался мне большим. Борис писал, что они с бабушкой едут на юг – «далеко, далеко… купаться в море». И далее был следующий абзац: «Дорогой папа, нам в школе читали приговор, вынесенный троцкистским шпионам Тухачевскому, Якиру, Корку, Уборевичу и Фельдману… (Все имена мальчик написал правильно, очевидно, его заставили их заучить.) Это не тот ли Фельдман, который жил в нашем доме?».

Мне вспомнилась поэма, написанная двенадцатилетним школьником и опубликованная в московских газетах во время процесса над Зиновьевым. Каждая строфа заканчивалась рефреном: «Расстреляем всех как бешеных сук!».

Что же подумают мои мальчики, если меня арестуют по какому-нибудь чудовищному фальшивому обвинению? Они поверят официальным сообщениям.

Никто не выступит в мою защиту, и я никогда не смогу оправдаться. И навсегда потеряю своих сыновей. Я подумал, что, только оставаясь за границей, буду иметь шанс сказать им когда-нибудь правду и снова обрести их.

Эти мысли держали меня в состоянии напряжения. Чтобы как-то отвлечься, я в пятницу, 16 июля, договорился поехать на рыбалку с братом моей невесты Джорджем.

В тот же день мне позвонил коммерческий атташе. Мы поговорили о том о сем, а затем он мимоходом сказал:

– Ну, Александр Григорьевич, увидимся на судне, как договорились. Могу я заехать за вами в семь часов?

– На каком судне? – спросил я.

К своему изумлению, я узнал от него, что накануне в Пирее бросил якорь пароход «Рудзутак»[5] и что я, оказывается, уже принял приглашение поужинать с капитаном! По дипломатическому протоколу, капитан свой первый визит должен был нанести мне. Вместо этого меня даже не проинформировали о прибытии судна.

– Боюсь, что не смогу, – ответил я атташе. – У меня этот вечер занят.

– Но все уже готово, вас ждут – вы обещали прийти.

– Я ничего никому не обещал, – ответил я холодным тоном и повесил трубку.

Через десять минут капитан «Рудзутака» позвонил мне из Пирея. Он извинился за то, что не смог нанести мне визит,

сослался на необходимость срочного ремонта на судне и просил меня приехать на ужин. Он обещал представить мне своего нового замполита и старшего помощника. Он также хотел обсудить со мной несколько важных вопросов, и к тому же у него отличный повар.

– Сожалею, но я еду в Волагмени, – ответил я сухо. – Если я вам нужен, вы можете туда приехать.

В тот вечер около восьми часов мы с Джорджем сели в лодку и налегли на весла. Залив Волагмени был идиллически тих; в глубине темного неба сияли звезды, но меня этот пейзаж не радовал. Я думал о другом. Я пытался отделаться от напрашивающегося вывода о том, что эти люди слишком настойчиво пытались заманить меня на судно. Это было так недостойно. Недостойно всех – этих людей, моего правительства и меня самого.

В сумерках мы увидели приближение автомобиля, который подъехал к причалу. Из машины вышло несколько человек. Они стали пристально всматриваться в серую даль залива.

– Они ищут нас, – сказал я. – Давай грести к берегу.

На причале я увидел капитана, его двух новых помощников, коммерческого атташе и двух сотрудников миссии. Мы поздоровались. Говорить о чем-либо на берегу было неудобно, и я пригласил всю компанию в ресторан. За столом чувствовалась атмосфера наигранного веселья. После десерта капитан предложил всем поехать на судно и продолжить наш вечер. Я снова отказался, размышляя о том, все ли они участвуют в этом сговоре.

После того как основная часть компании ушла, один из сотрудников миссии остался со мной за столом. Мне было известно, что помимо своей основной работы в миссии он выполнял и некоторые секретные функции.

Мы сидели на террасе, выходящей на залив, и смотрели друг на друга. Атмосфера была напряженной. Маленькое происшествие обострило обстановку еще больше. Официант принес нам чашечки кофе, и, когда он брал деньги, руки его дрожали. У него было смертельно бледное лицо и застывший безжизненный взгляд. Неожиданно он забился в эпилептическом припадке. Наш разговор был прерван жутким стуком – это голова официанта в судорогах билась о соседний столик. Пока официанта уносили, мой гость начал рассказывать мне странную историю.

– Когда я был в Китае, – начал он, пытаясь придать своему голосу спокойное звучание, – я узнал, что один секретарь консульства решил порвать со службой. В то время я исполнял

обязанности консула. Я поручил ему отвезти диппочту до самой границы. Чтобы не вызвать у него подозрений, я наказал ему не пересекать советскую границу. Почта будет получена у него на китайской территории, и ему самому поэтому не нужно никаких документов.

Мой незваный гость сделал паузу и отхлебнул кофе. Он неотступно следил за мной. Возможно, он ждал от меня вопроса: «А что было дальше?». Но я молчал. Рассказ продолжился:

– Шофер нажал на педаль газа и мчался без остановки, пока они не пересекли границу и не подъехали к ближайшему посту ОГПУ, где нашего друга-конспиратора уже ждали.

Рассказчик снова сделал паузу.

– Когда этот парень понял, что его перехитрили, он пытался выпрыгнуть из машины, но ему этого сделать не удалось. Секретарю повезло. Он отделался несколькими годами тюрьмы. Могло бы для него все закончиться куда хуже… А вот история переводчика из пекинского посольства несколько сложнее. Ему даже удалось бежать в Ханькоу. Но наши люди напали на его след и двум надежным китайцам поручили его ликвидировать. Те вскоре вступили с ним в контакт и уговорили как-нибудь поужинать вместе. Но переводчик почуял неладное и не появился в ресторане. На следующий день они выследили его и стреляли прямо на улице. Правда, по счастливой случайности, он не погиб. Подвернувшаяся машина французского посольства подобрала его, прежде чем китайцы смогли прикончить.

Рассказчик сделал неопределенный жест пальцами, как бы выражая свое неудовольствие по поводу неумелых действий китайцев.

– Но беглец получил хороший урок, думаю, что он нам больше не доставит хлопот, – заметил мой гость с искренностью в голосе.

– Конечно, нет, – ответил я.

Следующие слова моего собеседника не оставляли никаких сомнений в том, что он имел в виду.

– Вы знаете, – неторопливо продолжал он, – в этой стране совсем нетрудно избавиться от человека. Всегда есть те, кто охотно возьмется за эту работу за пять или десять тысяч драхм, и, поверьте мне, полиция ничего не узнает. – Он бросил взгляд в сторону каменистого берега: «Идеальное место для такой операции».

– Конечно, – согласился я.

– Мне вспоминается еще одна история…

Но мне уже было вполне достаточно его малоприятных россказней.

Поэтому я поспешил отделаться от моего невольного собеседника.

– Спасибо, – сказал я. – Эти гангстерские истории не идут ни в какое сравнение с рыбалкой.

Я нехотя пожал ему руку и ушел. Эта встреча, нудный разговор и пожатие руки моему потенциальному убийце до сих пор остаются у меня самым неприятным воспоминанием. Но, возможно, мне удалось бежать именно благодаря таким формальным любезностям. Без каких-то открытых действий с моей стороны для них было бы неоправданным провоцировать меня на разрыв. Теперь у меня уже не было никаких сомнений относительно того, что меня ожидало на судне. Поверят ли они мне, если я скажу, что просто жду ответа из Москвы и добровольно готов вернуться? Мое чувство собственного достоинства с негодованием отвергало альтернативы: смириться с похищением или просто бежать. После того, что я услышал, я хорошо понимал, что меня может ожидать. Мне предстояло решить, когда я принесу больше пользы русским людям: если погибну в сталинском лагере или если буду жить где-нибудь как свободный человек, зная правду и рассказывая ее людям. На следующее утро я, как обычно, появился в миссии. Сразу же заметил, что Лукьянов проявил необычный интерес к моим планам на вечер. После работы, любезно разговаривая со мной, он предложил прогуляться вместе. Я отказался. Мне надоело это фальшивое дружелюбие.

– Вы сегодня ночуете в миссии или на даче? – спросил он меня.

– На даче, – ответил я.

Но вместо этого я остался в городе и переночевал в горном отеле в Кефиссе. Когда я на следующее утро приехал на дачу, то на песчаной тропинке сада, еще сырой от прошедшего ночью дождя, я увидел следы ботинок нескольких визитеров, а на дороге, ведущей к дому, была видна свежая колея от автомобильных шин.

«Ну, – подумал я, – если вы приезжали в такой ранний час, значит, вы торопитесь».

Времени для размышлений не оставалось. Я попросил Джорджа поехать со мной в миссию. Мы оба были не вооружены, но мне казалось, что наличие спутника будет полезно. Я зашел в свой кабинет и написал телеграмму Потемкину, информируя его, что намерен безотлагательно взять очередной отпуск и оставить за себя следующего за мной по рангу атташе, который накануне вечером был моим гостем за ужином. Я вызвал Лукьянова и приказал ему немедленно зашифровать и отправить эту

телеграмму.

Мы с Джорджем поднялись на второй этаж, где у меня была квартира. Через несколько минут раздался стук в дверь и вошел атташе. Он, очевидно, уже знал о телеграмме. Увидев нас двоих, он заметно сник и стал предупредителен. Сказал мне, что он неожиданно узнал о моем отъезде в отпуск и пришел поинтересоваться моим здоровьем. Я поблагодарил его за внимание, ответив, что чувствую себя прекрасно. После неловкой паузы он ушел.

Я взял свой паспорт, несколько фотографий и писем, последний раз окинул взглядом знакомую комнату. Джордж напряженно следил за моими движениями.

Мы медленно спустились по лестнице. Внешне это был обычный выход главы миссии со своим другом. Никто не пытался нас остановить. Но я видел испуганные лица некоторых сотрудников миссии, наблюдавших за нами из-за приоткрытых дверей. Очевидно, они думали, что мы были вооружены и готовы прорываться с боем. Привратник распахнул двустворчатые двери, ведущие во внутренний дворик. Он поклонился, и я улыбнулся ему в ответ. Мы сели в машину и выехали на шумную улицу.

Моя дипломатическая карьера завершилась. Подведена черта под двадцатилетней службой советской власти. Я неожиданно для себя и окружающих стал человеком без Родины…

Город изнывал от жары. Мы поехали в горы по дороге на Кефиссу и остановились в отеле. После бессонной ночи я собрался с силами для последнего шага. Я отправил в Москву письмо с заявлением об отставке. Потом попросил Джорджа заказать мне билет на экспресс в Симплон. Там я пошел во французскую миссию, где был очень дружелюбно встречен молодым поверенным в делах господином Пьеррфиттом. Мы обменялись последними афинскими политическими слухами, и между делом я заметил, что отправляюсь в отпуск и хотел бы посетить Францию. Не будет ли он так любезен проштамповать мой паспорт, который кстати оказался у меня с собой. Конечно – он будет просто счастлив. Вопрос был решен за несколько минут.

Прошлой ночью я заметил, что пара греков из числа «попутчиков», которые были хорошими друзьями нашей миссии, ни на минуту не выпускала нас из поля зрения. Очевидно, они были добровольными шпионами ОГПУ. Когда мы отправились из отеля на железнодорожную станцию, они последовали за нами на почтительном расстоянии. Они были и на платформе, когда мы садились в поезд. Джордж, который знал их лично, перед тем как отправиться в буфет, помахал им рукой и прокричал что-то приветственное. Он вернулся в купе с фляжкой коньяку.

– Сделай глоток, это поможет тебе, – сказал он, протянув мне сосуд с живительной влагой. – Передай привет сестренке. О плохом не думай, все образуется.

Мы обнялись и горячо пожали друг другу руки.

Поезд набирал скорость. Я смотрел в окно, стараясь не думать о предстоящей жизни. Нервы мои были напряжены, мысли так и роились в голове. Вскоре я погрузился в воспоминания о последних двух годах, проведенных на земле солнечной Греции, чей гостеприимный народ, горы, покрытые виноградниками, разбросанные среди лазурного моря острова стали мне так дороги.

Я не смогу объяснить читателю, какие мысли наполняли меня в симплонском экспрессе, который как стрела уносил меня от моего дома в Афинах, если не объясню, что я приехал в этот город одиноким и разочаровавшимся в жизни человеком. И Бог знает, как бы у меня все пошло дальше, если бы я не встретил здесь свою большую любовь. Должен откровенно сказать, в моих поездках по стране, в контактах с людьми меня направляла женщина, которая сама была красива и понимала красоту свой страны. Она показала мне свою родину не только как страну многочисленных легенд, она сделала ее для меня, как это было в прошлом, вместилищем всего лучшего, что есть в сознании человека. Теперь я должен был встретиться с этой женщиной в Париже и заручиться ее поддержкой на будущее, полное риска и опасности. От лица нас двоих я прощался с идиллической картиной, на фоне которой зарождалась наша любовь. Это было грустно, но судьба не оставляла мне другого.

Когда я встретился с ней в Париже, нам некоторое время вместе пришлось скрываться от ходившей по пятам опасности. Для меня наиболее естественно было бы обратиться к французским властям, сообщить о моей отставке, объяснить ее причины и попросить защиты. Надеяться на что-то другое не приходилось. «До тех пор, пока мое дело не приобретет огласку, – думал я, – агенты Сталина будут всеми силами пытаться уничтожить меня». Расчет тут был прост: если меня удастся своевременно «ликвидировать», то никто даже и не узнает, что в действительности со мной случилось. Я просто исчез бы с лица земли, как исчезли Юренев в Берлине, Давтян в Варшаве, Бекзадян в Бухаресте и еще девять или десять наших послов в иностранных государствах. Я это прекрасно понимал и тем не менее четыре месяца подвергал себя напрасному риску по причинам, которые я могу в немалой степени объяснить чувством глубокого омерзения и стыда за свое правительство. Я считал, что если режим, который я помогал создавать, пал так низко, то и я

за это обязан разделять ответственность. Он не заслуживал снисхождения. Ничто не заслуживало снисхождения. Это не романтика, а чистая правда, что только любовь и мужество Мари сохранили во мне волю к жизни и способность к борьбе.

В укрытии

Агенты ОГПУ, по всей видимости, были в замешательстве, когда я, проявив решительность, спокойно покинул здание посольства. Однако они быстро принялись за работу. Сначала к моей будущей теще в Афинах нагрянули визитеры из числа каких-то «друзей» нашей миссии.

– Бармин – враг Советского Союза, и он будет сурово наказан, – сказали ей эти люди. – Это конченый человек. Напишите своей дочери и предложите ей порвать с ним. И дайте нам ее адрес.

На тот момент моим единственным преступлением было заявление об отставке, но по советским меркам этого было вполне достаточно, чтобы на деле реализовать угрозу расправиться со мной полной мерой.

Подобные визиты и телефонные звонки оказывали постоянное давление на бедную женщину. В конце концов ей сказали, что жизнь ее дочери в опасности, так как я уже приговорен к смерти. Для того чтобы спасти Мари, она должна дать им ее парижский адрес. С помощью угроз им удалось вырвать у несчастной женщины адрес, но он уже был устаревшим. Мы оба успели сменить отели.

Через двое суток к матери Мари снова пришли «друзья» советской миссии.

– Вы нам дали неправильный адрес, – заявили они. Очевидно, полученные от нее сведения были направлены в Париж, где агенты ОГПУ провели проверку и сообщили в Москву, что я переехал. Москва направила в Афины новые указания, и агенты-греки снова бросились по следу ОГПУ действовало очень быстро, без обычного бюрократизма и не жалело денег. Главное было – поймать меня, прежде чем я успею рассказать о себе.

Новые усилия агентуры ОГПУ принесли некоторый успех. Находясь в Париже, Мари получала свою почту на адрес клуба «Дом культуры», объединявшего прогрессивных интеллектуалов и художников. Однажды, когда она зашла за почтой, ей сказали, что ее корреспонденция находится у менеджера клуба, некого месье Николаса, который хотел бы ее видеть. Менеджер спросил, слышала ли она об организации под названием «Друзья Советского Союза»? Президент этого клуба месье Ковалев хотел бы обсудить с ней один важный вопрос. Не могла бы она позвонить ему и договориться о встрече?

– Что это за организация и кто состоит в ней? – спросила Мари.

– Она объединяет друзей Советского Союза. Большинство из них бывшие белоэмигранты.

– Но что может быть общего у греческого архитектора с белыми эмигрантами в Париже? – ответила Мари.

– Ну, они уже больше не белые. Они симпатизируют советскому режиму и хотят вернуться в Россию.

– Почему же они не возвращаются? – наивно спросила Мари.

Менеджер Николас явно не обладал опытом в таких делах и стал выкручиваться.

– Вы знаете… сначала они должны доказать лояльность Советам своей работой здесь, во Франции.

Выдавив из него весьма существенное признание, Мари поспешила закончить этот неприятный разговор, пообещав как следует обо всем подумать.

В моем заявлении об отставке, которое незамедлительно было отправлено в Москву, я указал в качестве обратного адреса парижский Главпочтамт. «Если московские деятели захотят мне ответить, – резонно подумал я, – то советское полпредство в Париже может направить мне письмо по этому адресу». Но официальные советские представители не должны быть замешаны в «мокрых делах»[6]. Возможность доказать таким образом свою лояльность предоставлялась друзьям Советского Союза.

В тот вечер мы с Мари решили, что пока ей не стоит встречаться с месье Ковалевым. Но когда она в следующий раз пришла за почтой, **ее** снова встретил менеджер и спросил: «Почему вы не позвонили месье Ковалеву? Он очень хотел с вами встретиться по делу, которое может иметь чрезвычайно большое значение и для вас. Вы должны немедленно позвонить ему…»

Мы снова обсудили этот вопрос и решили, что ей все-таки надо пойти на контакт с Ковалевым и выяснить, чего тот добивается. Мари позвонила ему и договорилась о встрече на следующий день в греческом павильоне на Всемирной парижской выставке. На следующий день она прождала Ковалева в павильоне, но тот в течение почти трех часов так и не появился.

В тот же день из газет стала ясна причина. В них сообщалось об убийстве Игнатия Рейсса (Порецкого), бывшего резидента советской разведки в Западной Европе, который в знак протеста против московских расстрелов порвал с Советским Союзом. Его заявление об отставке было составлено в очень сильных выражениях.

«Пусть никто не заблуждается, – писал он. – Правда восторжествует. День отмщения гораздо ближе, чем это кажется кремлевским обитателям. Ничто не будет забыто и не прощено. “Гениальный вождь, Отец народов и Солнце социализма” будет

призван к ответу. Все дадут показания против тирана. Международное рабочее движение восстановит честное имя тех, кто был оклеветан, кто был расстрелян, будучи невиновным. Сегодня тот, кто не выступает против Сталина, является его сообщником…»

Рейсс в поисках убежища для себя и своей семьи отправился в Швейцарию. Там к ним присоединилась одна женщина из Рима, которая на самом деле была агентом ОГПУ. Притворяясь, что она одобряет решение Рейсса, Гертруда Шильдбах, одна из ближайших его доверенных помощниц, – об этом имени стало известно вскоре из прессы, – заманила своего шефа в западню. Тело Рейсса с пятнадцатью пулевыми ранениями было найдено на обочине дороги, ведущей в Шамблан. Согласно газетным сообщениям, было установлено, что к этому преступлению была причастна Москва, и в частности ведомство Ежова. Сам начальник ОГПУ имел прямую телефонную связь со Сталиным. От него, видимо, и пришло это страшное указание. Убийство Рейсса, как стало после известно, обошлось его организаторам в 300 000 франков.

На следующее утро Мари позвонила по оставленному Ковалевым номеру и спросила, почему была нарушена договоренность. Секретарь ответил, что месье Ковалев неожиданно уехал по срочному делу на неопределенное время. На следующий день в газетах были новые подробности о расследовании убийства Рейсса. Полиция установила, что один из арестованных убийц принадлежал к организации Ковалева, и он дал показания на других членов. У Ковалева был проведен обыск, но названным лицам удалось скрыться. Впоследствии удалось отыскать их следы в барселонской штаб-квартире ОГПУ, но там они были в безопасности.

Раньше я никогда не слыхал о Рейссе, но так случилось, что мое заявление об отставке и его письмо о разрыве с режимом Сталина были отправлены в Москву в один и тот же день. Таким образом, перед агентами ОГПУ в Западной Европе встала задача одновременной двойной «ликвидации». Меня им не удалось найти. Поэтому они сначала расправились с Рейссом. Видимо, это была случайность, но именно она и спасла мне жизнь. Происшедшее временно нарушило их организацию, им надо было укрыть провалившихся агентов и сформировать новую террористическую банду.

Новым агентам скоро удалось найти мое укрытие в местечке Сэнт-Клу Каждый раз, когда я выходил из дома, за мной велась слежка. Мои преследователи даже не старались маскироваться. Временами, пытаясь подслушать мой разговор, они буквально

наступали мне на пятки. Моя тактика заключалась в том, чтобы, повернувшись, столкнуться с ними лицом к лицу. В результате одни исчезали, но вскоре их место занимали другие. Таким образом, эта бригада менялась за день четыре-пять раз. Они следовали за мной везде: в метро, в ресторан, в табачную лавку. Когда я возвращался домой, эта бригада убийц дежурила у меня под окнами. Эта война нервов стала особенно напряженной, когда я узнал от своих друзей, что советская миссия в Афинах хранила гробовое молчание о моем внезапном исчезновении.

«Похоже, – думал я, – они хотят избавиться от меня потихоньку».

Как-то после обеда я опрометчиво оказался на прогулке в Сэнт-Клу. Просто захотелось прогуляться по парку. Внезапно я увидел, что мой путь заблокирован крупным блондином славянского типа; повернулся в другую строну и увидел на своем пути худощавого французского воришку. Свободным оставался только путь в чащу. Моим первым побуждением было направиться именно туда, но я быстро сообразил, что таким образом я оторвусь от остальных гуляющих и влюбленных парочек, которые повсюду сидели и лежали на траве. Я вдруг понял, что именно они и создают мне гарантию безопасности. Единственный выход – действовать решительно. Я резко повернулся и пошел в направлении более людного места. Держа недвусмысленно руку в кармане брюк, я пошел на маленького воришку. Он на момент замешкался, вытаращил на меня глаза и позволил мне беспрепятственно пройти мимо. Это был один из целого ряда случаев моего преследования агентами Москвы, и, слава богу, все обошлось тогда благополучно.

Между тем новости из СССР были все те же: обвинения, аресты, исчезновения, казни. У меня исчезли последние сомнения относительно того, какая судьба ждет меня, если я вернусь. Весь мир следил, как ОГПУ уничтожало наш дипломатический корпус. До меня доходили слухи, что арестован наш бывший посол в Мадриде Марсель Розенберг, более суровая участь постигла посла в Турции Леона Карахана, который был арестован и расстрелян; при загадочных обстоятельствах умер посланник в Эстонии Алексей Устинов (племянник Столыпина), он, кстати, в конце 20-х годов был полпредом в Греции; бесследно исчезли посол в Германии Константин Юренев, посол в Польше Яков Давтян, посланник в Литве Борис Подольский, посланник в Финляндии Эрик Асмус, посланник в Венгрии Александр Бекзадян, посланник в Швеции Якубович… Все они были жертвами кремлевской диктатуры[7].

Сталин, думал я, меняет команду перед сменой политики. И

поэтому я считаю своим долгом возвысить свой голос и предостеречь тех моих коллег, которые еще находились за границей, от возвращения на верную смерть. Я также хотел привлечь внимание к судьбе тысяч жертв Сталина в России. Я не мог молчать и решил выйти из своего укрытия.

Моим первым шагом стала публикация открытого письма в Центральный комитет Французской лиги прав человека и Комитет по расследованию московских процессов. Приведу наиболее важные выдержки из этого письма.

«*1 декабря 1937 года*

Покинув недавно государственную службу Советского Союза, считаю своим долгом довести до вашего сведения следующие факты и заявить во имя Человечности решительный протест против преступлений, список которых растет с каждым днем… Девятнадцать лет я служил Советскому государству, девятнадцать лет я был членом большевистской партии. Я боролся за советскую власть и посвятил все свои силы делу государства трудящихся.

В 1919 году я вступил добровольцем в Красную Армию, через шесть месяцев за свои заслуги на поле боя был назначен комиссаром, сначала батальона, затем полка. Окончив школу красных командиров, я занимал ряд командных постов на Западном фронте. После наступления на Варшаву военный совет 16-й армии направил меня на учебу в Академию Генерального штаба. В 1923 году я уволился с военной службы в звании комбрига. В 1923–1925 годах я исполнял обязанности генерального консула СССР в Персии; в течение десяти лет был в кадрах Наркомвнешторга; в 1929–1931 годах был генеральным директором торговых представительств во Франции и Италии; в 1932 году был официальным представителем СССР в Бельгии; а в 1933 году – членом советской правительственной делегации на переговорах в Польше; в 1934–1935 годах был директором треста «Автомотоэкспорт», осуществлявшим весь экспорт продукции автомобильной и авиационной промышленности.

Такова вкратце моя биография до моего назначения в Грецию. На всех постах моей единственной целью всегда была защита интересов моей страны и социализма.

Недавние судебные процессы в Москве привели меня

в ужас и смятение. Я не могу оправдать казнь старых лидеров революции, несмотря на их развернутые признания… События последних нескольких месяцев окончательно избавили меня от иллюзий. Громко разрекламированные судебные процессы были инсценированы с целью уничтожения основного ядра большевистской партии; другими словами – людей, которые в прошлом, рискуя жизнью, вели подпольную агитацию, совершили революцию и одержали победу в Гражданской войне, которые добились победы первого в мире государства трудящихся. Сегодня этих людей мажут грязью и передают палачам. Мне совершенно ясно, что в моей стране одержала верх реакционная диктатура. Многие из моих руководителей и друзей из числа старых большевиков брошены в тюрьмы, где либо казнены, либо «подавлены»… Убежден, что их честность и преданность не подлежат сомнению.

Я хочу обратиться к общественности с этим важным и отчаянным призывом от имени тех, кто еще жив, заявить протест против чудовищных и лживых обвинений. Я думаю о тех своих друзьях, которые еще остаются на своих постах в различных странах Европы, Азии и Америки, которым угрожает такая же судьба…

Если бы я остался на службе у Сталина, я бы считал себя морально осквернённым и должен был бы принять свою долю ответственности за преступления, которые ежедневно совершаются против народа моей страны…

Разрывая со своим правительством, я подчиняюсь голосу своей совести…

Пусть мои слова помогут людям понять природу режима, который, по существу, отбросил принципы социализма и гуманности»[8].

Отправив это письмо, я обратился к лидерам Французской социалистической партии, которая в тот период входила в правительство. Эти весьма занятые люди приняли меня очень сердечно. Отложив на несколько часов свои дела, пока я рассказывал им свою историю, они внимательно выслушали меня. Затем они действовали быстро. Министр внутренних дел Маркс Дормой выдал мне и Мари разрешение на постоянное проживание. Префект полиции выделил постоянную охрану из двух детективов и поставил ночной полицейский пост у моего дома. Но самым ценным – о чем мечтали все эмигранты – было то, что наше разрешение на постоянное жительство давало нам

право работать и зарабатывать себе на жизнь.

Теперь, после вынужденного одиночества, я был окружен новыми друзьями, поверившими мне и которым я мог довериться. Приятным сюрпризом было и то, что мне удалось возобновить некоторые старые дружеские связи. Я снова встретился с Виктором Сержем, талантливым писателем. Ему, кстати, чудом удалось бежать из сталинской тюрьмы. Он рассказал мне, что все его родственники в России, даже по линии жены, были арестованы; тесть умер, не выдержав преследований, которым он подвергался, а его жена почти полностью потеряла рассудок.

Пришел навестить меня и мой друг с 1922 года Борис Суварин, автор монументальной биографии Сталина. Пятнадцать лет прошло со времени нашей последней встречи, но мы сразу узнали друг друга. Хотя виски у него и поседели, речь его была столь же оживленна и саркастична, как и много лет назад в Москве.

– Молодой офицер Красной Армии стал на пятнадцать лет старше и намного мудрее, – сказал он, улыбнувшись печальной улыбкой, – впрочем, все мы стали мудрее, чем прежде…

Здесь я впервые встретился с Александром Керенским, бывшим премьером российского республиканского правительства; лидером русской либеральной партии Милюковым; лидером меньшевиков Теодором Даном. Эти ветераны были со мной очень искренны и сердечны, на их теплоту нисколько не влияло то, что перед ними был ныне разочаровавшийся их бывший политический противник.

Однажды меня посетил молодой человек в рабочей одежде, на лице которого были видны следы преждевременного истощения, но все же очень энергичный, остроумный, готовый по любому подходящему поводу искренне смеяться. Это был Леон Седов, сын Льва Троцкого, который уже не раз был приговорен к смерти московскими судами. Он жил на шестом этаже многоквартирного дома, в квартире, до отказа заполненной книгами и ящиками с архивными материалами. На той же лестничной площадке рядом с ним, как он впоследствии выяснил, жил агент ОГПУ, следивший за каждым его шагом.

Бедный Леон Седов! Он был так полон кипучей энергии, так погружен в свой уникальный тридцатилетний опыт политической деятельности, и он погиб так трагически. Его смерть окружена тайной, которая, наверное, так никогда и не прояснится. У него был хронический аппендицит, и во время очередного острого приступа, по зловещему стечению обстоятельств, он был помещен в частную клинику, принадлежавшую белому эмигранту с очень подозрительными связями. После операции наступили

осложнения, но он был оставлен без необходимого ухода и умер.

Несмотря на некоторые тревожные обстоятельства, мы постепенно налаживали нормальную жизнь. Мать Мари приехала в Париж на нашу свадьбу. Церемония проходила в присутствии нескольких друзей. Ритуал греческой Православной Церкви требует двух свидетелей. Одним из них стал старый друг семьи Мари, видный греческий деятель генерал Николас Пластирас. Другим – светловолосый шотландец Перси Филипс, известный корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс», мой друг и замечательный человек.

С помощью своих французских друзей я получил работу в мастерской компании «Эйр Франс» в аэропорту Ле Бурже. На первых порах мои коллеги не могли не заметить, что я практически разучился работать руками. Меня глубоко трогала их готовность помочь. И хотя они практически ничего не знали обо мне, кроме того, что я был политэмигрантом, они не задавали вопросов. Они обнаруживали больше природного такта, чем мне приходилось видеть в мире дипломатии.

Я прекрасно чувствовал себя на новой работе, но скоро я ощутил, что мои прежние хозяева не забыли обо мне. Однажды вечером у проходной меня остановил лидер профсоюза, в который входили те, с кем я работал. Он поинтересовался моим самочувствием и затем сказал, что рекомендовал меня на более высокооплачиваемую работу в администрации аэропорта. Его интерес удивил меня. Мне показалось странным, что профсоюзный лидер дожидался меня у ворот, чтобы предложить мне, не члену профсоюза, лучшую работу. Это озадачило меня еще больше, когда я узнал, что он являлся приверженцем Сталина. Но я все-таки прошел необходимые тесты и получил хорошую работу в управлении воздушным движением аэропорта.

Спустя несколько дней я узнал, что мне предстоит ночное дежурство. Это озадачило меня, так как я в течение нескольких часов должен был оставаться один во всем здании. Я знал, что каждое утро в Барселону вылетал испанский самолет. И было совсем несложно организовать все так, чтобы однажды утром я вдруг оказался в Барселоне, а там ОГПУ делало с антисталинистами все, что хотело. Французский полицейский комиссар, которому была поручена моя охрана, был в шоке, когда узнал, что я назначен в ночную смену Он поговорил с директором аэропорта, и меня избавили от ночных смен.

Это чрезвычайно огорчило профсоюзного лидера, и я понял, что ОГПУ отнюдь не желает оставлять меня в покое. Тем не менее мне было неловко, что меня постоянно сопровождали два детектива, и я заявил комиссару, что сам позабочусь о своей

безопасности.

Наверное, это был с моей стороны опрометчивый шаг, ибо вскоре я снова почувствовал «внимание» Москвы. Как-то вечером после работы я зашел к Перси Филипсу из «Нью-Йорк таймс» на Рю Комартин. Мне нравилось иногда бывать в уютном офисе этого шотландца и слушать его остроумный разговор. Здесь я хотел бы заметить, что, хотя многие во Франции были добры ко мне, я больше всего ценю гостеприимство и теплоту, с которой меня встречал Филипс и другие сотрудники парижского отделения «Нью-Йорк таймс»: высокий спокойный швед Джордж Аксельсон, флегматичный и сонный на вид, но вечно занятый за своим захламленным рабочим столом, Лансинг Уоррен, невысокий и толстый, всегда энергичный и темпераментный Аркамболт. Я хочу выразить мою благодарность и признательность всем этим людям, которые помогали мне в те трудные дни.

В тот вечер Перси Филипс приветствовал меня особенно радостно.

– Привет, мой юный друг! – заявил он. – Поздравляю! У меня для тебя приятное сообщение от твоего правительства.

Он выбрал из кучи телеграфных сообщений одно, исходившее из Москвы, и с комической торжественностью передал его мне. Там, среди телеграмм, которые должны были появиться в утренних газетах, было одно сообщение французского агентства «Фурнье» из Москвы, датированное 9 марта 1939 года и озаглавленное: «Бывший посланник СССР в Греции будет заочно предан суду». Там говорилось, что вскоре московский трибунал вынесет обвинительный приговор бывшему посланнику СССР в Греции месье Бармину, вместе с пятью другими бывшими советскими служащими, которые порвали с СССР.

– Очень интересный пример советского правосудия, – улыбнулся Филипс. – Сообщая о будущем процессе, они заранее объявляют его результат!

– Ну, по крайней мере, они ничего не скрывают. Я знаю, что меня ожидает, – ответил я. – Но это и довольно высокая честь. Каждый советский сотрудник, который остается за границей, автоматически лишается гражданства и приговаривается к смерти. Может быть, меня хотят расстрелять дважды? У нас как-то был подобный случай. Два старых большевика Дробнис и Клявин были расстреляны белогвардейцами и с трудом выкарабкались из общей могилы, каждый с несколькими пулями в теле. Позже они примкнули к оппозиции и снова были расстреляны в 1937 году – на этот раз по приказу Сталина. Такое внимание, конечно, лестно, но я боюсь, что этот суд не принесет

им удовлетворения. Вопреки московским традициям я не чувствую за собой вины, не собираюсь ни в чем признаваться или восхвалять вождя за массовые убийства во имя социализма!

– Не расстраивайся, – ответил Филипс. – Ты можешь не растрачивать на меня свою энергию. Побереги ее для более подходящего случая.

Когда мы покидали его офис, он вытащил эту телеграмму из пачки и дал мне.

– Сохрани ее как сувенир, – сказал он и крепко пожал мне руку.

В начале мая 1939 года, сразу же после увольнения М. М. Литвинова, мне позвонил директор французского литературного агентства «Опера мунди» господин Ронсак. Он сообщил мне, что газета «Пари суар» хотела бы заказать мне статью об отставке советского наркома для своей специальной рубрики, в которой иностранные авторы и политические деятели регулярно обсуждают мировые проблемы. Я предупредил его, что мои оценки могут резко отличаться от того, что ожидает публика. Но он настаивал, и я в конце концов согласился. Агентство направило статью в несколько стран Европы и Америки, но она не появилась ни во Франции, ни в Англии. Ронсак чувствовал себя неловко и пытался объяснить: «Сотрудники “Пари суар” (может, это был Пьер Лазарефф) считают, что мы оба спятили».

Вот пара цитат из этой злосчастной статьи:

«…Есть все основания считать, что Сталин уже давно стремится к союзу между СССР и германским рейхом. Если до сих пор этот союз не был заключен, то только потому, что этого пока не хочет Гитлер. Тем не менее советского посла Юренева весьма любезно принимали в Бертехсгадене, а личный представитель Сталина, грузин Канделаки, вел переговоры с Гитлером вне рамок официальных межгосударственных отношений. Переговоры между тоталитарными государствами ведутся в обстановке глубочайшей секретности, и их результаты могут стать полной неожиданностью для всех…»

И далее, к вопросу о территориях к востоку от линии Керзона:

«На этих территориях проживает около десяти миллионов людей, которых СССР, исходя из географических и этнических критериев, может с полным основанием считать своими гражданами. Это может стать ее наградой за политику благожелательного нейтралитета по вопросу раздела Польши в ходе новой европейской войны».

Я почувствовал некоторое удовлетворение, когда четыре месяца спустя, после триумфального возвращения Риббентропа из

Москвы, несколько парижских газет откопали эту старую статью и опубликовали ее со следующим комментарием:

«Эта точка зрения интересна тем, что она была высказана четыре месяца назад, когда в Москве находился специальный уполномоченный британского правительства, а сама идея советско-германского сближения представлялась европейцам невероятной. Господин Бармин предвидел эти события, но его разоблачения были проигнорированы. Его статья была написана 5 мая, но она была опубликована только в Скандинавии и Южной Америке. Ни одна из французских или английских газет не решилась напечатать ее в то время».

В этой совсем не безоблачной обстановке мы прожили вполне счастливый год, со мной была Мари, моя безопасность была более или менее обеспечена, у меня была работа, были друзья, моя жизнь налаживалась.

Но мне этого казалось мало. Мне нужно было что-то большее, чем простая безопасность. Всю жизнь я служил режиму, в который уже больше не верил. Мне нужна была новая «духовная среда», в которой я мог бы играть какую-то роль и нести какую-то ответственность. При всей моей любви к французам мне была невыносима перспектива провести всю свою жизнь без родины, на положении иностранца, которого лишь вежливо терпят. Чем больше я размышлял над этим, тем больше приходил к убеждению, что в мире существовала только одна страна, где я мог бы заново начать свою жизнь как свободный человек и гражданин в полном смысле этого слова. Это были Соединенные Штаты Америки. Это была страна «иностранцев» и «пришельцев», которые создали великую нацию. Мы обсудили это с Мари и решили начать там новую жизнь.

Весной 1939 года мы пошли в американское посольство. Сотрудник посольства внимательно нас выслушал. Посольство было готово помочь, но по закону требовалось, чтобы мы нашли спонсора из числа американских граждан. К счастью, двоюродный брат Мари был видным адвокатом в Нью-Йорке, и он охотно выступил в этой роли, взяв на себя все хлопоты по нашему делу Через несколько месяцев мы получили желанные визы для въезда в США. Это был наш пропуск в новую жизнь.

Приближаясь к берегам США, мы пытались рассмотреть на горизонте первые контуры той страны, которую мы так хотели сделать своей родиной. Как и большинство иммигрантов, мы с энтузиазмом приветствовали появление берега. Город с частоколом небоскребов для нас уже больше не был безвкусной цветной открыткой. Он ожидал нас как живая реальность в тумане холодного зимнего утра.

Чиновник иммиграционной службы проверил и проштамповал наши документы. Мы въехали в США.

– Спасибо, – сказал я, с трудом сдерживая эмоции.

– Добро пожаловать! – ответил он. Это была рутинная фраза чиновника, но мы этого не знали. Для нас эти обычные слова были исполнены глубокого смысла. Это был добрый знак судьбы, которым встретила принявшая нас дружественная страна.

Книга вторая

Они жили славой, устремленной вперед, Босоногие и без хлеба.

Каждый спал на твердой земле, С рюкзаком под головой.

Популярная солдатская песня времен Французской революции

Детство

Я плохо знал своих родителей, наверное, потому, что мало жил с ними. В тех случаях, когда мы были вместе, они предоставляли меня самому себе. Может быть, именно детские впечатления оказали существенное влияние на формирование моего характера. Жизнь моя, сколько я себя помню, всегда была наполнена трудностями и разными кризисными явлениями, что в то бурное время сделало меня восприимчивым ко всяким переменам и революционным идеям. Она была похожа на жизнь многих людей моего поколения. Думаю, что история моей жизни может в какой-то мере помочь читателю понять, что происходило в России.

Моя мать была одной из восемнадцати детей егеря и выросла в деревне, не видев в жизни ничего, кроме трудностей, хотя семья никогда не испытывала недостатка в пище. Она всегда была занята со своими младшими братьями и сестрами, следила за тем, чтобы они были вымыты и накормлены. Тот факт, что все восемнадцать детей достигли зрелого возраста, свидетельствовал о том, что условия жизни хотя и были трудными, но вполне сносными. В пятнадцатилетнем возрасте она работала в имении баронессы Браницкой, за двадцать пять копеек в день с утра до вечера убирала свеклу. В семнадцать лет она вышла замуж за школьного учителя, который недавно овдовел, был намного старше ее и имел двух сыновей. Я был у нее единственным ребенком.

Я помню шумные ссоры моих родителей, крики и хлопанье дверьми в нашем маленьком домике. Я также помню страшные дни, когда за долги у нас должны были конфисковать имущество. Готовясь к такому ужасному исходу, моя мать по ночам увязывала наши вещи в узлы, которые выносила из дома не через дверь, а через кухонное окно, выходившее в сад. Когда наконец это случилось, меня отправили жить к соседям.

Теперь мои родители часто отсутствовали, надолго оставляя меня одного, возвращались они ненадолго, но в хорошем настроении.

В возрасте шести лет меня отправили жить к дедушке с бабушкой. Я совершил очень интересное путешествие на поезде и на подводе по проселочным дорогам мимо бескрайних полей и лесов. Несколько рек мы пересекали на паромах. Все было для меня ново и интересно.

Дедушка с бабушкой жили в старой деревенской избе, а когда их детям становилось трудно, они брали к себе внуков. В любое

время их в доме было не меньше дюжины. Это был побеленный домик, окруженный вишневым садом недалеко от Умани, маленького города на Украине со смешанным русско-еврейским населением. Город был довольно невзрачный, но солнечный, с красивыми садами. Располагался он на берегу грязной и довольно вонючей реки.

Бабушка все свое время проводила у плиты, в окружении кастрюль, сковородок, мисок и многочисленных детей. Чтобы поддерживать их, ей приходилось постоянно решать бесчисленные проблемы. Я часто видел ее с карандашом в натруженной руке: «Столько за огурцы, столько за мыло… а сколько останется на сахар?». Она творила чудеса, и у нас появлялся сахар. А по праздничным дням мы даже надевали ботинки и чистые рубашки.

У нее не было времени заниматься нашим воспитанием, и мы все, мальчишки и девчонки, вечно сопливые и неумытые, в драных штанах и с всклокоченными волосами представляли собой какую-то независимую республику. Мы целые дни проводили на улице, лазая по деревьям, купаясь в реке или бегая по окрестным местам в поисках нехитрых развлечений.

Больше всего нам нравилась гроза. Завидев надвигающиеся тучи, мы готовились к дождю, а когда он начинался – голые выскакивали на улицу и с воплями диких индейцев танцевали под обильными струями, низвергавшимися с небес. После сильных ливней мы, как и все другие крестьяне, должны были чинить глиняные стены нашей избушки. Дедушка расчищал угол во дворе и приносил глину с берега реки. Дети собирали навоз на дороге. Глина смешивалась с навозом, разводилась водой, и мы с наслаждением месили ее ногами, делая отличную штукатурку для стен. Бабушка пользовалась этим случаем, чтобы подновить побелку. По верхней кромке под крышей она всегда рисовала голубой орнамент.

Другим развлечением был местный рынок. Там были горы фруктов и овощей, были гадалки и представления, там можно было купить ряженку, пряники и даже резиновые мячики. Крестьяне, приезжавшие из дальних деревень на повозках, громко спорили по каждой сделке. Мы таращили глаза на книги в красивых цветных обложках, в которых были русские народные сказки, или слонялись вокруг прилавков, заваленных леденцами, ярко раскрашенными пирожными и петушками из ячменного сахара. Я до сих пор помню, как все это было дешево. Ведро черешни, мешок картошки или груш стоили меньше американского цента; за половину этой цены можно было купить пару огромных арбузов. Сегодня эти цены вызывают изумление.

Но тогда мы не всегда ели досыта и нередко по нескольку дней питались жидкой овсянкой.

Дедушка приходил с работы вечером, а утром на рассвете снова уходил. По вечерам он делал всякую работу по дому: рубил дрова или чинил ограду. Дети пользовались полной свободой при условии, что они не ссорились и не хныкали. Если кто-то приходил с жалобой на синяк под глазом или на порванную одежду, дедушка ворчал: «Если не можешь постоять за себя, не ввязывайся в драку. Иди умойся». По натуре он был добрым патриархом, который просто смотрел на жизнь. Он считал, что серьезные проступки заслуживают крепкого шлепка или березового прута. Естественно, и я получал свою долю. Один из таких случаев сохранился в моей памяти ярким воспоминанием.

Я был очень голоден. Мы все сидели за столом, куча чумазых, непоседливых сорванцов с жадными голодными глазами. Перед нами стоял дымящийся чугун тыквенно-овсяной каши, и мы с деревянными ложками ждали, пока, как этого требовали приличия, дедушка с бабушкой зачерпнут из котелка первыми (в нашей бедной деревенской жизни не было тарелок, но заверяю вас, мы не замечали их отсутствия). Я в тот раз был особенно нетерпелив и грубо нарушил устоявшийся порядок, а подсознательное понимание того, что я поступаю неправильно, видимо, сделало меня еще и очень неуклюжим. Не дожидаясь своей очереди, я перегнулся через стол и первым зачерпнул себе каши. Неожиданно я потерял равновесие, и моя рука угодила в чугунок с кашей. Чугунок перевернулся, и обжигающая масса расплескалась по ногам моих двоюродных братьев. Это была полная катастрофа, о чем свидетельствовали крики боли и ужаса. Каша погибла. Я был настолько потрясен тем, что натворил, что даже не почувствовал ожогов.

Дед встал из-за стола со зловещим выражением на лице.

– Иди за мной, – сказал он.

Бабушка робко попросила о пощаде:

– Никифор, не бей ребенка, – взмолилась она.

Но дед ничего ей не ответил. Он сам знал, что ему надо делать. Мы вышли в соседнюю комнату, и он притворил дверь. Затем он сел, зажал мою голову между колен и отодрал меня по голому заду своим кожаным шлепанцем. Я молчал и не плакал. С горящими щеками и ушами я вернулся в общую комнату, не решаясь ни на кого взглянуть. Бабушка смазала обожженные места простоквашей и перевязала их. Позже, когда меня снова позвали за стол и налили супа, у меня потекли слезы и я отказался. Еще много лет, вспоминая эту сцену, я испытывал острое чувство вины. Я взял за правило никогда не есть из общего

котелка прежде других, однако эта привычка сослужила мне плохую службу в суровые последующие годы моей жизни.

Однажды приехала мать. В городском нарядном платье, в каком мы ее никогда не видели, она выглядела молодой и красивой. Она привезла всем подарки и приехала забрать меня в школу в Вильно, где теперь жила. Уезжая, я раздал все свои сокровища своим братьям: пустые спичечные коробки, пачки от папирос, рогатки, бабки, камешки необычной формы и гвозди. Мы расстались со слезами.

На вокзале в Вильно нас никто не встречал. Моя мать жила одна в небольшой чистой двухкомнатной квартире. На вопросы об отце отвечала уклончиво. Сама она работала в больнице, уходила в семь утра и возвращалась поздно вечером.

В школе я учился хорошо, хотя был замкнут и склонен к уединению. В одиночестве я начал читать все, что мне попадалось под руку: Фенимора Купера, Жюля Верна, Майн Рида, Марка Твена, Стивенсона, Джека Лондона и Киплинга. Чуть позже у меня появился вкус к Пушкину, Виктору Гюго, Золя, Толстому и Диккенсу.

Однажды мать застала меня углубившимся в том Мопассана. «Не читай это, – сказала она строго. – Там много такого, что ты не поймешь».

Меня это удивило, потому что в то время я был в таком возрасте, когда мальчишка думает, что он понимает все. В итоге я стал еще внимательней читать Мопассана, стараясь найти какую-то тайну, но так и не нашел ее.

Книги делали мою жизнь богатой, в то время как в материальном плане она становилась все беднее. Случайно я узнал, что мой отец «ушел к другой женщине». Он продолжал оказывать мне материальную помощь, но делал это нерегулярно. Мать молча страдала. Я понимал ее, но ничем не мог помочь. Эта сдержанность с обеих сторон одинаково нас печалила и со временем переросла в какое-то отчуждение. Мама упрекала меня за отсутствие внимания, а я ничего не мог придумать и с горечью замыкался в своих собственных мыслях. В таком состоянии я жил до тринадцати лет.

Однажды мать спросила меня, хотел бы я переехать жить к отцу. Сама мысль снова увидеть отца так взволновала меня, что я обнял ее и воскликнул:

– Конечно!

По лицу матери было видно, что я причинил ей боль, и я попытался смягчить удар:

– Но я ведь вернусь, мама.

Отец встретил меня на станции. В Гомеле у него был большой

удобный дом, окруженный садом. Как только мы пришли, он завел меня в свой кабинет и осмотрел с некоторым смущением.

– Теперь ты уже совсем большой, – сказал он. – Я могу открыто говорить с тобой даже о взрослых делах. Я снова женился. У тебя есть маленький брат. Сейчас ты встретишься с ним… и с твоей мачехой. Будь с ними добр.

– Катя! – позвал он.

Вошла женщина с ребенком на руках. Она напомнила мне женщин, которых я видел на репродукциях картин датских художников. У моей «второй матери» было пухлое лицо с довольно курносым носом, большие серые, постоянно смеющиеся глаза Она всегда была веселой, но скоро я узнал, что за ее доброй внешностью скрывалась злобная и расчетливая душонка.

Первые месяцы прошли достаточно хорошо, но вскоре я понял, что мое присутствие в этом доме не совсем желательно. Моя мачеха, по-видимому, считала, что каждый кусок для меня она отрывала от ее собственного драгоценного младенца. Небольшая сумма на карманные расходы, которую выделял мне отец, стала предметом горьких укоров. Затем отцу пришла в голову гениальная идея – нанять меня к себе на работу и таким образом давать мне какие-то деньги под предлогом оплаты моих услуг. Я набивал ему папиросы по пятнадцать копеек за коробку. Он также научил меня пользоваться топором и пилой, что мне в дальнейшем очень пригодилось. Потрудившись хорошо на поленнице, я зарабатывал рубль в неделю. Этого мне хватало и на кино, и на конфеты.

Учеба в школе шла хорошо, но в конце концов случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Однажды отец пригласил меня в кабинет и после долгого хождения вокруг да около сказал, что лучше бы мне переехать к матери, которая была очень одинока и от этого страдала.

– Ты поедешь завтра. Я уже сообщил матери о твоем приезде по телефону, – сказал в довершение разговора отец.

«Если мне тут нет места, – с горечью подумал я, – то где же оно?..»

Я ничего не ответил отцу, но сам был близок к отчаянию, к чувству, которое я ни под каким предлогом не мог никому открыть. Я стал находить утешение в мечтах.

«Когда я вырасту, – продолжал я фантазировать, – то стану моряком или путешественником, богатым и знаменитым. И они все захотят, чтобы я к ним вернулся, мы снова будем жить вместе. Я больше никогда не позволю им ругаться и ссориться…» Но это были пустые мечтания, сбыться которым вряд ли было суждено.

В Вильно меня ждало новое разочарование. Моя мать тоже

собиралась вторично выйти замуж. Когда она сообщила мне эту новость, я стал упрашивать ее не делать этого.

– Ты снова будешь несчастлива, мама, – умолял я. – Давай жить с тобой вдвоем. Так будет лучше.

В день ее свадьбы, которая проходила в то время, когда я был в школе, мы переехали в более комфортабельный дом. Однако я с чувством грусти вошел в свою новую комнату. На полу стояли связки моих книг. Это было все, что осталось у меня от прежней жизни. Внизу веселилась свадьба. Мать несколько раз приходила за мной, но я отказывался выходить.

– Ты огорчаешь меня, – твердила она. – Не упрямься, выходи!

Но я слишком был занят своими оскорбленными чувствами, чтобы прислушаться к ней. Не раздеваясь, я лег на кровать и в смятении чувств заснул. Когда я проснулся, то на ночном столике нашел тарелку с пирожными и мороженым. Мороженое растаяло и превратилось в тягучую желтоватую жидкость. Я опять вспомнил веселье вчерашнего вечера и неожиданно расплакался.

У меня осталось очень мало хороших воспоминаний от школы, где по-казенному сухие и одетые в форму учителя убивали всякую естественную радость учения. Однако мне хотелось бы вспомнить одного человека, который отказывался носить форму и в отличие от других наставников оказывал на нас заметное влияние. Это был протестантский священник. Он обучал нас немецкому языку весьма оригинальным методом. В качестве поощрения он угощал нас конфетами, их он покупал на собственные деньги. Это был веселый и шумный здоровяк, совершенно лишенный профессиональной торжественности, свойственной служителям церкви. Он всегда ходил в костюмах светлого цвета. Вопреки школьным распорядкам он требовал, чтобы каждое утро мы приветствовали его хором: «Гутен морген, либер стор!». Мальчишки очень охотно исполняли этот ритуал. Ему достаточно было только заглянуть в класс, и это вызывало такой энтузиазм, что никакая серьезная работа в течение последующих пятнадцати минут была просто невозможна.

Именно благодаря «дорогому пастору» я приобрел своего первого друга, мальчика по фамилии Кусков. В учебе он как-то проиграл в соперничестве со мной, и мы разделили с ним полученную мною в качестве приза шоколадку.

Однажды летом 1914 года я отправился навестить своего друга на даче, где он проводил каникулы. Я нашел дачу холодной и заброшенной, такой она может быть только в отсутствие хозяев. Я напрасно ждал целый день и следующую ночь, но мой друг с семьей так и не появился. Я был очень обеспокоен и внезапно вспомнил, что на станции мальчишка-газетчик выкрикивал

какую-то фразу, которую я сразу не понял: «Приказ о мобизации!». Когда я возвращался назад, в поезде меня поразили странные выражения лиц и возбужденные голоса пассажиров.

– Что случилось? – спросил я сидевшего рядом человека.

– А случилось то, мой мальчик, что мы собираемся воевать и дадим Кайзеру по зубам. Скоро наши казаки будут в Берлине.

Из книг я знал, что война – это что-то героическое и всегда победоносное. Я думал, что теперь жизнь будет похожа на приключенческий роман. Все были в хорошем настроении. Я, несмотря на то, что не встретился со своим другом, тоже предался настроению всеобщего подъема.

На следующий день мой отчим вернулся домой с сияющим взглядом.

– Слава богу! – сказал он. – Это война! Россия победит!

На улицах было много демонстраций: люди несли трехцветные флаги, церковные хоругви и портреты царя, обрамленные вышитыми полотенцами. Атмосфера была очень эмоциональной. Люди пели песни. Казаков, скакавших верхом, приветствовали радостными возгласами и осыпали их цветами.

В школе наш класс дружно охнул, когда узнал, что немецкие орды вторглись в Бельгию. «Ничего, наши казаки скоро освободят Бельгию, – решили мы все вместе. – Бошам уж точно не поздоровится…»

«Почему я еще слишком молод для армии? Когда я достигну призывного возраста, все уже давно закончится. Какая несправедливая судьба!» – эти мысли искренне терзали мою душу.

Когда через наш город проследовали первые немецкие военнопленные, мы смотрели на них с любопытством и превосходством. Мне они показались совсем не страшными, а просто жалкими. Грязные и изможденные, они отвечали на наши взгляды жалкими улыбками. Похоже, что завоевателям Бельгии русский плен был вполне по душе! Они делали нам дружеские жесты и кричали: «Киндер, киндер!». Мне пришло в голову, что у них могли быть дети нашего возраста. Один из моих друзей выкрикнул:

– Дойче швайне!

Пленные отвернулись. В наших сердцах, кстати сказать, не было ненависти к ним, и мы почувствовали какое-то неясное чувство стыда за то, что сказал этот мальчик. Но тем не менее немцы оставались нашими врагами, поэтому прощения, пока шла ужасная смертоносная война, они не заслуживали. Простить их могла только наша победа.

Война и революция

Война набирала обороты. Мы уже забыли о мирном времени. Наша армия одержала несколько побед и взяла много пленных. Но почему-то в народе не стало разговоров о взятии казаками Берлина. Наоборот, немецкие уланы вошли в Варшаву. Немцы оккупировали всю Польшу и угрожали Литве. Все это было трудно понять. Кто был постарше меня, надевали военную форму. Мои сводные братья Николай и Григорий тоже отправились на фронт. Они жили с теткой в Петрограде, но по пути на фронт заехали к нам. Они, как павлины, гордились своими золотыми нашивками. Я смотрел на них с завистью.

Младший, Григорий, был убит 1 августа 1915 года в возрасте девятнадцати лет.

Осенью мать перестала ходить на работу.

– Город эвакуируется, и мы станем беженцами, – сказала она мне.

Я знал об ужасной судьбе беженцев и думал, что нас ожидает то же самое. Но когда началась эвакуация, то, против ожидания неразберихи, во всем ощущалась твердая рука. На железной дороге, в условиях военного времени, она проходила, можно сказать, даже довольно комфортабельно. Несмотря на всеобщую сумятицу, которая присутствует практически во все времена на вокзалах во время отхода поезда, нам удалось взять с собой почти все свои вещи. Однако ехали мы в товарном вагоне, и путешествие продолжалось долгих шесть дней. Наконец мы прибыли в город, куда должен был эвакуироваться мой отчим. Это оказался Гомель. Так судьба организовала встречу двух моих семей.

Для меня это было очень тяжелое время. Я был между ними словно между двух огней: с одной стороны – мой отец с новой женой, с другой – мать с новым мужем. Но в общем-то я никому не был нужен и находился в гнетущем одиночестве. Каждое слово ранило меня, а кое-что из того, что говорилось в мой адрес, ранило действительно глубоко. Когда, к примеру, за обедом моя мать клала мне на тарелку кусок мяса, ее рука дрожала под неодобрительным взглядом мужа – моего нежеланного отчима, поскольку мясо было дорогим и денег на его покупку почти всегда не хватало. Видимо, поэтому он считал, что меня должен был кормить родной отец. Его враждебность постоянно держала меня в напряжении, и у нас часто возникали ссоры.

Однажды вечером, после очередной ссоры за столом, когда отчим хотел ударить меня, я убежал из дома и спрятался в

соседнем дворе в ящике от рояля. Половину холодной ночи я провел там, накрывшись соломой, а затем отправился на вокзал и уснул в зале ожидания. Я решил не возвращаться домой. Буду искать работу и никогда больше не позволю унижать себя тем, что каждый кусок, который я ем, ставится мне в укор. На следующее утро я отправился в школу, и там меня нашла мать. Она пыталась убедить меня вернуться домой, но я категорически отказался.

Мой друг Кусков, который тоже жил в Гомеле на положении беженца, слышал наш разговор. Он рассказал обо мне своим родителям, и они дали мне приют. Чтобы не ущемлять мою гордость, они попросили, чтобы я помогал готовить уроки их младшей дочери. Таким образом в возрасте пятнадцати лет я стал репетитором и с тех пор всегда сам зарабатывал себе на жизнь. Именно в то время детство мое закончилось.

Жизнь в Гомеле, как и по всей России, с каждым днем становилась все труднее. Цены на продукты росли, а некоторые товары вообще исчезли с прилавков. Из больших городов, Петрограда и Москвы, приходили плохие новости. Там росли очереди за хлебом и иногда возникали беспорядки, которые подавлялись войсками. Госпитали были заполнены ранеными солдатами, мест не хватало, и раненых размещали в школах, которые все чаще переходили в распоряжение Красного Креста.

Веселые дни начальных месяцев войны ушли безвозвратно. Вместо этого распространялось уныние, медленное, но болезненное, как ползучий паралич. Наши армии вязли в грязных окопах, газеты заполнялись монотонными сводками потерь. Вот тогда многие, словно пробудившись от сладкой дремоты, стали задаваться вопросом:

– Когда же все это кончится?

Совершая свои походы в качестве добровольцев Красного Креста, мы уже не встречали в домах такого теплого приема, как раньше. Некоторые женщины, потерявшие своих мужей и сыновей, откровенно говорили нам:

– Мы ничего не дадим вам! У нас самих не на что жить! Скажите им, пусть они нам помогают!

Однажды столичные газеты в провинцию не пришли, и их место тотчас же заняли слухи. Кто-то сказал, что произошла революция. Первыми, кто исчез с глаз долой, были полицейские. На улицу они могли выходить, только надев поверх своей формы гражданскую одежду. Все городские службы стали разваливаться, власть, кажется, перестала функционировать. Потом газеты принесли весть об отречении царя.

Гомель старался идти в ногу со временем. На площадях

оркестры играли «Марсельезу». Молодые люди маршировали по улицам с ружьями и красными нарукавными повязками с буквами «ДМ», что означало: «Добровольная милиция».

В школе некоторые ребята тоже появились с красными повязками. Завуч попытался их во что бы то ни стало снять, ссылаясь на то, что это «нарушение школьных правил», но скоро он отказался от своих попыток. Это, как ничто другое, показало нам, что происходят действительно важные перемены.

Как обычно, состоялся еженедельный парад городского гарнизона, но на этот раз командир был с красной розеткой в петлице, а оркестр вместо «Боже царя храни» играл революционный гимн – «Марсельезу». Войска принесли присягу Временному правительству, и какой-то говорливый господин произнес пламенную речь о необходимости защиты нашей свободы от «тевтонов». В завершение своей речи он провозгласил лозунг в честь продолжения войны до победного конца.

Однако вскоре я узнал, что были и другие точки зрения. Появились странные новые газеты. Мы слышали названия политических партий, которые были нам раньше совсем неизвестны. Город был просто переполнен новыми идеями, которые доходили с севера. Рабочие и солдаты гарнизона создали Совет, большинство членов которого были социал-демократами.

Учащиеся старших классов нашей школы тоже захотели создать свой Совет и потребовать смягчения школьных правил. Но по-настоящему интересным практически для всех нас было решение создать молодежный центр с библиотекой и читальным залом. Именно в этой связи я впервые познакомился с «живым большевиком». В то время это слово звучало как ругательство. Считалось, что эти «большевики» являются опасными вражескими элементами, которые приехали в Россию через Германию с согласия Кайзера. Они выступали против продолжения войны до победного конца, – против той самой непримиримой войны, о которой мы так много говорили. Во время дискуссии о финансировании нашей библиотеки студент-большевик по фамилии Модель заявил, что деньги распределялись несправедливо. В читальном зале не было газеты «Правда», органа большевистской партии! Его голос был заглушен выкриками: «Поганый ленинец, вышвырнуть его вон!». Но он стоял на своем, требуя голосования, и добился не только его проведения, но и победы в нем. В нашем читальном зале появилась «Правда». Его смелость произвела на меня впечатление, а имя Ленина засело в памяти.

Местные власти готовились выдавать населению карточки, и для этой работы потребовался способный парень. Я стремился к

большей самостоятельности и взялся за эту работу. Кроме того, я подрабатывал тем, что рубил дрова. К концу дня мои руки были покрыты волдырями, но я неплохо зарабатывал. Вскоре мои накопления достигли фантастической суммы в пятьдесят рублей. Что мне было делать с такими деньгами? Наиболее интересной перспективой было посмотреть мир. После чтения книг я мечтал о Ниагарском водопаде и заснеженных сопках Аляски. Но революция, к сожалению, не давала возможности реализовать на практике эту мечту.

– Но, может быть, можно посетить водопады Иматры в Финляндии? – не сдавался я. – По пути туда я могу увидеть большие города, Москву и Петербург…

Моя мать, работавшая медсестрой в железнодорожном госпитале, сумела получить для меня, что было почти невероятным, бесплатные каникулярные билеты, и я отправился в путешествие по охваченной революционной смутой России.

В это рискованное путешествие я отбыл, имея с собой смену белья, несколько плюшек и яблок, которые в последний момент сунула мне мать. В поезде я удобно устроился на верхней полке вагона. Моими спутниками были солдаты и матросы, которые много курили и непрерывно играли в карты. Оглядываясь сейчас на это время, я прихожу к выводу, что этот поезд действительно отражал подлинный дух революции. На каждой остановке в наш забитый до отказа вагон втискивались новые пассажиры. Даже в туалетах постоянно находилось по четыре-пять человек. Что же касается проходов и тамбуров, там было невозможно протиснуться. Все окна были выбиты, и люди влезали в вагон через них буквально по головам. Помню, как два дюжих солдата сильно, но не грубо прижали меня к стене и спокойно уселись на мое место. Обижаться на этот поступок не приходилось, поскольку в одночасье можно было оказаться на полу. Все непрерывно говорили, пихали друг друга локтями, курили невообразимо крепкую махорку.

Я попытался протиснуться в следующее купе, но там было еще хуже. Шесть несчастных офицеров провели в нем все путешествие в осаде яростной толпы. Единственное положительное, что можно сказать о моем купе, так это то, что мы сами не ссорились между собой.

Когда я приехал в Москву, то узнал, что некоторые люди, в основном солдаты, весь путь проделали на крышах вагонов. Они загорели, покрылись сажей и угольной пылью. Два солдата, как я узнал, погибли, так как не успели пригнуться, когда поезд проходил под мостом.

Москва показалась мне огромным и грязным Вавилоном.

Каждый перекресток представлял собой дискуссионный клуб. На каждом углу в руки совали листовки. Стоило поднять глаза, и взгляд упирался в огромный политический плакат, вывешенный какой-нибудь политической партией. На каждой площади шли митинги, где солдаты, студенты, рабочие и горожане яростно спорили на темы дня. Казалось, что вся работа прекращена и люди ходят с митинга на митинг. Везде слышались неизвестные мне ранее слова: «буржуазия», «пролетариат», «империалисты».

Политические страсти были накалены до предела, и нередко уличная дискуссия заканчивалась потасовкой. Это возбуждение было заразительным. Никто не делал перерыва на обед, достаточно было просто, не прекращая дискуссии, пожевать извлеченный из грязного кармана кусок хлеба. Кругом бегали дети, которыми никто не занимался. Словом, Москва представляла собой огромный зал, где происходило впечатляющее праздничное представление.

Я остановился у подруги моей матери. Ее муж, железнодорожник, был большевиком и говорил о Временном правительстве Керенского с неприкрытой ненавистью.

– Политики еще не насытились кровью, – цедил сквозь зубы, лицо его при этом принимало угрожающее выражение. – Если спекулянты и капиталисты хотят «окончательной победы», то пусть идут и добывают ее своими жизнями, своей кровью.

Он говорил со злостью, пересыпая свою речь фразами из большевистских газет. Сила его ненависти поразила меня.

Но я, в конце концов, приехал в Москву на каникулы. Главное для меня было хорошо погулять, а не ввязываться в политическую драчку, к которой я практически не имел никакого отношения. Потому я в тот же день пошел осматривать известные памятники, о которых так много читал. Помнится, в один из дней я провел все время в Третьяковской галерее, где меня глубоко потрясла знаменитая картина Репина, на которой изображен Иван Грозный, обнимающий убитого им сына.

Путешествие в Петербург было как две капли воды похоже на поездку в Москву. Но я был вознагражден тем, что увидел еще один великий город России. Несмотря на ее ухоженность, я был поражен красотой его архитектуры, широтой проспектов. Единственное, что меня разочаровало, так это конная статуя Петра, давящего змею. Этот памятник был знаком мне по поэме Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Я всегда представлял его себе как величественный монумент. На самом же деле он выглядел менее внушительно, чем можно было ожидать судя по стихам.

Насмотревшись достопримечательностей, я нанес визиты

своим родственникам. Двоюродные братья встретили меня очень хорошо, предложили показать город, но неожиданно один из них выпалил:

– Твой бедный папа! Как это ужасно!

О каком ужасе они говорили? Тетя поспешила объяснить. Мой старший брат Николай был убит на румынском фронте. Осталась его вдова с ребенком. Это для меня был еще один суровый урок войны. Смысл войны становился мне все более понятным.

Следующим пунктом моего путешествия был Виипури в Финляндии. Сама Россия имеет черты и Европы и Азии, но Виипури чисто европейский город. Выглядит он довольно строго, невероятно чистым, с фасадами из серого гранита. Огромный вокзал был залит светом, большие хрустальные люстры ярко освещали белоснежные скатерти в ресторане. В обращении все еще были серебряные монеты. В России они уже давно исчезли и были заменены купонами с портретом царя. Спокойная жизнь в Финляндии была для меня разительным контрастом. Закон о воинской повинности к финнам не применялся. Людей эта война не задевала, и они не проявляли к ней ни малейшего интереса.

Водопады Иматры не оправдали моих ожиданий. Воображение рисовало что-то более грандиозное, чем тот бурлящий поток, ниспадавший к железному мосту, на котором я стоял. Мне еще предстояло усвоить, что настоящая сила не всегда очевидна.

Деньги мои были на исходе, и я заторопился в Петербург, чтобы сесть на поезд, идущий в Гомель. На одной из станций я встретился с женским батальоном, который вскоре должен был стать основной защитой Временного правительства против большевиков. Солдаты из нашего поезда смотрели на этих безбородых вояк, которые несли службу с опереточной тщательностью, откровенно враждебно. А женщины старались не замечать грубых ругательств, которые висели в воздухе вокруг них.

Вернулся я в Гомель без особых приключений, если не считать мелкой кражи. В один из вечеров я лег спать голодным, размышляя, истратить ли мне оставшиеся последние копейки на газету или на булочку. Но утром я обнаружил, что мой кошелек исчез, а с ним и моя проблема. Мне стало жалко вора, который должен был испытать еще большее разочарование, чем я, но весь последний день моего путешествия я ехал голодный. Когда приехал в Гомель, я испытывал такое чувство голода, что всю дорогу до дома бежал, чтобы побыстрее проглотить хоть самый маленький кусочек хлеба. О большем и не думалось.

И снова настали будни. Мне срочно нужно было найти работу до конца лета, и я присоединился к артели лесорубов.

– Платить не будем, – сказали мне, – будешь работать за харчи. – Это было в моем положении не так уж и плохо.

Мы поднялись на лодке вверх по течению реки Сожь, добрались до леса и построили себе жилище. И тут началась настоящая работа. Артель работала в три смены. Каждый день мы должны были выполнять определенную норму. Сначала у нас уходило на это по десять часов. К концу смены наши руки были в кровавых мозолях. Постепенно мы привыкли к тяжелой работе и укладывались с выполнением норм уже в шесть часов.

Деревья с массивными кронами падали под ударами наших топоров с шумом, напоминающим морской прибой, их густая листва была пропитана запахом сока. После окончания смены я часто гулял по окрестностям со своим другом, а молодые рабочие ходили в соседнюю деревню к девушкам, нередко они возвращались с исцарапанными лицами или с синяками под глазами.

Мой друг постоянно звал меня поехать с ним в Киев. Он предлагал пробраться зайцем на какой-нибудь пароход и таким образом добраться в этот замечательный город. Так мы и поступили, но в пути совершили глупость, сойдя с пассажирами на одной из промежуточных остановок. Попасть снова на пароход мы уже не смогли. К счастью, у нас там не осталось никаких вещей.

И вот в Лоеве, где Сожь впадает в Днепр, мы нашли баржу, команда которой готова была взять нас собой. Капитаном баржи был веселый старый крестьянин, который постоянно подшучивал над нашей молодостью и худобой.

– Возьму вас грузчиками, – проворчал он в свою густую бороду.

– Хорошо, вот только доедем до места, там увидите, на что мы способны, – заверили мы.

Прибыв в Киев, мы стали разгружать мешки с мукой. Какими же дьявольски тяжелыми они были! Покрытые от головы до пят мукой, мы походили на привидений, к тому же чуть не надорвались. Я никогда до этого не испытывал такой усталости. Сначала другие грузчики встретили нас враждебно, но наше дружелюбие постепенно расположило их.

В юные годы мне приходилось делать всякую работу. Из портового грузчика я превратился в портного, ремонтировал старые грязные гимнастерки, потом выполнял мелкую конторскую работу в муниципалитете. И все это время я не прекращал учебы. Я постоянно готовил себя к занятиям в школе,

мои знания соответствовали программам, но повезло мне с неожиданной для меня стороны. Так как мой отец был учителем, меня бесплатно приняли в киевскую гимназию.

После свержения царя движение украинских националистов, которое раньше подвергалось преследованиям, открыто вышло на политическую сцену. Входившие в это движение партии стали формировать по всей Украине комитеты, которые захватывали власть. Постепенно Москва утратила здесь всякий контроль за обстановкой. К осени 1917 года Украина образовала свое националистическое правительство, что фактически означало независимость. Оно было известно под названием Рада, и ее первым президентом был писатель Винченко. Позже его заменил Симон Петлюра, бывший одним из помощников Винченко.

Рада определила Киев столицей Украины. Но благодаря колониальной политике прежнего режима в Киеве, как и в любом крупном городе на Украине, подавляющее большинство составляло русское население. Рабочие симпатизировали большевикам и отвергали Раду. Чиновники, богатые русские купцы и промышленники надеялись, что контрреволюция восстановит «единую и неделимую Россию» и разделается с сепаратистскими республиками. Значительная часть средних слоев общества и русской интеллигенции выступала против Рады, поскольку ее политика «украинизации» ставила их в неустойчивое положение – людей с урезанными правами.

На нас снова накатила революционная волна. Как-то в один из дней ноября 1917 года, когда мы сидели в классе, вдруг послышалось гудение самолета и звуки выстрелов. Нам эти звуки еще были недостаточно знакомы. После уроков мы увидели, что возбужденные люди собираются на улицах группами. Новости распространялись по городу подобно электрическим импульсам.

«Большевики подняли восстание с целью установления в Киеве советской власти. Они захватили Арсенал… Войска Украинской Рады окружают их… В Петрограде два немецких агента Ленин и Троцкий попытались поднять мятеж и создать какое-то правительство… Керенский подтягивает в пригороды войска… Через несколько дней порядок будет восстановлен…»

Такие слухи доходили до Киева в дни, когда большевики захватили власть в Петрограде. Попытка же местных большевиков захватить Арсенал не удалась, но обстановка оставалась напряженной. Муниципальные служащие, к которым я принадлежал, объявили забастовку, и это движение «белых воротничков» было предметом многих шуток. Рада отчаянно пыталась создать армию гайдамаков (украинские казаки). Была придумана им даже импровизированная военная форма, в основе

которой была традиционная сельская одежда – широкие казацкие шаровары и папаха, украшенная желто-голубыми лентами. Нам, мальчишкам, очень нравился этот военный маскарад. Но один из моих друзей постоянно отпускал саркастические замечания по поводу этой новой формы. Это был серьезный юноша с густой шевелюрой. Он охотно и, надо сказать, без особого сопротивления с моей стороны стал просвещать меня в политическом плане. Фамилия его была Левин, и тогда я еще не знал, что он был членом большевистской организации.

Нашествие

С наступлением зимы жить стало труднее. В России большевики уже три месяца были у власти. Со дня на день мы ожидали сообщения о их свержении. Троцкий вел переговоры в Брест-Литовске. Мы, молодежь, заинтересованно обсуждали эту ситуацию. Она казалась нам очень странной. Русская революция сильно осложнила положение правительства Рады на Украине, где, особенно в восточных индустриальных районах, сильно было влияние большевиков. Большевики-шахтеры Донбасса подняли восстание и стали создавать свои вооруженные отряды. В Киеве рабочие открыто говорили о свержении Рады и создании советского правительства.

В городе постоянно бастовала какая-нибудь из фабрик, однако в середине января 1918 года неожиданно замер весь город. Рада опубликовала сообщение о том, что гайдамаки успешно сдержали натиск красных частей. Но были и прямо противоположные слухи о том, что они вовсю пятятся под натиском красных, которые быстро наступают из Донбасса. И снова киевские большевики подняли мятеж в Арсенале. Восстание быстро распространилось на весь город. Из некоторых замечаний Левина я понял, что большевики пытаются расчистить путь для наступающей Красной Армии.

Заслышав стрельбу, мы сразу же высыпали на улицу. Визг пуль и их барабанная дробь по кирпичной кладке заставляла нас вжиматься в стены. Неожиданно на улице мне встретилась моя квартирная хозяйка. Она плакала:

– Где же Василий Петрович? – причитала она, ища у меня утешения.

Ее муж работал на заводе «Арсенал», и он, как обычно вечером, не пришел домой. Не придет он и завтра и послезавтра, и вообще она его больше, как я узнаю, никогда не увидит…

Между тем всему ученые киевские домохозяйки начали наклеивать на стекла в окнах своих домов бумажные полоски, чтобы они не разлетелись от залпов орудий. Кругом свистели пули, хотя никто не знал, откуда они прилетали и кто их посылал. Это не мешало людям собираться толпами перед булочными. Прошел слух, что на соседней улице вооруженные люди грабят дома. В ту ночь все свои двери забаррикадировали. Была установлена система караулов. Прежде чем впустить человека в дом, его внимательнейшим образом рассматривали через глазок. Лишь только после этого, к примеру, пара пожилых людей из нашего дома, вооруженных старинными револьверами,

производивших смешное зрелище, чуть-чуть приоткрывали дверь, лишь настолько, чтобы человек мог протиснуться в образовавшуюся щель, и пускали его в дом.

На пятый день стрельба в городе как по мановению волшебной палочки прекратилась. Неожиданная тишина была странной и пугающей. Я слышал, как кто-то сказал:

– Большевиков разбили!

Мы снова вышли на разведку в город. На ближайшем перекрестке лежало несколько лошадей с распоротыми животами. На тротуаре мы увидели первый труп человека. Это был молодой солдат с позеленевшим лицом и размозженной головой, мозги его разлетелись по асфальту. Кто-то стащил с него сапоги, и его босые посиневшие ступни были ужасны. Мы, испытывая дрожь, стороной обошли его.

Около вокзала увидели несколько брошенных грузовиков. Дети карабкались на них в поисках патронов и малокалиберных снарядов, из которых они добывали порох для фейерверков. Устройство самодельных фейерверков было одной из любимых забав мальчишек, которые стаями бродили с раннего утра и до позднего вечера по улицам города.

Моя домохозяйка вернулась с лицом, опухшим от слез. На «Арсенале» было убито полторы тысячи рабочих. Рабочие кварталы были в трауре. Через несколько дней на противоположном берегу Днепра снова заговорили пушки. Части Красной Армии под командованием Муравьева неотвратимо приближались к Киеву. Рабочие «Арсенала», как вскоре стало всем ясно, поспешили с восстанием на одну неделю. Через шесть дней они могли бы взять город без кровопролития. Я помню, как одна женщина зашла к нам в дом и сказала:

– Петлюровцы бежали!

Мы знали, что учитель Симон Петлюра, ярый националист, возглавлял Украинскую Раду. Его правительство с остатками войск бежало к австрийской границе. Им пришлось так много и часто перемещаться, что они заслужили прозвище «правительства на колесах».

– Пойдем посмотрим, пришли ли красные, – предложил я Левину.

На Крещатике, главной улице Киева, толпа, состоявшая главным образом из рабочих, бурлила в неясном ожидании чего-то, что вот-вот должно было бы случиться. И вот вдали послышался стук копыт. Вскоре появился эскадрон кавалеристов без каких-то знаков различия, в обычных серых шинелях, в которых ходили солдаты всех армий. Они въехали на главную площадь, а затем неожиданно отступили. За ними последовал

броневик с двумя пулеметами. Он остановился посреди площади, и из него выскочили два загорелых парня с красными нарукавными повязками.

– Красные! Красные!.. – Их окружила толпа.

Какая-то женщина причитала:

– Вы знаете, что случилось в «Арсенале»? Расстрелять их всех надо!

Прискакали еще конники, и вокруг пьедестала статуи возник импровизированный митинг. Бородатый мужчина без головного убора, с мужественным лицом взобрался на пьедестал и начал выкрикивать фразы, которые находили живой отклик в сердцах собравшихся.

– Товарищи, Киев освобожден Красной Армией и отрядами восставших рабочих и крестьян. Товарищи, советская власть несет вам… Если мы хотим избавиться от бедности, несправедливости и войны, – продолжал он – нам нужно только сделать одну вещь – ликвидировать частную собственность.

«В таком случае, – подумалось мне, – я с большевиками». Меня охватило чувство триумфа, что я понял главную идею. Все выглядело так просто. Нам нужно было только бороться с теми, кто не хотел, чтобы трудящиеся переделали мир.

Но народная власть в Киеве простояла недолго. Снова в городе хозяйничали немцы. Однажды ночью мы были разбужены ударами приклада в дверь. Мы с Левиным застыли в напряженном ожидании.

– Открывай! – послышался приказ.

Левин быстро засунул свои брошюры под кровать. Я открыл дверь, и в комнату вломился украинский жандарм с двумя немецкими солдатами.

– Что вам надо?

– Молчать! Вы арестованы.

Нас привели в лукьяновские казармы, где временно содержались «неблагонадежные». Когда шел рядом с Левиным между двумя солдатами, я был взволнован. Меня охватило чувство товарищеской солидарности со всеми, кто поднялся вместе с нами на борьбу за лучший и счастливый мир.

Нам никто не сказал, почему нас арестовали, но, очевидно, это был чей-то донос. Нас бросили в концлагерь, охраняемый немецкими солдатами, и мы получали в немецкой полевой кухне свой ежедневный рацион из куска черного хлеба и кружки суррогатного кофе. Целые дни мы валялись на соломенных матрасах и не имели ни малейшего представления о том, сколько времени нам придется тут провести.

Левин рассказывал мне о ссыльных революционерах и как

они бежали из сибирской ссылки.

– Даже тысячекилометровые расстояния не могли остановить их, – рассказывал он с огромным воодушевлением.

Но в нашей небольшой «сибири» нам надо было только перелезть через стену, пробежать по нескольким грядкам – и мы были бы недосягаемы. Я обратил на это внимание Левина, но он не проявил энтузиазма.

– Нет, – ответил он. – У нас есть шанс, что нас скоро выпустят, а если мы попытаемся бежать, то можем только попасть из огня в полымя.

Мне уже надоело наше монотонное существование. Только беседы с Левиным как-то его скрашивали. Однажды я заметил, что во время раздачи кофе все часовые собирались в одном углу двора, а другая сторона оставалась без охраны. И так повторялось изо дня в день. Я решил рискнуть. Поделился своим планом с Левиным, но он опять проявил нерешительность.

– Давай подождем еще немного и посмотрим, что будет.

– Нет, – ответил я. – С меня плена довольно. Я бегу. Пусть будет, что будет…

В тот же день, около семи часов вечера, когда охранники пошли за кофе, я сумел встать в самом начале очереди. Протянув свою кружку, я дождался, когда охранник плеснет в нее немного грязноватой жидкости. Затем не спеша пошел на другую сторону караульного помещения. Зайдя за угол, я бросил кружку и пустился бежать. Дорога была свободной. Я быстро добежал до стены, окружавшей казарму. Раньше я приметил место, где кирпичи были сколоты и по ним можно было, упираясь на выбоины, перелезть через стену. Оглянуться я не решался. Как только я вставил ногу в расщелину и сделал первый шаг, как за спиной у меня раздался оглушительный выстрел. В ужасе я оглянулся и увидел толстого немецкого солдата, вышедшего из-за угла караулки. Но я уже крепко ухватился за забор и не собирался отступать. Я подтянулся вверх, кирпичи крошились у меня под ногами. Продолжая карабкаться на стену, я слышал, как немец перезарядил свою винтовку. Мои ногти были сорваны до крови, но я уже взобрался наверх. Через мгновение буду за стеной, но я не решался посмотреть в сторону солдата. И у меня уже не было времени для прощального оскорбления, которое я так предвкушал. Неожиданно прогремел еще один выстрел, и в тот же самый момент я свалился в кусты по другую сторону стены, полагая, что убит. Но я даже не был ранен. Вскочив, как угорелый побежал через огороды, перепрыгивая через заборы, и вскоре оказался на улице. Только тут я почувствовал себя в безопасности.

К ночи я укрылся в пригородном доме у своего товарища и старался не высовываться на улицу. Но, по всей видимости, мой побег не слишком обеспокоил тюремщиков – у них были более важные дела. На следующий день отпустили Левина. Он был очень напуган и за себя и за меня.

– Когда я услышал выстрел, – сказал он, – я подумал, что тебе конец.

– Мне тоже так подумалось, – ответил я, и оба мы рассмеялись.

Скитания

Я не испытывал никакого желания снова попасть под арест и, поскольку у меня не было особых причин оставаться в Киеве, решил уехать из города. Последующие события не сохранились в моей памяти. Я намеревался добраться до города Черкассы, где жил мой дядя. К несчастью, еще находясь в товарном вагоне, я заболел, и у меня начался горячечный бред. Высокая температура совершенно истощила меня; я то дрожал от холода, то задыхался от жары. Какой-то добрый крестьянин сумел понять из моего бреда, куда я направлялся; когда мы подъехали к станции, он высадил меня, погрузил на телегу и отвез в дом дяди Петра.

Когда ко мне вернулось сознание, я подумал, что я в раю. На самом деле это была больница в маленьком неприметном городке. Палата, в которой я лежал, была покрашена в белый цвет. Открытое окно выходило в сад на цветник. Пожилая медсестра в белом халате всегда была поблизости с чашкой киселя. Я узнал, что у меня был приступ «испанки», от которой в 1918 году умерло очень много людей.

Тем временем педантичные по своей натуре немцы ввели повсеместно беспощадную, методичную систему реквизиций. Трагический случай произошел в деревне Виски, где жил дядя Петр. Несколько немецких солдат, проводивших реквизицию, были разоружены и избиты. Немецкий комендант приказал арестовать десять крестьян и наложил большой штраф на всю деревню. На следующий день был убит немецкий часовой. Немцы провели повальные обыски и в нескольких сараях нашли обрезы; немедленно они арестовали еще десяток молодых парней и всех расстреляли. Группа молодых крестьян напала на именье баронессы Вранницкой, которое немцы возвратили ей, подожгли дом коменданта, а затем в упор расстреляли выскакивавших из горящего дома немцев. Было убито два десятка солдат и один офицер.

Я не принимал в этом участия, но оставаться в деревне становилось опасно. Ко мне тут давно относились с подозрением, а я уже знал, что это такое – оказаться бельмом на глазу у властей. Пару недель назад дядя послал меня на сахарный завод за сахаром. Завод стоял недалеко от железной дороги в нескольких километрах от деревни Виски. Я был в зале ожидания, когда станционный колокол зазвонил, объявляя отправление поезда. Одна женщина, сгибаясь под тяжестью узлов и таща за руку маленькую девочку, побежала на платформу. Но выход на нее охранялся жандармом, который грубо оттолкнул женщину

Девочка упала и расплакалась, а женщина пыталась уговорить жандарма пропустить ее к поезду, который уже начал медленно двигаться. Я поднял с пола девочку и сказал матери:

– Ну что с ним говорить, видите, какой это хам.

Едва я успел произнести эти слова, как получил страшный удар плоской поверхностью шашки по голове и сам упал на пол. А жандарм, грубо выругавшись, вышел на платформу. Я как сейчас вижу себя, ползающим по полу и собирающим голубоватые куски сахара, испачканные кровью, капавшей из моей разбитой головы.

Старый крестьянин, ждавший меня у вокзала с подводой, спросил, что случилось, но я ничего ему не ответил. Несмотря на боль и обиду, я старался сохранять спокойствие. Я знал, что мне надо помалкивать, если я не хочу угодить в тюрьму.

Этот инцидент вместе с тем, что произошло в Киеве, делал меня «опасным элементом». Теперь, когда мы жили практически в состоянии осады, это могло мне вылезти боком. Однажды дядя Петр сказал:

– Тебе лучше сматываться отсюда. Я боюсь, что немцы могут расстрелять всех, кто им не нравится.

В ту же ночь вместе с двумя соседскими ребятами я покинул деревню Виски. Пройдя пешком через лес, мы вышли на берег Днепра и там расстались. Мои спутники собирались присоединиться к атаману Мазуренко, который поднимал крестьян на борьбу с гетманом, а я решил вернуться в Киев. Я шел пешком вдоль берега Днепра, ночуя на бахчах и питаясь арбузами и дынями. Через десять дней я был в Киеве.

В городе было намного спокойнее, хотя периодически на улицах происходили вооруженные стычки. Я сумел найти себе работу репетитора у дочери одного доктора с монархическими убеждениями. Его надежды рассыпались в прах, когда он узнал из газет, в которых публиковались сообщения из Германии, о развале всех фронтов, о заключении перемирия, о бегстве Кайзера и о революции. Украину захлестнула волна крестьянских волнений. Разрозненные банды под командованием местных атаманов приближались к Киеву. Перед лицом крестьянского восстания немцы начали отступать. С запада приближалась армия Рады.

К декабрю 1918 года под властью гетмана оставалось лишь нескольких деревень в окрестностях осажденного Киева. Именно в это время я второй раз в своей жизни увидел гетмана. Как-то я проходил мимо собора Святого Владимира. Перед ним стояло около полутора десятков гробов, покрытых флагами Российской империи. Был выставлен почетный караул из офицеров, одетых в форму царской армии. Верхом на лошади подъехал гетман,

одетый в такую же форму офицера царской армии. В то время националистические желто-голубые символы абсолютно исчезли.

«Вот и закончился весь этот украинский балаган», – подумал я, увидев такие разительные перемены в облике военных. Несколько зевак наблюдали за церемонией издалека, но никто не приветствовал гетмана. Войска были малочисленны и выглядели устало – не очень внушительное зрелище.

Была сделана попытка поднять боевой дух этого воинства, состоявшего наполовину из студентов и офицеров, когда пришло сообщение о высадке французов в Одессе. Реакция, цепляясь за соломинку, спешно переориентировала свои симпатии с охваченной революцией Германии на победоносных союзников.

Немецкие солдаты стали создавать советы и требовать немедленного возвращения домой. Их хваленая дисциплина бесследно испарилась. Немецкое верховное командование стало спешно эвакуировать недовольные части. В последний день эвакуации гетман Скоропадский, переодетый в женское платье, был на носилках вынесен из дворца. Ему удалось бежать из Киева с последним эшелоном.

Гул орудийной канонады, который стал привычным за последние недели, наконец стих. Остатки гетмановских войск отошли к центру города, побросали свои винтовки и разбежались. В городе не осталось ни одного немецкого солдата, и на этом гетмановское государство приказало долго жить. На следующий день в город вернулся Петлюра, и снова Рада стала контролировать положение в Киеве.

Рано утром в мою комнату ворвался Левин:

– Они идут!

– Кто? – сонно спросил я.

– Идем, увидишь.

Я наспех оделся, и мы выбежали на пригорок, с которого открывался вид на Бабиковский бульвар. Я ожидал увидеть кавалерийские эскадроны в украинской форме, но с удивлением увидел тысячи саней и подвод, на которых двигались взбунтовавшиеся крестьяне. Толпа крестьян смешалась с солдатами без каких-либо знаков различия. Многие были опоясаны крест-накрест пулеметными лентами, за поясом у многих были гранаты. Эта толпа была вооружена самым невообразимым оружием от мушкетов до примитивных пик. На некоторых крестьянских повозках были установлены пулеметы. В толпе было немало женщин и детей, они маршировали под звуки аккордеона и пели песни. Среди флагов, которые несла толпа, было намного больше красных флагов, чем желто-голубых. Наблюдая, как этот людской поток разливался по улицам Киева,

мы поняли, что это было не просто возвращение Петлюры. Это шла крестьянская революция. Левин сообщил мне:

– На левом берегу Днепра Пятаков[9] создал большевистское правительство. Надо пробраться к ним. Там наше место. Ты идешь?..

– Еще бы! – ответил я решительно.

На следующий день мы вместе с толпой сели на поезд, который, казалось, ехал, не имея какого-то определенного пункта назначения. Мы с трудом втиснулись в товарный вагон. Был сильный мороз, но если бы мы развели на полу костер, то могли задохнуться от дыма, а без огня – окоченеть от холода. Неожиданно поезд остановился. Самозваные делегаты побежали вдоль поезда с призывами:

– Граждане, машинист не поведет дальше поезд, если мы не дадим ему две бутылки водки – давайте все, что можете!

Для того чтобы пройти через петлюровские кордоны, нужно было иметь какой-то предлог. Мы, школьники, предъявили свои школьные табели и объяснили, что едем к родителям, которые ждут нас по ту сторону приближающегося фронта. Последние сорок километров мы ехали на паровозе, который двигался в сторону фронта, как раз туда, куда все хотели ехать. Некоторые предусмотрительные люди договорились с машинистом за взятку и ехали на подножках, но я и Левин ехали на паровозном котле, одинаково страдая от холодного ветра и от жара паровоза. Наши ноги были полуотморожены, грудь исхлестана ледяным ветром, а спины обожжены паровозным котлом. Кругом простиралась бескрайняя снежная равнина. Это было ужасное путешествие.

На последней станции нас всех остановил петлюровский офицер.

– Все к чертовой матери назад, – приказал он. Нам пришлось искать другой путь по проселочным дорогам, проходящим вдали от передовой. Нам удалось присоединиться к группе мелких торговцев, которые тоже пытались пересечь линию фронта и возвратиться в свою деревню. Мы ехали с ними на санях по безлюдным дорогам. На пятый день мы проехали Чернигов и оказались совсем близко от расположения красных. Все были очень напряжены, и вдруг кто-то крикнул: «Солдаты!»

К нам галопом приближалась группа молодых парней, вооруженных, но в гражданской одежде.

– Сдавай оружие! – закричал один из них. – Все, у кого будет найдено оружие, будут расстреляны.

Оружия у нас не было. Они быстро осмотрели наш багаж, но обыскивать никого не стали.

– Кто вы? – спросил один из нас.

– Красные партизаны.

Части регулярной Красной Армии были еще далеко. Встретились мы с ними лишь 31 декабря в хорошо знакомом мне Гомеле. Молодой парень в кожаной тужурке долго изучал мои документы, и они, похоже, его ни в чем не убедили. Вдруг он взглянул на меня:

– Александр!

Это был мой старый школьный друг Модель, который когда-то так добивался, чтобы в нашей библиотеке была газета «Правда».

«Боже мой, – подумал я, – а ведь с тех пор прошло только полтора года!.. А сколько перемен, сколько всего видано – перевидано».

Модель, надо сказать, быстро продвигался в среде большевиков, но когда я однажды лет через пятнадцать встретил его на московской улице, выглядел он усталым и испуганным.

– Чем ты теперь занимаешься? – спросил я его.

– Просто стараюсь выжить, – ответил он. – Меня исключили из партии за то, что я принадлежал к оппозиции, лишили работы. Заходи ко мне, и я все тебе расскажу.

Он дал мне свой адрес, но когда я через несколько дней зашел к нему, мне открыла дверь насмерть перепуганная женщина, которая сказала, что она ничего не знает и ничем не может помочь. Я больше не стал задавать ей вопросов. Шел 1935 год.

Гражданская война

По прибытии в Гомель я побежал прямо к матери домой, надеясь встретить с ней Новый год, но мне открыл дверь незнакомый человек. Мать уехала и оставила для меня письмо. Из письма я узнал, что теперь она работала в госпитале в ста пятидесяти километрах к северу. Узнал я и то, что летом умер мой отец. Я поехал навестить свою мачеху, которая сильно постарела и была в состоянии подавленности. Дом разваливался, крыльцо сломано, потолок в потеках, на когда-то безукоризненной кухне там и тут валялась неубранная посуда. Как всегда, мачеха старалась шутить со мной, но смех ее был вымученным. Мне нечем было ее утешить. Побыв с ней совсем немного, я ушел в тоскливом настроении.

С этого момента начались для меня годы беспорядочных скитаний, войны и всякого рода приключений. Советский военком поручил мне отвезти через линию фронта сообщение в Киев. Поскольку я хорошо знал этот район и говорил по-украински, это не было связано с большим риском. Линию фронта я пересек, спрятавшись в поезде, забитом репатриировавшимися немецкими военнопленными. Если бы не их печка, я бы тогда совсем окоченел.

В Киев я попал за две недели до его взятия большевиками, когда Петлюра со своей Радой снова бежал. Небольшая армия под командованием Антонова-Овсеенко, состоявшая из донецких шахтеров и харьковских рабочих, в феврале 1919 года захватила город и установила власть всеукраинского советского правительства во главе с Г. Л. Пятаковым. Но советская власть пока существовала только в городах, в то время как банды крестьян под водительством своих атаманов контролировали сельские районы. Петлюровцы подняли восстание на Подоле, а поляки – в Коростене, находящемся в сотне километров от Киева. Атаманы Струг, Зеленый, Соколовский и другие убивали в деревнях евреев; Махно и Григорьев собирали войско анархистов; генерал Деникин начинал наступление на юге. Таково было положение советской власти на Украине, когда сюда приехал Христиан Раковский, чтобы взять все в свои руки.

В этой сложной обстановке я рассуждал просто. Пока советская власть находится в опасности и на нашу страну со всех сторон идут враги, я не могу продолжать свою учебу. Значит, я должен защищать эту власть с винтовкой в руках. Я решил записаться добровольцем в Красную Армию и обратился с заявлением к коменданту Киева. Он отнесся ко мне с симпатией и

приказал своему секретарю принять меня.

– Ты член партии? – спросил он меня перед уходом. – Надо вступить в партию. Красной Армии нужны сознательные борцы. Как член партии ты будешь вдвойне полезен.

Вечером я рассказал Левину, что вступил в Красную Армию, и повторил ему слова комиссара, сказанные мне на прощанье.

– Комиссар абсолютно прав, – ответил Левин. – Тебе надо немедленно вступать в партию большевиков. Ты уже работал на советскую власть, а теперь будешь драться за нее на фронте. Во время кризиса никто не может оставаться в стороне. Ты должен идти с нами до конца. Я буду рекомендовать тебя Киевскому партийному комитету.

В этот период процедура вступления в партию большевиков была довольно сложной. Сначала надо было пройти две предварительные стадии, каждая продолжительностью шесть месяцев. На первой стадии человек считался «сочувствующим», а на второй «кандидатом». Только успешно пройдя эти стадии, человек мог стать полноправным членом партии.

Левин привел меня к секретарю Киевской партийной организации Михаилу Черному. В комнате, заполненной клубами табачного дыма, я увидел веселого человека с высоким лбом и вьющимися волосами, одетого в вышитую сорочку. Несколько мгновений он смотрел на меня улыбаясь, а потом сказал:

– Поскольку ты дважды ходил через линию фронта с заданиями советской власти, я приму тебя без обычных формальностей. И помни, большевик – это прежде всего боец, потом он агитатор, и, в-третьих, он постоянно должен быть примером.

Так я стал большевиком![10] Я гордился оказанным мне доверием. Гордился тем, что был нужен революции. Я чувствовал, что был на пороге новой жизни, захватывающей и опасной.

Перед расставанием Черный крепко пожал мне руку. Больше я с ним не встречался. Когда армия генерала Деникина захватила город, Черный остался в городе для подпольной работы. Когда его схватили, он мужественно вел себя перед судом военного трибунала, приговорившего его к повешению.

В Красной Армии я был направлен в специальный учебный батальон. Нам сказали, что вскоре мы будем отправлены в полк, который должен будет подавлять крестьянские бунты. В моем сознании такие карательные акции плохо согласовывались с лозунгом, который был прибит на дверях военного комиссариата: «Мир хижинам, война дворцам». «Но мы должны быть реалистами, – сказал я себе. – Как мы можем позволить крестьянским контрреволюционерам убивать евреев, морить

голодом города, терпеть разгул бандитизма и убийств, творимых полусотней разномастных банд?!»

Наш батальон располагался в пансионе благородных девиц. До нашего прихода революция как-то обходила этот приют стороной. Отрезанные от своих родителей, девочки по-прежнему жили под присмотром пожилых классных дам, как будто в мире ничего и не случилось. Наш комиссар в поисках жилья для нас наткнулся на этот маленький тихий островок, оставшийся от старого режима, и решил реквизировать его. Но аргументы директрисы, которая объяснила, что девочкам просто некуда пойти, возымели действие. Был достигнут компромисс: воспитанницы переберутся на два верхних этажа, а мы расположимся на первом. Во время наших строевых занятий, которые проходили во дворе, из раскрытых окон второго этажа нередко доносились звуки клавесина. Иногда мы видели, как девушки, одетые в пелеринки с кружевными воротничками, парами шли на прогулку. Сначала они с негодованием отворачивались от дружески подмигивавших им солдат. Немного привыкнув, они собирались небольшими группками и наблюдали за нами. Перед нашим отъездом некоторые из девушек уже решались разговаривать с нами, в том числе и о свиданиях. Природа без труда преодолевала дистанцию между молодыми солдатами революции в грубых ботинках и этими утонченными молодыми аристократками.

Члены партии были распределены в полки, состоявшие из обычных призывников. Наш партийный долг заключался в том, чтобы создать в них надежный костяк. В учебном батальоне я пробыл недолго и вместе с несколькими своими товарищами был направлен в полк, недавно сформированный из крестьян Поволжья. Их должны были направить к югу от Киева, для борьбы с бандами, но перспектива воевать у себя на Украине не вызывала у них особого энтузиазма.

Я получил боевое крещение в схватке с бандами атаманов Струга и Зеленого. Нашей операцией руководил большевик Скрыпник. Перед нами была поставлена задача взять в кольцо район Триполья. За два месяца до этого банда атамана Зеленого захватила здесь врасплох отряд молодых коммунистов и перебила всех. Молодые солдаты расположились группами на ночлег в хатках, когда тачанки Зеленого ворвались в село. Пленников выстроили на высоком берегу Днепра и скосили пулеметным огнем.

При нашем приближении Зеленый отступил к Днепру и перенес свою ставку из Василькова в Триполье. В брошенном штабе мы нашли некоторые документы и прокламации с его

подписью. Листовки и прокламации призывали освободить «родную мать-Украину» и перерезать горло всем евреям и коммунистам.

Первый бой начался, когда я еще не видел противника, и это было не столько страшно, сколько трудно. Когда я услышал свист пуль вокруг, то меня больше всего заботило, чтобы кто-то не заподозрил меня в том, что я испугался. Нам приказали рыть окопы штыками и голыми руками. В окопах ночью мы страдали от холода, а днем от жары и жажды. Четыре дня мы были на передовой без какого-то систематического питания. Мы так оголодали, что, несмотря на разрозненный ружейный огонь, ползали кормиться на гороховое поле, лежавшее в нейтральной полосе. Нас можно было выгнать оттуда лишь градом пуль. Ничто, из того, что мне раньше довелось пробовать, не казалось таким вкусным, как этот недоступный горох.

На рассвете пятого дня был дан сигнал общего наступления, и мы побежали вперед, не встречая сопротивления. Очевидно, противник бежал. Неожиданно я увидел, как один из моих товарищей спрыгнул в глубокую канаву, шедшую вдоль дороги, и побежал назад. Тут же я услышал чей-то крик: «Смотрите! Конница!». В нашу сторону быстро двигалось облако пыли. В ожидании атаки пришлось залечь в канаве.

Присмотревшись к облаку пыли, я пришел к выводу, что это была не конница, а табун овец, двигавшийся в нашем направлении. В то время у меня еще не было ни одной нашивки, но вид солдат, бегущих от стада баранов, так возмутил меня, что я выскочил на дорогу и, размахивая руками, стал орать на солдат, словно был офицером. Пришлось даже сделать несколько выстрелов из винтовки поверх голов бегущих.

– Назад в строй, трусы! – орал я. – Всех перестреляю!

Мне удалось вытащить на дорогу моих друзей, коммунистов, и вместе мы остановили бегство солдат. Собрав около роты, я принял на себя командование и сумел восстановить боевой порядок. К тому времени, когда подошел наш командир, мы уже опять были похожи на боевой отряд.

Тогда я не понимал, что мне удалось сделать очень важную вещь, как и не понимал того, что едва не попал под расстрел.

Случилось так, что вскоре после этого инцидента на нас было совершено нападение неприятеля. Выглядели мы в этом «сражении» не очень здорово. По итогам боя было проведено расследование, в ходе которого комиссия установила, что некоторые подразделения, подвергшиеся нападению, позволили противнику прорвать окружение. В результате нарушения связи моя рота оказалась совсем не там, где ей надлежало быть.

Скрыпник, который был импульсивен до иррациональности, отдал приказ: «Расстрелять коммунистов в назидание другим». На это мой командир ответил, что в нашей роте два коммуниста показали очень хороший пример и сумели выправить положение.

– Хорошо, – решил Скрыпник. – Мы их повысим, сделаем комиссарами.

Так случилось, что я стал комиссаром батальона![11]

Наконец мы заняли Триполье и нашли там только женщин, детей и несколько стариков. Все молодые попрятались. Нигде не осталось не только коров или кур, но даже куска хлеба. Все съедобное было искусно спрятано. Мы поняли, что нам надо убедить крестьян в том, что красные не мародеры, они в состоянии за все заплатить. С этой целью командование отдало приказ о расстреле мародеров. Несколько грабителей было расстреляно, один из них за то, что украл поросенка. Но больше всего крестьян успокоил наш вид. Моя способность говорить с ними по-украински убедила их дать нам хлеба и яиц из своих запасов. Появилось даже несколько кур, и мы поняли, что доверие к нам восстановлено.

Но это счастливое состояние было разрушено в один момент, когда командование отдало приказ под угрозой сурового наказания о мобилизации в трехдневный срок всех лиц призывного возраста. У штаба собралась толпа разъяренных женщин, которые кричали:

– Не дадим своих мужиков! Мы их никогда не увидим! Если хотите их пострелять, то сначала найдите их!

Женщины были готовы разорвать нас на куски, и командир батальона обещал сделать все возможное, чтобы отменить приказ о мобилизации.

Присутствуя как-то на совещании комиссаров в здании украинского ЦК партии в Киеве, я впервые увидел Христиана Раковского[12]. Это был еще совсем молодой человек с проницательными, улыбающимися глазами, энергичным лицом. Он, как я убедился, обладал удивительным ораторским даром. Как глава советского правительства, на Украине он был душой и сердцем всего региона, разрываемого внутренней борьбой, находящегося в состоянии, близком к хаосу и полному коллапсу.

В наших глазах Х. Раковский пользовался авторитетом и как старый лидер румынского социалистического движения, который совершил побег из ясской тюрьмы и присоединился к нашей революции. Он говорил нам, что обстановка в мире внушает надежду. Во всех странах Европы нарастает революционное движение. Однако непосредственная обстановка вокруг нас была угрожающей. Петлюра и Деникин наступали на Киев во главе

численно превосходящих войск, а сельская местность была под контролем атаманов.

На следующий день, когда я вернулся на фронт, наш полк уже отступал под натиском петлюровцев. Под командованием члена Киевского военного совета Павлова мы пытались закрепиться на южной окраине города. Но с востока приближался Деникин, и 30 августа 1919 года мы оставили Киев, чтобы не попасть в окружение. Нам пришлось укрыться в лесах к северу от города.

Павлов был хорошим солдатом, который никогда не терял присутствия духа, как ни плоха была бы ситуация. Он был тем человеком, который всегда спасал то, что можно спасти в обстановке, казалось бы, неизбежного поражения. Я вижу его стоящим на обочине и наблюдающим марш наших полков, от которых осталось всего несколько сотен человек.

– Надо перегруппироваться, – вот все, что можно было от него услышать.

В 1927 году Павлов был советником у Чан Кайши и утонул в реке во время тяжелого отступления на юге Китая. От сотрудников его штаба я узнал, что молодой командир 44-й дивизии Якир, попавший в окружение под Одессой, прорвал кольцо белых и с боями продвигался на север к нам на выручку.

Находясь в гуще этих событий, я приобрел такой богатый и разнообразный опыт, что если описывать его подробно, то эта глава заполнит всю мою книгу.

Сначала была одна очень деликатная миссия в деревне. Мой полк должен был выделить три команды для обеспечения реквизиций продовольствия у крестьян. Каждая команда состояла из комиссара и четырех солдат. Первой отправилась команда под командованием очень горячего грузина… и не вернулась. Очевидно, все были убиты. Вторая вернулась, но без оружия, получив серьезную трепку в деревне. Моя команда отправилась последней. Мы вошли в деревню ясной лунной ночью. Стройные силуэты двух церквей выделялись на фоне звездного неба. На стук в дверь одной из хат вышел глубокий старик.

– Какая у вас тут власть? – спросил я.

– Власть? Слава богу, никакой власти, – ответил он с лукавством. – У нас хорошо и без власти.

Утром я объявил общее собрание жителей деревни. Пришли только женщины. Я сообщил им, что мы нуждаемся в продовольствии и крестьянам не стоит доводить до отчаяния полк численностью в восемьсот человек, расположившийся менее чем в сорока километрах от деревни. Я добавил, что если они подойдут к этому честно, то мы удовлетворимся очень малым и

не будем заходить в дома. Каждая семья должна внести свою равную с другими долю. На все полученное будут выданы расписки. Принудительной реквизиции не будет…

Я напряженно ждал реакции на мое обращение. Деревня возбужденно загудела, я видел, как крестьянки уходили в лес, но возвращались оттуда ни с чем. Я подумал, что моя дипломатия не удалась, но решил подождать еще сутки. Наконец появилась старушка с мешком картошки, двумя буханками хлеба и маленьким мешочком муки. Я вытащил записную книжку, записал туда все принесенные продукты и спросил ее имя. От удивления она выпучила глаза, и когда шла домой, то как флаг несла перед собой мою расписку.

По деревне быстро распространилась новость о том, что я не собирался грабить деревню, как делали другие, и к обеду продукты стали поступать непрерывным потоком. Общая «добыча» превысила все мои ожидания. Одна за другой крестьянки приносили картофель, хлеб и муку. Одна из женщин сказала мне: «Старики хотят поговорить с вами. Сегодня они придут в мою хату на чашку чаю». Конечно, подумал я, это может быть ловушкой, но решил идти один и так, чтобы не было видно оружия. Наша беседа затянулась далеко за полночь, и я ушел, получив их благословение. Единственная моя заслуга заключалась в том, что, вместо того чтобы пугать их, я объяснял им нашу позицию.

В полку уже не надеялись увидеть меня живым и готовились к маршу, когда я появился с тридцатью подводами продовольствия. Встретили меня и моих товарищей восторженными криками, поскольку запасы продовольствия практически истощились. Командир полка рассматривал добычу уперев руки в бока; единственное, что он мог выговорить: «Будь я проклят!».

Вскоре после моего повышения у меня возникла проблема. Как батальонный комиссар, я, как и командир батальона, получал жалованье в 3000 рублей. Когда я получил эту сумму в первый раз, то, как молодой коммунист, почувствовал себя очень неловко. Как я могу пользоваться такой привилегией, когда рядовой боец получал 150 рублей? Я без труда убедил своих товарищей-коммунистов, что мы должны публично отказаться от такой привилегии. Комиссар бригады, однако, подверг нас критике за то, что мы поставили под сомнение политику партии в отношении специалистов.

– Подождите, – сказал он нам, – вот когда мы подготовим кадры офицеров-коммунистов и поставим социализм на прочную основу, тогда мы введем равенство.

– Увы!

Это маленькое недоразумение, – которое быстро сгладилось, поскольку одного только упоминания «партийной дисциплины» было достаточно для того, чтобы преодолеть наши сомнения, – не помешало моему повышению до комиссара полка. Это был новый полк, сформированный из остатков трех полков, расформированных после оставления Киева. Некоторые бойцы были из частей Якира, который присоединился к нам, – но в каком состоянии! Два из каждых трех бойцов были без сапог и одеты в лохмотья. Несмотря на то, что на мою долю выпали меньшие испытания, я тоже, хотя имел высокий служебный ранг, выглядел не лучше. Мои сапоги почти развалились, сквозь дыры в брюках выглядывали колени, а гимнастерка совсем потеряла свой цвет, если он когда-то у нее был. Я выглядел под стать своему полку.

В ходе многомесячных боев и отступления по лесам к северу от Киева наша дивизия потеряла половину своего состава, и командование отдало приказ о нашей передислокации в Центральную Россию для переформирования.

К этому времени служба комиссаром в боевой части показала, что в чисто военных вопросах я был полным профаном. Как раз в это время верховный главнокомандующий Красной Армии Троцкий дал указание о подборе кандидатов для подготовки их в качестве офицеров-коммунистов. Таким способом он пытался преодолеть недостатки системы «двойного командования» и разделения власти между комиссарами и «старыми» офицерами. Эта двойственность, как я уже говорил, возникла в силу необходимости осуществления партийного контроля за бывшими офицерами царской армии, а с другой стороны, для оказания им поддержки со стороны лиц, обличенных доверием партии. Троцкий считал, что, когда в Красной Армии появятся свои хорошо подготовленные офицеры, институт комиссаров отомрет и будет восстановлено единоначалие, столь необходимое для эффективного управления войсками[13].

Призыв Троцкого нашел у меня положительный отклик. Я имел достаточный опыт комиссарской работы, чтобы понять недостатки системы двойного командования. Я попросил освободить меня от обязанностей комиссара и направил рапорт в школу красных командиров. Армейский комиссар поддержал мою просьбу.

Теперь мне предстояло новое путешествие, на этот раз на барже вверх по Днепру. Мне в жизни пришлось испытать немало неудобств, но те ночи, которые я провел на барже, на мой взгляд,

максимально приблизили меня к аду. Трюм баржи, где только и можно было укрыться от холода, был наполнен, как мешок горохом, вшами, клопами и блохами. Стоило лишь немного задремать, как ты сразу просыпался от нестерпимого зуда во всем теле, с головы до ног, причиняемого полчищами набросившихся насекомых. Как сумасшедший я выскакивал на палубу и видел, что вся моя одежда была буквально покрыта ползущими тварями.

В полночь баржа приставала к берегу. Разводился костер, и все, от повара до командира, раздевшись догола, прыгали вокруг костра и трясли над огнем свою одежду, чтобы избавиться от паразитов, которые, падая в костер, весело потрескивали. К концу путешествия я был практически болен.

По странному стечению обстоятельств моим пунктом назначения снова оказался Гомель, так как Минская пехотная школа, куда я был направлен, была перебазирована туда из-за приближения польских войск. Я ожидал встречи с матерью, но не особенно стремился к этому, потому что она написала мне на фронт очень плохое письмо. Вместо того чтобы гордиться сыном, который воевал в Красной Армии и уже стал комиссаром, она бранила меня.

– Перестань валять дурака, – писала она, – возвращайся домой. Оба твоих брата погибли. Разве этого недостаточно? Погибнешь ни за что, а я останусь совсем без поддержки. Ты должен хоть немного подумать обо мне…

Я горячо ответил ей, что оба моих брата погибли на службе империалистов, в несправедливой войне, а если я пролью свою кровь, то это будет в Красной Армии рабочих и крестьян, которая воюет за освобождение всех угнетенных в мире. Если меня настигнет смерть, моя жизнь будет отдана за светлое будущее. Я просил ее понять меня и перейти на сторону революции.

Мне было в то время всего девятнадцать лет.

Красные курсанты

Сильно потрепанный военный эшелон еще не скрылся из виду, а я уже вышел на привокзальную площадь Гомеля. Я шел по площади в отличном настроении и весело насвистывал. У меня не было никакого багажа, даже рюкзака или смены белья. На мне была кожаная куртка, а на поясе револьвер. На фуражке была пятиконечная звезда; в кармане несколько керенок, которые стоили в два раза меньше номинала; в моем бумажнике был клочок бумаги с разрешением на поступление в Школу пехотных командиров рабоче-крестьянской Красной Армии. Это было все, чем я в тот момент располагал.

Но у меня было будущее – конечно, если меня не остановит какая-нибудь шальная пуля. Если это случится, то я отдам свою жизнь за дело революции. Как хорошо не быть во власти событий, а иметь в жизни единственную цель – завоевание мира для пролетариата. Многие молодые люди, как я, могут погибнуть, прежде чем будет достигнута эта победа, но каждый из нас должен отдать этому все свои силы.

По узкой грязной улице я подошел к дому, где жила моя мать. Я постучал в дверь, но никто не отозвался. Соседи рассказали мне, что мать работает медсестрой в военном госпитале, который недавно куда-то уехал. Таким образом, я ее не увидел, но у меня не было времени сожалеть об этом.

Школа пехотных командиров располагалась в просторном здании, которое раньше принадлежало духовной семинарии. Я был изумлен и восхищен чистотой и порядком. Настоящие кровати с настоящими простынями! Для меня это значило очень много, потому что я знал, что значит – год не менять белья. Стены классов были увешаны плакатами с изображением различного вооружения; в казарме стояли пирамиды с тщательно почищенным и смазанным оружием; часовые у входа были чисто одеты и подтянуты, они сильно отличались от тех солдат, к виду которых я привык.

После бани и стрижки наголо я, переодевшись в новую форму, с удовлетворением отметил изменения в своей внешности. Кроме того, я получил учебники по таким предметам, как тактика и топография, а также несколько воинских уставов.

Большинство моих воспоминаний об этой школе положительны. Несмотря на хаотическую обстановку, несмотря на то, что школа располагалась в маленьком, осажденном с трех сторон городе, который держался лишь потому, что в стане противника не было единства, несмотря на всеобщую нехватку

предметов первой необходимости, она хорошо делала свое дело в обстановке спокойной уверенности.

Окруженный лесами Гомель находится в западной части России и имеет население около восьмидесяти тысяч человек. Значительную часть его составляли мелкие еврейские торговцы, а также ремесленники, которые почти ничего не производили. Большинство рабочих были заняты на деревообрабатывающих предприятиях, на спичечной фабрике или в железнодорожных мастерских. На карте Гомель выглядел как небольшое вкрапление между двумя фронтами – Деникина с востока и юга и польского генерала Халлера на западе.

Оборонительные позиции красных в этом регионе были редки и уязвимы. Верховное командование Красной Армии сосредоточило основные войска на направлениях, ведущих к Москве и Петрограду. Наши позиции удерживались небольшим количеством войск измотанной и деморализованной 12-й армии. Перед поляками было большое искушение – опрокинуть эти голодные и утратившие боевой дух части и взять Гомель. Нашим единственным утешением являлось то, что поляки были не заинтересованы в успехе царских генералов, которые воевали за «единую и неделимую Россию» и в силу этого стояли против независимости Польши. Именно поэтому Деникин направил свои ударные казацкие части на северо-восток к Москве и не оказывал необходимой поддержки Халлеру на западе. Зажатые между этими враждебными силами, мы, четыре сотни курсантов, получили таким образом передышку, которую использовали для изучения основ военного искусства и подготовки к боевым действиям с теми и другими.

Для успешного функционирования школы командованию необходимо было затрачивать огромную энергию, проявлять большой такт и изобретательность. Преподавательский состав состоял из офицеров старого режима, которые в глубине души, вероятно, осуждали большевиков и, естественно, обладали совсем другим менталитетом, чем слушатели, которых им приходилось учить. Лишь обращение к их профессиональной гордости и чувству долга побудило их пойти на эту службу. Троцкий при поддержке Ленина успешно реализовывал свою заветную мечту – создать с помощью профессиональных военных Красную Армию. Этот план в отдельных случаях был связан с предательством и тяжелыми поражениями, но их было не так много. Что действительно заслуживало внимания, так это храбрость и преданность, проявленные представителями старого офицерского корпуса.

Очень медленно, но царские офицеры переходили на сторону

Красной Армии. Легче всего этот процесс объединения с большевиками шел у тех, кто происходил из среднего сословия и выдвинулся в годы мировой войны. Вначале эти офицеры скептически наблюдали за попытками Троцкого реорганизовать российскую армию. Но теперь они были убеждены в решимости красных. Троцкий показал им, что если они будут помогать ему, то он поддержит их авторитет в глазах солдатской массы. И если эти офицеры, можно сказать, не горели желанием воевать бок о бок с большевиками, то, по меньшей мере, они были уже готовы защищать свою страну, красную или белую, от поляков.

Начальником нашей школы был офицер императорской гвардии Ряжский, который гордился нашим бравым видом, хотя довольно скептически относился к поставленной перед ним задаче, которая заключалась в том, чтобы за шесть месяцев превратить молодых рабочих и крестьян в командиров. Со своими закрученными вверх усами, с горящим взглядом, в русской гимнастерке и сапогах, он выглядел почти карикатурой на императорского гвардейца. Он совсем не кичился своим прошлым, но и не скрывал иронии по поводу новой власти. Но в работе он был великолепен и, похоже, был счастлив, поскольку ему удавалось командовать своими курсантами более четко, чем народные комиссары командовали республикой.

Ему было придано в помощники двое коммунистов. Оба были очень полезными людьми, один в силу своего ума, а другой в силу широкого политического кругозора.

Политической подготовкой курсантов занимался Гайстер, впоследствии он занимал много ответственных постов и в конце концов стал заместителем директора Центрального статистического управления[14]. Его напарником был комиссар Михаил Иванович Блухов, который являл собой яркий пример человека твердых революционных убеждений.

Блухов был высокого роста, но его успехи на военном поприще никоим образом не связывались с его ростом, тут большую роль играл его курносый нос. В силу этого пикантного обстоятельства он был призван в Павловский императорский гвардейский полк, названный в честь императора Павла I и укомплектованный исключительно солдатами и офицерами с курносыми, как у покойного императора, носами. В революционные дни 1917 года Павловский полк оказался в Петрограде, и курносому Блухову посчастливилось услышать знаменитое выступление Ленина с балкона, которое раз и навсегда сделало его сторонником большевиков.

Большие классные комнаты были заполнены курсантами. Среди них было несколько коммунистов, но большую часть

составляли выходцы из окрестных деревень. Это были здоровые и крепкие крестьянские парни, которые ничего не знали о военной тактике и еще меньше о большевизме. Но большевики обещали сделать из них офицеров – неслыханное дело для крестьян, выросших в рамках сословной империи. Они с удовольствием пошли учиться, хотя будущее представлялось им довольно туманным.

Было также несколько молодых рабочих, направленных на учебу партийными организациями гомельских фабрик. В политическом плане они были лучше подкованы, чем крестьяне. Учились и рядовые солдаты, отобранные в частях Красной Армии на фронте. Наконец, среди курсантов затесались несколько гимназистов из среднего класса и интеллигенции, которые выбрали этот путь вопреки воле родителей. В ходе учебы эта разномастная публика превращалась в сплоченный, энергичный и сознательный коллектив. Крестьяне привносили свое здоровье и силу, рабочие – сообразительность и сознательность, солдаты – военный опыт, а интеллигенты помогали всем другим в новом для них деле – учебе.

Мы жили в больших и чистых спальнях, где все содержалось в идеальном порядке. Зима в этих краях очень сурова, и температура по нескольку дней подряд могла быть пятнадцать градусов ниже нуля. В наших комнатах вода замерзала в ведрах. Дров не хватало. С большим трудом нам удавалось доставлять дрова по заснеженной дороге из леса. Но иногда мы находили где-нибудь на окраине заброшенный дом и тут же разбирали его на дрова. К счастью, командование позаботилось о нашей одежде. У нас были шинели, сапоги и шерстяное белье. Часто мы спали одетыми, даже в меховых шапках. Если кто-то из товарищей был на дежурстве, то мы укрывались еще и их матрасами.

Наш рацион – лучшее, чем можно было обеспечить в то время, – состоял из черного хлеба, тошнотворно сладкой мерзлой картошки и через день тарелки селедочного супа. Жиров в нашей диете не было, так как все, что имелось, шло в госпитали и детские дома. Время от времени крестьянских сыновей навещали их отцы или братья. Растроганные сердечным приемом начальства, которое не считало для себя зазорным встретиться с ними, они после этого возвращались с подарками «для ребят» в виде масла и яиц. Гостеприимство себя оправдывало! В этих случаях мы специально топили печь и устраивали пир. Мороженая картошка сдабривалась маслом, тонкими полосками соленого сала или колечками из яиц. Ни один французский повар, наверное, не проявлял столько изобретательности в украшении блюд, как это делали мы со своими жалкими

кусочками.

Наш день начинался в пять часов утра и длился до поздней ночи. Первые недели были по-настоящему трудными и для курсантов и для преподавателей. Крестьянские парни едва умели читать и писать и с недоумением смотрели на диаграммы и математические формулы на классной доске. Преподаватель начинал объяснять какой-то вопрос из области артиллерии и обнаруживал, что ему надо сначала научить своих слушателей элементарным правилам арифметики. Прежде чем они начнут разбираться в азах топографии, им нужно было познакомится с элементарной географией и черчением. Преподаватель, который объяснял действие оружейных механизмов, сначала должен был научить слушателей аккуратности, чтобы они не потеряли мелкие детали.

Я помню то рвение, с которым молодые крестьянские и рабочие парни старались постичь основы военной тактики. Эта готовность служила хорошим стимулятором для перегруженных и часто скептически настроенных преподавателей: их настроение постепенно менялось от равнодушия к активной заинтересованности. Вскоре учебный процесс медленно, но уверенно стал набирать темп.

После занятий в классах мы выходили во двор, где по два-три часа занимались на морозе. Городских жителей это удивляло, потому что настоящей строевой подготовкой после революции никто не занимался. Жители привыкли к виду апатичных солдат, возвращавшихся с фронта. Теперь же вид крепких, хорошо одетых солдат, которые лихо выполняли ружейные приемы или четко маршировали по улицам, поднимал настроение всему городу. В конце концов, все было не так уж плохо.

Иногда по утрам мы проводили стрельбы, и после утомительных строевых занятий это было почти приятным развлечением. Наши инструктора выработали отличную систему: если курсант хорошо стрелял, то ему разрешалось раньше вернуться в казарму, пока суп еще был горячим. С учетом такого поощрения я быстро стал таким же хорошим стрелком, как и курсантом, что, впрочем, было не так уж трудно при моем среднем образовании. Когда в конце дня, после занятий на воздухе, мы строем и с песней возвращались в казарму, жители города приветствовали нас. Они считали нас своими и гордились нашей выправкой.

Помимо чисто военных дисциплин мы занимались и политическим образованием. Для проведения политзанятий местный комитет партии посылал к нам своих наиболее грамотных пропагандистов. Доморощенные марксисты помогали

нам изучать программу партии, принципы организации советской власти и некоторые элементарные положения марксистской теории. Обладая некоторым опытом политработы, я часто помогал преподавателям. В то время нам не хватало всего, но книг было в избытке. Типографии в Москве и Петрограде работали без остановки, и вслед за Красной Армией шли вагоны с партийной литературой. Курсанты очень быстро усваивали идеи большевиков. В конце концов, они сами были прекрасной иллюстрацией того, как Ленин и Троцкий строили мир, который принадлежал трудящимся. Если прежде их ждала только тяжелая скучная работа, то теперь они готовились стать командирами.

Однажды в комнату, где я чистил винтовку, вошел комиссар Блухов.

– Александр, – сказал он, – сегодня ты будешь обвинителем Ленина и Троцкого.

– Обвинять Ленина и Троцкого! – воскликнул я, вскочив от негодования. – Что вы имеете в виду?

– Это то, чего от нас хочет Москва, – сказал он с хитрецой в глазах. – Это новый метод обучения. Мы все говорим и говорим на занятиях, и курсанты к этому привыкают. Но мы должны научить их спорить и отстаивать свою точку зрения. Мы должны сделать из них политических бойцов партии и армии. Сегодня ты будешь нападать на Ленина и Троцкого, как если бы ты был одновременно монархистом, меньшевиком и сторонником Керенского. Мы инсценируем суд и посмотрим, как курсанты будут защищать большевиков.

И вот в тот вечер я взял на себя роль прокурора. Комиссар выступал в качестве судьи, а курсанты в роли присяжных. Я повторил все хорошо знакомые обвинения в адрес большевиков. И прежде всего то, что они были платными немецкими агентами, направленными в Россию сеять смуту. Были они виноваты и в Гражданской войне, на их совести тысячи загубленных жизней, и в том, что не хватает продуктов, и во многих других грехах.

Сначала этот спектакль развеселил курсантов, но по мере того как я входил в роль обвинителя, курсанты забеспокоились. Один крестьянский паренек заерзал на месте, а потом вдруг вскочил и выкрикнул:

– Это ложь! Ленин и Троцкий за народ. Мы им верим. Во всем этом виноваты белые.

К нему присоединились другие студенты, которые, кажется, забыли, что это всего лишь инсценировка. Они вскочили с мест и стали выкрикивать свои доводы на мои обвинения. В какой-то момент мне показалось, что спектакль выходит из-под контроля, и я с беспокойством посмотрел на комиссара. Но он, забыв про

свой судейский молоток, с восхищением наблюдал за курсантами, которые вдруг превратились в революционных агитаторов.

Мероприятие закончилось полным успехом. Все зрители единогласно признали Ленина и Троцкого невиновными, и я, с облегчением сложив себя бремя обвинителя, голосовал вместе со всеми. Мы тогда не могли предполагать, что однажды большевик по имени Сталин – нам в то время совершенно неизвестный – выдвинет обвинение в шпионаже в пользу Германии против всех лидеров революции и воспользуется нашим невинным учебным примером для массового убийства.

В то немногое свободное время, которое оставалось у нас от занятий, мы выполняли свой долг советских граждан. Как солдаты Красной Армии мы имели все гражданские права и активно участвовали в политической жизни города. Городской Совет, несмотря на осадное положение Гомеля, не прекращал своей работы. Наша школа направила в Совет трех делегатов. Вместе с нашим комиссаром и еще одним беспартийным офицером курсанты избрали меня. В Совете я работал в составе мандатной комиссии.

Подавляющее большинство депутатов Совета было большевиками, но кроме них в Совете было несколько рабочих-меньшевиков и членов еврейского Бунда. На сессиях обсуждалось очень много вопросов. Мы обсуждали нехватку продовольствия и положение на фронтах. Большевики открыто критиковали недостатки; меньшевики поддерживали критику, но во всем винили советскую власть.

Вскоре руководители большевиков в Совете получили указание Москвы исключить меньшевиков из Совета как врагов революции. Эстер Фрумкина, которая в то время была лидером Бунда, выступила с резким протестом против этого покушения на демократию трудящихся[15]. В те дни я не совсем хорошо понимал происходящее. Мне казалось, что это было несправедливо по отношению к избравшим их рабочим. Но нам было сказано, что таково было решение партии. Меньшевики с достоинством удалились, не подозревая, что их партия была запрещена окончательно. Теперь я с сожалением думаю, как поздно человек начинает в полной мере понимать то, что делается в пылу политической борьбы.

Первоначально в нашей школе была небольшая коммунистическая ячейка, не более двенадцати человек. Партийный комитет Гомеля использовал нас для ведения пропагандистской работы на фабриках с целью поднятия морального духа рабочих. Мы и в школе должны были показывать

пример. Мы прилагали много усилий, чтобы быть в числе лучших в учебе, а также помогать в политическом образовании беспартийных товарищей. Это была большая работа, поскольку в школе было около четырехсот человек, которым надо было разъяснить идеи большевизма. Однако лавинообразное развитие событий быстро увеличило численность нашей ячейки.

Зима 1919 года стала самым опасным периодом для молодой республики. Вооруженная английским оружием армия Юденича двигалась на Петроград. Добровольческая армия генерала Деникина, заняв Орел и большую часть Украины, продвигалась к Туле и Москве. Генерал Миллер с помощью англичан и американцев захватил Архангельск и пытался продвинуться к Вологде. Адмирал Колчак угрожал Уралу и Волге. Уинстон Черчилль провозгласил крестовый поход четырнадцати государств против большевизма, и блокада Антанты медленно затягивала петлю голода на шее России.

В этот тяжелый момент ЦК решил объявить призыв в партию. Это была хорошая идея. Тех, кто вступал в партию в момент, когда мог рассчитывать скорее на виселицу или пулю от белых, чем на правительственную должность от красных, можно было считать вполне искренними. Партийный комитет мобилизовал всех членов нашей ячейки на эту работу. Это был первый случай, когда мне пришлось выступать на большом собрании.

Собрание проводилось в кинотеатре. Когда мне предложили выйти на авансцену и обратиться к полному залу, внимательно смотревшему на меня сквозь клубы табачного дыма, я пришел в ужас. Я пытался овладеть собой, засунув руки в карманы. Красная Армия повсеместно отступала, но я сравнил ее с пружиной, которая развернется тем сильнее, чем больше ее сжать. Я говорил о нашей борьбе за победу. Мои усилия вначале были вознаграждены скромными аплодисментами, но мое смущение прошло, и в целом я выступил довольно хорошо.

Мы проводили эту кампанию везде: на фабриках, в конторах, госпиталях и школах. И везде мы говорили, по существу, одно и то же:

«Вступайте в партию, которая не предлагает вам никаких привилегий. Если мы победим, то построим новый мир, если потерпим поражение, то дорого отдадим свои жизни. Кто не нами, тот против нас!»

Только в нашем маленьком городе эти отчаянные усилия принесли партии пополнение в полторы тысячи человек. Наша пехотная школа стала полностью коммунистической. Наша ячейка выросла с пятнадцати до трехсот семидесяти человек. Коммунистами стали и некоторые преподаватели, бывшие

офицеры императорской гвардии. В результате этой кампании, проводившейся по всей России, была создана партия бойцов, насчитывавшая сотни тысяч, готовых победить или умереть за советскую власть. Именно тех, кто уцелел из этого поколения коммунистов, Сталин и его подручные уничтожили в 1937 и 1938 годах.

В нашем маленьком городе свирепствовали холод, голод и тиф. Местные власти принимали отчаянные усилия для поддержания жизни города, хотя иногда это казалось невозможным. Все лица призывного возраста были уже мобилизованы. Самые молодые и самые старые не получали достаточно пищи, чтобы быть в состоянии выполнять тяжелую работу, и в массовом порядке уходили в деревни. Коммунальные службы практически перестали существовать. Наша школа осталась единственной организацией, которая могла действовать в чрезвычайной обстановке.

И вот нас в любое время дня и ночи привлекали к выполнению специальных задач. Нас могли поднять ночью и в лютую стужу направить на тушение пожара в отдаленном районе города. Поскольку лошадей не было, пожарную технику приходилось тащить на руках. В других случаях нас вызывали в госпитали. Мы ничего не могли сделать для сотен умиравших из-за отсутствия питания и медикаментов, но мы могли отправиться в лес и нарубить дров, чтобы спасти их от замерзания. В этой работе мы пытались заручиться помощью крестьян; сырые дрова, которые мы заготавливали в лесу, смешивали с сухими бревнами из покинутых домов, которые они нам находили, а мы их тут же разбирали.

Иногда мы выставляли почетный караул на похоронах командира, погибшего на фронте, сопровождали тело с железнодорожной станции в помещение Совета, а затем на кладбище. Когда возникала необходимость мобилизации оставшихся жителей на разгрузку вагонов или на выполнение других работ, это тоже поручалось нам. Иногда после снегопадов железная дорога покрывалась сплошной коркой льда, и нас вызывали скалывать его, чтобы движение могло продолжаться.

Каждый день можно было видеть, как несколько оставшихся в городке лошадей совершали скорбный рейс на кладбище с останками тех, кто умер накануне. Мертвые тела лежали в ледяную стужу на ярком солнце, одетые или в нижние рубахи, или в лохмотья, – не хватало полотна, не хватало всего, и мертвых вместо гробов порой хоронили в простых ящиках. Было слишком много трупов, и осталось слишком мало живых, которые могли их похоронить. В любой момент могла наступить оттепель,

а это означало угрозу эпидемий. Периодически вся школа работала на кладбище. Мы рыли траншеи в мерзлой земле и укладывали в них останки людей, многих со следами ран, а некоторых, на удивление, сохранивших даже в смерти какую-то внешнюю чистоту.

Несмотря на эти тягостные дополнительные обязанности и нищету истощенного города, мы не падали духом и медленно, но уверенно продвигались в учебе. Мы имели дело не просто с учебным противником на классных досках. В нашей подготовке не было ничего академического. Учеба была так тесно связана с практикой, что около одной трети курсантов не дожили до окончания курса, а погибли в боях и были похоронены с воинскими почестями под тонким слоем земли. Благодаря нашей высокой организованности и дисциплине мы выполняли роль ударного подразделения, которое направлялось на самые критические участки фронта. Такова была участь курсантов по всей Советской России.

К середине Гражданской войны Троцкий сумел организовать более шестидесяти таких школ – в пять раз больше, чем существовало в царской России. Он знал цену курсантам как наиболее подготовленной и самой храброй части Красной Армии. Это были крепкие люди, они мужественно шли в контрнаступление против английских танков Юденича под Петроградом и остановили паническое бегство частей Красной Армии. Они бросались на танки, как в штыковую, и хотя сотни из них погибали, другим удавалось вспарывать тонкую броню как консервную банку и добираться до экипажей. Именно курсантов бросили навстречу Врангелю, когда тот пытался прорваться к Каховке на юге Украины. За две недели кровопролитнейших боев курсанты смогли остановить и сорвать его наступление. И в 1921 году были снова курсанты, которых бросили на кронштадтский лед под огонь крепостной артиллерии с приказом прорваться любой ценой.

Нам тоже довелось хлебнуть этого. За шесть месяцев, проведенных в школе, мы четыре раза принимали участие в боевых действиях.

Уроки под огнем

Из четырехсот наших курсантов, как я уже выше говорил, сто пятьдесят погибли на «боевой практике». Из тридцати человек моего класса пятнадцать погибли за четыре месяца. Первое наше задание было особенно неприятным. Одно из подразделений на Южном фронте взбунтовалось и отказалось занять боевые позиции. Послали за нами. Мы окружили их, завязали бой, арестовали командира, комиссара и разоружили солдат. Командир, комиссар и еще несколько зачинщиков были немедленно преданы суду военного трибунала и расстреляны. Мы вернулись из этой экспедиции обозленные и без особой славы, но мы сами узнали кое-что очень важное о солдатском долге.

В другом случае возникла угроза польского наступления на город. Со стороны Речицы, лежавшей в сорока километрах к западу от Гомеля, надвигался генерал Халлер. Нас послали навстречу с задачей преградить путь полякам, но на этот раз обошлось без большой драки. Они просто проверяли нашу готовность. Мое главное воспоминание об этом эпизоде связано с тяжелейшим пешим маршем по промерзшей пустынной дороге, окаймленной по обочинам белыми березами. Меня, как бывавшего уже в боях, направили в соседнее подразделение для установления взаимодействия на левом фланге. Задача эта была сложная, к тому ж я был так измучен переходом, что засыпал на ходу Оставшись совершенно один, я брел, что называется, механически, в надежде поскорее добраться хотя бы до первого занесенного снегом поста. Этот свой поход я надолго запомнил. На этом участке, помнится, мы пробыли около десяти дней и вернулись в свое расположение лишь с небольшими потерями, так как через несколько дней польское наступление выдохлось.

В декабре 1919 года наша школа вместе с армией Якира пошла в наступление на Киев. Это было уже более серьезным делом. Якир хотел воспользоваться неудачами Деникина на московском направлении и нанести внезапный удар по Киеву, который был слабо укреплен. Он обратился за помощью к командиру 12-й армии, в составе которой мы находились. И снова понадобились курсанты. Так мы оказались под началом Якира. В ходе мощного наступления нам удалось прорвать оборону противника и достичь центра города.

На Крещатике мы получили первый опыт уличных боев. Здесь гражданская гвардия и враждебно настроенное население помогали белым, ведя огонь из окон и бросая нам на головы все, что попадалось под руки, – камни, куски металла, предметы

мебели, обливали кипятком. После ожесточенных боев мы были вынуждены отступить.

Через пару дней в районе деревни, где мы располагались, в пятнадцати километрах к западу от Киева, неожиданно появились броневики белых. Со всех сторон был открыт ружейный огонь. Пришлось отступать к небольшой речке, надеясь переправиться по льду, но он оказался слишком тонким и ломался. С большим трудом нам удалось выбраться на берег. Я пробыл в воде всего несколько минут, но мои ноги окоченели, а шинель настолько заледенела, что от нее можно было отламывать куски. Дважды я был ранен в ногу. После ранения я в полной мере ощутил отрицательный эффект нашего скудного рациона, в котором полностью отсутствовали жиры. Мои раны сами по себе не были тяжелыми, но они не заживали, и меня пришлось положить в госпиталь. Тут я увидел то, что можно было бы назвать одним из уголков ада, куда не заглядывал Данте.

Я никогда не забуду операционной с ее невыносимым запахом гниющей плоти, где на операционных столах обнаженные раненые, часто с гангреной, «демонстрировали» всевозможные увечья, которые война может нанести человеческому телу. Госпиталь был переполнен, в нем не хватало медицинского оборудования и самых элементарных медикаментов, в том числе для анестезии и дезинфекции. Вид всего этого черно-зеленого гниения произвел на меня такое страшное впечатление, что я забыл о своей боли.

В марте 1920 года Халлер неожиданным броском сумел захватить Речицу и переправиться через Днепр. Гомель был на грани падения. Уже колонны беженцев с их жалкими пожитками на тележках потянулись на восток в направлении Новозыбкова; уже местные власти двинулись вслед за ними на автомашинах. На железнодорожной станции осталась последняя надежда – бронепоезд, командиром которого был бывший матрос – фанатик революции. Неожиданно все переменилось. Прибытие в Гомель Троцкого означало, что город не будет оставлен. С ним прибыл большой штат организаторов, агитаторов и специалистов – все преисполненные решительности и готовые к бою. Но утром из окон школы мы увидели подразделения 58-й дивизии, которые отступали через город под натиском поляков. Надо сказать, что от всей дивизии осталось всего лишь несколько сотен штыков. Мы не верили своим глазам, что перед нами остатки одного из крупных соединений Красной Армии. Спустя час начальник школы подтвердил это.

– Наша линия фронта прорвана, – сказал он, собрав курсантов. Поляки продвигаются, но они пока еще не знают

действительного состояния нашей обороны. У нас есть несколько часов, чтобы закрыть брешь. Мы единственные, кто может это сделать. Подготовить роты к выступлению сегодня вечером. На рассвете мы пойдем в контратаку.

Мы спешно стали готовиться к выступлению. Осмотрели оружие, запаслись патронами. Выкатили походные кухни, на двуколки погрузили все, что могло нам понадобиться. За пару часов мы выполнили все необходимые приготовления и построились поротно в ожидании приказа. Нас напутствовал председатель Гомельского Совета. Он говорил по-солдатски сурово о том, что наш долг – продержаться несколько дней любой ценой, что республика доверила нам этот самый тяжелый участок фронта.

Наш комиссар от имени курсантов заверил, что школа удержит фронт или погибнет, но не отступит. Глядя на спокойные лица курсантов, можно было подумать, что они относятся к этим речам как к какой-то формальности. Однако то, как они дрались в течение следующей недели, показало, как серьезно они все это воспринимали. Многие из тех, кто спокойно выслушал это напутствие, из боя не вернулись.

Наша школа прибыла в назначенный район на рассвете и заняла плацдарм на Днепре на окраине Речицы. Последовавший затем бой был самым тяжелым из тех, в которых мне довелось участвовать. Мы пошли в штыковую и перебили снайперов, укрывавшихся за живой изгородью и наносивших нам ощутимые потери.

Один из старых офицеров, Казимир Томашевский, по национальности поляк, с револьвером в руке с невероятным хладнокровием повел нас в атаку, он первым перемахнул через изгородь. Это был немногословный командир. В отличие от некоторых других царских офицеров он не старался завоевать наше расположение употреблением большевистской фразеологии, и мы относились к нему с некоторым подозрением. Несколько неожиданно и без лишних слов он во время массовой кампании вступил в партию. Но он оставался таким же строгим и замкнутым офицером. Через несколько месяцев он покинул школу и отправился на фронт, где погиб под Варшавой.

В этом бою мы последовали за Томашевским через изгородь, и началась рукопашная схватка. Эта самая примитивная форма ведения войны. В каждый штыковой выпад мы вкладывали все, чему научились за несколько месяцев. Мы дрались отчаянно, но более выгодная позиция и превосходящие силы давали преимущество противнику. Наш левый фланг увяз в болоте, и под огнем мы вынуждены были отступить.

На этот раз мы сражались с ветеранами мировой войны, которые получили боевой опыт на полях Франции и Германии. Это был наш самый тяжелый бой. Из двухсот сорока курсантов полегло более сотни. И хотя наша атака захлебнулась, войска генерала Халлера не прошли. Нам говорили, что он поклялся войти в Москву, но те из нас, кто остался в живых после первого боя, говорили, что им не видать даже Гомеля. И они его не увидели.

В этом бою был убит брат комиссара Блухова. Он тоже был нашим курсантом. Я принес эту печальную весть Михаилу Ивановичу. Его серое лицо стало еще суровее.

– Прощай, братик. Ты отдал жизнь за революцию, – все, что он мог сказать. Помолчав с минуту, он продолжал обсуждать операцию.

На фронт приехал Троцкий и произнес перед нами речь. Он заражал всех своей энергией, которая особенно проявлялась у него в критических ситуациях. Положение, которое еще сутки назад было катастрофическим, с его появлением изменилось в лучшую сторону как по волшебству. На самом деле все это волшебство было естественным результатом хорошей организации, мужества и стойкости бойцов и командиров.

Долгое время я хранил среди своих бумаг копию выступления Троцкого, посвященного нашей школе и героической битве за Гомель, отпечатанного в его поезде. Эти несколько листков серой бумаги были для меня драгоценным напоминанием о моей боевой юности и школе, которая выковала из меня настоящего солдата. Интересно, нашло ли эти листки ОГПУ спустя двадцать лет среди моих вещей в Москве, и если да, то использовало ли их в качестве подтверждения моей причастности к измене Троцкого. Почему бы нет? Сейчас всякий здравый смысл выброшен за борт, вместе с исторической правдой…

Среди тех, кто, одетый в черные кожаные куртки, сопровождал Троцкого в его поездке на передовую, был молодой парнишка, на которого я тогда не обратил особого внимания. Это был сын Троцкого, впоследствии приобретший известность как Лев Седов. Тогда ему было пятнадцать лет. Я уже упоминал о нашей встрече в Париже, когда он, как и я, для Москвы был вне закона. Незадолго до его смерти мы вновь пережили с ним эти воспоминания о битве за Гомель.

Наш шестимесячный курс, который из-за участия в боях растянулся на восемь месяцев, наконец подошел к концу. За этот период неотесанные крестьянские парни, которые до этого не держали оружия в руках, стали неплохими солдатами и овладели основами тактики. Мальчишки, которые в начале обучения едва

могли держать в руках карандаш, познали тайны компаса и геометрии.

Они могли разобрать, собрать и применять пулемет, разбирались в элементарной артиллерии и фортификации. Они также научились кое-чему в области организации и командования людьми.

Несмотря на необычные условия нашего обучения, а может быть, как раз благодаря им, они стали хорошими командирами. Это беспрецедентное начинание Троцкого увенчалось успехом. Наш класс сдал выпускные экзамены, и мы получили назначения на фронт. Когда я уезжал из школы в новой военной форме, на груди у меня были красные нашивки, а на боку короткая офицерская сабля – символ военной власти.

С небольшим чемоданчиком я сел в вагон, забронированный для военнослужащих, – один из тех вагонов «с удобствами», где пассажиры спали на соломе вокруг буржуйки. Мой путь лежал в Могилев, где я должен был поступить в распоряжение 6-й армии, которой командовал Август Иванович Корк[16].

Случилось так, что наш поезд остановился на маленькой станции. Было солнечное майское утро. Я вышел из вагона, чтобы купить себе кое-что из продуктов у крестьянки, которая бегала вдоль поезда, предлагая по неимоверно высокой цене молоко, картофельные оладьи на подсолнечном масле, даже маленькие булочки с поджаренной корочкой, выпеченные в деревне, чудом избежавшей ужасов Гражданской войны и голода. И тут я столкнулся с какой-то медсестрой в накрахмаленном чепце. Оба мы замерли на месте. Это была моя мать. Чувства переполняли нас. Она торопилась к своему эшелону, который вот-вот должен был отправиться в противоположном направлении. У нас было время только сказать друг другу несколько слов и обняться. Наша встреча была столь же счастливой, сколь и неожиданной, но она все же состоялась.

Мы не взяли Варшаву

В штабе армии меня встретили с некоторым подозрением. Какую пользу мог принести командир с шестимесячной подготовкой, полученной от политкомиссаров? Такой вопрос задавали себе здесь старые офицеры, привлеченные Троцким в качестве спецов. Мне устроили экзамен, который я успешно выдержал. Еще один экзамен устроил мне комиссар. Он был более трудным, но комиссар признал, что, хотя мои познания марксизма были далеки от совершенства, не было никаких сомнений в правильности моих намерений.

Я был назначен в резервный пехотный полк под командованием бывшего унтер-офицера Ильюшенко. Ему пришлось взять двух выпускников нашей школы. Он был крупный, краснолицый человек, преисполненный чувства собственной важности. Чтобы подчеркнуть свою важность, он всегда ездил из своей квартиры в полковой и армейский штабы только на тачанке, хотя расстояние между ними не превышало нескольких сотен метров. Он с каким-то злорадным удовлетворением назначил меня последним командиром взвода последней роты, что в данном случае означало девятую роту третьего батальона. Поскольку наш полк был сформирован «по ранжиру», я обнаружил, что командую самыми низкорослыми солдатами в полку, хотя сам я был одним из самых рослых офицеров. Но если бы у меня были проблемы только с этими чисто внешними аспектами военной службы, я должен был бы считать себя вполне счастливым человеком.

Весной 1920 года Советская Россия предложила Польше мир, но Пилсудский стремился к завоеваниям «от моря до моря», то есть всех земель, которые принадлежали Польше до раздела 1772 года: Восточной Пруссии, Литвы, Белоруссии, части Украины и Латвии. В апреле он подписал соглашение с Петлюрой, которое делало последнего марионеткой в руках Польши; в течение двух недель Пилсудский разгромил две советские армейские группировки и захватил Киев.

И вот теперь командующий Западным фронтом Тухачевский планировал широкомасштабное наступление на Варшаву. Ленин рассматривал эту кампанию как начало похода Красной Армии в Европу. Троцкий, с другой стороны, возражал против выхода советских войск за национальные границы России и разгрома Польши.

Мы, разумеется, не знали о том, что происходило наверху, но чувствовали приближение каких-то событий. Каждый день к нам

поступало пополнение призывников, то есть толпа людей, из которых в срочном порядке надо было сделать солдат, достойных могучей армии. Этой армии и предстояло освободить Польшу от оков капитализма, а Германию от пут Версальского договора. Среди призывников было много дезертиров, которые месяцами и даже годами скрывались в лесах и деревнях. В связи с этим было создано несколько Чрезвычайных комиссий. Они систематически отлавливали этих дезертиров; там, где считалось необходимым, приговаривали некоторых «условно к смертной казни»[17], а там, где было возможно, применяли амнистию. Некоторые из этих дезертиров были в бегах еще со времен мировой войны и никогда в Красной Армии не служили. В наш полк прибыло несколько сотен таких дезертиров, и это послужило поводом для моего повышения по службе. Меня назначили командиром роты, которая привела бы в восторг любого театрального режиссера, если бы он захотел внести в трагедию элемент комизма.

Пополнение представляло собой невероятное сборище оборванцев всех возрастов, одетых в самую различную крестьянскую одежду, похожую одна на другую только своей изношенностью. Они прибыли обвешанные мешками, настороженно озирались по сторонам, почесывались и, судя по всему, не горели желанием отличиться на солдатском поприще.

Я подошел к ним в своей новой форме, с саблей на боку. В первый момент я с отчаянием подумал, что у меня из них никогда и ничего не получится. Однако я приказал им построиться, и они сразу же перестали быть толпой. Эта маленькая дисциплинарная мера сразу дает ощущение контроля над людьми, придает уверенности командиру. Затем я произнес краткую речь:

– Товарищи, с этого момента вы солдаты Красной Армии. Вы должны проявлять старание и соблюдать дисциплину. Я ваш командир, и мне нужны сержанты. Кто из вас имел нашивки в старой армии?

Ответом было недоверчивое молчание.

– Бывшие унтер-офицеры, два шага вперед, марш! – скомандовал тогда я.

Никто снова не шелохнулся, и я почувствовал, что мой авторитет тает на глазах. Я пошел вдоль строя, внимательно вглядываясь в лица и задавая вопросы тем, кто выглядел более «военным», чем остальные.

– Вот вы! Вы были сержантом, я вижу. Шаг вперед!

Человек вышел из строя. Я отдал ему несколько строевых команд, следя за его реакцией. Он попытался сделать вид, что не понимает, и двигался с нарочитой неуклюжестью. Я приказал ему встать в строй и попробовал еще несколько человек. Двести пар

глаз внимательно наблюдали за происходящим, не упуская ничего. Наконец я обратился к низкорослому рекруту в жалких лохмотьях. И он спас положение, признавшись, что был сержантом.

– Назначаю вас сержантом. Действуйте!

Он помог мне найти других бывших унтер-офицеров. Вскоре этот энергичный и сообразительный человек стал одним из самых ценных моих помощников.

Следующий шаг, который мне предстояло сделать, был намного труднее. Мне предстояло помыть и обмундировать моих подчиненных. На следующую среду я заказал для них городскую баню, достал нижнее белье, мыло, дезинфицирующие средства и даже новые ботинки с обмотками. Но новые гимнастерки и брюки должны были подвезти только в четверг. Не мог же я позволить им после бани снова напялить на себя завшивленные лохмотья. На войне как на войне! Когда они вышли после бани, все их лохмотья уже исчезли и им пришлось пока довольствоваться одним нижним бельем.

Одетые таким образом, они построились в колонну по четыре и с песней промаршировали по городу, стараясь быть похожими на солдат. Двести бедолаг в нижних рубахах и кальсонах во главе с офицером Красной Армии – это был для Могилева незабываемый марш. Город, где раньше находилась ставка императорской армии, отличавшийся некоторой элегантностью и в те дни, делал все возможное, чтобы сохранить прежний свой облик, но наше демонстративное шествие на виду горожан просто ошеломило всех. Самое же прескверное для меня, красного командира, было в том, что, как это бывает в подобных случаях, мои солдаты могли петь вместе только одну песню, причем не самую целомудренную. Однако поскольку эта песня воскрешала боевой дух дореволюционного периода, было бы глупо запрещать ее. И вот две сотни моих бесштанных воинов орали во весь голос слова песни, которые заставили бы покраснеть даже негра. За нами бежала толпа восхищенных беспризорников, которые старались нам подпевать, что еще больше усугубляло ситуацию.

Помимо военной подготовки я должен был дать этим экс-дезертирам элементарные политические знания и все то, что полагалось знать каждому гражданину. Свои аргументы я черпал из «Политического наставления» Крыленко [В конце первой мировой войны большевик, младший лейтенант Крыленко, был назначен Лениным и Троцким на пост верховного главнокомандующего вооруженными силами республики, поставив перед ним задачу сломить сопротивление старого Генерального штаба. Позже он стал Генеральным прокурором

республики и, наконец, занял пост министра юстиции, на котором находился до 1937 года. Каждое лето Крыленко занимался альпинизмом, и во время одного из восхождений он поднял бюст Сталина на самую высокую гору Памира. Но это не спасло его. Удостоенный многих правительственных наград за успешное проведение громких политических процессов, в 1937 году он исчез. Его преемник писал о нем в «Правде» как о презренном предателе.], которое выдавалось каждому командиру. Написанное страстно, с большим подъемом, оно являлось своего рода энциклопедией большевизма.

Я подготовил несколько лекций для своих бойцов. Однажды во время такой лекции ко мне зашел коллега, пожилой капитан, который в свободное от строевой подготовки время обычно бывал пьян.

– Кажется, очень занят? – довольно бестактно заметил он с кривой ухмылкой.

– Нет, – ответил я. – Просто вы зашли в неудачный момент.

Неудачных моментов, кстати, было у меня предостаточно. Бойцы обычно слушали меня молча, и на лицах у них была написана смертельная скука; к моему красноречию они относились так, как относятся к затяжному моросящему дождю. Приход коллеги был, честно говоря, не очень-то для меня и приятен, но я ему обрадовался. Это был прекрасный случай побыстрее завершить нудную лекцию.

В полку я близко сошелся с одним офицером, бывшим моряком, который состоял членом партии с 1918 года. По национальности он был татарин, но это не мешало нам общаться. Он был нетороплив, рассудителен, добродушен и производил впечатление человека, которому можно довериться. Последнее обстоятельство мне очень импонировало, мы даже договорились с ним найти на двоих подходящее жилье. Поселившись вместе с ним, я обнаружил, что он живет с двумя молодыми девушками, почти девочками, и все трое спят в одной постели. Доносившийся по ночам смех свидетельствовал о том, что все они прекрасно между собой ладят.

– Я подобрал их во время отступления, – сказал мне моряк, как будто такое объяснение было вполне достаточным. – Они потеряли все. Я накормил их, и они как-то привязались ко мне. Что мне было делать? Не выгонять же их на улицу.

Положение для него сильно осложнилось с приездом его жены. Как член партии она была командирована куда-то на Дальний Восток. И вот теперь она возвратилась. Любил ли он ее, сказать было трудно, но уважал, это точно. Ее твердый характер, целеустремленность, говорил он мне почти искренне, сделали из

меня человека, сумевшего понять подлинный смысл революции. Она была невысокого роста, с короткой стрижкой, ходила в мужской кепке, гимнастерке и с портфелем под мышкой – типичный облик женщины-активистки того времени.

Ничего драматического в нашем доме не произошло. Сложнейшая для него проблема «четырехугольника» была разрешена мирными средствами. Две беспризорницы стали спать вместе на полу в уголке одной из комнат, отказавшись от всяких поползновений на брачное ложе в пользу официальной жены.

Прошло уже много лет, но я до сих пор ясно вижу этот маленький «коллектив», слышу, как шушукаются две девочки, одна стройненькая, с тонкими чертами лица, а другая пухленькая, с румянцем на щеках. В то время я относился к этой ситуации со смешанным чувством. Воспитанный скорее на Диккенсе, чем на Мопассане, я относился к любви как к чему-то тайному и сокровенному. Тогда я не мог себе представить, что делает с этим Гражданская война, которая страшно упрощает все человеческие потребности.

Моим ординарцем в то время был молодой семнадцатилетний солдат по фамилии Прозоровский. Это был умный парнишка с наклонностями к искусству. Сейчас я уже не помню, почему он ушел от меня, но спустя несколько лет я встретился с ним в Москве на улице. Передо мной был элегантно одетый интересный молодой человек. Он учился в институте кинематографии и уже успел сделать себе имя, снявшись в двух фильмах: «Бэла» и «Княжна Мери». Ему хорошо удалось передать байроновский стиль героев Лермонтова. Через некоторое время я снова встретился с ним на Кавказе, где он отдыхал с женой в одном из санаториев ОГПУ. Похоже, что он делал двойную карьеру: как артист и как агент органов безопасности. Последний раз мы виделись с ним в 1935 году опять на Кавказе, в одном из курортных городов. Он был снова в компании сотрудников ОГПУ. Несколько месяцев спустя я узнал, что он покончил жизнь самоубийством. Шпиономания в стране уже набирала обороты, и ему с польской фамилией было нетрудно попасть под подозрение. Я не исключаю, что ему могли дать револьвер с одним патроном и сказать что-нибудь вроде этого:

– Сделай это сам, всем будет проще, и твои родственники не пострадают.

Жизнь в полку шла своим чередом, без особых новостей. И вот я вдруг узнаю, что к нам прибыл для прохождения дальнейшей службы мой старый знакомый, бывший павловец, комиссар Блухов. Как-то у меня с ним произошел один разговор, который определил все мое будущее, хотя тогда я об этом,

разумеется, не догадывался. Мы прочли в газетах, что командующий Красным Флотом Раскольников появился у небольшого персидского порта Энзели. Он предъявил персидским властям ультиматум по поводу захвата ими двух застрявших в Персии российских канонерок и высадил небольшой морской десант, который, судя по статьям в газете «Правда», с энтузиазмом был встречен местным населением. Мы с комиссаром Блуховым взглянули друг на друга, и нам одновременно пришла в голову замечательная идея: Красная Армия должна освободить Персию! Начать социалистическую революцию в Азии! При нашем появлении все угнетенные народы Востока поднимутся!

Может быть, мне не удастся передать читателю всю наивность нашего оптимизма, но я могу довольно точно описать ход наших рассуждений. Как, спрашивали мы себя, надо бороться с империалистическими державами? Как можно поднять народы Востока? И отвечали себе: надо изучить восточные языки и в обличье купцов проникнуть в сердце Афганистана, в Индию и там готовить национальную революцию. Подобная идея, пришедшая в голову молодому офицеру во время войны, могла показаться пустой фантазией, но так случилось, что она засела у меня довольно прочно и, как увидит читатель, направила мою жизнь в новое русло.

Настал день, когда офицеры зачитали перед строем приказы командующего Западным фронтом Тухачевского и командующего 6-й армией Корка. Приказ Тухачевского заканчивался боевым кличем: «Вперед, на Вильно, Минск и Варшаву!». Корк добавил к этому: «За освобождение рабочих и крестьян Польши! 6-я армия, вперед!». Приказы были также подписаны комиссарами Уншлихтом и Смилгой[18].

В битве за Варшаву нашими войсками командовали блестящие командиры, смелые и творческие, имевшие на своем счету не одну крупную победу. Главнокомандующий Тухачевский до революции служил в императорской гвардии. Перейдя на сторону революции, он исключительно быстро продвигался в Красной Армии, оказывал помощь Троцкому в **ее** создании и укреплении. В своих мемуарах Троцкий писал, что этот молодой стратег «проявил исключительный талант». Маршал Пилсудский, противник Тухачевского в этой кампании, писал:

«Его великолепные качества лидера навсегда оставят его в истории как генерала с очень смелыми идеями и способностью реализовать их на практике».

Пилсудскому в его кампании помогал генерал Вейган, начальник французской военной миссии в Польше. Для поляков

это было большой удачей, поскольку лучшего советника трудно было представить. Вейган сыграл очень важную роль в успехе Пилсудского. Намереваясь разгромить конницу Буденного, Пилсудский направил значительную часть своей армии на юг. Он рассчитывал быстро разгромить Буденного и перебросить свои войска к Варшаве до того, как Тухачевский начнет свое наступление. Однако 4 июля наши войска на Западном фронте пришли в движение. Польские части не выдержали натиска превосходящих сил, и Красная Армия заняла Вильно, Минск и Оссовец. Мы продвигались так быстро, что наши тылы отставали иногда на 100–120 километров. Первоначальное наступление имело такой успех, что в ряде случаев резервы начинали двигаться вперед, не дожидаясь приказа, что само по себе, конечно, было серьезным нарушением дисциплины, которое создавало путаницу.

Противник избегал соприкосновения. Население оккупированных нами территорий было настроено враждебно. Доставать продовольствие становилось все труднее. Начались перебои с подвозом снарядов. Поезда стояли в Вильно, а наши армии были растянуты вдоль дорог, ведущих к Варшаве. Возникала реальная опасность нарушения наших коммуникаций. Тем временем под Варшавой концентрировалась французская артиллерия.

Тухачевский предложил Москве приостановить наступление на рубеже Брест-Литовска для того, чтобы перегруппировать войска, подтянуть отставшие резервы и тылы. Это было очень умное предложение, но Ленин был готов рискнуть. Он надеялся, что падение Варшавы позволит сломить польское сопротивление и откроет Красной Армии путь в Европу, навстречу назревавшей в Германии революции. И в самом деле, Варшава, казалось, уже была в наших руках, мы были от нее на расстоянии 20 километров. В своих мемуарах Пилсудский писал:

«Безостановочное движение огромной армии создавало ощущение надвигающейся на нас огромной грозовой тучи, которую ничто не могло остановить».

И в этот момент Вейган нанес удар по нашим растянутым коммуникациям на левом фланге в направлении Бреста. Тухачевский рассчитывал, что Буденный, комиссаром у которого был Сталин, сможет прикрыть его оголенный фланг. Если бы это было сделано, то исход битвы за Варшаву мог быть иным. Но вместо того чтобы прийти на помощь Тухачевскому, Буденный продолжал двигаться на запад в направлении Львова. Это развязало Пилсудскому и Вейгану руки, и они смогли перейти в контрнаступление.

Почему кавалерия Буденного не пришла на помощь Тухачевскому? Ответ на этот вопрос проясняет многое. Сталин и Ворошилов были комиссарами в армии Буденного, когда он получил приказ верховного главнокомандующего Тухачевского двинуться на север в направлении Люблина. Но Сталин не собирался подчиняться этому приказу. Он считал, что самостоятельное наступление его армии и взятие Львова укрепит его престиж.

Психологически Сталина можно было понять. Его затмевали более способные и яркие личности, и ему хотелось как-то отличиться. Ему уже давно не нравилось, что в военных вопросах ему отводилась второстепенная роль. Он не мог смириться с тем, что ему приходилось подчиняться Троцкому или новичкам в партии вроде Тухачевского. Поэтому он хотел одержать свою маленькую победу отдельно от главных сил армии. Результатом явились два поражения и проигранная война.

Поляки атаковали наш левый фланг 16 августа. Наши войска не были готовы оказать сопротивление. Даже после того, как стратегический замысел поляков стал всем ясен, Сталин приказал Буденному продолжать попытки взять Львов. Таким образом, пока армия Буденного бесполезно топталась на юге, поляки вышли к Брест-Литовску и Белостоку. В это же время поляки при поддержке французской артиллерии начали наступление на еще одном участке фронта.

Таким образом, Пилсудский крушил наш фронт сразу на двух направлениях. Концентрация французской артиллерии в районе Варшавы была сравнима по масштабам с тем, что имело место на главных направлениях во время мировой войны. Мы несли тысячные потери. У стен Варшавы наше наступление было остановлено, и Тухачевский отдал приказ об отступлении. Мы отступали тем же путем, каким пришли, в постоянном страхе, что наши коммуникации будут перерезаны.

Что можно сказать об этом отступлении? Я видел эту кампанию во многом, как солдат Стендаль видел битву при Ватерлоо, сначала как форсированный марш к Варшаве, а затем от нее. Отступление было хаотическим. Боевые части, штабы, госпитали, тылы – все перемешалось. Ставшая бесполезной артиллерия только загромождала дороги. Временами отступление превращалось в бегство. Мы шли, не зная своего места назначения, теряли направление – особенно с наступлением темноты – шли через леса и болота голодные и истощенные. Со всех сторон отдавались взаимоисключающие приказы. Насколько я помню, половину пути я был в полусне от изнеможения. Иногда на опушке леса, при свете факелов мы

обнаруживали кучу автомашин и повозок, которые сбились с пути. Местность была пустынной и безжизненной.

В Бобруйске, где находился штаб так и не созданной польской красной армии, я познакомился с двумя молодыми польскими офицерами. Следующей зимой я снова встретился с ними, но уже в военной академии, где все мы учились. Один из них, Логановский, впоследствии перешел на дипломатическую службу и был секретарем советского посольства в Варшаве. Там он руководил тайной деятельностью нашей разведки и отделением Коминтерна. Впоследствии он перебазировался в Вену, где я встречал его в 1924 году. Умный и одаренный, с сильным характером, он знал самые сокровенные тайны, связанные с деятельностью органов за границей. Некоторое время он работал в центральном аппарате ОГПУ, а затем стал помощником народного комиссара внешней торговли Розенгольца. Он был арестован на следующий день после расстрела Тухачевского. Некоторые идиоты или мелкие политические мошенники клятвенно утверждали, что в течение двадцати лет он был польским шпионом. И это говорили о человеке, который многие годы водил за нос польскую полицию. Впоследствии Логановский был расстрелян в подвалах своего родного ведомства. Таков был его бесславный конец.

Во время варшавского похода я познакомился с комиссаром нашей дивизии Радиным. Он был известен своим хладнокровием в моменты опасности. В 1936 году я встретил его имя в списке «врагов народа» вместе с Зиновьевым.

Наша армия в результате польской кампании потеряла почти все территории, отвоеванные у Польши. Сталин, несомненно, получил удовлетворение от того поражения, которое потерпели его старые соперники Троцкий и Тухачевский. В последовавшей же партийной дискуссии вина за поражение была все-таки возложена на Сталина, и тот уже никогда не мог простить этого Троцкому и Тухачевскому. Семена чистки, которую Сталин провел в Красной Армии в 1937 году, были посеяны между ним и нашими лучшими военачальниками как раз в этих ранних конфликтах. Сталин знал, что, пока они живы, он не сможет вытравить из истории свою собственную неблаговидную роль в войне с Польшей.

Двенадцатого октября 1920 года Советская Россия и Польша заключили перемирие, а 18 марта 1921 года был подписан мирный договор. Война на западе окончилась.

Краснознаменная военная академия

По заключении мирного перемирия с Польшей военный совет 6-й армии направил меня на учебу в Москву в Академию Генерального штаба. Теперь уже вместо маленькой лейтенантской шпалы, которую я носил в начале армейской службы, у меня на рукаве было четыре золотых кубика командира полка.

Осенью 1920 года Москва выглядела так, как будто она потеряла половину своего населения. Город был пуст, беден и уныл. На улицах редко можно было увидеть автомашину. В городе оставалось лишь несколько извозчиков, которые ухитрялись как-то зарабатывать себе на жизнь; их дрожки тащили исхудавшие костлявые лошади, с животами, раздувшимися от голода. В то время как жизнь на фронтах была очень напряженной, здесь она шла вяло, словно в полусне. И только Ленин в Кремле – этот мозг революции – работал безостановочно, с хладнокровием и мужеством, которое иногда отражало фанатическую страсть, а иногда отчаяние.

Красная площадь была пустынна и плохо замощена. Из-за Кремлевской стены виднелись купола церквей, многие из которых впоследствии были разрушены. Вход в Кремль был через Иверские ворота, которых уже нет, как нет и стоявшей рядом небольшой часовни с чудотворной иконой Девы Марии.

Но настоящий центр Москвы в то время был на Сухаревском рынке, что нам, коммунистам, было совершенно непонятно. Он всегда был заполнен народом, хотя торговля там была запрещена. Везде ходили люди в серых шинелях. Площадь была заполнена женщинами; крестьянки с мешками обменивали продукты на то, что им могли предложить городские жители. Часто предметами такого обмена были семейные реликвии, оставшиеся от прошлой жизни. Курс обмена был таким, каким он бывает в стране, находящейся на грани голода Тот, кто мог предложить на блюдечке два кусочка сахару, мог считать себя просто счастливым. Должен сказать, что меня больше волновали именно эти жалкие крохи, чем продававшиеся за бесценок коралловые ожерелья или переплетенные в кожу многотомные романы писательницы Вербицкой, которые заставляли плакать не одно поколение молодых женщин.

Окружной комендант выдал мне карточку, которая позволяла поселиться в военной гостинице, расположенной на бульварном кольце около Никитских ворот. Эта небольшая площадь, на которой сегодня стоит грубый памятник Тимирязеву, в то время была довольно живописна. В центре площади возвышалась груда

камней от зданий, разрушенных артиллерийским огнем во время Октябрьского восстания. Большой дом, стоявший на бульваре, сгорел, и от него остался один скелет. На фасадах некоторых домов еще виднелись следы уличных боев.

Гостиница имела два этажа и никогда не считалась первоклассной, но для меня главное было иметь крышу над головой и стол, за которым я мог готовиться к вступительным экзаменам. Моя комната больше подходила для мимолетных свиданий, чем для военной учебы. Тем не менее я с жаром принялся за учебу. В государственных магазинах я не смог найти нужных учебников, и мне пришлось заниматься геометрией, алгеброй и историей по размноженным на ротаторе лекциям. Но я был рад и этому.

Комендант, надо сказать, снабдил меня как духовной, так и телесной пищей. Физическая часть была в виде черного хлеба, которого, правда, было вдоволь. Мои продуктовые карточки обеспечивали меня жидким супом и мясной тушенкой примерно на одну пятую от того, что требовалось моему организму. Духовная пища была в виде билетов в театр.

В соседней комнате поселился мой давний товарищ, еще со школьных дней в Гомеле, и он предложил познакомить меня с городом. Это было странное создание. Я помнил его рыжеволосым, веснушчатым и косоглазым, слегка прихрамывающим и всегда занятым какими-то мелкими сделками, всегда меняющим одно на другое. Теперь же, когда я встретил его в столице революции, это был довольно модный человек, всегда во фраке, накрахмаленной сорочке и тщательно отутюженных брюках. В этом наряде он резко контрастировал на улицах со всей остальной массой. Он семенил по улице с тросточкой среди людей, одетых в военные сапоги и кожаные куртки, с револьверами на поясе, среди женщин, которые тянули за собой маленькие санки с продуктами. Он, не замечая, проходил мимо стаи собак, которая грызла замерзшие внутренности павшей от голода лошади.

Его звали Шура Ришевич, и он был секретарем какой-то комиссии по искусству. Думаю, что он по-прежнему занимался спекуляцией, но уже в более крупном масштабе, соответствовавшем его новому положению. Поскольку деньги практически обесценились, артисты получали за свои выступления натурой в виде муки, сахара, картошки или масла, и Шура как раз занимался распределением всего этого добра. За это он сам получал для себя некие комиссионные и был неплохо устроен. У него был запас сахарина, и он угощал меня сладким «чаем» (крутым кипятком, заваренным сушеной морковью), что по

тем временам было немалой роскошью.

С окончанием польской кампании для военных людей мало что изменилось. Одни наши дивизии возвращались из Польши, другие – преследовали Врангеля и добивали атаманов на Украине. В Кремле Ленин отчаянно пытался избежать надвигающегося голода. Троцкий в своем бронепоезде метался с одного фронта на другой. Каждую ночь ЧК расстреливала очередную партию контрреволюционеров, а также тех несчастных и невинных людей, которые попадались под горячую руку. Но в театрах по-прежнему шли «Корневильские колокола» и «Гейша». В этих музыкальных спектаклях элегантные морские офицеры, в форме и сверкающих фуражках, не известных ни на одном флоте мира, выделывали пируэты и посещали чайные домики гейш. Те, встречая офицеров, низко кланялись им, прикрываясь веерами, и пели при этом совершенно идиотские куплеты, которые не имели ничего общего с реальной жизнью. В нетопленом театральном зале пар, выходивший изо рта артиста, нелепо контрастировал с декорациями в виде цветущих вишен в теплой Японии. Но публику это не беспокоило, ни солдат, еще не остывших от вчерашних боев и готовых через несколько часов опять отправиться на фронт, ни их девушек. Сперва я аплодировал вместе о всеми очаровательным гейшам и уже не думал ни о трупах лошадей на дорогах, по которым мы отступали из Польши, ни о санитарных машинах, застрявших в болотах. Но через некоторое время эти шоу стали меня раздражать.

Между тем приближались экзамены, и мне приходилось засиживаться над книгами до поздней ночи. Академия Генерального штаба была расположена на Воздвиженке в доме, где раньше был Охотничий клуб. По сторонам огромной центральной лестницы стояли два медвежьих чучела с подносами для визитных карточек. Стены были украшены оленьими рогами и другими охотничьими трофеями. Именно в этой экзотической обстановке нас встретил начальник академии, пожилой генерал Андрей Евгеньевич Снесарев, в прошлом исследователь Центральной Азии. Встретил он нас с безукоризненной вежливостью и, как мне показалось, с большим любопытством.

В академии не было ни одного преподавателя, отличившегося во время революции. Весь штат состоял из бывших генералов императорской армии, знаменитых, награжденных, нередко известных за пределами своего профессионального круга. В их числе были братья Новицкие, автор нескольких крупных работ по стратегии Незнамов, бывший министр Временного правительства Верховский, ветеран русско-японской войны Мартынов, создатель фортификационных сооружений Порт-Артура Величко, известный

как «злой гений Куропаткина», видный специалист по тактике кавалерии Гатовский, блестящий теоретик и историк военного искусства Свечин.

В водовороте чрезвычайных и иногда непостижимых событий эти люди воспринимали свою судьбу со стойкостью профессиональных солдат. Они были готовы работать на любое правительство, которое могло возродить разрушенную Россию. Многие из них не верили в способность Советов достичь этой цели, но они откликнулись на призыв Ленина и Троцкого создать новую армию и готовы были отдать этому все свои силы. Они очень много сделали для создания Генерального штаба Красной Армии и подготовки старшего командного состава. В этом надо отдать им должное.

Слушатели академии были явным контрастом преподавателям. Все они прошли Гражданскую войну, на своем опыте знали, что такое кровь и смерть, многие из них отличились как способные тактики и стратеги, хотя не имели ни малейшего представления о теоретической стороне военного дела. Некоторые были почти неграмотны, но это не опровергало того факта, что как командиры-кавалеристы они творили чудеса, наносили поражения умудренным знаниями и опытом генералам, разбиравшимся в военных теориях Клаузевица и Наполеона не хуже преподавателей академии.

Что касается слушателей, они были не совсем обычными учениками. Все они были готовы по первому сигналу прямо со школьной скамьи отправиться на фронт, защищать республику на поле боя. У профессоров тоже случались перерывы в занятиях, когда их раза два-три за год арестовывала ЧК как заложников или как подозреваемых. Каждый раз, когда внутреннее положение республики ухудшалось, они оказывались за решеткой. Подобные перипетии их уже не удивляли. Рассказывали, что почти все они имели наготове собранные саквояжи.

Жизнь в академии была очень примитивной. Мы были лишены какого-либо комфорта, к которому привыкли в Оксфорде или Сорбонне. Конечно, республика заботилась о нас, но то, что она нам давала, было одновременно и мало и много: питание, жилье и форму. Последняя, отличалась известным шиком. Многие из нас носили темно-красные кавалерийские галифе с желтыми лампасами. Рослые, загорелые парни ходили из класса в класс во всем этом великолепии с орденами на защитных или голубых гимнастерках, в сапогах, со стопками книг и буханками хлеба под мышкой. Вместе со своими учителями, бывшими генералами императорской армии, они терпеливо стояли в очереди за талонами на питание. К двум часам дня мы, как

правило, уже съедали свою дневную норму хлеба, получали жидкий суп, и, чтобы заглушить чувство голода, нам оставалось только пить несладкий чай.

Гостиница «Левада», в которой мы жили, не отапливалась. В своих комнатах, где бесполезные радиаторы будили воспоминания о цивилизованной жизни, мы сооружали из кирпичей печи, выводя дымовую трубу через окно. Кирпичи собирали на улице у разрушенных домов, которых в Москве было великое множество. Каждый строил печь по своему вкусу. Но постройка печи сама по себе еще не решала вопроса, нужно было думать о топливе. В сильные морозы мы использовали все, что могло гореть, даже дорогую мебель. Мой друг Померанцев придумал способ добывания топлива, о котором стоит рассказать.

Комендант гостиницы старался поддерживать в гостинице порядок. Однажды, заглянув в комнату Померанцева, он остолбенел от удивления. Он увидел, что мебель, пол и в некоторых местах даже стены потеряли объем и превратились в двухмерные плоскости, как декорации в киностудии. От секретера сохранилась только передняя стенка, из гардероба исчезли полки и задняя стенка, там, где стояла мебель, исчезли куски паркета, из-под картин тоже исчезли куски деревянной обшивки. И такие вещи происходили не только в этой комнате.

Академия была поделена на три курса – младший, средний и старший. Всех слушателей было около шестисот человек. Мы занимались в группах по пять человек, каждая под руководством офицера бывшего царского Генерального штаба.

Однажды я был приятно удивлен, прочитав объявление о создании специального факультета восточных языков, который создавался академией вместе с Наркоматом иностранных дел и должен был обучать слушателей из обеих организаций. Оказалось, что моя давняя мечта – служить революции на Востоке – жива, хотя я уже не надеялся на ее воплощение. Я подал заявление на восточный факультет и в дополнение к освоению моей военной специальности стал одновременно изучать три иностранных языка: персидский, хинди и арабский.

Начальником восточного факультета был бывший морской офицер из дворян, блестящий лингвист Доливо-Добровольский. Комиссаром факультета стал заведующий отделом НКИДа Владимир Цукерман. (Он был расстрелян 16 декабря 1937 года вместе с послом Караханом и секретарем ЦИКа Енукидзе.)

На открытие факультета мы собрались в большом зале академии – около семидесяти слушателей, половина военных и половина гражданских из НКИДа. К нам обратился начальник академии генерал Снесарев, который большую часть своей

сорокалетней службы в армии провел на Востоке как офицер Генерального штаба. Этот ветеран с воодушевлением очертил нам задачи работы в приграничных странах Среднего Востока, где встречаются Российская и Британская империи.

«Я прочту вам, – сказал он, – курс военной географии Синьцзяна, Тибета, Памира, Северо-Западной Индии, Белуджистана, Афганистана и Персии, по чьим дорогам я не раз прошел пешком. Я жил в этих странах среди местных жителей и говорил на их родном языке. Я научу вас всему, что вы должны знать об этих странах как офицеры Генерального штаба и дипломаты.

Со времен Петра Великого Россия неуклонно продвигалась к теплым морям и Индийскому океану. И на пути у русских всегда стояли англичане. В 1716 году Петр Великий направил войска под командованием князя Черкасского в Бухару и Хиву, надеясь проложить путь в Индию, но эта попытка не увенчалась успехом. Император Павел I в январе 1801 года приказал атаману донских казаков Орлову пересечь границу и напасть на англичан. Больше месяца в суровую зиму двадцать пять тысяч казаков совершали марш вместе с артиллерией. Они пересекли Волгу и углубились в Туркестанские степи, когда Павел был убит в Санкт-Петербурге в результате заговора, одним из инициаторов которого бьи британский посол при императорском дворе. Новый император Александр немедленно отозвал экспедицию.

В XIX веке путь к Персидскому заливу и теплым морям, имеющий для нас большое значение, снова постоянно преграждали англичане. Чтобы открыть этот путь, мы вели несколько войн в Персии и Центральной Азии, но за нашими противниками всегда стояла Британская империя. Точно так же Британия старалась лишить нас плодов наших побед на Балканах.

Вы спросите меня, почему я говорю вам все это, когда советская революция отбросила идею империализма Это верно, что Советская Республика не имеет империалистических целей. Цель советской революции в мировом масштабе – освободить угнетенные народы от империалистической эксплуатации, и особенно принести свободу народам Востока. Но самым серьезным препятствием на этом пути остается британский империализм. Если мы хотим принести свободу народам Азии, мы должны подорвать власть британского империализма. Он по-прежнему остается смертельным врагом этих народов, так же как и нашим врагом. В этом заключается ваша задача, и вы должны учиться на нашем опыте, как ее решать.

Я лично рассмотрел результаты вступительных экзаменов каждого из вас, и я уверен, что мы отобрали лучших. С одной

стороны, мы отобрали тех, кто сможет нести двойную нагрузку, совмещая учебу в военной академии с учебой на восточном факультете, с другой стороны, мы сделали такой же тщательный отбор в НКИДе. Отныне Генеральный штаб и Комиссариат иностранных дел будут внимательно следить за вашей учебой и решать, как вас лучше в дальнейшем использовать».

Пока Снесарев выступал, я рассматривал своих коллег-студентов. Большинство были молоды и уверены в своих силах. Предсказания генерала Снесарева новым слушателям в значительной мере сбылись. Учеба одновременно по двум программам некоторым оказалась не по силам, и они оставили факультет, чтобы успевать в академии, но каждый год новых слушателей набирали тем же порядком. Многие из этого первого набора достигли высокого положения как советские дипломаты или военачальники. Пять лет спустя, когда я завершал свою работу в Персии в качестве Генерального консула, более трех четвертей советского дипломатического корпуса в странах Ближнего и Среднего Востока, а также Китая и Японии составляли выпускники восточного факультета. И такое положение сохранялось еще много лет. Среди тех, кто присутствовал на открытии факультета, были будущие послы: Пастухов – в Персии и Славуцкий – в Японии; посланник в Саудовской Аравии Хаимов, Генеральные консулы Шарманов, Саркисбеков, Кассис, Батманов, Заславский, Мамаев, Мельзер, Левицкий и другие; а также немало молодых генералов, которые потом служили советниками у Чан Кайши и военными атташе в странах Азии. Большинство из них погибло в 30-х годах. О трагической гибели Кассиса и Блюмкина я уже писал.

Во время учебы в академии я познакомился с несколькими командующими Красной Армии. Среди них был Гай, бывший школьный учитель, талантливый кавалерийский генерал, соперник Буденного. Он только что вернулся из Германии, где был интернирован после отступления из Польши на немецкую территорию; бывший портной Щаденко, который потом стал начальником Политупра Красной Армии; бывшие рядовые казаки Зотов и Матузенко, помощники Буденного, чья храбрость была запечатлена в «Конармии» Бабеля и слава которых в то время затмевала славу комиссара Буденного, Ворошилова. Другим моим коллегой был Бубенец, выходец из бедной крестьянской семьи, бывший рядовым в царской армии, он изображен как помощник Чапаева в знаменитом романе Фурманова об этом командире. Чапаев сам проучился несколько месяцев в академии, но затем отправился на фронт вести героическую борьбу с белыми на Урале, где он и погиб. Там был бывший матрос Дыбенко,

добродушный гигант, сыгравший как лидер Балтийского флота важную роль в революционных событиях 1917 года. Он только что женился на известной большевичке Александре Коллонтай, и это было предметом всеобщего обсуждения. (Дыбенко исчез в 1938 году.) Вместе с Дыбенко были его старые приятели Урицкий и Федько. В 1938 году Федько был назначен заместителем наркома обороны, после того как несколько его предшественников, занимавших этот рискованный пост, таинственно исчезли. До этого он вместе с Блюхером командовал Особой Дальневосточной армией. (Он тоже исчез.) Урицкий, брат убитого в 1918 году председателя Петроградской ЧК, стал начальником Разведуправления Красной Армии. (В 1937 году он исчез.) Другой наш слушатель, Стецкий, перешел на партийную работу, стал заведующим Отделом пропаганды и агитации ЦК и в 1935–1937 годах очень часто выступал по партийным вопросам. (Позже он был арестован.)

Еще один мой друг, Венцов, был военным атташе во Франции во время заключения франко-советского договора. (Позже он был отозван и исчез.) Другой – Алкснис – пришел в академию с должности комиссара дивизии и впоследствии сделал блестящую карьеру, став командующим советских ВВС. Он тоже исчез. Большинство слушателей Академии Генерального штаба со временем заняли высокие военные и советские посты, и многие из них погибли во время чисток.

Вместе со мной сдавали вступительные экзамены три замечательных человека: член Военного совета Украины Савицкий; герой кубанской кампании Ковтюх, так ярко изображенный в романе Серафимовича «Железный поток»; и пожалуй, самая яркая личность из этой тройки – Дмитрий Шмидт.

Впервые я встретился со Шмидтом на ступеньках академии в сентябре 1920 года. Его энергичное, тщательно выбритое лицо окаймляла аккуратная «флотская» бородка, такого типа, какую сейчас носит Радек. У него были тонкие губы и пронзительный взгляд. На голове его была папаха, лихо сдвинутая набекрень, как это принято у конников на юге. Голубую гимнастерку украшали два ордена Красного Знамени, по тем временам – очень редкое военное отличие – даже среди хорошо известных военачальников Красной Армии. Он был подпоясан кавказским ремешком, с которого свисали серебряные украшения. На поясе в ножнах висела большая инкрустированная кривая сабля. Он еще не вполне оправился от полученной раны и, прихрамывая, опирался на трость. Двигался медленно и чувствовал себя в Москве не совсем в своей тарелке. Это был типичный командир

революционной эпохи, воплощение энергии, как туго натянутая тетива лука.

Как и многие, Шмидт был выдвинут революцией из деревенской безвестности в первые ряды революционной армии. Он был сыном бедного еврейского сапожника и, если бы не революция, вероятно, пошел бы по стопам отца, растрачивая всю свою огромную энергию на мелкие проказы и деревенские предприятия. Социальная буря раскрыла огромное число талантов, позволив тысячам людей проявить свои способности лидеров в национальном масштабе.

В начале революции Шмидт поступил на флот, но когда одна половина российского флота вмерзла в балтийский лед, а вторая была затоплена в Черном море, чтобы не попасть в руки немцев, матросы превратились в солдат. Шмидт стал командиром одного из ударных отрядов, который был грозой для белых. Обнаженные до пояса, опоясанные крест-накрест пулеметными лентами отважные красноармейцы шли во весь рост на врага под жестоким огнем, забрасывая его гранатами. Они наводили ужас на белых, которые прозвали их «красными дьяволами». В конце концов Шмидт решил превратить своих моряков в конников, и его отряд стал известен по всей Украине. Молодые крестьяне валили к нему валом, и вскоре его отряд вырос до размеров полка, а затем бригады.

На вступительных экзаменах Шмидт был трогательно-беспомощен. Экзаменационную комиссию из трех старых генералов возглавлял Мартынов, известный своей книгой о маньчжурской кампании 1905 года и склонностью к философствованию. Генералы относились к стоявшей перед ними задаче без особого энтузиазма, задавая молодым командармам и комбригам те же вопросы, которые они задавали бы в прежние времена молодым офицерам, еще ничего, кроме учебников, не видевшим. Например, нам предложили написать сочинение на тему о значении войны со Швецией и побед Петра Великого для Российской империи. К счастью, наши экзаменаторы были снисходительны.

На втором, устном, экзамене Шмидт был вызван первым. Прихрамывая, он со своей огромной саблей на боку медленно подошел к столу.

– Назовите годы правления Петра Второго, – попросили его.

– Не имею представления, – сухо ответил он с небольшим украинским акцентом, который придавал его речи оттенок пренебрежительности.

– Назовите войны Екатерины Второй.

Шмидт криво усмехнулся, как если бы он понимал, что

экзаменаторы насмехаются над ним.

– Я их не знаю.

Генералы переглянулись между собой, и Мартынов повторил вопрос:

– Назовите нам годы правления Екатерины Великой и год ее смерти.

– Меня тогда не было на свете, и она меня не интересует.

Он нетерпеливо постукивал своей тростью, и это взорвало Мартынова:

– Господа, это недопустимо! Я отказываюсь экзаменовать дальше этого кандидата.

Тут вмешался комиссар академии, и этот замечательный кавалерист был принят при условии, что он пообещает сдать экзамен позже, когда у него будет больше времени на изучение истории, что практически означало – никогда. Шмидт проучился в академии два года, и это были годы упорных занятий. Мы стали большими друзьями. Он отличался беззаветной храбростью, был скромен, целеустремлен, любил шутки, был по-детски сентиментален. Его характер сложился в суровой военной обстановке, и таким он остался до конца своих дней.

Мы часто проводили вместе вечера в его маленькой комнатке на Тверской улице. Его очаровательная жена Валентина угощала нас чаем и тем, что в те дни могло сойти за пирожное. Дмитрий Шмидт рассказывал о героических делах тех, кто воевал рядом с ним, о моряках, ставших кавалеристами, чтобы драться с немцами, белыми, петлюровцами и всякого рода бандами, которые даже не знали, за кого или против кого они боролись.

Мне запомнился один из его рассказов.

– В тысяча девятьсот девятнадцатом году город Каменец-Подольский на границе с Австрией, – говорил он, – был окружен мародерствующими бандами. Население города буквально стонало от разбоя. Тогда я решил, – сказал Шмидт, – прорваться туда и оборонять город любой ценой. Трудно было навести порядок, но другого было нам не дано. Стены города мы обклеили прокламациями, в которых угрозы чередовались с обещаниями защитить город. И город мы удержали.

В Каменец-Подольске у Шмидта состоялась встреча с народным комиссаром обороны Советской Венгрии Тибором Самуэли, который самолетом направлялся в Москву. Возможно, это впоследствии и явилось существенным фактором в назначении его командующим ударной группировкой. Именно этой группировке предстояло через границы Польши и Румынии прийти на помощь венгерской революции. Как я тогда узнал, Шмидта нисколько не смущала перспектива прорыва через две

границы. Я убежден, что он всегда жалел о том, что приказ о наступлении так и не был отдан. Красный Будапешт пал слишком быстро.

Или другой случай. Однажды на Украине Шмидт в сопровождении двух адъютантов нагрянул в лагерь одного из атаманов, с бандой которого он вел бой. Бандиты были застигнуты врасплох и не посмели арестовать его. Начались переговоры о капитуляции, а когда они зашли в тупик, Шмидт выхватил револьвер и застрелил своего оппонента. К этому времени его бригада уже окружила банду, и той ничего не оставалось делать, как сдаться.

Спустя несколько лет после окончания академии я снова услышал о Шмидте, который в это время служил в Минске. Один из старших офицеров оскорбил его жену, и Шмидт, всадив пулю в живот обидчику, спустил его с лестницы. Обидчик выжил, и скандал замяли.

В период 1925–1927 годов Шмидт присоединился к оппозиции. Он приехал в Москву на съезд партии как раз в тот момент, когда было объявлено об исключении из партии троцкистской оппозиции. Он был одет, как обычно, в форму своей дивизии: большая черная бурка, пояс с серебряными украшениями, огромная сабля и папаха набекрень. Выходя вместе с Радеком из Кремля, он столкнулся со Сталиным. Политические страсти в тот момент были накалены. Сталин активно интриговал в партийных делах, но ему еще не удалось подчинить себе партию.

Шмидт подошел к нему и начал полушутя-полусерьезно поносить его, как только может делать это настоящий солдат, то есть такими словами, которые надо слышать, чтобы поверить в это. А под конец сделал вид, что обнажает шашку, и пообещал Генеральному секретарю когда-нибудь отрубить ему уши.

Сталин выслушал обиду, не проронив ни слова, с бледным лицом и плотно сжатыми губами. В то время он решил проигнорировать оскорбление, нанесенное ему Шмидтом, но нет никакого сомнения в том, что десять лет спустя, с началом чисток в 1937 году, он все это вспомнил. Шмидт был одним из первых исчезнувших офицеров Красной Армии. Его обвинили в терроризме. Никаких признаний от него не добились, и он был расстрелян без суда.

Когда я думаю о Шмидте, я вспоминаю другого замечательного человека, огромного «медведя», с вьющимися волосами, горящим взором и голосом фанатика. Это был Савицкий, член Военного совета Украины. У него была жена и ребенок, в которых он не чаял души. Все, что он ни делал, он

делал от чистого сердца. Три года мы жили с ним на одном этаже. Иногда нас видели вместе, тащивших по улицам санки, на которых лежали кульки с мукой и картошкой – скудным рационом будущих генералов Красной Армии. Вместе мы искали целые кирпичи в развалинах на том месте, где сейчас стоит здание Центрального телеграфа. Вместе сидели на одном стуле перед раскаленной печкой. Корпели над одними и теми же конспектами по тактике и учебником французской грамматики. Однажды он с триумфальным видом принес мне украинский перевод книги Бухарина и Преображенского «Азбука коммунизма». Старый член левого крыла Украинской социалистической партии, он был горд тем, что ему удалось добиться публикации этой книги на родном украинском языке. Десять лет спустя я снова встретил Савицкого в Москве, где он в звании генерал-лейтенанта возглавлял Управление кадров Наркомата обороны. Такой же массивный и энергичный, он нисколько не изменился. Мы вместе побывали в одном из старых поместий в Архангельском, где он организовал дом отдыха для старших офицеров Красной Армии. Он показал мне старый дворец, украшенный ценными произведениями искусства, стоявший среди заснеженных полей. Сюда наши генералы приезжали на несколько дней, чтобы отдохнуть в спокойной обстановке… пока в годы большой чистки Сталин не отправил девять десятых из них, включая Савицкого, к вечному успокоению.

Академия в период кризиса

В 1920 году партийная организация академии – восемьдесят процентов всех слушателей – приняла участие в жаркой дискуссии о профсоюзах. Какова должна быть их роль в советском обществе? Ленин, Зиновьев и Рудзутак выступали за подчинение профсоюзов партии при сохранении у них некоторой степени независимости в вопросах защиты интересов рабочих. Троцкий считал необходимым включить профсоюзы в систему государства. Он утверждал, что государству трудящихся не нужны специальные органы для защиты экономических интересов рабочих. Бухарин пытался предложить компромиссное решение. И наконец, «Рабочая оппозиция» считала, что профсоюзы должны сами контролировать производство без вмешательства государства.

Дискуссия была очень острой. К нам в академию приходили разъяснять свою позицию представители всех этих группировок. Мы слышали пламенную речь Александры Коллонтай, отстаивавшей взгляды «Рабочей оппозиции». Она была очень красива, в черном костюме с высоким стоячим воротником, который придавал ей строгость и вместе с тем подчеркивал **ее** элегантность. Она выглядела молодо, казалось, годы обходили **ее** стороной, хорошо владела собой и в полной мере демонстрировала свой талант первоклассного оратора. Уже в те годы она осуждала засилье партийной бюрократии и требовала восстановления рабочей демократии. Она произвела на нас большое впечатление, и мы слушали **ее** с огромным вниманием. Тот факт, что она была женой одного из наших слушателей, Дыбенко, обеспечил ей особенно теплый прием[19].

Когда подошло время голосования, из трехсот слушателей-коммунистов тринадцать проголосовали за позицию Троцкого, тридцать два – за Ленина и двести пятьдесят – за Коллонтай и «Рабочую оппозицию». Так партия выражала свое мнение в условиях реальной свободы. Несмотря на то что авторитет Троцкого как главнокомандующего Вооруженными Силами был в наших глазах очень высок, я считал, что в этом вопросе он ошибается, и голосовал за платформу Ленина.

Во время учебы в академии я несколько раз видел Ленина на съездах партии и Советов. Он в самом прямом смысле был умом и сердцем революции. Невысокого роста, коренастый, он был прост без какой-либо претенциозности. Как любого другого делегата, его можно было увидеть сидящим на ступеньках и делающим пометки в свое предстоящее выступление. Когда приходила его

очередь, он поднимался на трибуну и с некоторым раздражением ждал, когда стихнут аплодисменты. Делегаты, часто вконец запутавшись в сложной и претенциозной «диалектике» таких мастеров дискуссии, как Зиновьев, Каменев, Бухарин и Радек, появление на трибуне Ленина воспринимали с облегчением. Теперь мы услышим простой и прямой разговор, узнаем факты, и все станет ясно. Публика с нетерпением ждала выступления Ленина и, как только он начинал говорить, испытывала облегчение. Всем становилось ясно, куда мы идем.

Во время последнего выступления Ленина в конце 1922 года, на конференции Московской областной партийной организации, я стоял недалеко от трибуны. Он говорил с явным напряжением сил, но никто из нас не мог предположить, что это было его последним выступлением. Мы думали, что Ленин всегда будет с нами, готовый объяснить все, что угодно, в простых, коротких фразах. Но во время выступления мы заметили испарину у него на лбу, как если бы это выступление требовало от него огромных усилий. Возвратившись на свое место, он тяжело дышал, и было видно, что он испытывал какую-то боль. Мы восхищались другими лидерами партии и уважали их, но Ленина любили. Он, как никто другой, был далек от стремления к личной власти.

В то время как Сталин плел интриги, уже в то время стараясь добраться до рычагов власти, Ленин работал над тем, чтобы, по его собственному выражению, «каждая кухарка могла управлять государством». В ленинский период оппозиция вне партии не контролировалась так жестко, как это стали делать «в интересах революции» впоследствии, и деятельность фракций внутри партии проходила в демократической обстановке. Все вопросы обсуждались свободно и открыто. Никто еще не боялся репрессий, если в силу своих взглядов он окажется «не на той стороне».

В этой связи я хочу припомнить один эпизод, имевший место в 1919 году, в самый критический период Гражданской войны. Я с группой красноармейцев был направлен в Симферополь для установления связи со штабом Дыбенко, который командовал частями Красной Армии в этом районе. Одним из членов нашей делегации был Максим Штерн, являвшийся членом ЦК партии меньшевиков на Украине. Симферополь в то время был на осадном положении, армия белых под командованием Деникина контролировала положение на востоке Крымского полуострова и была в семидесяти километрах от Симферополя, но Штерн потребовал проведения митинга в городском театре. Театр ему дали, и он провел там массовый митинг солдат Красной Армии и гражданского населения, которым разъяснил принципиальное несогласие меньшевиков с большевистской идеей однопартийной

диктатуры. Я и два других большевика выступили с противоположной точкой зрения. Дискуссия была острой, но никогда не выходила за рамки приличия. Штерн не был ограничен каким-либо регламентом и высказал все свои аргументы, но публика все-таки подавляющим большинством приняла резолюцию большевиков. Я рассказываю этот эпизод потому, что некоторые критики репрессивного сталинского режима утверждают, что такая же обстановка существовала при Ленине, в первые годы революции. Думаю, приведенный мною пример достаточно красноречив.

Троцкий был совсем не похож на Ленина и в чем-то дополнял его. Там, где Ленин был прост и сердечен, Троцкий был официален и сух. Я помню его первое выступление у нас в академии. Митинг был назначен на восемь вечера, но по чисто русской традиции он мог начаться не раньше девяти. Троцкий, однако, взошел на трибуну вместе с боем часов, ровно в восемь. Это было его правилом, что произвело на публику сильное впечатление. Несмотря на свою простую форму, без знаков различия, он выглядел очень эффектно. Его динамизм, подчеркнутый клиновидной бородкой и сверкающими глазами, еще более усиливался, когда он начинал говорить, сопровождая свою речь резкими жестами и придавая своему голосу металлический оттенок.

В отличие от Ленина, который редко прибегал к личным выпадам, Троцкий обрушивал поток брани на Черчилля, Пуанкаре и других империалистов, пытавшихся блокадой задушить революцию. Его сарказм и уверенность в своих силах вызывали нашу симпатию. Закончив свое выступление, он немедленно покидал зал, не вступая в неформальные контакты с аудиторией. Такая отчужденность, на мой взгляд, отчасти объясняла, почему он не смог приобрести себе сколько-нибудь значительное количество личных сторонников среди партийной массы. Интригам против него лидеров партии он мог противопоставить только то оружие, которое имел: свое перо и талант оратора. Но и к этому он прибег только тогда, когда уже было поздно. Абсолютно беспринципному и не гнушающемуся ничем Сталину было нетрудно переиграть Троцкого с его пассивностью и донкихотством.

В начале 1921 года разразился внутренний кризис, который в гораздо большей степени, чем любая внешняя интервенция, стал угрожать самому существованию советской власти. Причиной его была нехватка продовольствия, вызванная истощением резервов во время Гражданской войны и проводившейся в отношении крестьянства политикой реквизиций.

Крестьяне, не получившие ничего взамен за изъятое у них продовольствие, не хотели сеять сверх своих собственных потребностей. Они не видели никакого смысла поставлять в город продовольствие, пока им не начнут давать взамен промышленные товары. С другой стороны, городское население было на грани голода, и промышленное производство практически остановилось. Голодные и истощенные рабочие быстро теряли веру в обещания большевиков. Появились слухи о массовых проявлениях недовольства и даже о мятежах. Обстановка в Москве была очень напряженной. В некоторых воинских частях были отмечены случаи неподчинения командирам, а особенно политработникам.

Неожиданно слушателям было приказано круглосуточно оставаться в академии. Нам раздали винтовки, и мы стали спать в классах, которые на ночь превращались в казармы. По поручению ЦК у нас с докладом об обстановке выступил Карл Радек. Бледный и очень непривлекательный, он тем не менее быстро завладел вниманием аудитории, и в течение трех часов мы слушали его в полном молчании. Он говорил с ужасным польским акцентом, но минут через пятнадцать мы перестали это замечать, столь велико было впечатление от его серьезных и откровенных аргументов.

Он старался не скрывать от нас исключительную опасность ситуации. Наоборот, подтверждал ее примерами из повседневной жизни.

– Выступления Калинина на фабриках, – говорил он, – все чаще прерываются выкриками: «Дайте нам хлеба! Довольно разговоров!». В Председателя ЦИК на одном заводе летели гаечные ключи и гайки… Партия, – сказал Радек, – это политически сознательный авангард рабочего класса. Мы достигли такой точки, когда потерявшие терпение рабочие отказываются идти за авангардом, который зовет их к новым битвам и жертвам… Должны ли мы уступить требованиям рабочих, терпение которых достигло предела, но которые не понимают свои интересы так хорошо, как их понимаем мы? Их настроения в настоящий момент откровенно реакционны. Партия решила, что мы не должны уступать, что мы должны навязать свою волю к победе нашим отчаявшимся товарищам. Приближаются ответственные события. Вы должны быть готовы…

Это означало, что нам, возможно, придется применить оружие не против контрреволюции, а против масс, которые были опорой партии.

Именно это и случилось в Кронштадте через пару недель, в марте 1921 года. В Москве заседал X съезд партии, когда

гарнизон и гражданское население этой главной крепости республики, от которой зависела безопасность Петрограда, подняли восстание. Возникла смертельная угроза республике как раз в тот момент, когда запасы продовольствия и народное терпение достигли своей нижней точки. Реакционные силы намеревались воспользоваться этим мятежом и возобновить Гражданскую войну.

В момент общего истощения это вполне могло стать серьезным плюсом для контрреволюции. Все антибольшевистские силы воспрянули духом. Монархисты, сторонники Врангеля и Деникина – все отправили эмиссаров в Кронштадт, чтобы привлечь восставших на свою сторону. Большевики опасались того, что, выступая под красным флагом и лозунгом: «Советы без коммунистов», Кронштадт скоро может сыграть роковую роль в судьбе революции и привести к реставрации капитализма в России. Если бы ситуация не была столь напряженная, может быть, появилась возможность вступить в переговоры с мятежниками, но острота момента вынудила советское правительство к немедленным действиям.

В этих условиях съезд партии принял решение прекратить внутреннюю дискуссию, и «Рабочая оппозиция» была распущена. Диссидентские группы и фракции были запрещены. Несколько сотен делегатов съезда отправились на Кронштадтский фронт. Одна из учебных групп нашей академии в полном составе была направлена на укрепление командования. Среди тех, кто поехал в Кронштадт, была неразлучная троица генералов – Дыбенко, Федько и Урицкий, а также Стецкий, Борщевский, Турчан и другие. Реввоенсовет Республики поручил командование операцией Тухачевскому. Туда же поспешил Троцкий. Одна из батарей Петроградского гарнизона поддержала восставших, и нескольких вожаков мятежников пришлось расстрелять.

Через две недели мои друзья вернулись с победой, но и с ощущением горечи. Первой бригадой курсантов военных училищ, которая пошла в атаку по льду залива, командовал Турчан. Продвигаясь с северного берега Финского залива, бригада попала под прицельный огонь крепостной артиллерии и была уничтожена. Взрывами был взломан лед, и сотни курсантов утонули в ледяной воде. Была спешно организована вторая атака, так как были опасения, что оттепель позволит мятежникам использовать флот. На этот раз две штурмовые группы – дивизии Дыбенко и Федько – начали с южного берега. Бойцы прошли по торосистому льду в маскировочных халатах. У них был приказ – любой ценой дойти до Кронштадта. Огнем береговой артиллерии они были остановлены на близком расстоянии от острова и стали

нести большие потери. Два солдата, обезумев от страха, пытались укрыться на вмерзшей в лед барже, не желая возвращаться в строй. Командир полка Борщевский лично расстрелял их на глазах других бойцов, а затем повел их вперед. Понеся тяжелые потери, войска сумели ворваться в крепость. Бой продолжался еще несколько часов на улицах. К ночи мятеж был подавлен. Арестованные мятежниками, оставшиеся верными партии коммунисты были освобождены. Все это мне удалось узнать от своих опечаленных друзей.

В середине моей учебы пришло письмо от матери, в котором она сообщала, что дважды переболела тифом и находится в тяжелом состоянии в одном из полевых госпиталей. Я взял краткосрочный отпуск и поехал навестить ее. Несколько месяцев назад, когда я встретил ее на железнодорожной станции, это была стройная и энергичная сорокалетняя женщина, теперь же я нашел ее совершенно больной. Исхудавшая, сгорбленная, в морщинах, с короткой стрижкой, она казалась мне постаревшей лет на двадцать. К тому же она еще и заговаривалась. Оставлять ее в таком положении я не мог, пришлось взять ее к себе в Москву. На двоих в день у нас было фунт хлеба, горсть овсянки и пара селедок. Тем не менее постепенно она окрепла.

И хотя жили мы ничуть не хуже большинства москвичей, моя мать была постоянно озлоблена. Она часто ругала большевиков и укоряла меня за то, что я посвятил свою жизнь недостойному делу.

– Ты два года воевал – было столько смертей и горя – за что? – вопрошала она. – За то, чтобы комиссары в Кремле купались в роскоши, а мы голодали?

Ей было бесполезно говорить, что наши лидеры жили очень скромно. Я долго терпел это, но наконец высказал ей все:

– Ты обливалась потом за двадцать пять копеек в день на полях баронессы Браницкой. И все это терпела, а теперь об этом забыла. Да, наша жизнь тоже полна лишений, но мы построим новое общество изобилия и счастья для всех.

Один из моих коллег по академии, татарин, которого я назову Тариков, был женат на маленькой татарочке по имени Хадиджа, которая сочувственно относилась к нашим проблемам. Она была очаровательна. Однажды она вошла в комнату в разгар моего спора с матерью. Я был не в состоянии убедить мать в правоте своего дела, и это угнетало меня. Она подошла ко мне, а я сидел закрыв лицо руками, и сказала:

– Не печалься, Александр. Что ты можешь сделать? Старые люди все такие.

Неожиданно она поцеловала меня и выбежала из комнаты.

Глядя, как ее маленькая фигурка исчезла в дверях, я был так взволнован, что забыл все свои споры с матерью. Мы стали часто видеть друг друга, совершать прогулки. Скоро я понял, что влюбился в Хадиджу и она, похоже, тоже полюбила меня. Хотя мы жили в соседних комнатах, она стала писать мне длинные письма. Их стиль сначала удивил меня, но потом я стал находить их очаровательными. В ее языке было что-то волшебное, и лишь позже я понял, что его выразительность определялась метафорами, заимствованными из восточной поэзии.

Ее страстные письма, однако, не мешали ей сохранять верность мужу, который, будучи татарином, вероятно, понимал ее гораздо лучше меня. Когда я предложил ей пожениться, она ответила уклончиво. Ее муж, узнав об этом, потребовал от меня объяснений. Партийные нормы в этом вопросе были довольно строгими, но они были основаны на терпимости. Мы старались в дружеской форме найти рациональный выход из создавшегося положения. У меня было такое впечатление, что большинство бойцов моего поколения были достаточно щепетильны в сердечных делах и всегда старались уважать чувство собственного достоинства женщины. После спокойного, дружеского разговора мы пришли к выводу, что выбор должна сделать сама Хадиджа.

Для меня было чувствительным ударом, что выбор этот был не в мою пользу. Положение еще более усугубилось, когда совершенно случайно я узнал, что она в это же самое время вела такую же лирическую переписку еще с одним офицером. Я ей не сказал о своем открытии, но на душе было тяжело. Будучи разочарован и убежден, что я в полной мере познал коварство женского сердца, я решил при первой же возможности уехать в какое-нибудь отдаленное место.

Пришла весна, моя мать уехала на Украину. Там ее снова ждала работа в госпитале. Скоро и мне представилась возможность покинуть Москву и забыть о любовной неудаче. Назначенный послом в Бухару К. К. Юренев попросил Генштаб направить к нему несколько офицеров, владеющих восточными языками. Генштаб направил запрос в академию. В числе других пяти слушателей выбор пал и на меня. Нам предстояло поехать в Бухару в качестве военных атташе российской миссии.

До революции Бухарский эмират в Центральной Азии пользовался официальным статусом российского протектората, примерно таким, какой в Британской империи имели некоторые индийские княжества. Его феодальный уклад оставался неизменным. В 1917 году была создана «Молодая партия Бухары», которая изгнала эмира и провозгласила присоединение к российской революции. Лидером движения был Файзулла

Ходжаев, о котором говорили как об очень способном и проницательном человеке, думавшем о будущем страны. Бухара сохраняла свою независимость, и Москва имела там посольство, возглавлял которое до своей внезапной смерти Апрелев. Свергнутый эмир бежал в Афганистан, откуда вел борьбу за возвращение трона. Англичане, напуганные приближением «красной опасности», которая почти достигла Индии (в один из моментов только десятимильная полоса земли отделяла Бухару от Индии), вовсю помогали ему. Подразделения британских войск и Красной Армии стояли друг против друга, разделенные этой узкой полосой. Советское правительство послало в Бухару некоторое количество войск, но там стали возникать конфликты между Красной Армией и местными вооруженными отрядами. Беря нас с собой, Юренев имел в виду, что мы в тех непростых условиях будем выполнять функции офицеров связи.

Он принял нас в гостинице «Националь», где в то время жили высокопоставленные советские деятели. Это был невысокого роста плотный человек в военной гимнастерке.

– Мы попытаемся установить в Бухаре настоящую советскую власть, – сказал он мне.

Дипломатические паспорта нам подписал заместитель наркома иностранных дел Леон Карахан. Теперь все наши помыслы были связаны с предстоящей работой, к которой мы себя сознательно готовили.

Большевик на феодальном востоке

Это была любопытная экспедиция, подобная тем, что в средние века направлялись в неведомые страны. Весь штат посольства насчитывал сорок шесть человек. Однако мы заполнили целый поезд. Это был санитарный эшелон, переданный временно в наше распоряжение. К поезду был прицеплен один вагон первого класса, ставший нашим жилищем во время нашего неблизкого путешествия. Помимо гражданского персонала, который включал повара и машинисток, мы взяли с собой небольшой отряд солдат, запасы продовольствия, медикаменты, оружие, предметы для бартерной торговли и подарки. Женатые члены миссии везли с собой семьи.

В обычное время эта поездка заняла бы пять дней, но нам потребовалось на дорогу три с половиной недели. Солнце немилосердно жгло степи и пустыни, по которым пролегал наш маршрут; станции лежали в руинах, и все же это было необыкновенно замечательное путешествие. Мужчины, а иногда и женщины лежали полуобнаженные на крышах вагонов, буквально купаясь, после московских холодов, в горячих лучах южного солнца. Все мы были в приподнятом настроении, понимая, что нас впереди ждут приключения, что нам предстоит выполнить важную миссию. Все это было впереди. А пока мы вовсю наслаждались неожиданно выпавшим нам отдыхом.

В отдельном купе нашего штабного вагона ехала незнакомая женщина. Кто-то сказал, что это жена бухарского дипломата, и я ожидал увидеть маленькую загорелую женщину азиатской наружности. Каково же было мое изумление, когда меня представили молодой русской красавице. Она оказалась вдовой покойного посла Апрелева. Похоже, свою утрату, судя по ее виду, она переживала с легким сердцем. И все же она возвращалась в Центральную Азию, чтобы быть подальше от Москвы. Видимо, ей вовсе не хотелось оставаться в столице. Там она бы неизбежно была втянута в водоворот «светской» жизни со всеми неизбежными при ее внешних данных победами, но это ей сейчас было совсем не нужно. По мере того как продолжалось наше путешествие, она прекрасно чувствовала себя в миниатюрном «московском» мирке. Большинство мужчин напропалую за ней ухаживали. Временами она проявляла к кому-то благосклонность, но потом опять ее охватывало настроение недовольства и нами и собой. Однажды она призналась мне, что ей хочется побыть одной. Я ответил ей примерно следующее:

– Если вы действительно хотите быть одной, то я могу

предложить вам решение. Пока такая красивая и желанная женщина, как вы, остается одинокой, к вам неизбежно будут проявлять внимание молодые парни, жизнь которых наполнена опасностями. Сам я только что пережил большое разочарование в жизни и могу относиться к вам совершенно спокойно, женщины меня вообще больше не интересуют. Я предлагаю вам чисто формальный брак. Как вам нравится эта идея?

Этот план сначала рассмешил Ольгу Федоровну, но когда она поняла, что я говорю серьезно, то, подумав минутку, ответила:

– Я согласна. Как только приедем в Бухару, сразу же поженимся.

По пути в Бухару наш дипломатический поезд сделал остановку в Ташкенте, сочетавшем в себе черты современного Запада с традиционной негой Востока. После утомительного и однообразного путешествия открывшееся взору великолепие красок Востока обостряло наше восприятие и значительно улучшило настроение. Константин Константинович взял меня с собой в штаб-квартиру комиссии по делам Туркестана, известной под названием Турккомиссии. Чтобы упредить жару, мы отправились туда очень рано. Наш путь лежал по широким, тихим улицам, утопающим в садах. Журчание воды в ирригационных каналах и пение птиц в садах делало нашу пешую прогулку почти отдыхом. Мы подошли к небольшому белому домику, который, казалось, еще не пробудился от сна. У входа, под небольшой вывеской, дремал привратник. Так как ворота были открыты, а привратник не обратил на нас ни малейшего внимания, мы вошли в дом и очутились в небольшой прихожей. Я раздвинул занавеску, и мы увидели пустую комнату и спящих на полу двух мужчин. При нашем появлении они вскочили на ноги.

– В чем дело? Кто вы?

– Прибыло советское посольство в Бухаре. Нам нужна Туркестанская комиссия.

– Это вы по адресу, – сказал один из них.

Когда они встали перед нами полуодетые, я узнал их по портретам. Один высокий, с вьющимися волосами, крупными чертами лица на круглом лице и в очках. Другой, пониже ростом, был коротко пострижен и с небольшими усиками. Оба были членами ЦК, соратниками Ленина. Тот, что пониже ростом, был Томским, в прошлом типографский рабочий, старейший член партии, председатель одного из самых первых Советов в Ревеле (Таллин), созданного в 1905 году В последнее время он был председателем Центрального совета профсоюзов, и его отправили в Туркестан как раз из-за разногласий с Лениным в вопросе о профсоюзах. Высокий его коллега в очках был Рудзутак, ставший

впоследствии членом Политбюро ЦК ВКП(б)[20].

Мы прошли в кабинет. Он отличался от первой комнаты тем, что на стенах висели карты, а на столе стояли телефоны. Нам подали знаменитый зеленый чай, за которым Туркомиссия предоставила нам подробную информацию о положении в Бухаре. Информацию, которую мы услышали, без преувеличения можно было назвать чрезвычайно полезной. Фронты в регионе были в постоянном движении, и разрозненные подразделения Красной Армии несли бóльшие потери от малярии, чем от противника. Эта малярия была особенно вирулентной разновидности, и перед ней никто не мог долго устоять. Кроме того, большая часть страны была занята басмачами, которые получали подкрепление и снабжение из Афганистана, Персии и Индии. Эмир не собирался отказываться от своих притязаний на власть и в настоящее время скрывался где-то поблизости в горах. Дехкане, измученные нашествиями и реквизициями с обеих сторон, перестали обрабатывать большую часть земли, отчего ощущалась острая нехватка продовольствия, грозившая перерасти в голод. Гражданская война опустошила большую часть Восточной Бухары. «Молодая партия Бухары», недавно переименованная в коммунистическую партию, не пользовалась особым авторитетом. Она была разделена на две фракции по политическим и клановым признакам. Одну возглавлял Файзулла Ходжаев, а другую – Мухитдинов. Ходжаев производил впечатление более современного человека, заинтересованного в сближении с Россией.

Что же касается заграничной агитационной работы, то ею не без успеха занимался созданный и поддерживаемый Коминтерном Паниндийский комитет. Кроме того, под его эгидой действовала небольшая индийская военная школа, готовившая будущих командиров индийской красной армии, которая должна была принести в Индию революцию.

Я взял адрес Паниндийского комитета в расчете узнать побольше о его деятельности, а заодно и продемонстрировать мое знание языка хинди. По указанному адресу я нашел одноэтажный дом без всякой вывески. У дверей дремал чистильщик обуви.

– Скажите, пожалуйста, – обратился я к нему, – где находится Паниндийский комитет?

Он ничем не мог мне помочь. Ему были безразличны революционные комитеты, и он не интересовался завоеванием Индии. Пытаясь объясниться с ним, я повысил голос. В окне прямо над нашими головами появилось злое лицо с маленькой бородкой. Владелец бородки поднес палец к губам и знаком пригласил меня войти через соседнюю дверь. Он встретил меня в

прихожей.

– Здесь он. Здесь этот комитет. Но какого черта вы так орете? Официально эта организация не существует. Правительство обещало англичанам распустить комитет.

Такое обещание действительно было дано в ответ на ультиматум лорда Керзона. Несмотря на демонстрации на улицах Москвы и Петрограда по поводу «наглости британских империалистов», советское правительство пошло на уступки. Но оно не отказалось от своих планов распространить революцию на Восток, и Паниндийский комитет просто снял вывеску, переименовал свои издания и дал военной школе более невинное название. Мне всегда вспоминался этот пример, когда американские политики и журналисты важно обсуждали, к примеру, «роспуск» Коминтерна.

Бородатый мужчина представился как Тивель, востоковед, бывший секретарь Зиновьева, а ныне председатель якобы несуществующего Паниндийского комитета. С ним было двое его коллег, Гольдберг и Фридлянд. На этом все мои надежды попрактиковаться в хинди закончились, хотя Тивель с его матовой кожей и угольно-черными глазами мог с некоторой натяжкой сойти за индуса. Во всяком случае, он подарил мне учебник индийской грамматики (позже, году в 1935-м, я встретил его в Москве. Помнится, он тогда вместе с Радеком возглавлял личное информационное бюро Сталина по вопросам внешней политики. Вскоре его обвинили в подготовке покушения на жизнь диктатора и расстреляли).

От Ташкента до Бухары по прямой будет около четырехсот пятидесяти километров, а поездом около шестисот. Поезд идет через залитые солнцем горы с цветущими лугами. Если бы не войны и тирания, этот уголок можно было бы считать одним из самых благословенных мест на земле. Сама Бухара окружена средневековыми глинобитными стенами. На башнях и у ворот стоят стражники. За стенами города простираются цветущие сады, полные яблок и абрикосов, и тучные пастбища.

Въезд советской миссии в город был обставлен очень внушительно. Под крики возниц и щелканье кнутов породистые рысаки на полной скорости пронесли четырехколесные повозки по улицам столь узким, что прохожим приходилось вжиматься в стены. Было просто чудом, что мы не затоптали никого в этой «кавалерийской атаке».

Местные мужчины ходили по улицам в разноцветных халатах, а женщины прятали свои лица под густой чадрой. На узких улицах совершенно не было окон. Дома строились вокруг внутренних двориков, изолированно от окружающего мира, с

которым они сообщались через ворота, зачастую украшенные резьбой по дереву и всегда с висящим молотком, стуком которого посетитель мог дать знать о своем приходе. Проехав по раскаленным солнцем, полусонным узким улицам, мы въехали в благодатную тень крытого рынка, занимавшего несколько кварталов – настоящий город с улицами и переулками, кишащими людьми, мухами и всевозможными товарами.

Все это было похоже на красочную театрализованную сцену из «Тысячи и одной ночи». Лавочки выплескивали свой товар прямо на улицу. Можно было присесть на ковер, выпить чашку кофе и без конца торговаться с разноязыкой толпой персов, индусов, афганов, турок, узбеков, греков, китайцев, русских и евреев. Здесь были все дары Востока, заполнявшие мешки, сундуки, корзины и тыквенные сосуды, разложенные на подносах и свисавшие с потолка. Бродячие торговцы сновали в толпе, предлагая сладости и прохладительные напитки. Все это создавало неповторимый ароматный восточный букет. Из-под чадры женщины бросали на нас любопытствующие взгляды. Еще рывок – и наши коляски выскочили за ворота рынка на ослепительное солнце под бирюзовым небом, которое, казалось, физически давило на наши головы.

В советском посольстве мы нашли наших коллег, на которых хинин уже перестал оказывать лечебное воздействие. Все лежали с температурой, страдая от той особенно тяжелой формы малярии, которая свирепствует время от времени в Центральной Азии и часто приводит к смертельному исходу. Если же жертве удается выкарабкаться, то лишь ценой полного истощения. Мы должны были заменить команду призраков.

У моей будущей невесты, Ольги Федоровны, была хорошая подруга из технического персонала посольства, Маруся, которая радостно встретила ее у входа. Это была женщина средних лет, решительного вида, очевидно, столь энергичная, что ей не страшна была даже малярия. Она сочла своим долгом взять на себя все заботы о молодой вдове. В первую очередь, это означало подготовку свадьбы, к чему она отнеслась с полной серьезностью, не зная, что это должна быть лишь простая формальность. Полпред Юренев тоже выделил для этой церемонии свою персональную коляску, которая была вся заполнена цветами. Когда мы подъехали к городской управе, то обнаружили, что кроме Маруси нам нужен еще один свидетель. Я заметил на улице одного из своих коллег, консула в Синьцзяне, ехавшего с нами в одном поезде, и привлек его к этому делу.

Прежде чем войти в помещение для регистрации, Ольга Федоровна обернулась ко мне и, улыбаясь, спросила с некоторым

вызовом:

– Вы все еще готовы на этот шаг? Вам не кажется, что мы подходим к этому как-то уж слишком легкомысленно?

– У меня нет никаких оснований отступать, – ответил решительно я, и это сняло у нее все дальнейшие сомнения.

Нет ничего проще регистрации брака. Мы расписались в журнале, и вместе с нами расписались свидетели.

– Будьте счастливы, – сказал служащий, захлопывая книгу регистрации. На этом церемония закончилась.

Мы вчетвером поехали в небольшой грузинский ресторан, который, как и все подобные заведения на востоке России, славился своим шашлыком и сухими винами. Встретивший нас владелец ресторана рассыпался в комплиментах. Это был толстый, улыбающийся грузин в пурпурной вельветовой шапочке и вышитых чувяках. С наступлением темноты мы все вернулись в посольство и я, пожелав своей жене спокойной ночи, отправился на террасу, чтобы уснуть там на открытом воздухе. В этот момент наш друг – Маруся заволновалась. Разве она в какой-то мере не несет ответственность за то, чтобы молодожены были счастливы? Она так старалась, чтобы все было хорошо! И теперь данное ей шепотом объяснение ситуации прозвучало для нее оскорблением. Значит, все это было обманом? Мы из нее сделали дуру! Мы всех оставили в дураках. В порыве гнева она заявила, что мы оба круглые идиоты, и ушла в свою комнату. Эту и многие другие ночи я провел в одиночестве на террасе под звездами…

Мы принялись за работу и быстро стали постигать детали местной обстановки. Бухара, несмотря на доминирование двух кланов – Ходжаева и Мухитдинова, – по форме была народной республикой, управлявшейся Советом назиров, которые примерно соответствовали нашим народным комиссарам. Все назиры были видными гражданами и членами партии «Молодой Бухары». Практически все они принадлежали к молодому поколению торговцев, увлекались идеями младотурков и мечтали о национальном возрождении. Сам по себе термин «шовра», то есть «совет», звучал странно в стране, где не было ни технической базы, ни современной промышленности, соответственно, и рабочего класса.

Начиная с XIV века бухарскими ханами были мелкие деспоты, независимость и безопасность которых обеспечивалась окружающей пустыней. Последний эмир – он все еще находился со своим двором где-то, как упоминалось выше, поблизости – вел непримиримую длительную борьбу с исходившим из России революционным влиянием. Многих членов «Молодой Бухары» он бросил в тюрьмы, подвергая их пыткам и обрекая на смерть. Во

главе оппозиции встал Файзулла Ходжаев, который в сентябре 1920 года, при приближении подразделений Красной Армии, сумел поднять восстание ремесленников и купцов. Трудно сказать, чем бы закончилось это выступление, если бы не русская артиллерия. Она в конечном итоге решила исход дела.

Партия «Молодой Бухары», переименовавшись в коммунистическую, сформировала советское правительство. Сама она получила в Коминтерне статус «сочувствующей». Этого было достаточно для того, чтобы получить мощную политическую и финансовую поддержку. Собственность эмира и феодальной знати была конфискована, но никто и пальцем не тронул купцов и крестьян. Под наблюдением двух русских «советников» была создана ЧК. Она тут же приступила к работе, арестовывая подозрительных лиц, но никого не расстреливая. Новое правительство действовало точно так же, как действовали правители Бухары на протяжении столетий. Можно было увидеть назира, то есть министра, сидящим на ковре и диктующим декрет писцу, который записывал его старым персидским письмом на дощечке, лежавшей у него на коленях. Рядом с этим законодательным процессом сновали молодые люди в кожаных кафтанах без рукавов, некоторые с револьверами на поясах. Никто из них ничуть не заботился о том, чтобы придать себе какой-то воинственный вид. Мне рассказали, что эмир взял с собой свой гарем, но оставил в Бухаре некоторых своих любимцев мужского пола. Некоторые из них сумели найти путь к сердцам представителей новой власти и добились высокого положения.

Новым хозяевам Бухары была нужна помощь России, но в глубине души они все-таки считали нас врагами. Власть Советов для них была властью России, и они ее откровенно боялись. Поэтому мы как можно меньше вмешивались в их внутренние дела, о которых, по правде говоря, почти ничего не знали. Однако для нас не было секретом, что многие бухарские «коммунисты», которые днем были купцами, по вечерам проводили свои собрания. Их взгляды были скорее консервативными, чем революционными, и их симпатии были на стороне клана Мухитдинова. И если бы не кипучая энергия нашего друга Файзуллы Ходжаева, чаша весов давно склонилась бы в пользу соперничающей группировки Мухитдинова – панисламистов.

Файзулла Ходжаев, которого иногда называли «Лениным узбеков», был всегда полон энергии, несмотря на приступы малярии, от которых его лицо приобретало зеленоватый оттенок. Он был очень жизнерадостен и, несмотря на непосильную нагрузку, часто шутил и смеялся. Он знал свой народ, был хорошим оратором и мудрым политиком. Он был единственным,

кто мог найти общий язык между маленькой Бухарой и **ее** старшим братом – Россией. Позже он помог центральному советскому правительству урегулировать вопрос о границах в регионе. В новой республике, Узбекистане, он объединил узбеков Бухары с узбеками старого русского Туркестана и стал президентом этой новой республики, одним из семи президентов СССР, приобретя одинаковый статус с Калининым, главой Российской Федерации[21].

Я несколько раз встречался с Ходжаевым. Пройдя через внутренний дворик его дома, я оказывался в большой и абсолютно пустой комнате. Нужно было пройти еще с полсотни шагов по покрытому ковром полу, чтобы дойти до его кабинета. Выглядел Ходжаев болезненно, но выражение его лица было всегда решительным, взгляд пронизывающим. Одет он был в простую гимнастерку, но на публике всегда появлялся в тюрбане и ярком шелковом халате. Когда я наносил визит его сопернику Мухитдинову, человеку традиционного восточного типа, то всегда заставал его в национальной одежде, сидящим, по-восточному поджав под себя ноги. Чтобы попасть к нему, я должен был пройти под несколькими полуразвалившимися арками, через сад, по которому ходили фазаны и павлины.

Как военному атташе и офицеру связи мне приходилось ездить по всей стране. Неподалеку от Старой Бухары стоит Новая Бухара – ничем не примечательный небольшой городок европейского типа. Между ними – еврейский город, нечто вроде восточного гетто, где в течение столетий жили евреи необычайной расовой чистоты и почти библейской красоты. Я никогда не забуду впечатления, которое произвела на меня нищета женщин и детей этого гетто. При эмире евреи в знак своего рабского происхождения должны были подпоясываться веревкой, и только после революции те, кто мог себе это позволить, с гордостью стали носить ремни и кушаки.

Мне часто приходилось бывать в подразделениях Красной Армии, расквартированных в долине Харм, известной как «долина смерти», потому что там особенно свирепствовала малярия. Из каждых десяти бойцов девять болели малярией, и никакой хинин им не помогал. Их просто приходилось менять каждые два месяца. Скоро и весь новый состав посольства заболел малярией. В отдельные дни практически все сотрудники не могли подняться на ноги и посольство прекращало работу.

Заболела и Ольга Федоровна. Мы вежливо поддерживали между собой дружеские отношения с оттенком фамильярности. Иногда я приносил ей цветы и спрашивал о здоровье, а затем садился на лошадь и уезжал в очередную поездку по стране. Не

знаю, как это случилось, но постепенно наши отношения стали портиться. Как-то она стала упрекать меня за невнимательность к ней, хотя я внутренне гордился тем, как тактично я вел себя в этой деликатной ситуации. Однажды после обмена колкостями я хлопнул дверью и выбежал из комнаты, вскочил на коня и, вонзив в бока шпоры, понесся галопом впереди группы, с которой должен был отправиться в путь. Я был единственным из группы, кто был обучен верховой езде, но в гневе я совершенно забыл об этом и повел группу в бешеном темпе, перескакивая через ручьи и садовые изгороди. Юренев чуть не свалился с лошади, но я не обращал внимания на его крики. Бешеная скачка продолжалась до тех пор, пока он не выхватил револьвер и не пригрозил застрелить меня.

– Черт тебя побери, – ворчал он потом, слегка поостыв. – Если бы ты не остановился, я бы подстрелил твою лошадь.

Наконец малярия добралась и до меня. Иногда я всю ночь метался в бреду, не смыкая глаз. В такие дни меня навещал мой друг, моряк Миша, с нашей флотилии на Амударье. Эта флотилия представляла собой уникальную коллекцию плавучего хлама, но она тем не менее играла заметную роль в этом регионе. Миша приводил с собой свою жену, простую крестьянскую женщину, которая, однако, разделяла Мишину склонность к хорошему коньяку. От попыток Миши лечить мою лихорадку глотком коньяка мне было только хуже. Но они сами пили, смеялись и пели, что приводило в ярость Ольгу Федоровну. Она чувствовала себя оскорбленной, я тоже. Но мы сами поставили себя в такое нелепое положение, что не могли разобраться в своих чувствах. Наконец она решила уехать в Россию. Я отнес ее чемоданы в коляску, ту самую коляску, на которой мы ездили в день свадьбы. Мы обменялись несколькими прощальными фразами, в которых сквозила плохо скрываемая грусть. Наши отношения подвергались суровой проверке, но, видимо, без этого нельзя было обойтись.

С афганской границы в кафе «Пегас»

Положение в Восточной Бухаре ухудшалось с каждым днем. Банды басмачей, воевавшие под знаменами свергнутого эмира, выходили из-под контроля. Информация о событиях в регионе была отрывочна и противоречива. Советские представители, направлявшиеся в этот район для закупки зерна у крестьян, бесследно исчезали. Становилось ясно, что местные гражданские и военные власти не в состоянии справиться с ситуацией. Советский консул, сообщая о своей тяжелой болезни, просил о замене. И вот К. К. Юренев назначил меня Генеральным консулом и военным резидентом Восточной Бухары, административный центр которой находился в Харши.

Это был маленький, полузаброшенный городок у подошвы горного хребта в двухстах пятидесяти километрах от афганской границы. Стоявшая там бригада Красной Армии потеряла от малярии почти девять десятых своего состава. Местные коммунисты делили свое время между молитвами в мечети и муниципальными делами. Отношения между нами были напряженными. Дело дошло до того, что они отказывались поставлять продовольствие Красной Армии, и мы вынуждены были прибегать к реквизициям.

– Красная Армия должна жить, – говорил я им. – Помните, что, если мы уйдем, придут эмирские головорезы, и тогда вам несдобровать. Всем вам они перережут горло.

Они понимали весомость моих аргументов, но все же не спешили тащить нам мешки с мукой и рисом. Город уже дважды подвергался разграблению басмачами. Треть зданий лежала в руинах, а их жители либо вырезаны, либо бежали в горы. Было больно видеть эти развалины, освещенные ярким солнцем и окруженные роскошными виноградниками.

Жизнь у солдат была тяжелой. Время от времени басмачи совершали ночные набеги на город. Молниеносный налет, резня, грабеж – и они ускользали, прежде чем успевали подтянуться наши солдаты. Изнурительный климат был беспощаден. Каждую неделю мы хоронили нескольких бойцов, погибших от малярии. Наша разведка работала слабо и недостаточно информировала нас о передвижении басмачей, которые были в постоянном контакте с англичанами. Несколько английских патрулей действовали в районе проживания враждебных нам племен между Афганистаном и «крышей мира» – Памиром, оплачивая приобретаемое продовольствие серебром и золотом.

Я прожил в Харши около двух месяцев, но этого было

достаточно для того, чтобы окончательно подорвать свое здоровье. Дело было не только в высокой температуре. У меня, как и у большинства европейцев, живущих в этом субтропическом регионе, образовались на ногах язвы. Мне приходилось диктовать свои письма лежа в кровати, вытянув ноги в направлении стоявшей посреди комнаты печи. В таком же положении я принимал посетителей. Моя левая нога была в таком плачевном состоянии, что не мог надеть сапог и ходил с одной ногой, обутой в турецкий чувяк.

Мой коллега по Академии Генштаба Кассис, который командовал расквартированной в Фергане дивизией, узнав о моем состоянии, прислал мне несколько бочонков особенно ароматного и целебного вина. Увы, несмотря на эту братскую помощь, вино уже не смогло поставить меня на ноги[22].

Хотя я занимал должность консула, но консульских обязанностей у меня практически не было. На самом деле я выполнял функции старшего воинского начальника в отношении российских войск, расквартированных в этом протекторате. Войска располагались в восьмидесяти километрах к востоку, и моим единственным компаньоном здесь был латыш, неизвестно как попавший в это экзотическое место и выполнявший обязанности начальника местной милиции – живописного сборища головорезов в тюрбанах и невообразимых лохмотьях, которые или раньше были басмачами, или вскоре должны были стать ими. Латыш часто проводил свои вечера со мной на плоской крыше консульского здания, довольно большого и унылого, без какой-либо мебели, если не считать нескольких ковров. С крыши мы могли наблюдать за соседними двориками и улицами, на которых не было видно никакой живности, кроме шакалов, время от времени забегавших сюда в поисках пищи. При свете яркой луны хорошо были видны тени этих крадущихся хищников. В эти одинокие вечера я с тоской вспоминал свою неудачную женитьбу и **ее** бесславный конец. Латыш настраивал гитару и пытался скрасить наше одиночество меланхолическими песнями типа: «Все проходит…»

Работа моя была нерегулярной. С фронта прибывали офицеры с жалобами на недостаток продовольствия и с просьбой разрешить реквизицию у местного населения. Приходили офицеры из местной милиции с просьбой разъяснить им указания, полученные от центральной власти, помочь в планировании оборонительных мероприятий и подготовке приказов для войск. В пять часов у меня наступал приступ малярии, который всегда продолжался до темноты. И только ночью я мог подняться с дивана, полностью истощенный.

Лишь однажды наше монотонное существование было нарушено визитом одного из важных членов мухитдиновского клана, который стал президентом республики, а его близкий родственник, Арифов, министром обороны. Они направлялись на встречу с главарями басмачей для обсуждения тех мирных соглашений, которые на самом деле не приносят мира, но создают большие возможности для всякого рода бесчестных сделок и закулисных маневров. Они остановились в доме богатого харшийского купца и устроили для меня прием на крыше его дома. Это был очень торжественный прием. Организаторы приготовили роскошный плов, после ужина появились музыканты со своими национальными струнными инструментами и бубнами. Узбекская музыка сильно отличается от нашей, но в ней есть некое экзотическое очарование. Оба высокопоставленных чиновника привезли с собой своих любимцев, грациозных подростков в возрасте двенадцати-пятнадцати лет, которые в военной форме выглядели довольно странно. Они стали танцевать для нас, и, надо признать, танцевали замечательно, потому что занимались этим с младенчества. Арифов создал из этих бывших безработных, а зачастую и беспризорных мальчишек ансамбль и включил его в штат своего комиссариата.

У меня эти союзники, путешествовавшие с такой свитой, вызвали недоверие, но я должен был проявить ответную вежливость и устроил для них прием в консульстве. Во время приема президент и министр обороны республики продолжали исполнять свои официальные обязанности. Отхлебнув зеленого чая или вина, они доставали из кармана халата печать и, поплевав на нее, торжественно прикладывали к указу или судебному решению, доставленному помощниками. Вот так в Бухаре отправлялось правосудие.

Из-за резкого похолодания ночью эти два господина одолжили у меня мою новую шинель и мою коляску, единственную двухосную повозку в Восточной Бухаре, и после заключительного обмена любезностями, провожаемые моими почти лирическими напутствиями, укатили. Больше я их никогда не видел, поскольку они перешли к басмачам вместе со своим любимым танцевально-музыкальным ансамблем, писцами, поварами и моей новой шинелью. Коляска была возвращена мне после того, как они доехали до места, где заканчивались все дороги. Насколько прав был Файзулла Ходжаев, когда предостерегал нас от доверчивости к Мухитдинову с его феодальными замашками, советуя нам доверять только тем, кого эмир наказывал битьем палками по пяткам, говорить было

излишне.

Малярия довела меня до крайней степени истощения. Старый и вечно пьяный военный доктор из пехотной бригады пытался убедить меня пройти «водколечение», но я решил ждать, пока мне представится возможность лечиться каким-нибудь другим способом.

В конце октября 1921 года Академия Генштаба отозвала всех своих отсутствовавших слушателей для продолжения учебы. Я передал дела секретарю и с чувством большого облегчения взгромоздился на свою коляску. С собой я вез целое состояние: мешок белой муки, мешок изюма, два шелковых халата – подарок республики – и толстое стеганое ватное одеяло. Из-за всего этого во время путешествия мне приходилось спать вполглаза, ибо такое богатство было большим искушением для грабителей.

Я ехал в Россию, где в Поволжье разразился голод. Люди тысячами умирали. В прессе сообщалось об отдельных случаях каннибализма. Железнодорожные станции были либо абсолютно пустынными, либо заполнены существами, дошедшими до последней стадии отчаяния. Американская организация помощи, АРА, по указанию президента Герберта Гувера оказывала помощь голодающим. Меня это изумило, так как я считал, что капиталистический мир больше всего на свете желал краха коммунистической России. Мы считали, что голод в немалой степени был результатом капиталистической блокады. Однако деятельность АРА свидетельствовала о том, что и на Западе у нас были друзья. Но может быть, думал я, что это всего лишь капиталистическое лицемерие? Ответа на этот мучивший меня вопрос я не находил.

Между тем в Москве тоже не хватало продовольствия и уже давно действовала карточная система распределения продуктов. Но главное было в другом – Гражданская война закончилась, и для моего поколения забрезжил свет надежды.

Когда я сошел с поезда, в Москве была грязная осенняя оттепель. Нагруженный мешками, в одном армейском сапоге и в одном расшитом чувяке, я, должно быть, производил странное впечатление. Извозчиков нигде не было. Мне удалось найти что-то вроде рикши с санками, на которые я погрузил свои мешки, и вслед за ними поковылял к гостинице «Левада». Деньги в то время совершенно обесценились, и расплачиваться мне пришлось со своим возницей тремя фунтами муки.

В Академии Генштаба проходила партийная чистка, этого отчасти требовала сложившаяся ситуация. Если, к примеру, в начале Гражданской войны партия насчитывала несколько сотен тысяч членов, то сейчас в ней было около двух миллионов.

Теперь, когда главная опасность миновала, партия хотела повнимательнее присмотреться к своим рядам. Официальной целью чистки было избавление от авантюристов и чуждых элементов, а также тех, кто вступил в партию в корыстных целях.

Я уже дважды был свидетелем подобных мероприятий во время войны в Гомеле. Как только наступала передышка, партия собирала своих членов и спрашивала, кто где был и что делал в период кризиса. У тех, кто отсиживался в укромном месте, никакие объяснения не принимались, их просто исключали из партии.

На этот раз первым контрольная комиссия академии вызвала Михаила Николаевича Тухачевского, который к тому времени стал нашим начальником. Зал был заполнен слушателями и офицерами Московского гарнизона. Тухачевский уже пользовался в партии большим авторитетом не только за прошлые дела (многие знали о его двенадцати попытках бежать из германского плена во время мировой войны), но и за его верность революции в самые критические моменты, за победоносные сражения на Волге, за польское наступление. Мы знали, что в 1918 году он командовал одним из первых соединений Красной Армии, достойным этого названия. Он был первым командиром прославленной Первой Железной дивизии, победителем адмирала Колчака.

Молодой, с энергичным лицом, одетый в простую солдатскую гимнастерку, Тухачевский спокойно, с достоинством, без тени позерства поднялся на трибуну. На груди у него блестел недавно учрежденный орден Красного Знамени, который давался за храбрость, проявленную на поле боя. Нам нравилась его простота и скромность, поскольку к тому времени и в академии, и в высших армейских кругах уже появилось немало дилетантов, щеголявших в роскошной форме. О себе он говорил краткими, сухими фразами:

– В Красную Армию вступил в тысяча девятьсот восемнадцатом году; из дворян; бывший младший офицер царской армии; был в плену у немцев; бежал. В Краевой Армии командовал дивизией, затем армией на Восточном фронте. Приказом председателя Реввоенсовета товарища Троцкого награжден орденом Красного Знамени за разгром Колчака. Был командующим Западным фронтом. До вступления в партию большевиков ни в каких партиях не состоял. Партийных взысканий не имею…

Члены комиссии задали несколько вопросов, на которые Тухачевский ответил в той же лаконичной манере.

Члены комиссии кивнули друг другу, и председатель объявил

решение:

– Член партии с тысяча девятьсот восемнадцатого года начальник Академии Генерального штаба Тухачевский достоин членства в партии.

Следующим вызвали широкоплечего слушателя с гордой осанкой, Якова Блюмкина. Если бы Блюмкин мог дать волю своему красноречию, то перед слушателями развернулась бы одна из самых романтических и авантюрных историй.

– По рождению я еврей, из буржуазии, – начал свою исповедь Блюмкин. – После гимназии стал профессиональным революционером. Состоял в левом крыле партии эсеров, во исполнение решения партии в июле тысяча девятьсот восемнадцатого года убил германского посла графа Мирбаха. Организовывал и руководил деятельностью подпольных групп в тылу Белой армии на Украине. В составе партизанских групп выполнял несколько специальных заданий, несколько раз был ранен. В качестве члена ЦК Компартии Персии вместе с Кучук-ханом принимал участие в революции в этой стране…

Комиссия решила, что Блюмкин также достоин «высокого звания члена партии пролетариата»!

Третьим вызвали моего коллегу Юрия Саблина. Он, как и Блюмкин, в прошлом один из лидеров партии эсеров, отличился во время Октябрьского восстания в Москве. Во время Гражданской войны командовал дивизией, был дважды ранен. Это был человек редкой храбрости. Здесь стоит отметить, что среди коммунистов нашей академии было четыре бывших члена ЦК партии левых эсеров, которые три года назад, в 1918 году, подняли в Москве мятеж против советской власти.

Другого моего коллегу – Брикета из партии исключили, хотя я вышел на трибуну и горячо выступил в его защиту. Он был выходцем из буржуазной семьи, и комиссия решила, что его послужной список оставлял желать лучшего. Он был исключен как «карьерист». Я знал, что он храбро вел себя на фронте и был хорошим коммунистом. Допущенная несправедливость в конце концов была исправлена, но в то время для Брикета это было большим потрясением.

В 1929 году Блюмкин по указанию Сталина был расстрелян без суда за то, что тайно встречался с Троцким в Стамбуле и привез в Москву письмо к его последователям. Это был первый случай пролития крови во внутриполитической борьбе.

М. Н. Тухачевский недолго возглавлял нашу академию. Его направили на подавление крестьянского восстания в Тамбовской губернии, вспыхнувшего под руководством бывшего эсера, школьного учителя Антонова. Во главе академии был поставлен

другой старший офицер, по фамилии Геккер, с которым я познакомился при следующих обстоятельствах.

Все слушатели собрались в большом зале для представления нового начальника академии. Я оказался за одним столом с человеком невысокого роста, значительно старше меня, с рыжими вьющимися волосами, маленькими усиками и изнеженными руками.

– Жалко, что Тухачевский уходит, – заметил я. – Вряд ли новый начальник сможет заменить его, как вы думаете?

– Посмотрим, – улыбнулся мой сосед.

Через мгновение председатель собрания объявил:

– Сейчас выступит новый начальник академии.

Мой сосед поднялся и не спеша пошел к трибуне. Такая необычная первая встреча вызвала у нас какую-то взаимную симпатию. Геккер потом всегда звал меня «Бенджамином академии», потому что я был самым молодым слушателем; для меня же он был больше, чем просто старшим офицером, он был моим другом. Позже он стал военным атташе, сначала на Дальнем Востоке, а затем в Турции, а после этого начальником протокольного отдела Наркомата обороны, и о нем я еще скажу дальше.

Защищая во время чистки Брикета, я приобрел двух друзей в лице его самого и его молодой жены. В то время она училась в главной партийной академии, в Университете имени Свердлова, неофициально известного как «Республика Свердловия». Это была очень необычная республика, состоявшая из молодых энтузиастов, съехавшихся сюда со всех концов страны «за идеями». Свердловцы проявляли острейший интерес ко всему, что касалось политики, марксистской теории, текущих событий и даже поэзии. Там были свои группировки и свои кризисы. Часто слушатели нашей академии и свердловцы встречались в комнате у меня или у Брикета. Дрожа от холода, мы пили кипяток, который у нас сходил за чай, хотя там и близко не было ни одного чайного листочка. Нашим единственным лакомством был мой изюм из Харши, а при полном отсутствии в Москве сахара это было не так уж и плохо.

Комната наша обычно набивалась битком. Молодые мужчины и женщины сидели скрестив ноги на кровати, на диване и даже на полу. Мы могли обсуждать статью Бухарина или новую поэму, спорить по любому злободневному вопросу. Однажды молодая девушка при пятнадцатиградусном морозе потребовала настежь распахнуть окно, ей, по ее словам, нужен был воздух, так как поэма, которую она собиралась прочесть, требовала «пространства и уличного шума». Читала она каким-то глубоким,

почти мужским голосом. Для такого голоса, который заставлял прохожих на улице останавливаться и слушать, действительно нужно было пространство. А читала она «Левый марш» Владимира Маяковского.

В обстановке всеобщей нищеты тех лет наша академия пользовалась некоторыми преимуществами, которые иногда позволяли нам играть роль хозяев. Наш клуб был одним из лучших в Москве. У нас выступали самые знаменитые актеры и поэты. Мы были не только благодарной аудиторией слушателей, но и людьми, способными помочь нашим всегда голодным гостям выжить. Вместо вконец обесценившихся денег мы платили им продуктами. После окончания таких вечеров, на которых мы заряжались высоким искусством, я часто замечал, как некоторые знаменитые артисты и писатели отправлялись домой на конных экипажах, принадлежащих академии, или тащили за собой санки, нагруженные провизией. Ведущие солисты оперного театра: Нежданова, Собинов, Петров; знаменитый солист балета Мордкин; самые известные современные поэты: Третьяков, Асеев, Маяковский – радовали нас своими талантами и получали от нас взамен рис, ячмень, сахар, селедку и даже масло.

Иногда нас приглашал к себе в театр Мейерхольд. Этот замечательный режиссер поставил пьесу Маяковского «Мистерия-буфф», в чем-то эпическую, а в чем-то трагическую и даже сатирическую, действие которой происходило частично на небе, а частично на земле. Это было лучшее, на что был способен Маяковский, а Мейерхольд превзошел сам себя. Я думаю, что публика тех дней: солдаты, студенты, рабочие и революционная интеллигенция, голодающие, но богатые надеждами, – были, пожалуй, самой благодарной публикой в мире, на которую могли рассчитывать эти два гения.

Мы сидели в верхней одежде в неотапливаемом театре и следили за пьесой. Мейерхольд, худой как жердь, с развевающимися волосами, в пальто с поднятым до ушей воротником, метался по сцене, на которой не было занавеса; он то нырял за кулисы, распекая рабочих сцены, то давал какие-то последние указания трясущемуся от страха актеру, который в следующий момент должен будет появиться под самым верхом на символическом эшафоте и заклеймить бесчеловечность войны. Маяковский, сидящий среди публики, часто вскакивал со своего места на ноги и громовым голосом вносил какие-то коррективы. После спектакля мы вместе шли домой по пустынным улицам, повторяя во весь голос понравившиеся нам строки.

Потом Мейерхольда арестовали, театр закрыли и труппу распустили. Талантливого режиссера заклеймили как бездарного

клоуна. Что же касается Маяковского, то несколько лет назад он закончил свою собственную мистерию-буфф пулей в висок, и Сталин, правда, посмертно, признал его лучшим поэтом, которого дала революция.

Москва в то время была в непрерывном интеллектуальном поиске и экспериментах. Большинство видных мыслителей недавнего прошлого или эмигрировали, или тратили все свои силы на брюзжание по поводу новой власти. Молодежь была полна такого энтузиазма, которого раньше никогда не знала. Революционные марксисты, устами Ленина, Троцкого, Бухарина, Преображенского, Рязанова, Луначарского и Радека – этой блестящей плеяды людей действия, теоретиков, мыслителей и моралистов – проверяли истинность всех человеческих ценностей и закладывали основы нового мира.

На все у них находился ответ, и если часто он был слишком категоричен, то был он близок к жизни, стимулировал мысль и воспламенял воображение. Все виделось в новом свете: международная политика, право, военная тактика, этика, взаимоотношения полов, литература, живопись. Какой контраст с интеллектуальной стерильностью СССР под властью Сталина, где без всякого проблеска оригинальности возрождаются реакционнейшие черты царизма, где никто не решается на большее, чем убогое перефразирование высказываний диктатора, где поэты могут только восхвалять его в стихах, а прозаики в прозе! Но это будет на несколько лет позже, а тогда под патронажем Луначарского Москва стала землей обетованной для поэтов и артистов. Художники изобретали новые направления: конструктивисты, супрематисты; от них не отставали поэты: имажинисты, ничевоки и т. п. В жалких кооперативных кафе в центре Москвы, где подавали только кофе из каштанов и чай из моркови, сдобренный сахарином, всегда можно было послушать таких гениальных поэтов, как Есенин, Маяковский, Сельвинский, Третьяков. Когда они заканчивали читать свои стихи, мы собирались вместе и предлагали разделить с нами чашку эрзац-кофе с пирожными.

Это не была организованная богема, и не коммерциализованный Монпарнас, созданный продавцами картин и владельцами кафе, вроде «Дома» или «Купола» – этих знаменитых мест обитания богемы, которая в большинстве своем представляла пеструю смесь недовольных иностранцев. Это была настоящая жизнь, где энтузиазм был подлинным и рождал шедевры, а отчаяние столь искренним, что приводило к самоубийству Еще живы люди, которые хорошо помнят то время. Одним из самых популярных среди поэтических кафе было

«Стойло Пегаса». Я помню нарисованного на стене крылатого коня, парящего над головой небритого поэта в крестьянской блузе.

Однажды вечером, когда я возвращался домой после одного такого романтического вечера, сонный портье дал мне пришедшее по почте письмо. Это было событием, потому что я уже давно потерял контакт с матерью, да и с друзьями переписки не вел. Почерк был Ольги Федоровны, моей законной и совершенно нереальной жены, которая теперь жила с матерью в Тамбовской губернии. Я вскрыл письмо, и, должен признаться, сердце мое забилось чаще, чем того требовали обстоятельства нашего чисто формального супружества. Увы, письмо было спокойно-деловым, в нем сквозила мысль о том, что обстоятельства больше не требовали сохранения нашего парадоксального брака и нам следовало бы оформить развод. Я ответил в том же духе. Но так как я жил в столице, а она в провинции, и почта работала из рук вон плохо, нам пришлось писать друг другу несколько раз. Ее последующие письма были столь же сдержанно-вежливы, но в одном из них она добавила постскриптум, сообщив, что все еще страдает от малярии. В то время я лечился от этой же болезни в Институте тропической медицины. Доктора обещали мне полное выздоровление в трехмесячный срок. Я с трудом в это верил, и на самом деле этого не произошло, но я написал Ольге Федоровне и предложил ей показаться докторам из этого института. Когда я писал это письмо, меня беспокоила мысль, только ли в этом состоят мотивы моего приглашения Ольги Федоровны. Я в этом не был уверен.

Прошла пара недель, но ответа не было. Однажды вечером я работал дома, готовясь к экзаменам. Мой коллега, с которым мы делили комнату, был болен тифом и лежал в госпитале (несколько дней назад я на руках отнес его вниз и передал «скорой помощи»). Неожиданно в дверь постучали. Вошла разрумянившаяся от мороза Ольга Федоровна, и вместе с ней в комнату вошла, как я неожиданно для себя ощутил, сама радость.

Тем не менее я подумал: зачем она пришла?.. О чем нам надо говорить сначала – о лечении или о разводе? Мы молча смотрели друг на друга и улыбались. Не слишком ли долго мы валяли дурака?

На следующий день я должен был сдавать профессору военной истории генералу Мартынову зачет по русско-японской войне. Мартынов знал, что я владею материалом, и задал мне лишь один-два рутинных вопроса об обороне Порт-Артура.

Порт-Артур?.. Я ничего не мог о нем вспомнить!

– Что с вами? – спросил меня старый генерал. – О чем вы

думаете?

Мартынов был достаточно снисходителен и дал мне еще пять дней на подготовку. Когда я пришел к нему следующий раз, мои ответы были вполне удовлетворительны. И в тот вечер я пошел со своей женой в «Стойло Пегаса». Кажется, для нас начиналась новая жизнь.

Начало советской дипломатии

Примерно в это время К. К. Юренев предложил мне, не прекращая занятий в академии, пойти работать в Народный комиссариат иностранных дел, к Чичерину. Нарком был исключительно энергичным работником, и за ним не могли угнаться полдюжины его секретарей. Поскольку спал он мало и лучше всего ему работалось ночью, под рукой у него круглосуточно должен был быть полный штат секретарей и помощников. Постоянно у него дежурили два секретаря. Я выбрал себе ночную смену.

В то время наркомат уже располагался в том здании на Кузнецком мосту, в котором он находится и сегодня. Начальником секретариата был атлетически сложенный грек с классическими чертами Аполлона по фамилии Кангилари.

Чичерин был таким человеком, манеру работать которого приходилось уважать. Его кабинет был доверху завален книгами, газетами и документами, то же самое творилось на письменном столе. Рядом с письменным столом стоял небольшой столик с бутылкой коньяку и рюмками. Когда к утру Георгий Васильевич чувствовал, что засыпает, он взбадривал себя рюмкой «Мартеля». Соседний кабинет был пуст и сообщался с приемной, в которой располагались секретари. В наши обязанности входило принимать письма, телеграммы, доклады и сортировать их на большом столе. Мы никогда не докладывали о поступившей почте Чичерину. Он сам приходил и брал то, что ему было нужно. Часто он заходил к нам в рубашке с короткими рукавами, с повязанным вокруг шеи большим шелковым шарфом, в шлепанцах с металлическими пряжками. Видимо, удобства ради он никогда не застегивал эти пряжки, и при ходьбе они позвякивали. Первый раз, когда он увидел меня на дежурстве, он ничего не сказал, а только внимательно взглянул на меня поверх очков, взял с моего стола пачку телеграмм и проследовал в свой кабинет, слегка выпятив вперед свою клиновидную бородку.

Ноты, которые рассылал этот министр иностранных дел социалистической республики, вызывали головную боль во всех канцеляриях Европы. Чичерин сам сочинял их с большой тщательностью, полагаясь на свою феноменальную память. В редкие свободные минуты он писал стихи, сочинял музыку к стихам и блестяще играл на фортепиано. Он был старый холостяк и жил в наркоминдельском доме, его хозяйство вела швейцарская пара, с которой он дружил много лет. Он вел очень простой образ жизни, нисколько не заботился о внешней благопристойности,

персональных удобствах, будь то в одежде или в чем-то другом. Но он очень тепло относился к сотрудникам своего аппарата, что временами было и трогательно, и комично.

Начальник секретариата, красавец Кангилари, пользовался большим успехом у женщин. К несчастью, его внимание привлекла жена одного из сотрудников секретариата. Однажды этот сотрудник ворвался в кабинет Чичерина и разрыдался у него на плече.

– Кангилари спит с моей женой!

Чичерин был в негодовании. Когда успокоившийся сотрудник ушел, нарком вышел в приемную и, ухватив первого попавшегося ему навстречу человека за лацкан, жалобно воскликнул:

– Этот Кангилари невыносим! Он разрушает семейную жизнь всего моего аппарата!

Несмотря на это преувеличение, он тактично разрешил эту проблему, отправив пострадавшего секретаря с женой за рубеж. Секретарь убыл под руку со своей коварной женой, вполне удовлетворенный такой сатисфакцией.

Любимым временем Чичерина для приема послов была полночь. Германский посол граф Брокдорф-Ранцау, в своем стоячем крахмальном воротничке, придававшем его лицу надменное выражение, мог дожидаться приема в этот немыслимый час вместе с послами балтийских и азиатских стран – крупные западные страны все еще держали нас в карантине, и только эти малые страны имели в Москве своих представителей. Стало настоящим событием, когда мы получили телеграмму за подписью Пуанкаре по вопросу обмена пленными, но еще более важным событием стало приглашение Советской России принять участие в Генуэзской конференции.

Перед утром, между четырьмя и пятью часами, у Чичерина бывали иностранные корреспонденты и другие, симпатизирующие Советской России иностранные гости. Около пяти утра я брал наркомовский «роллс-ройс» и ехал в противоположный конец Москвы за его личной машинисткой. В шесть утра он начинал диктовать ей свою корреспонденцию. Затем письма поступали ко мне на стол. Их надо было зарегистрировать, оригиналы направить адресатам, а копии приобщить к делам.

Иногда Георгий Васильевич выходил ко мне и помогал опечатывать сургучными печатями секретные документы, направляемые Ленину, Троцкому и другим руководителям.

– Осторожно! – бормотал он, прыгая вокруг. – Будьте осторожны, а то прожжете бумагу!

После этих неотложных дел у меня наступало некоторое

затишье, и я мог заняться чтением самых важных депеш, одни заголовки которых приводили меня в трепет. «Народный комиссар по иностранным делам Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину…» Именно ради этой информации, которая открывала мне глаза на многое, я держался за эту работу и совмещал ее с учебой в академии.

Я помню одно предложение Чичерина, высказанное в письме к Ленину. Как и Ленин, он не испытывал особых симпатий к Лиге Наций, считая ее лишь слегка закамуфлированной коалицией победителей против побежденных. Он предложил создать, под эгидой Советов, Лигу Народов, где угнетенные и эксплуатируемые народы, национальные меньшинства могли бы быть представлены наравне с ведущими державами. В противовес Лиге Наций, Лига Народов должна была стать центром международной справедливости.

Однажды машинистка Чичерина из-за переутомления допустила ошибку, которая в сегодняшней Москве наверняка была бы расценена как акт саботажа и контрреволюции. Все послания Ленину заканчивались традиционной фразой: «С коммунистическим приветом», но она вместо этого, в полусне, напечатала: «С капиталистическим приветом!».

Я заметил это на копии, когда курьер на велосипеде уже уехал. Я позвонил в охрану Кремля и в смятении услышал, что пакет уже доставлен. Я позвонил в секретариат Ленина и узнал, что документы уже у Владимира Ильича на столе и теперь их никто не может тронуть. Что теперь будет из-за этого несчастного «капиталистического привета»? Ничего особенного не случилось, но когда я показал несчастной машинистке копию, она (машинистка) позеленела, а Георгий Васильевич лишь усмехнулся в свою бородку: это не скомпрометирует революцию. В то время никому не пришло бы в голову усмотреть в этом саботаж или контрреволюцию.

Почти все, кто работал с Чичериным, теперь исчезли. Кто расстрелян, а кто заключен в тюрьму. Я вспоминаю их имена и чувствую себя так, как будто переношусь в мир духов.

Вот, например, Фехнер, молодой сотрудник, с приятными манерами и быстрым умом, который после пятнадцати лет безупречной службы стал поверенным в делах в Литве. Мы всегда считали его большим ребенком, но это не помешало в 1937 году арестовать его, обвинить в чудовищных преступлениях и заключить в тюрьму. Вспоминается много других имен: Цукерман, очень методичный работник, преданный коммунист, который впоследствии возглавил отдел стран Ближнего Востока, – расстрелян без суда 16 декабря 1937 года;

Сандомирский, в прошлом анархист, при царизме был на каторге за революционную агитацию, возглавлял отдел Балканских стран – в 1935 году был сослан в Сибирь, а потом расстрелян; Ганецкий, ветеран социал-демократического движения, одно время заместитель наркома по иностранным делам, был отправлен в какую-то контору, ведавшую цирками и мюзик-холлами, – в 1937 году арестован.

Большинство секретарей Литвинова постигла та же участь. За небольшим исключением все они сгинули в тюрьмах и подвалах ОГПУ. Один из его любимцев, Дивильковский, избежал этой участи лишь только потому, что за год или два до чисток погиб в автомобильной катастрофе. Другая его любимица, его личный секретарь, Елена Крыленко, сестра наркома юстиции, тоже избежала этой участи, но по более счастливой причине. Она была замужем за Максом Истманом и, когда тот опубликовал свою историческую книгу «После смерти Ленина», в которой дал провидческий анализ грядущей диктатуры, раскрыл перед общественностью существование сенсационного «Завещания» Ленина, уже работала секретарем советского посольства в Париже. Когда ей неожиданно предложили вернуться в Москву, она предусмотрительно отказалась.

Леон Михайлович Карахан, в отличие от Чичерина, появлялся в своем кабинете около одиннадцати утра, чисто выбритый, безукоризненно одетый, в перчатках и отполированных очках, похожий в своем безупречно сидящем костюме на киногероя. Он был обаятельным, раскованным человеком, природа одарила его изысканной восточной красотой, на его бледном лице выигрышно выделялась заостренная бородка. У него был профиль такой чистоты, какой можно увидеть только на старых монетах, он отлично умел держать себя, обладал веселым характером и даром убеждать людей. Прирожденный оптимист, очень работоспособный человек, непринужденный в отношении с окружающими, он всегда был готов помочь своим молодым коллегам. Словом, самой природой он был создан для блестящей дипломатической карьеры, и никто не мог сравниться с ним в способности быть наставником молодых дипломатических работников.

Начав свою карьеру на переговорах в Брест-Литовске, он затем направляется советским представителем в Пекин для восстановления дипломатических отношений с Китаем. Потом он был послом в Турции, аккредитованным при правительстве Мустафы Кемаля (Ататюрка). Его подпись есть на многих договорах. Неизвестно, за что его расстреляли. Это было сделано тайно, и его имя постарались очернить уже на последующем

процессе «двадцати одного». Карахан очень нравился женщинам, и, я подозреваю, в связи с этим он мог как-то неудачно попасться на глаза диктатору, который никогда не прощает проявленного к нему пренебрежения. Я не могу отделаться от мысли, что повод был мелочным, хотя могли быть и другие причины, и главная из них – его высокий личный авторитет. Он был женат на примебалерине Большого театра Марине Семеновой. Перед казнью мужа ей дали возможность оформить развод и вернуть свою девичью фамилию. И она продолжает танцевать, услаждая взор палачей, которые послали на смерть ее мужа.

Во время Генуэзской конференции я познакомился с Христианом Раковским, занимавшим в то время пост заместителя наркома. Он был в расцвете сил, всегда улыбался и всегда был в курсе всех заслуживающих внимания дел. Я также познакомился с заместителем Председателя Совнаркома Армении Бекзадяном, который также сопровождал Чичерина на Генуэзскую конференцию. Это был уже упоминавшийся мной будущий советский посол А. А. Бекзадян, который исчез из Будапешта в конце 1937 года.

Перспектива поездки на Генуэзскую конференцию привела всех молодых сотрудников секретариата, мужчин и женщин, в состояние сильного возбуждения. Все хотели туда поехать, и Георгий Васильевич, доведенный до исступления этими многочисленными просьбами, как-то ворвался в мою комнату и приказал:

– Немедленно оповестите всех, что я запрещаю упоминать Генуэзскую конференцию!

Я решил подойти к этой вспышке темперамента своего шефа с юмором, но как солдат я привык выполнять приказы. Заранее предвкушая удивление своих коллег, я приколол на доске следующее объявление:

«Народный комиссар распорядился не заводить с ним разговор о Генуэзской конференции».

– О-о! – сказал Карахан с улыбкой, увидев объявление. – Это намного облегчит мою работу.

Чичерин несколько секунд разглядывал объявление и оставил его висеть на том же месте еще несколько дней. Но один английский журналист принял эту шутку всерьез и сообщил об этом в свою газету как о признаке того, что в обстановке всеобщего возбуждения, вызванного перспективой примирения Советской России с капиталистическими странами, народного комиссара буквально осаждали важные государственные деятели.

С приближением лета моя нагрузка в академии настолько возросла, что я вынужден был оставить свою работу в

Наркоминделе, но в течение следующего года я периодически бывал у Чичерина по различным вопросам. Последний раз я видел его на XIV съезде партии в Кремле в 1925 году. Он широко улыбался, только что его избрали в состав ЦК партии. Возможно, это было последней радостью в его жизни. Группировка Литвинова вела жесткую борьбу за контроль над комиссариатом, стараясь свести на нет любые решения, принимавшиеся Чичериным. Наконец Чичерин открыто заявил о невозможности работать с Литвиновым и на заседании ЦК назвал его своим «антиподом». В это время Георгий Васильевич был уже очень болен и уехал лечиться в Висбаден, где у него появилось большое искушение остаться там навсегда. Потребовались длительные и деликатные переговоры, чтобы убедить его возвратиться в Москву, где официально он все еще занимал пост наркома по иностранным делам.

В Висбаден поехал Карахан и уговорил Чичерина вернуться, но его возвратили в Москву лишь для того, чтобы заменить на посту без скандала. Его место занял Литвинов. Чичерин же тихо исчез с политической сцены и был забыт еще до своей кончины. Но забвение было лишь одной из несправедливостей, выпавших на его долю. Министр иностранных дел был обречен жить в нищете, в тесной квартирке без отопления, испытывая нужду в повседневных продуктах, пока наконец не вмешался ЦК партии и не исправил положение. Свои последние годы он провел в полном одиночестве, практически инкогнито, занимая скромную квартирку в одном из арбатских переулков. Он ни с кем не встречался, кроме двух своих бывших секретарей. Когда он умер, его не стали хоронить в Кремлевской стене, и он покоится на Новодевичьем кладбище.

Работая в секретариате Чичерина, я часто встречал Литвинова, являвшегося вторым заместителем наркома. Полный, внушительный, он обычно был серьезен, однако мог быть и приятным собеседником. За столом он был непринужден и весел, очень любил танцевать и оставался хорошим танцором, даже когда ему было уже далеко за шестьдесят.

Не особенно щепетильный в личных отношениях, он был очень требователен в работе и обладал особым талантом втираться в доверие верхов. За несколько лет он сумел оттеснить Чичерина, который не был обидчив и думал только о деле.

Литвинов, урожденный Мейер Баллах, рано примкнул к революционному движению. В 1901 году он был арестован как член подпольного социалистического кружка за хранение оружия и типографского оборудования и осужден на пять лет ссылки в Сибирь, но ему удалось бежать из киевской тюрьмы. В революции

1905 года партия поручала ему ответственные задания по доставке в Россию оружия и пропагандистской литературы. В 1907 году большевистские экспроприаторы на Кавказе, в число которых входил Иосиф Сталин, тогда известный как Коба, взорвали экипаж, перевозивший деньги, и Литвинов вывез часть этих денег для обмена в Европе. По ориентировке царской охранки он был арестован французской полицией, которая нашла у него банкноты, добытые в ходе ограбления. Он был выдворен из Франции и уехал в Англию.

После революции он вернулся в Россию и в 1918 году был назначен полпредом в Великобритании, но его миссия потерпела фиаско – Британия начала проводить политику бойкота, и ему пришлось вернуться в Москву. Позже именно Литвинову выпала миссия реабилитировать Россию в глазах мирового общественного мнения. Венцом его карьеры можно считать день в Женеве, когда он, в сопровождении своей свиты, под аплодисменты присутствующих делегатов вошел в зал заседаний Лиги Наций, и это означало, что большевизм стал «респектабельным» и Россия присоединяется к версальской политике западных держав.

Эти годы он жил в постоянной опасности, необъяснимо выживая тогда, когда гибли все его друзья и сотрудники. Он все еще был нужен Сталину. Литвинов, как хороший картежник, всегда умудрялся сохранять некий ореол таинственности. В своих заграничных поездках после чистки он загадочно улыбался, и продолжал улыбаться даже тогда, когда его детям запретили сопровождать его, даже когда его жене запретили жить в Москве и отправили ее жить на Урал.

Уж так случилось, что первыми расстреливали лидеров партии. Это понятно, Сталин начинал с мыслителей. Затем пришла очередь генералов, маршалов, руководителей промышленности и, примерно в это же время, дипломатов. Двое из четырех заместителей Литвинова были расстреляны, третий оказался в тюрьме, а четвертый просто исчез. Его старые друзья и личные протеже, послы Юренев и Розенберг, тоже исчезли. Почти все руководители департаментов наркомата и ведущие дипломатические сотрудники за рубежом, которых он подбирал на протяжении пятнадцати лет, были расстреляны. А Литвинов продолжал загадочно улыбаться: «Просто они были предателями, а так все хорошо!». Трудно сказать, объяснялась ли его самоуверенность тем, что он считал себя незаменимым, или же он просто вынужден был делать хорошую мину при плохой игре потому, что его семья была в заложниках.

Пойдя на союз с Гитлером, Сталин тотчас же избавился от

своего верного слуги – Максим Литвинов был единственным евреем, за исключением Лазаря Кагановича, который оставался в то время в высшем эшелоне советского правительства.

В последующие два года М. М. Литвинов периодически появлялся на официальных мероприятиях, тщательно выбритый и в безукоризненно отглаженном костюме. По всем внешним признакам он вел нормальную жизнь, но никто не знал, откуда он появлялся, куда исчезал и чем занимался. Он снова появился из своей неизвестности вскоре после нападения Германии на Советский Союз и в радиопередаче на английском языке призвал британцев высадиться на континенте. Потом он принимал участие во встрече Сталина с Гарриманом и Бивербруком. В 1941 году он был извлечен из запасника и назначен послом в Соединенных Штатах Америки.

Что станет с Литвиновым при каком-то новом, непредсказуемом повороте в советской политике? Этого никто не может сказать. Но одно совершенно ясно: ни один политик в сталинской России, кто был допущен к большим секретам, таким секретам, которые не снились даже авторам приключенческих романов, не может считать себя в безопасности, рассчитывать на спокойную отставку в укромном месте. В тоталитарном государстве нет укромных мест для тех, кто служил диктатору и был выброшен им за ненадобностью.

Пока наши дипломаты вели переговоры с европейскими Державами, я проходил полевую подготовку в лагере на Ходынке. Мы проводили занятия по тактике и вели топографическую съемку местности.

Однажды, возвращаясь с полевых занятий на Ходынке, нагруженный картами и топографическими инструментами, я на улице столкнулся с К. К. Юреневым.

– Как раз ты мне и нужен, – заявил он. – Меня только что назначили в Ригу, и я беру тебя с собой. Согласен? Хорошо! Готовься в конце недели к отъезду.

Под напором Юренева обычно все решалось очень быстро. Так было и на этот раз. Я без проволочек был назначен секретарем российской миссии в Латвии и через сорок восемь часов уже сидел в поезде, направлявшемся в Ригу.

Россия медленно оправлялась от ран, но голод еще был обычным явлением, не говоря уже о простой нехватке продовольствия и бедности. Однако стоило нам пересечь границу, как все вокруг радикально изменилось. Если не считать моей поездки в финский город Виипури в 1917 году, я никогда не встречал такой чистоты и ухоженности, какую я увидел в Риге с ее красивыми витринами, аккуратно замощенными улицами и

ярко раскрашенными домами. В здании миссии были зеркала и дорогая мебель – традиционные атрибуты буржуазного образа жизни. В первое же утро нам принесли такой завтрак, о котором я не мог даже мечтать. Здесь я впервые попробовал кофе со сливками, роскошь, которую я воспринял со смешанным чувством тревоги и печали.

Несколько дней спустя я пошел прогуляться в городском саду, в петлице моего костюма был советский значок. Ко мне подошел белогвардейский офицер и потребовал его снять. После обмена «любезностями», в ходе которых он узнал, что у меня был дипломатический паспорт, он отвязался от меня, но Юренев, которому я рассказал об этом инциденте, сказал мне:

– Лучше вам снять этот значок. Если вам сломают шею, то никакие мои усилия не смогут вернуть вас к жизни. Я также при всем желании не смогу сделать из этого казус белли, хотя мы и окажемся в очень неловком положении.

Я запротестовал, но в конце концов вынужден был подчиниться приказу. Так действительно было спокойней.

Наше правительство решило создать небольшой дом отдыха для ответственных советских работников в районе Майоренхофа, довольно близко к Риге, но все-таки на советской территории. Латвийская полиция во все глаза следила за этим домом отдыха, где советские комиссары, журналисты и члены ЦК проводили свои вечера с пением революционных песен. Как все полицейские мира, они были немного помешаны на заговорах и сумели убедить себя, что это пение было очень опасным признаком, и нашу миссию постоянно засыпали вопросами по этому поводу.

В Майоренхофе я встречал М. М. Литвинова, который привозил туда свою семью из Лондона; редактора газеты «Известия» и будущего биографа Бакунина, Ю. М. Стеклова (интересно, что с ним сейчас стало?); одного из меньшевистских лидеров Петроградского Совета в 1917 году, историка Н. Н. Суханова, который в 1931 году был осужден на десять лет; снова здесь я встретился с Файзуллой Ходжаевым, которого в последний раз видел в тюрбане и шелковом халате. Вместе со мной он совершил поездку на Рижское взморье. На этот раз он был одет в кожаный реглан и фетровую шляпу, цвет его лица был желтее обычного. Помню, тогда голова его была занята проектами реформ в Центральной Азии.

Я возвратился в Москву накануне IV конгресса Коммунистического Интернационала в дипломатическом вагоне, сопровождая нескольких иностранных делегатов – Клару Цеткин, уже пожилую, но полную боевого задора революционерку; чеха Богумила Смерала, толстого человека в очках, возможно, самого

большого оппортуниста из всех существовавших в коммунистической среде в то время; поляка Генрика Валецкого и венгерского профессора Евгения Варгу. Наконец, среди них был Борис Суварин, который представлял Французскую коммунистическую партию.

Двое из этих делегатов вели себя особенно возмутительно, демонстрируя полное непонимание обстановки. Варга и Валецкий требовали отдельных купе, хотя было вполне очевидно, что вагон был так переполнен, что я при всем желании не мог им этого предоставить. Я не мог отдать и мое купе, так как в нем скрывался нелегал, которого в Риге приговорили к смертной казни. В этом споре меня полностью поддерживал Суварин, хотя два члена Исполкома Коминтерна угрожали по приезде в Москву заявить формальный протест (это они и сделали). По моему же разумению, такой старый революционер, как Валецкий, конечно, мог бы удовольствоваться плацкартным местом в вагоне первого класса, то же самое мог бы сделать и бывший член советского правительства Венгрии – Варга. Но, видимо, та мелочная роскошь, которую дает власть, ударяет людям в голову, и они перестают что-либо соображать.

Мы подружились с Борисом Сувариным. В то время он был членом Исполкома Коминтерна, и я несколько раз навещал его в скромном номере отеля «Люкс», который служил штаб-квартирой делегатам Коминтерна.

Я хочу воспользоваться возможностью и отдать дань памяти Ромуальду Адамовичу Муклевичу, который был одним из наших замечательных солдат и которого, конечно, уже нет в живых. Крепкий, тучный, этот круглолицый старый большевик обладал удивительным спокойствием и в то же время уверенностью прирожденного лидера. Одно время он, простой матрос, как Дыбенко, был командующим Красным Флотом и заместителем наркома обороны, потом возглавлял Наркоматы военной промышленности и судостроения и неожиданно исчез в 1937 году. Это был такой человек, которого Сталин не мог оставить в живых, даже за решеткой.

Глухие раскаты грома

С окончанием Гражданской войны в нашей жизни стали происходить заметные изменения. Революция знала трудные времена, терпела серьезные военные поражения, но она всегда верила в свою силу. Все внутрипартийные споры велись с верой в будущее. Так было даже во время кронштадтского мятежа, когда республика была так близка к краху. Теперь же, с наступлением мира, появилась новая опасность – опасность поражения на фронте экономического строительства.

Еще до кронштадтского мятежа в ходе острой партийной дискуссии о профсоюзах стало ясно, что партии предстоит принять исключительно важные решения в этой области. До этого важные решения просто откладывались. Теперь предстояло выбрать определенный курс экономического развития страны. К нашему изумлению, Владимир Ильич Ленин объявил новую экономическую политику (НЭП), открыв свободный рынок для крестьян. Эта политика скоро стала приносить свои плоды в виде улучшения условий жизни вконец уставшего от разрухи народа. Больше стало продуктов, улучшилось их качество стала расти производительность труда; по всей стране были несомненные признаки снижения напряженности. Снова появились деньги, которые опять становились краеугольным камнем бытия.

Мы, молодые коммунисты, выросли с верой в то, что с деньгами покончено раз и навсегда. Нам не приходило в голову, что практический отказ от денег в ходе Гражданской войны был вызван не столько движением к социализму, сколько вынужденной мерой, связанной с девальвацией, а также с тем, что ничтожное количество производимой продукции просто нельзя было пускать в свободную продажу. Истина заключалась в том, что эта политика, с одной стороны, была вынужденной, но, с другой стороны, лучшие теоретики партии – Ленин, Бухарин, Преображенский – сознательно встали на этот путь, рассматривая его как определенную стадию движения к социализму.

К концу Гражданской войны инфляция чудовищно обесценила бумажные деньги. Острота инфляции усугублялась тем, что некоторые виды услуг – проезд по железной дороге, в трамваях, почта, театр, кино, медицинское обслуживание и т. п. – для трудящихся стали бесплатными. Носовой платок, к примеру, стоил больше, чем банкнота, на которой стояла печать с дюжиной нолей. Казначейство уже не утруждало себя нумерацией банкнот или их разрезанием. Мы получали их, как и почтовые марки, большими листами. Я не раз видел, как эти листы использовались

в качестве оберточной бумаги или обоев в крестьянских домах. Еще одна трудность заключалась в том, что обострялся дефицит бумаги, которой стало не хватать даже для печатания денег.

Теперь же, с введением нэпа, с его свободой торговли и новой налоговой системы – обе меры были направлены на примирение с крестьянством – деньги снова стали приобретать ценность. Теперь за все приходилось платить. Снова на улицах Москвы появились рысаки, запряженные в элегантные санки. Стали открываться рестораны, и, проходя по улице, мы слышали, как за их окнами играют оркестры, но нам их посещение было недоступно. Нам приходилось платить за все: за продукты, за баню, за любое развлечение.

Революционеры, молодые и старые, неожиданно обнаружили, что им нужны деньги, которых у них не было. Никто из них никогда не думал над тем, как зарабатывать деньги. У некоторых счастливчиков была лишняя пара сапог, и этого было достаточно. Партийные работники, даже самые высокопоставленные, получали около двухсот рублей в месяц, что не превышало зарплаты квалифицированного рабочего. Если стали появляться деньги, думали многие из нас, значит, скоро опять появятся богачи? Не стали ли мы скатываться назад, к капитализму? Эти вопросы мы задавали себе с чувством тревоги.

Герои Гражданской войны, слушатели Академии Генерального штаба, с орденами, полученными в кровопролитных боях, с изумлением обнаруживали: все, что имелось в достаточном количестве вокруг, было им практически недоступно, что жулики и спекулянты безнаказанно плюют им в лицо. Это вызывало закономерный вопрос: за что же они боролись?

Я помню, как я с группой слушателей академии как-то вечером в течение нескольких часов ходил по Тверскому бульвару от памятника Пушкину до памятника Тимирязеву. Мы обсуждали, что же случилось с революцией. У нас возникало ощущение, что революцию предали. «Возвращается капитализм, а с ним деньги и все связанное с ними неравенство», – говорили одни. Другие считали, что надо выходить из партии, которая предала идеалы революции. В конце концов мы пришли к следующему выводу: «Мы не знаем, почему ЦК проводит такую линию, и хотя нам она кажется неправильной, мы должны верить». Наша вера в лидеров партии: Ленина, Троцкого, Бухарина, Зиновьева – позволяла нам прийти к такому выводу и убедить друг друга в правильности этого вывода. Мы считали, что наши лидеры знали, куда они идут, они знали, куда они ведут нас, они могут потерпеть поражение, но они никогда не предадут нас.

На этом фоне у нас в академии были и свои проблемы, которые вызывали беспокойство. Гражданская война окончилась как раз в то время, когда наши старшекурсники заканчивали обучение. Что с ними будет теперь? Большинство старших командных постов было занято старыми генералами – профессионалами, которые помогли советской власти одержать победу. Линия Троцкого на использование этих специалистов оправдалась, но что дальше? В академии мы стали говорить о необходимости реорганизации, о вливании свежей крови в высший командный эшелон, о необходимости подготовки к следующей войне в терминах марксистской доктрины, наиболее ярким теоретиком которой неожиданно для всех стал Тухачевский. Наша общая позиция формулировалась довольно просто: «Дайте место новым красным генералам». В ближайшее время из академии должны были выпуститься Дыбенки, Венцовы, Федько, Урицкие, но старые генералы просто предлагали назначить их, по крайней мере на время, на низшие должности. Успев покомандовать армиями, они могли оказаться командирами рот и батальонов. Эта ситуация побудила одного из слушателей сочинить ироническую «Оду роте», которая прозвучала на нашем выпускном вечере. В этом чувствовалась амбициозность, отчасти мотивированная тревогами за судьбу революции, но тем не менее амбициозность. Почему бы не называть это простым и понятным словом «карьеризм»? В конце концов этот фактор тоже должен был приниматься во внимание, когда шла речь о серьезной перестройке армии сверху донизу.

В политическом плане проблема осложнялась тем, что руководитель Красной Армии Троцкий, который по праву пользовался славой одержанных побед и вызывал всеобщее восхищение своей неутомимой энергией, считал, что старое поколенье все еще сохраняет свой потенциал. Бывшие царские генералы: Лебедев, Брусилов, Новицкий, Вацетис и Каменев – поддерживали Троцкого, и хотя Реввоенсовет состоял из людей, выдвинутых революцией, наши выпускники опасались чрезмерного влияния этой старой гвардии.

Начало формироваться нечто вроде подпольной оппозиции Троцкому в партии и армии. И в центре этого процесса были Сталин и Ворошилов. Они знали, что, пока Троцкий играл главенствующую роль, для них места не было. Поэтому они попытались использовать недовольство молодых офицеров старыми генералами в своих целях. Острие этого недовольства было направлено не только против старых «профессионалов», но против всей системы централизованного командования.

Естественно, что в академии тоже были различные точки

зрения по этому вопросу. Вскоре у нас возникла группировка во главе со старым большевиком Кручинским, старым, естественно, в смысле партийного стажа, а не по возрасту, так как ему не было еще и тридцати лет. Это был кавалер ордена Красного Знамени, человек весьма энергичный и обладавший настоящим даром оратора-демагога. Кручинский искусно разжигал существующее недовольство, и в этом его поддерживали несколько слушателей, прежде всего Дыбенко, Урицкий и Федько, которых, в свою очередь, поддерживал Ворошилов. Против выступало несколько молодых слушателей, в том числе и я, которым не нравились все эти интриги и склоки. Несмотря на сильное давление, нам удалось заблокировать избрание Кручинского в состав бюро нашей партийной ячейки. К нашему изумлению, он вскоре исчез, вернее, был «выведен из обращения» чекистами, которые нашли, что он обыкновенный авантюрист, что его партийный стаж является блефом, так же как и его военные «подвиги».

Центральный Комитет партии, видимо, не забывший, как голосовала партийная организация академии в ходе дискуссии о профсоюзах (большинство было за «Рабочую оппозицию») против Ленина, Троцкого и Бухарина – решил, что в академии надо провести новую чистку. Эта чистка свалилась нам как снег на голову. Партийная комиссия, обличенная всеми полномочиями, работала очень жестко и решения свои выносила в закрытом порядке.

Среди членов комиссии был А. С. Бубнов, впоследствии народный комиссар образования, и Э. М. Склянский, помощник Троцкого, который через два года умер в Чикаго. Состав комиссии был предложен Троцким и утвержден ЦК ВКП(б).

Комиссия исключала людей из партии и из академии, мотивируя это всем, чем угодно, или вообще не приводя никаких мотивов. Так, были изгнаны из академии, скомпрометированы, остались без работы и практически без средств к существованию несколько офицеров, которые отлично воевали на фронте и сейчас заканчивали учебу в академии. Некоторые из этих отверженных покончили жизнь самоубийством. Из академии был исключен мой друг Гаевский, которого я знал как человека, проявлявшего бесстрашие под огнем. Это был высокий, худощавый и обычно веселый человек, но когда я встретил его через неделю после чистки, он был в состоянии, близком к отчаянию. Мы встретились в коридоре около кабинета начальника академии. В руках у него я увидел письмо Троцкому и что-то блестящее. Гаевский с горечью сказал:

– Если я не достоин учиться в академии, то не знаю, для чего мне дали этот орден, – они могут получить его обратно!

Его восстановили в академии, поскольку допущенная несправедливость была слишком очевидна. Позже он стал одним из видных организаторов промышленности, но в 1936 году его обвинили в терроризме и заклеймили как «врага народа».

Другой мой друг, Ицковский, сын бедного еврейского портного, который при царском режиме подвергался арестам, а затем принимал участие в революционной деятельности на Украине вместе с Пятаковым, был по требованию Бубнова исключен из академии. А ведь он с ним, как я знал, в свое время спал на одном матрасе в киевской тюрьме. Однажды встретив его, Бубнов протянул ему руку, но Ицковский отказался ее пожать и сказал с улыбкой:

– Сукиным сынам я рук не пожимаю.

Сейчас я вспоминаю, что он всегда был весел, как бы плохо ни шли дела, приговаривая, что все может быть еще хуже. Откуда у него был такой веселый характер? Из тюрьмы, где он провел пять лет в одиночке и кандалах, его освободила революция. Видимо, там он приучил себя улыбаться, несмотря ни на что. В конце концов он был восстановлен в академии, а впоследствии занимал высокий пост в Наркомате внешней торговли. В 1935 году он был обвинен в троцкизме» и исчез. Бубнов последовал за ним в небытие в 1937 году.

Пока я лежал с приступом малярии в госпитале, меня тоже «приговорили» к исключению из академии. В моем «деле», а об этом я узнал уже после состоявшегося решения, кстати за несколько месяцев до перехода на старший курс, была такая формулировка: исключен как «слишком молодой и слабый здоровьем».

Я решил обратиться в Центральный Комитет партии. В те дни секретарь ЦК Вячеслав Молотов ежедневно принимал посетителей, и я отправился к нему на Воздвиженку. Пропуском в здание ЦК служил партбилет. «Первая комната направо», – сказал мне дежурный. Кабинет Молотова был большим, но очень неухоженным и плохо меблированным. В центре комнаты стоял большой стол, окруженный стульями. В глубине, у окна – небольшой письменный стол, заваленный бумагами. В комнате уже находилось несколько посетителей, и Молотов разговаривал с одним из них, по виду рабочим. У него было крупное, заурядное, какое-то безмятежное и неодухотворенное лицо среднего бюрократа, внимательного, но равнодушного. Слушал он меня не перебивая, делая в это время пометки себе в блокнот. Потом задал несколько вопросов и сказал, слегка заикаясь:

– Хорошо. Я сделаю что смогу.

Через четыре дня решение о моем исключении было

отменено. В те дни власти делали немало ошибок, но многие из них быстро исправлялись. Демократический дух проявлялся тогда в прямых контактах между руководителями и рядовыми членами партии, в простоте манер, которая иногда граничила с грубостью.

В это же время я познакомился с одним человеком удивительной и трагической судьбы. Это был офицер Красной Армии, происходивший из богатой еврейской семьи, дважды награжденный за храбрость, проявленную на поле боя. Его фамилия была Белотский.

Он не стремился к большой карьере, а хотел жить в контакте с народом. Он отказался от высокой военной должности и поехал на село в качестве учителя и секретаря сельской партячейки. Восемь лет он работал в различных районах Киргизии. Он был из породы тех людей, которые любую страну, где им волею судьбы доведется жить, считают своей и отдают все свои силы служению ее интересам. В Киргизии он знал все и вся. В итоге из низового партийного работника он, несмотря на отсутствие у него карьерных устремлений, стал секретарем ЦК партии Киргизстана, то есть фактическим главой автономной республики. Этот один из немногих большевиков, которые возродили старую идею «хождения в народ», в 1937 году был объявлен «врагом народа» и исчез.

После окончания Гражданской войны некоторые раскаявшиеся деникинские генералы получили преподавательские должности в академии. Я не без любопытства слушал курс лекций по стратегии, который читал нам «товарищ» Слащев Яков Александрович, пожилой генерал, с красным лицом и большим красным носом, подстриженный «ежиком». Он всегда ходил в зеленой гимнастерке, на которой можно было заметить следы споротых погон. Мы обращались к нему как к «товарищу» лишь из уважения к тем, кто назначил его на эту должность. Сам же он всегда любил называть себя «Слащев-Крымский», имея в виду свои заслуги в воздвижении «непреодолимых» заграждений на перешейке Крымского полуострова, которые штурмовые батальоны Красной Армии сумели преодолеть стремительным броском. Он был в армии Врангеля, который назначил его командующим войсками в Крыму. Особенно Слащев «прославился» тем, что на станции Джанкой приказал повесить на фонарных столбах всех комсомольцев – рабочих, студентов, парней и девушек без разбору, поэтому он был известен у нас как «вешатель». И так было до тех пор, пока он не решил предать Врангеля и бежал из Константинополя в Россию, захватив с собой большое количество ценных документов.

Однажды во время лекции, когда он иллюстрировал свой

тезис примером из битвы за Перекоп, один из наших слушателей сказал:

– Прошу извинить, товарищ профессор, но в той битве я командовал дивизией и смею заверить, что численность наших войск, которые воевали с вами, была гораздо меньше.

– Вполне возможно, – вежливо ответил бывший палач. – Я не читал всех докладов, но советские войска, очевидно, компенсировали малую численность большой храбростью.

Несмотря на эти комплименты Красной Армии, Слащев, как рассказывали мне, погиб от пули, которую всадил в него на улице комсомолец, брат одной из жертв этого палача.

В конце 1922 года советское правительство пригласило в Москву представителей Польши и Балтийских республик на конференцию. Наркоминдел поручил мне быть одним из секретарей этой конференции. Чичерин на ней не появился, и работой советской делегации руководил Литвинов.

Польшу представляли князь Радзивилл и Лукашевич, будущий посол в Париже. Именно они сумели убедить Финляндию, Латвию и Эстонию последовать примеру Польши и прислать в Москву делегации. Литва, не имевшая в то время дипломатических отношений с Польшей, похоже, была заинтересована в урегулировании этого вопроса и тоже направила свою делегацию.

Перед началом заседания, когда мы вели общий разговор, князь Радзивилл, высокий, представительный, с длинной бородой, обратил внимание на эмалевый значок в виде красного флага с серпом и молотом на моем лацкане.

– Отличная работа. Где это сделано? – спросил он с подлинно дипломатической вежливостью.

Я показал ему оборотную сторону значка и привел его в замешательство. Значок был изготовлен в Варшаве (у нас это производство пока не было налажено, и мы заказали в Польше партию значков, которые использовались советскими представителями в заграничных поездках). Польский аристократ поднял брови и переменил тему разговора. Второй визит князя Радзивилла в Москву состоялся через восемнадцать лет, в 1939 году, когда он был взят в плен советскими войсками, вторгшимися в Польшу после заключения Сталиным пакта с Гитлером. Позже, по просьбе папы римского и короля Италии Виктора Эммануила, ему разрешили уехать в Италию.

Среди присутствовавших на конференции был литовский генерал в роскошной военной форме с таким количеством орденов и медалей, которого, наверное, не было ни у одного из победителей в мировой войне. Высокий и широкоплечий, генерал

Радус-Синковичус показался мне реальным прототипом всех опереточных генералов. Он фигурировал в одном инциденте, который стал у нас предметом горячей дискуссии.

Собравшиеся в зале участники конференции ждали прибытия советской делегации. Двустворчатая дверь распахнулась, и в зал вошел генерал Новицкий, бывший заместитель министра обороны в царском правительстве, а ныне член советского Генштаба. Невысокого роста, худощавый, он выглядел довольно скромно в выгоревшей гимнастерке, пожелтевших сапогах, без наград и знаков различия. Новицкий был одним из профессоров академии, к которому я питал глубокое уважение. Он сделал общий поклон присутствовавшим и неожиданно оказался лицом к лицу с внушительной фигурой Радус-Синковичуса. К нашему великому ужасу, оба вдруг обнялись, как братья, давно потерявшие друг друга.

До революции Радус-Синковичус учился в царской Академии Генерального штаба. Как офицер российской армии он был товарищем по оружию Новицкого, но как мог командир Рабоче-Крестьянской Красной Армии проявлять такие теплые чувства к офицеру армии капиталистического государства? Не правильнее ли было забыть о прошлом и сконцентрироваться на настоящем? Все мы сначала испытали некоторый шок, но потом некоторые из нас смеялись над непримиримыми товарищами, которые продолжали осуждать этот по-человечески понятный поступок. Хорошо, что они не пошли так далеко, чтобы обвинить старого доброго Новицкого в сговоре с врагами Советов.

Эта конференция по разоружению, как и многие другие, не принесла результатов, но она позволяла нам налаживать контакты с нашими соседями.

Рожденные в скорби

За последние два года политические настроения и манеры Москвы существенно изменились. И эти изменения оказывали на меня самое непосредственное влияние. Я начал изучать восточные языки, чтобы вести революционную пропаганду на Востоке. Разве не нарастало революционное движение в Персии и Афганистане? Я воображал себя путешествующим по этим странам в обличье купца, а на самом деле ведущим революционную работу.

Но сейчас революционные настроения пошли на спад. Советская республика поддерживала дружеские отношения с соседними странами, в которых не было и признаков революции. Вместо подготовки к полной опасностей подпольной революционной деятельности жизнь подталкивала меня к дипломатической карьере. Вместо агитатора и организатора восстаний я становился чиновником. Наркоминдел приготовил для меня должность консула в Персии, и было решено, что сразу после выпуска я с женой выеду в эту страну.

Третий, и последний, год моей учебы в академии мы с женой и тещей прожили в гостинице «Левада». Моя комната была довольно большой, что позволяло теще выделить угол за занавеской. Моего пайка было бы вполне достаточно для жизни, если бы его выдавали нам с умом. Нам полагалось достаточное количество мяса, но его выдавали все сразу, а холодильника у нас не было. Долго хранить было невозможно ни в сыром, ни в вареном виде, и нам приходилось съедать его в течение недели, а остальные три недели месяца жить без мяса. Холодильников у интендантства не хватало, и надеяться на их получение не приходилось, к тому же интендантство само постоянно вело борьбу с другими ведомствами и должно было брать из продуктов то, что имелось в данный момент.

К осени Ольга Федоровна узнала, что она беременна. Ее здоровье серьезно ухудшилось. Малярия, недоедание и нервное напряжение ослабили сопротивляемость организма. У нее были такие приступы тошноты, что она практически не могла ничего есть и должна была лежать в постели. Врачи предлагали ей сделать аборт. Я видел, какое разочарование и страдание отразилось на ее лице после такого заключения врача, и мы решили обратиться к другому специалисту. Она отправилась к врачу со своей матерью. Когда я вернулся из академии, то снова застал ее в постели. Я был так встревожен, что долго не решался спросить о результатах обследования, пытаясь с наигранной

веселостью говорить о каких-то посторонних вещах.

– Неужели тебе не интересно, что сказал доктор? – спросила она с укором.

Доктор, похоже, был готов разрешить ей выносить ребенка, прописал диету и пообещал, что ее состояние улучшится. Действительно, скоро она себя стала чувствовать лучше, но все же оставалась слабой и сильно худела. Мы решили, что ей будет лучше уехать к отцу в деревню и возвратиться в Москву дней за десять до родов. Ее отец, бывший служащий, жил в деревне Рассказово Тамбовской губернии, где было в достатке овощей, молока и белого хлеба. Там Ольга будет иметь покой, свежий воздух и хорошее питание, искренне думал я. Деревенское лето в средней полосе России замечательное, и я был рад, что она будет избавлена от московской пыли и духоты. После ее отъезда я с головой ушел в подготовку к выпускным экзаменам.

Мне предстояло сдавать одновременно экзамены в Академии Генерального штаба и на восточном факультете. После 1921 года я прекратил заниматься языком хинди и сосредоточился на фарси. Многим у нас нравился этот музыкальный язык. Наш профессор Мирза Джафар Хан, видя мое старание, стал давать мне дополнительные уроки без всякой дополнительной платы. Скоро я уже мог вести конспекты его лекций на персидском языке.

Десятого июля 1923 года я сдал последний экзамен и получил диплом с отличием. Беременность Ольги подходила к концу. Я со дня на день ожидал от нее письма с извещением о ее скором приезде в Москву, так как мы решили, что рожать она будет в самом лучшем московском роддоме. В тот вечер меня дома ждала телеграмма:

«Близнецы-мальчики. Ольга чувствует себя хорошо. Отец».

Мое ликование было смешано с беспокойством, так как я понимал, что близнецы родились преждевременно. Прошло два дня, и 12 июля портье подал мне телеграмму, в которой было только два слова:

«Ольга умерла».

Машинально я поднялся в свою комнату на четвертом этаже и опустился на диван, сжимая в руках этот странный клочок бумаги, читая и перечитывая немыслимые слова, которые он содержал. В комнате все было на своих привычных местах, одежда Ольги на вешалке, ее зубная щетка в стакане на полочке. Происшедшее не укладывалось в моей голове. Я был еще слишком молод. Никогда еще непоправимая утрата так не била меня в лицо. Я знал смерть на поле боя, но смерть такого дорогого мне человека, такого молодого, полного жизни и

дающего жизнь другим – этого я не мог понять. Я был потрясен. Мое горло пересохло, и в глазах не было слез.

Ко мне приходили друзья, садились рядом, говорили со мной, и я, наверное, отвечал им. Прежде всего надо было ехать в Рассказово. Три дня у меня ушло на оформление отпуска, получение билетов и других необходимых документов. Сейчас я не могу вспомнить, что происходило со мной все эти дни. Я только помню, что отказывался верить в смерть Ольги. Это, наверное, просто кошмар, какое-то наваждение, от которого я скоро очнусь. Ведь все вокруг продолжается, как будто ничего не произошло, значит, и я скоро увижу Ольгу.

С этой мыслью я проехал весь путь до Рассказова. На станции я непроизвольно стал смотреть по сторонам, ища глазами Ольгу. Она просто должна была прийти, чтобы сразу убедить меня в том, что ничего не случилось. Но ее не было, не встретил я ее и на узкой тропинке, ведущей через кукурузные поля к дому. Она ведь знала время прихода поезда? Ну, конечно, она еще слишком слаба, чтобы встречать меня.

Чем ближе я подходил к дому, тем сильнее сжималось мое сердце. Дом предстал передо мной в окружении тоскливо поникших деревьев. Навстречу вышел отец Ольги и молча обнял меня. Я зашел в комнату. На кровати лежали два свертка из белого льняного полотна, из которых доносилось слабое попискивание.

Неужели эти две небольшие частицы живой плоти – все, что осталось мне от полноценной жизни? Во мне поднималось чувство недовольства. Это из-за них погибла Ольга.

Мой тесть тихо сказал:

– Она держала их на руках и назвала одного Александром, а другого Борисом. Она была счастлива.

Ольга уже собиралась уезжать в Москву, когда у нее начались преждевременные роды. Она ужасно мучилась. Роды продолжались двое суток. Второго из близнецов пришлось доставать щипцами. Доктор, принимавший роды, не справился с этим тяжелым случаем. Измученная потерей крови, она смогла продержаться еще сорок восемь часов.

И теперь, стоя у свежей могилы на деревенском кладбище, я наконец воочию осознал – смерть моей Ольги стала реальностью. А дома потихоньку хныкали два маленьких свертка из плоти и крови. Жизнь тоже была реальностью. Тесть наклонился к ним и дал смоченные молоком марлевые тампончики. Писк прекратился. Пришел врач, чтобы осмотреть младенцев.

– Родились преждевременно и очень слабы, – сказал он. – Им еще только шесть дней, но у обоих уже гастрит. Пытаясь выходить

их, вы только продлите страдания. Этот может умереть в любую минуту, а тот продержится еще день-два.

Ольга умерла, чтобы они жили, а теперь и им предстояло умереть. От этой мысли два бесформенных сверточка неожиданно стали странно дороги мне – меня охватила яростная решимость сделать все возможное для их спасения. Я вскочил в седло и галопом помчался в соседнюю деревню, где жил доктор, пользовавшийся в округе доброй славой.

– Скорее, со мной! – заклинал я доктора. – Нужно спасать двух детей!

На маленькой коляске мы с ним вдвоем вернулись в Рассказово. Доктор долго осматривал детей и наконец сказал:

– Похоже, мой коллега был прав – у них очень мало шансов. Но мы должны попробовать. Коровье молоко – вот что убивает их. Им нужно материнское молоко.

И снова я верхом объезжал близлежащие деревни в поисках кормилицы. Моя военная форма вызывала настороженность людей, особенно когда я начинал расспрашивать, есть ли в деревне молодая мать. Выслушав мою историю, они становились добрее, и в конце концов кто-то направил меня в одну из крестьянских изб. Молодая мать, которая встретила меня с опаской, не поддавалась ни на какие уговоры, никакие обещания всего моего пайка и денег не могли заставить ее поехать со мной в город. В этот период было не так легко найти крестьянина, который бы добровольно согласился переехать в город, к тому же всех отпугивала военная форма. Женщина вежливо, но твердо, отказалась. Неужели мои дети умрут только потому, что я не смог найти им кормилицу?

В отчаянии я возвращался домой и вдруг как-то импульсивно решил заглянуть еще в один дом, и тут я нашел молодую мать, которая охотно согласилась кормить моих сыновей. Она тут же поехала со мной, захватив своего ребенка.

Это была крепкая здоровая крестьянка, и одно ее присутствие давало мне надежду. И все же каждый день, когда я возвращался домой, мое сердце сжималось от тревоги, и каждый раз я испытывал какое-то чувство удивления, что они живы – больны, едва дышат, но живы. На десятый день свое удивление выразил и доктор.

– Если бы мы еще верили в чудеса, – сказал он, – то я решил бы, что это чудо. Все равно, для этих малышей малейший шок может оказаться смертельным. Больше я для них ничего не смогу сделать. Если вы заберете их в Москву и обеспечите особый уход, то они могут выжить, но риск, связанный с таким путешествием, очень велик.

Всю ночь я мучился сомнениями, но к утру все же решил ехать. Наутро меня с кормилицей и теперь уже троих малышей отвезли на станцию. В местном поезде, конечно, не было отдельных купе, и сам он был до отказа заполнен крестьянами с их мешками и узлами. Все курили невыносимо ядовитую махорку, а те, кто ехал на верхних полках, спускали свои ноги почти на головы сидящим. Воздух в вагоне был невероятно спертым, и вагон был так набит, что невозможно было повернуться. Даже в проходах на полу сидели люди.

Это путешествие продолжалось тридцать шесть часов. Малыши непрерывно пищали, но, по крайней мере, они были живы, и у меня стала появляться уверенность в их будущем. Жертва Ольги не была напрасной.

В Москве шел дождь. Оставив кормилицу с детьми в переполненном зале ожидания, я помчался в департамент здравоохранения. Там мне сказали, что родильные дома переполнены и ничего нельзя сделать. Я бросился в Наркоминдел, где Леон Карахан встретил меня с распростертыми объятиями.

– Мы собираемся направить вас консулом к Хану Маку. Это, как вы знаете, феодальный царек, который восстал против шаха, так себе, маленький бородатый деспот. Вы с ним справитесь?

Но по выражению моего лица Карахан, видимо, понял, что я пришел не за лучшей должностью.

Узнав о моей проблеме, он тотчас же связался по телефону с заместителем наркома здравоохранения. Ему пообещали найти место и сказали, чтобы я привозил в клинику детей. Мы с кормилицей и детьми сели в старые дрожки – больше никакого транспорта не было – и под дождем, завернув детей в мою шинель, поехали в клинику доктора Сперанского.

Медсестра положила два моих подозрительно затихших свертка на стол. У маленького Бориса на губах уже была пена, очевидно, он был совсем плох, и женщина-доктор стала делать ему искусственное дыхание. Он был буквально на грани жизни и смерти. Но уже спустя несколько часов оба мои мальчика лежали в инкубаторе, и у них появился шанс выжить. Они были еще очень слабы, но обнаруживали очевидную жизненную силу. Сейчас им уже по двадцать два года, и эта сила нужна им как никогда!

На выпускном вечере в академии были речи, был концерт солистов балета, ЦК партии выделил нам двадцать путевок в новый дом отдыха Марино, и одна из путевок досталась мне. Это было очень кстати, нужно было сменить обстановку, жить одному в нашей комнате в гостинице «Левада» стало выше моих сил.

Марино оказалось старинным дворянским поместьем, из тех,

что так хорошо описаны Тургеневым. Когда-то покоритель Кавказа, князь Барятинский, содержал здесь черкесского имама Шамиля, героя борьбы за независимость Кавказа. Дворец стоял в большом парке, некоторые уголки этого парка были спланированы по образцу Версаля.

ЦК дал указание директору дома отдыха Стрижаку, чтобы он обеспечил всем гостям комфорт и усиленное питание. Стрижак выполнил это указание, но ценой серьезной вмятины в бюджете. В результате он попал под следствие и в конце концов покончил жизнь самоубийством.

Я был ошеломлен этим комфортом и роскошью. Комнаты были обставлены уникальной мебелью из карельской березы и красного дерева. Когда я впервые вошел в большую столовую, увидел огромные хрустальные люстры и столы, уставленные фруктами, услышал оживленный разговор и счастливый смех, я мог думать только о тех трудностях, в которых мы жили все эти годы. Если бы Ольга имела хоть немного таких фруктов, она, может быть, была жива. И не только она одна. Тысячи женщин погибли, как она, от истощения. Моя личная трагедия была только малой частицей большой трагедии всей страны.

Когда я вспомнил те скудные нормы, по которым мы, слушатели академии, питались и которые были предметом зависти многих, ту скудную пищу, которой приходилось довольствоваться нам с Ольгой, кусок остановился у меня в горле, и я оттолкнул тарелку. Во мне закипала какая-то непонятная злоба на всю эту роскошную столовую, и я попросил, чтобы мне позволили есть в своей комнате. Я чувствовал себя спокойнее лишь в одиночестве, наедине с книгами и шумом деревьев за окном.

Книга третья

Из двенадцати апостолов Христа только один Иуда оказался предателем. Но если бы он добился власти, то он представил бы предателями остальных одиннадцать, а вместе с ними и всех других, менее важных апостолов, которых Лука насчитывает около семидесяти.

Лев Троцкий. «Сталин»

Дипломатические проблемы

В октябре 1923 года вся Москва была охвачена лихорадочным возбуждением. Я начал сожалеть, что столько времени потратил на изучение персидского языка, а не немецкого, потому что все мы готовились к грядущей революции в Германии. Все детали этой революции, как мы знали, были тщательно разработаны Коминтерном под руководством Зиновьева.

Мне вспоминается, как в нашей академии с серией лекций по этому вопросу выступил Карл Радек, один из идеологов этого вооруженного восстания. В переполненном зале он с воодушевлением говорил о возможной победе немецкого пролетариата, и мы чувствовали, что все сейчас надо рассматривать под углом зрения этого надвигающегося события. Он рассказывал нам об экономике, истории, психологии, о различных идеологических течениях в Германии, одно из которых, представленное рабочими, готовилось продиктовать свою волю остальным ради спасения страны и прогресса человечества. Радек был, как всегда, в ударе. Он говорил с сильным польским акцентом, но главное, что привлекало в нем, были ум и страсть. Он не произнес ни одной скучной фразы. Ни на минуту не отпуская внимания своих слушателей, Радек не отрывался от реальности, которую держал в клещах своей логики.

Среди слушателей Радека, в проеме двери, словно окаймленная рамой, стояла молодая женщина необычайной красоты. С рыжими вьющимися волосами, она была похожа на Минерву, но только без шлема. Женщина была необычайно внимательна. Казалось, что она впитывала каждое слово оратора. Это была его будущая жена Лариса Рейснер, которая уже в девятнадцать лет воевала в одном из красных батальонов на Волге, а сейчас писала чрезвычайно интересные книги. Спустя несколько пней она будет шаг за шагом следить за неудавшейся революцией в Гамбурге и через некоторое время напишет об этом книгу.

Накануне революционного выступления в Германии Зиновьев опубликовал в «Правде» несколько статей, в них он очертил контуры внешней политики, которую должна была проводить молодая Советская Республика. При всем моем уважении к немецкому пролетариату, я подумал, что Зиновьев слишком рано стал «считать цыплят».

К этому времени Наркоминдел передал меня в распоряжение Бориса Шумяцкого, назначенного послом в Персию. В течение двух лет я работал с этим замечательным человеком, старым

революционером, организатором восстания и создателем Советов в Красноярске в 1905 году. Шумяцкий по национальности был еврей. В то время ему было чуть больше сорока лет. С крупными чертами лица, с вьющимися волосами и сильным, командным голосом, он производил на окружающих яркое впечатление. Высоко эрудированный марксист, одаренный неисчерпаемой энергией, способный работать день и ночь напролет, он был из того теста, из которого делают настоящих лидеров. В Персии он одновременно был и послом, и торгпредом. Как и многие другие, он во время большой чистки был заклеймен как «враг народа» и исчез.

Еще до прибытия к новому месту службы Шумяцкий объявил мне, что я назначен Генеральным консулом в Гилан, в северную провинцию Персии, которая выходила к Каспийскому морю и являлась самым важным экономическим районом страны. Центром провинции был Решт, который фактически выполнял роль экономической столицы Персии. Однако по стратегическим и экономическим соображениям ключевая роль, с точки зрения защиты наших интересов, отводилась порту Энзели, который также входил в мой консульский округ. Провинция Гилан известна своим скверным климатом. Есть даже персидская пословица, которая звучит примерно так: «Хочешь умереть, поезжай в Гилан».

Я отправился к месту назначения вместе с Шумяцким и другими сотрудниками посольства. До Баку у нас было два неожиданных попутчика: мой коллега по академии Яков Блюмкин и знаменитый поэт Сергей Есенин. Они прекрасно ладили между собой и к вечеру, как правило, напивались. Есенин произвел на меня жалкое впечатление. В юности он разрывался между городом и деревней, а теперь его тянули в разные стороны богема и революция. По его внешности было явно видно, что он страдал от алкоголя, от чрезмерного увлечения женщинами и от оргий, которым он предавался в паузах между своими поэмами, остававшимися тем не менее шедеврами русской поэзии. Молодой и красивый гений стал горьким пьяницей. У него было бледное, опухшее лицо, усталые глаза и хриплый голос. Он производил впечатление совершенно деморализованного человека. Блюмкин, которого его солдатский характер всегда удерживал от эксцессов, решил «поставить Сергея на ноги». Но этого сделать уже не мог никто!

Позже в Москве Есенин женился на Айседоре Дункан. Эта американская танцовщица приехала в Советский Союз, чтобы популяризировать созданный ею новый танцевальный жанр. Советское правительство предоставило в ее распоряжение

детскую танцевальную школу. Есенин был очень увлечен Айседорой, видел в ней родственную душу, с которой он надеялся связать и свою творческую жизнь. Но этот брак был неудачным. Вместо неземного создания, которым поначалу представлялась Есенину Дункан, он увидел увядающую женщину, старше среднего возраста, к тому же она была пристрастна к алкоголю. В Москве ни для кого не было секретом, что они вдвоем часто впадали в беспробудное пьянство. Совершив поездку по ряду европейских стран и в США, они наконец разошлись.

Тонкий деревенский лирик Есенин не смог приспособиться к механистической героике революционного периода. Поэзия революции, которая была естественной для таких городских поэтов, как Маяковский, оказалась совершенно чуждой Есенину. Одинокий и озлобленный, он часто скатывался до хулиганства и практически прекратил писать стихи. Однажды, в ленинградской гостинице, он написал прощальную записку своей кровью и повесился.

Маяковский написал на смерть Есенина поэму, в которой есть такие строки:

> В этой жизни помереть не трудно.
> Сделать жизнь значительно трудней.

Через несколько лет Маяковский сам застрелился. Помереть не трудно оказалось и для него.

Шумяцский настоял, чтобы из престижных соображений мы прибыли в Персию на военном корабле. Выделенный нам эсминец был довольно старым, но все же выглядел довольно внушительно. В пути разыгрался шторм, который здорово потрепал наш небольшой корабль. Все члены посольства поголовно страдали от морской болезни, и всем нам потребовалось несколько дней, чтобы полностью прийти в себя. Мне еще долго казалось, что земля Персии ритмически раскачивается какими-то невидимыми волнами.

Местные власти встретили нас торжественно, что, по крайней мере, давало основания полагать, что у них под ногами почва была твердой. Несмотря на провозглашение новой политики равенства и братства по отношению к Персии и отказ от практики экстерриториальных концессий, советское правительство в реальности проводило курс, мало чем отличавшийся от курса своих предшественников. Царские дипломаты длительное время вели систематическую работу, главным образом экономическую, видя свою конечную цель в подчинении Персии. По договору Персии было запрещено иметь военные корабли на Каспии.

Россия же имела в порту Энзели две канонерские лодки, и этому никто не удивлялся. Надо сказать и о том, что мы контролировали рыбные промыслы в Гилане и Мазандеране, одна из российских кампаний имела концессию, через которую проходила единственная дорога, связывавшая северное побережье с Тегераном.

По договору 1921 года советская сторона согласилась с ликвидацией системы концессий и отказалась от большинства односторонних преимуществ, которыми пользовалась царская Россия. Но положения этого договора не всегда четко соблюдались. Наши представители контролировали практически все побережье, не без основания опасаясь, что в случае нашего ухода эти позиции будут заняты англичанами. Наша линия в этом вопросе пользовалась полной поддержкой могущественного военного министра Реза Хана. Позже Реза стал абсолютным правителем Ирана и добился его независимости, проведя в стране ряд реформ по примеру Ататюрка. Он хорошо владел русским языком еще с той поры, когда служил унтер-офицером в русском казачьем полку, расквартированном в Персии[23].

Резиденция советского генерального консульства располагалась в Реште, в сорока пяти километрах от Энзели, где также было вице-консульство, которое мне часто приходилось посещать. В Решт я прибыл в один день с новым английским консулом Троттом, но на несколько часов раньше его, что впоследствии приобрело неожиданно важное значение. Генконсульство располагалось в большом и удобном бывшем купеческом доме. Мой штат состоял из двух русских секретарей и двух канцелярских служащих-персов. Всем нам было по 23–25 лет, все были холостыми, а поскольку мы много работали и редко выходили «в свет», то за генконсульством скоро укрепилось прозвище «русский монастырь».

Два старых слуги-перса, которые работали в консульстве еще при царе, окружили нас вниманием и никогда не позволяли забывать о церемониальной стороне жизни на Востоке. Одеты они были довольно бедно, и этот факт в стране, где одежда играет огромную социальную роль, выработал у них предвзятое отношение к жизни. Случилось так, что мой британский коллега, дом которого находился как раз напротив, одел своих слуг в новые ливреи. Расстроенные этой новостью, оба моих гуляма почтительно высказали мне свою обиду Разве можем мы ронять достоинство великого российского флага в глазах всей Персии? Их локти действительно вылезали сквозь рукава, и я решил своим первым консульским актом доставить этим старикам радость. Я заказал для них новые черные ливреи с красным шитьем и

серебряными пуговицами. По моему заказу портной пошил их специально для нас и украсил эмблемой с серпом и молотом. Та же эмблема была нашита на их фуражки. Все это великолепие намного превосходило то, во что англичанин Тротт одел своих людей. Наш национальный престиж был спасен, но оставалось неизвестным, заметил ли это «противник».

Вскоре мое коммунистическое сознание подверглось испытанию. В период концессий многие зажиточные персы переходили в российское подданство и обеспечивали таким образом защиту своей собственности. Теперь эти люди обращались ко мне с просьбой о продлении паспортов, но в наших глазах это были самые обыкновенные капиталисты, которые не заслуживали нашей защиты. Однако указания Шумяцкого были вполне определенными. Все паспорта должны быть продлены, и их владельцам обеспечена консульская защита, несмотря на то, что они являются капиталистами. Мы должны использовать их для оказания выгодного нам влияния. Это был, как говорится, тонкий край нашего клина.

В мои обязанности входило наносить официальные визиты местным военным и гражданским чиновникам, а также влиятельным частным лицам. Среди последних были и муллы, которые в Центральной Азии часто были вдохновителями басмаческого движения, направленного против советской власти. Я был с ними вежлив, они тоже. Один из мулл, очень старый, но влиятельный человек, произвел на меня особенно глубокое впечатление простотой и достоинством. Он принял меня в большом разваливающемся доме, где он жил один. В доме практически не было никакой мебели, в одной из последних комнат на ковре сидел поджав под себя ноги глубокий старик аскетической внешности. Казалось, что вся оставшаяся в нем жизнь была сконцентрирована в его взгляде, который был проницательным и в то же время добрым. У него была репутация святого, и Реза Хан переписывался с ним, а бывая в Реште, обязательно навещал его.

Реза Хан, видимо, решил прощупать нового советского посла. Ко мне стали поступать сведения о том, что местные власти, под тем или иным предлогом, стали захватывать земли, принадлежащие советским гражданам. Это ставило меня в очень деликатное положение. Я немедленно заявил резкий протест губернатору, и эти незаконные захваты прекратились. Но это было еще не все. Отдельные подразделения персидской полиции заняли позиции вблизи контролировавшихся нами рыбных промыслов и, судя по всему, готовились захватить их внезапным нападением. Сотрудники концессий начали выставлять

сторожевые посты и лихорадочно возводить проволочные заграждения. Напряжение росло от часа к часу. Я телеграммой запросил инструкций из Тегерана. Ответ Шумяцкого гласил: «Ни в коем случае не допустите захвата рыбных промыслов. В вашем распоряжении две канонерские лодки». В это же время нарком Чичерин, обеспокоенный развитием событий, прислал мне личную шифровку: «Любой ценой вы должны избежать вооруженного столкновения, которое может скомпрометировать всю нашу внешнюю политику на Востоке».

В этой обстановке, уступи я или окажи сопротивление, все равно я стану козлом отпущения. Весь вопрос был в том, как я могу не отступить и в то же время не прибегнуть к оружию? Между тем персами уже была сделана попытка захватить осажденных концессионеров врасплох, которая, к счастью, обошлась без кровопролития. Четыре наших поста подняли тревогу, сотрудники заняли оборонительные позиции, и вояки Резы не проявили желания лезть под пули.

Я решил разыграть из себя решительного человека, готового применить силу. Позвонил командиру флотилии, приказал ему подготовить десант для защиты промыслов и в случае нападения противника прикрыть их огнем корабельной артиллерии. Расчехленные корабельные орудия угрожающе уставились на берег. Затем я отправился к военному губернатору и заявил ему, что оставляю за собой полную свободу действий для защиты наших неотъемлемых прав. Конечно, это был блеф. Я бы никогда не отдал приказ открыть огонь, но военный губернатор отвел войска, и война нервов была выиграна. С этого момента наши отношения начали улучшаться.

После того как предпринятые Москвой в 1920 году попытки инициировать персидскую революцию потерпели неудачу, пришлось срочно вносить коррективы в нашу политику. С целью ослабления британского влияния был взят курс на поддержку средних слоев персидского общества, в противовес крупной феодальной знати, которую всегда подкармливали англичане. Мы были заинтересованы в создании в Персии современного централизованного государства, с которым мы могли бы поддерживать дружеские отношения, основанные на взаимовыгодной торговле. Это во многом отличалось от наших прежних планов поднять Восток, о чем мы когда-то мечтали в Ташкенте и Бухаре. Теперь же мы стремились содействовать росту национальных настроений и консолидации национальной власти, опирающейся на торговцев и чиновничество. Я получил инструкции, которые были составлены примерно в следующих выражениях:

«Выскажитесь в пользу желательности создания Национальной партии… Добейтесь, чтобы видные деятели страны направили в Тегеран телеграммы с требованием создания прогрессивного национального правительства…»

К сожалению, для этого у нас не было денег и очень мало товаров для экспорта. У нас были связаны руки.

Мой идеализм постоянно подвергался серьезным испытаниям. Я узнал, какую роль в политике играют деньги. Однажды на прием ко мне пришел один почтенный гражданин и сказал примерно следующее:

– У меня есть разрешение на издание газеты (вполне возможно, что у него такое разрешение было, но он пока не решил, какое направление придать этой газете). Я старый друг вашей страны, мой дорогой господин, вашей великой страны. Ленин самый великий человек, который жил на свете после Пророка, и я хотел бы издавать журнал четкой русофильской направленности. Против вас интригуют англичане. Господин Тротт имеет самые недобрые намерения. Для этого мне нужно три тысячи туманов в месяц…

Я поблагодарил этого доброжелателя и обещал подумать над его предложением.

Другим довольно необычным посетителем был курдский военачальник, который одно время занимал какую-то официальную должность, а теперь оказался без работы. Он был в богатой одежде и, как истинный горец, имел за поясом кинжал и пистолет. Чтобы придать беседе дружеский характер, он великодушно положил пистолет мне на стол. Я тоже открыл ящик своего стола, достал папиросу и… забыл закрыть этот ящик, где кроме папирос лежал мой револьвер. Тихим голосом мой посетитель заметил, что у людей нередко бывают враги и они иногда причиняют беспокойство. Слуги тоже не всегда бывают надежны, иногда и власти строят козни. Всякое бывает в жизни, и хорошо иметь под рукой надежного помощника, которому в случае необходимости можно поручить избавиться без лишнего шума от мешающего мужа, от болтливого слуги или надоедливого журналиста. Он заверил меня, что есть немало влиятельных людей, пользующихся его услугами… Я проводил его до дверей со всей вежливостью, на которую был способен.

Спустя несколько дней после приезда я решил прогуляться и познакомиться с городом. Взяв шляпу, стал спускаться с лестницы, но у выхода мне с почтительными поклонами преградил дорогу один из слуг.

– Его высокопревосходительство собирается выйти?

– Да, ненадолго.

– Но его высокопревосходительство собирается выйти в город?

– Да, а в чем дело? – Я заметил, что слуга был сильно взволнован.

– Тысяча извинений за то, что я осмелился побеспокоить его высокопревосходительство, но ему не следует этого делать.

– Прежде всего перестаньте называть меня превосходительством, и в чем же все-таки дело?

– Но, ваше превосходительство, прошу прощения, уважаемый консул, вы не должны этого делать.

Я уже чувствовал раздражение.

– Вы что, с ума спятили?

Сам слуга больше ничего не мог сказать, но попросил разрешения пригласить местного служащего, который все мне объяснит.

Подошедший служащий был смущен еще больше. Но он сумел растолковать мне, что русский консул не должен ходить как простой смертный. Русский консул всегда был очень важной фигурой в северной провинции. Он мог даже вызвать к себе губернатора, когда ему надо было обсудить что-то, и губернатор дожидался в приемной, если консул был занят. Нельзя позволить, чтобы люди видели его идущим по улице! А если я хочу посмотреть город, то через минуту будет подана карета с двумя лакеями на запятках.

– Это какая-то чушь, – сказал я. – Мы не царские консулы, и нам не нужны эти излишества.

Тогда служащий, как мне показалось, сделал последнее отчаянное усилие.

– Ваш предшественник соблюдал этот протокол, – сказал он, – и я уверен, что посол об этом знает. Могу я нижайше предложить вам обсудить этот вопрос с послом, прежде чем вы нарушите традицию? В глазах персов ничего не изменилось, вы по-прежнему консул нашего великого северного соседа. И смею вас заверить, люди на Востоке любят внушительный выезд. От этого зависит расположение к ним населения и его уважение должностному лицу. Словом, нельзя терять традиции. На Востоке без этого нельзя.

Его беспокойство было столь искренним, что я на время сдался и позволил вызвать карету. Тотчас же подкатила сверкающая викторианская карета с ливрейным кучером и двумя лакеями, один сел рядом с кучером, другой – позади меня. Кучер хлестнул лошадей, и мы на полной скорости помчались по людным улицам, причем мои лакеи во весь голос кричали, требуя освободить дорогу. Моим первым побуждением было потребовать

прекратить крики и ехать помедленнее. Но… подумал я, черт с ними, видимо, это тоже часть моего престижа. Я почти ничего не увидел и, не получая никакого удовольствия от прогулки, потерял к ней интерес.

В свой первый приезд в Тегеран я заговорил об этом с послом Шумяцким. Я сказал, что, по моему мнению, есть лучшие способы для укрепления престижа советского консула. С моим знанием персидского языка и обычаев Востока я могу свободно общаться с людьми на их уровне и приобретать друзей. Я был уверен, что таким образом наше влияние будет укрепляться и люди увидят истинный облик новой России.

Шумяцкий предоставил мне свободу действий, и после этого я действительно стал получать удовольствие. Почти каждый день я ходил пешком по городу, так как мне это нравилось, заходил на рынки, рассматривал безделушки и книги, говорил с купцами и их клиентами. Иногда я на автобусе ездил за город. Обычно автобусы были заполнены женщинами в традиционных персидских чадрах. Обычай требовал, чтобы женщины в общественном месте хранили молчание. Но стоило только сойти последнему пассажиру-мужчине, как это табу нарушалось. Женщины, услышав, что я говорю с водителем на фарси, начинали трещать как сороки, засыпая меня вопросами: что я делаю в Персии? откуда я приехал? военный я или купец? женат ли я? сколько у меня детей? красива ли моя жена?

В другие дни я заходил в парикмахерскую или баню, где атмосфера была густой от пара. Там можно было услышать оживленные дискуссии по любым актуальным вопросам.

Сначала люди указывали на меня пальцем и перешептывались: «Смотрите! Вот это русский консул!» Постепенно они привыкли ко мне, и у меня появилось много друзей. Я осознал истинное количество этих друзей и глубину своего разрыва со старыми традициями только тогда, когда на официальном приеме в честь одного из советских праздников увидел лица своих персидских служащих, которые с ужасом смотрели на толпу людей, заполнивших наше здание, чтобы пожать мне руку.

Персия не будет республикой

Однажды я был разбужен ранним утром. Меня срочно звали к телефону. В трубке я услышал знакомый голос вице-консула в Энзели, срывающийся от эмоций.

– Владимир Ильич умер, – сказал он.

– Что? Ленин?..

– Да, – подтвердил консул, – Ленин умер…

Я сидел за своим столом в оцепенении. Мы как-то забыли, что он был смертен, хотя, конечно, знали, что он после ранения был очень болен. Что будет с партией и революцией без него? Эта ужасная новость ворвалась в дом, как порыв злого ветра через открытые окна. Не было времени подумать и понять значение того, что произошло. Мне надо было позвонить в Тегеран, получить инструкции и довести их до сотрудников; надо было отправить телеграммы в Москву; собрать членов комячейки; вызвать всех советских граждан на митинг; информировать местные власти; принять сотни персов, которые уже начали собираться к консульству; организовать какую-то церемонию для них и для всей русской колонии.

Эта церемония состоялась во дворе консульства, среди обычных красных лозунгов, на которых по-русски и по-персидски было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Угнетенные всех стран, объединяйтесь против империализма!». Под этими лозунгами была поставлена трибуна, и с нее я прочел официальное сообщение и добавил несколько слов от себя. Передо мной на ковре стояли гражданский и военный губернаторы, увешанный медалями генерал, муллы основных мечетей и руководители торговой палаты. Все были в трауре: некоторые из них были действительно искренне опечалены, так как Ленин стал символом освобождения Азии. Правительство Персии было представлено премьер-министром Мохаммедом Саидом, который впоследствии стал послом Персии в Москве. Мне вдруг показались странно неуместными лозунги, которые были у меня за спиной. Ну, ничего, подумал я, они отдают почести Ленину, а Ленин иногда выдвигал такие лозунги, которые понравились бы нашим гостям еще меньше!

Пришла ночь. Измотанный дневными заботами, я вернулся в свою почти пустую квартиру, которая занимала целый этаж консульского здания. Я сидел, сжав голову руками и стараясь ни о чем не думать. Но мои мысли возвращались к Ленину. Жизнь даже самых великих людей, говорил себе я, рано или поздно заканчивается, но народы продолжают жить. Перед моими

глазами возникал официальный портрет Ленина, который я, кажется, до этого просто не замечал. В глазах у меня стояли слезы.

Я долго ходил взад и вперед по комнате, не зажигая света. Мне вспоминались дни, когда я стоял перед братскими могилами своих боевых товарищей, которые еще несколько часов назад были полны сил и энтузиазма.

Что будет теперь с нами? Кто станет у штурвала нашего корабля, который идет неизведанным путем, с его молодым экипажем, неопытными, но дерзкими механиками? Некоторые выдающиеся люди еще остались: Троцкий, Томский, Пятаков, Рыков, Бухарин, Радек… я едва ли подумал о Сталине. Он был мало известен, и тогда, в 1924 году, ничто не предвещало, что он когда-нибудь будет играть ведущую роль. Несомненно, Зиновьев и Каменев будут оспаривать у Троцкого моральное право быть наследниками Владимира Ильича, но в глазах моего поколения они не имели на это оснований.

В 1924 году на международной арене произошли в отношении вашей страны внезапные перемены. Великобритания признала Советский Союз и восстановила дипломатические отношения, которые были приостановлены в 1918 году. Некоторые другие крупные державы последовали этому примеру. В Советском Союзе считали это значительным достижением и видели в этом залог мирного развития в последующие годы. Применительно к генконсульству эти перемены сказались на моих взаимоотношениях с господином Троттом. Мы внешне знали друг друга и иногда встречались, хотя наши отношения нельзя было назвать дружескими, потому что между нашими странами не было дружбы. Следует ли мне теперь же нанести ему визит и поздравить с нормализацией отношений между нашими странами или ждать, пока он сам первый придет ко мне? Я позвонил в Тегеран и запросил инструкций. Посольство приказало мне ждать, пока этот деликатный протокольный вопрос будет рассмотрен. Посольства обеих стран в Тегеране тщательно изучали все обстоятельства, сопоставляли ранги посольских и консульских сотрудников, даты их прибытия. В конечном счете выяснилось, что я иду чуть-чуть впереди по протоколу, чем господин Тротт, поскольку прибыл в Решт на несколько часов раньше. Ему полагалось первым нанести визит, что он и сделал, а я в тот же день нанес ответный визит.

Господин Тротт не очень хорошо говорил по-французски, но прилично владел фарси, и мы говорили с ним на этом языке. С большой гордостью он показал свой сад, наполненный запахом роз, и в знак дружелюбия приколол мне на лацкан алую розу.

Поскольку у него была в петлице белая роза, мы даже пошутили по поводу войны или, лучше сказать, мира алой и белой роз. В саду у господина Тротта я также познакомился с сэром Перси Лорэйном, британским посланником, направлявшимся в Тегеран. Позже у меня было много приятных бесед с господином Троттом, во время которых мы старательно избегали политических вопросов. Если эти строки попадутся ему на глаза, то мне хотелось, чтобы он знал, что я помню об этих приятных встречах. Я был тем более рад установлению этих радушных отношений, потому что незадолго до нашего прибытия в Решт в британском консульстве были похищены документы. В краже документов заподозрили одного из наших посольских слуг. Позже его тело было обнаружено в колодце. Конечно, пошли слухи, что кражу документов организовали русские, а смерть слуги была результатом мести, а не угрызений совести. Во время нашего с Троттом пребывания в Реште ничего подобного не случалось, однако была одна взаимная интрижка, о которой сейчас уже можно рассказать.

Однажды секретарь консульства Мамед-ага зашел в мой кабинет с каким-то обеспокоенным и таинственным видом. Мамед уже несколько лет служил в генконсульстве. По национальности татарин, он был воспитан в мусульманской вере, что, однако, ничуть не мешало ему быть примерным советским работником. Он рассказал мне, что накануне вечером в кофейне к нему подсел секретарь британского консульства из местных граждан. После обычных для Востока цветистых предисловий он перешел к делу. Разве Мамед-ага не сын ислама? И разве он не знает, что большевики поклялись разрушить все вероисповедания, включая веру в Аллаха и его Пророка? Конечно, Мамед-ага должен зарабатывать себе на жизнь, однако не думает ли он, что ему следует сделать что-то, чтобы искупить тот грех, которым он зарабатывает себе пропитание, сделать что-то для тех, кто уважает религию и защищает исламский мир?

С этими словами британский секретарь передал моему изумленному секретарю предложение своих руководителей в британском консульстве: снабжать англичан копиями моих еженедельных докладов в Москву и Тегеран, которые он печатал. Они были уверены в том, что как истинный мусульманин он сочтет это своим долгом. Для того чтобы сделать эту работу еще приятнее, они будут платить ему по двадцать пять туманов (около двадцати пяти долларов) за каждый доклад.

Мамед-ага обещал подумать и пришел ко мне за советом. Я поблагодарил его за верность долгу и одобрил его тактику. После этого каждую неделю, закончив очередной доклад в Москву или

Тегеран, мы давали волю своему воображению и сочиняли для наших друзей в британском консульстве интересные, но в целом вполне безобидные доклады, и каждую неделю Мамед-ага приносил мне двадцать пять туманов, полученных им из казначейства его королевского величества.

Я информировал об этой ситуации Шумяцкого и спросил, как поступить с деньгами, со своей стороны я предложил передавать их единственной прогрессивной национальной газете в Реште, которая сильно нуждалась в деньгах. Шумяцкий согласился, и теперь один из моих сотрудников каждую неделю делал щедрое пожертвование британских денег газете, которая агитировала за национальные реформы и против влияния британского империализма в Персии.

Так продолжалось несколько месяцев, но однажды Мамед-ага вернулся с пустыми руками. Это совпало с пребыванием в Реште сотрудника британской миссии в Тегеране. Возможно, ему наши литературные упражнения понравились меньше, чем местным сотрудникам. Может быть, наше вдохновение истощилось. Так или иначе, но этот источник дохода прекратился.

Персия переживала в это время один из решающих этапов своего развития. Постепенно Реза Хан сосредоточил в своих руках всю власть. Как премьер-министр и министр обороны он назначил своих сторонников на ключевые посты, реорганизовал армию и налоговую систему. Шах, который к этому времени превратился в церемониальную фигуру, был отправлен путешествовать по Европе. Реза Хан стремился к тому, чтобы превратить Персию в сильную централизованную республику, с конституцией турецкой модели и стать ее пожизненным президентом. Сразу после отъезда шаха, как по мановению волшебной палочки, возникло республиканское движение, появились республиканские газеты с призывами: «Долой монархию!», «Да здравствует прогресс!».

На имя Реза Хана стали поступать сотни посланий с такими же требованиями от инициативных групп торговцев. В это же время полномочия гражданских губернаторов были сильно урезаны. Настоящая власть оказалась в руках военных губернаторов, которые все были сторонниками Реза Хана.

Было забавно наблюдать, как неуклюже монархические генералы по приказу своего начальника взяли в свои руки бразды республиканской агитации. Эта агитация, однако, пошла значительно дальше, чем предполагалось. В Реште крестьяне провели демонстрацию с требованием передачи им помещичьих земель. Рабочие и рыбаки, помнящие опыт восстания 1920 года, организовали беспорядки в Энзели и вывесили на улицах красные флаги. Как раз в этот момент (антимонархическая кампания

прекратилась так же внезапно, как и началась) Реза Хан изменил свои планы. После двух лет пребывания шаха в Европе, а Реза Хана у рычагов власти он объявил шаха низложенным и основал свою династию.

Реза Хан изменил свои планы под влиянием англичан, которые таким образом переиграли нас. Мы надеялись на развитие Персии по республиканскому пути и видели в Реза Хане нового Ататюрка. Некоторые группировки в Наркоминделе винили в нашем провале посла Юренева, который сменил Шумяцского. Юренев увлекался охотой и иногда по нескольку дней проводил в охотничьих экспедициях. В решающий момент его действительно не было в Тегеране. Однако в письмах ко мне из Москвы он обвинял «банду Литвинова с их куриными мозгами» в том, что ему направлялись столь глупые указания, что они насторожили Реза Хана и испортили наши хорошие отношения и наши планы.

Персия действительно нуждалась в радикальной модернизации. Например, персиянки не только должны были носить чадру, но они также не имели права ходить в кинотеатры и парки. Я помню, как во время открытия монумента Реза Хана эти бедные женщины сидели на тротуаре как черные вороны, но ноги свои они должны были держать на проезжей части, так как тротуар принадлежал парку, куда им вход был воспрещен.

Когда я устраивал прием с показом кинофильмов, религиозные авторитеты настаивали, чтобы для женщин фильм показывался отдельно в закрытом на замок зале. Они также принимали меры, чтобы киномеханик не мог из своей будки видеть женщин в зале. Мы показывали им трагический фильм о похоронах Ленина: заснеженный домик в Горках; людей на морозных улицах Москвы, ждущих своей очереди пройти у гроба Владимира Ильича; Зиновьева, Каменева, Рыкова, Бухарина, Томского в почетном карауле; колонны людей, идущих при свете факелов по улицам. Наши персидские гости были глубоко тронуты тем, что им было показано, в их восприятии это было равнозначно смерти Пророка России.

Мои контакты с местными жителями тоже свидетельствовали о том, что люди ждут реформ. Ежегодная религиозная процессия шахсей-вахсей, которой мусульмане-шииты отмечают день смерти потомка Пророка, Хусейна, содержала в себе элемент варварской жестокости. В этот день религиозные фанатики заполняли улицы и наносили себе увечья. В религиозном экстазе мужчины и юноши, некоторые в кандалах, резали свое тело и лицо кинжалами, саблями и ятаганами. Скоро все они были в крови, которая капала на мостовую. Некоторые несли на плечах детей и

тоже наносили им легкие раны, мазали их лица кровью. Белизна их одежд, печать страдания на лицах, общая атмосфера экзальтации, вид свежей крови, смешанной с потом и пылью, – все это производило впечатление откровенной дикости. Верующие, которые были достаточно богаты, выходили из этой процессии без единой царапины, а свои религиозные обязательства выполняли, нанимая каких-нибудь бедняков, которые проливали за них свою кровь.

Для укрепления нашего экономического влияния Шумяцкий создал ряд совместных советско-персидских компаний. Специально для финансирования их деятельности был создан Советско-Иранский банк. Банк возглавил исключительно способный коммунист-еврей Аркус. По существовавшим в то время партийным нормам коммунисты не могли получать зарплату выше 250 рублей в месяц, однако советские представители, входившие в советы директоров смешанных компаний, получали такую же зарплату, как и их персидские коллеги, то есть в два-три раза больше нашей. Аркус был единственным, кто сдавал всю разницу в партийную кассу, позже он стал президентом Госбанка в Москве. Его имя фигурировало в числе заговорщиков на процессе Зиновьева, но самого его в суде не показывали и его признания не оглашали. Несомненно, Аркус подпортил бы им обедню, отказавшись признаться в присвоении денег. Больше его никогда не упоминали, и, без сомнения, он был тайно расстрелян.

Однажды через Решт проехал мой предшественник Карим Хакимов, который направлялся в Мешад, куда он был назначен Генконсулом. По национальности татарин, он происходил из рабочих и был настоящим сыном революции. Это был мусульманин, ставший коммунистом, не получивший формального образования, но очень начитанный и обладавший природным тактом дипломата. У него всегда были великолепные контакты с его единоверцами. Позже он стал советским послом в Аравии и как мусульманин получил разрешение проживать в Мекке, – уступка, значение которой трудно переоценить. Он уезжал в Москву учиться в Коммунистической академии, которой руководил Бухарин, а затем снова вернулся в Аравию. Во время чистки советской дипломатической службы в 1938 году Хакимов был отозван. Парижские газеты сообщали, что он исчез с советского судна в Александрии. Будем надеяться, что он остался жив и, воспользовавшись анонимностью Востока, избежал когтей ОГПУ.

Мне предложили пост первого секретаря советского посольства в Тегеране, но меня снова свалил приступ малярии.

Мне было так плохо, что пришлось лечь в госпиталь в Энзели. Вместо меня был назначен мой коллега Славутский, который позже стал советским послом в Японии. Он был одним из двух слушателей, кто вместе со мной окончил персидское отделение восточного факультета. Другим был Пастухов, который позже стал нашим послом в Персии. Оба погибли в период чисток.

Тегеран, Афины, Рим, Берлин, Москва

В конце 1924 года, когда я вышел из госпиталя, Шумяцкий дал мне отпуск, а Юренев, бывший в то время послом в Риме, пригласил меня провести этот отпуск у него.

Я передал свои консульские дела Левицкому, старому большевику, члену партии с 1909 года. Позже он примкнул к оппозиции и погиб во время чисток 1938 года.

Перед отъездом в Рим я заехал в Тегеран к Шумяцкому и у него познакомился с его заместителем по коммерческим делам, Майерсом, эмигрантом, возвратившимся из Америки. Это был типичный американский бизнесмен, решительный и не склонный к пустым разговорам. Позже Майерс стал крупным руководителем советской автомобильной промышленности (погиб во время чисток). Майерс был женат на удивительно красивой женщине, которая потом стала женой вице-премьера Межлаука, человека, хорошо известного в Америке, где он часто бывал с различными делегациями. Межлаук тоже погиб во время чисток.

Шумяцкий, увидев, что я выздоровел, чуть не испортил мне отпуск, предложив Генштабу назначить меня помощником военного атташе генерала Бобрищева. Генерал, не долго раздумывая, предложил мне совершить поездку в район проживания племен в Южной Персии. Но я от этого предложения отказался и уехал в Италию. Через Каспийское море и Кавказский хребет я добрался до Батуми, где сел на итальянский пароход, направлявшийся в Неаполь. Его комфорт, чистота и хорошая пища приятно контрастировали с жизнью на Востоке.

Пароход шел вдоль берегов Анатолии, с заходами в Трабзон, Инеболи и Самсун, небольшие турецкие города, стоявшие на зеленых террасных склонах. Совершая во время коротких стоянок прогулки по этим небольшим городам, мы заходили в небольшие кофейни, где можно было попробовать настоящий турецкий кофе.

Через неделю мы дошли до Босфора, но я просто не в силах описать волшебные огни Золотого Рога и красоту Стамбула.

В огромном здании, где раньше располагалось русское императорское консульство, а теперь советское генконсульство, меня тепло встретил мой коллега Владимир Потемкин. Это был человек буржуазного происхождения, бывший профессор, который хотя и был членом партии, но не пользовался влиянием, так как считалось, что он вступил в партию лишь тогда, когда появилась уверенность в победе пролетарской революции[24].

В этой поездке я видел Грецию только мельком, и она показалась мне одновременно и радостной и трагической. В

результате поражения, которое она потерпела в Малой Азии, этой маленькой стране пришлось предоставить убежище полутора миллионам греков, которых победители-турки изгнали из района Смирны. Это составляло около одной пятой населения этой небольшой и истощенной войной страны.

Однако Афины, в которых я провел целую неделю, выглядели безоблачно. Жена нашего посланника Устинова, простая и очаровательная женщина, несколько дней знакомила меня с городом и окрестностями. Мы посетили музеи, побывали в Акрополе, на островах Эгина, Элесис и Суниум. На острове Суниум я с глубоким волнением увидел имя Байрона, вырезанное на беломраморной колонне храма.

Посланник Устинов познакомил меня с развлечениями Запада, и впервые в жизни я побывал в дансинге. По счетам он расплачивался половинками банкнот. Это было оригинальное решение греческого правительства, которое для того, чтобы вдвое понизить номинал денег, решило резать их на две части. О том, что такие радикальные финансовые меры были необходимы, свидетельствовали многочисленные бараки, забитые беженцами.

В один день со мной из Пирея отплывал очень известный пассажир – лидер II Интернационала бельгиец Эмиль Вандервельде. У меня к нему было смешанное чувство. Разве не он, как лидер «реформистского социализма», сделал так много для блокирования революций в Европе? Я долго обсуждал этот вопрос с его помощником Вандергинстом, который сопровождал Вандервельде. Мы ходили по палубе и горячо спорили, и безмятежная красота лазурного моря и безоблачного неба позволяли нам сохранять дружеский тон, несмотря на противоположность взглядов.

Я принадлежал к тому поколению русских, которое было воспитано в условиях диктатуры пролетариата, которое не знало других идей и убеждений, кроме большевизма. Я был убежден, что мы являемся носителями подлинной правды и нам нечему учиться у наших противников. Но тут я оказался лицом к лицу с молодым западником, который, как и я, был сторонником социализма, который предложил мне совершенно иную, но вполне убедительную модель социализма, основанную на демократии. Он ставил под сомнение все мои ценности и некоторые из них полностью отвергал. Мои суждения были прямолинейны и не допускали сомнений: реформисты, склонные к компромиссам с буржуазией и боящиеся насилия, предали интересы трудящихся, которые, понимая, что доверие реформистам было ошибкой, переходили теперь в наш лагерь.

– Посмотрите вокруг, – настаивал молодой бельгиец, –

прибегнув к насилию, большевики высвободили такие разрушительные силы, которые уже ничем не остановить. Ответом на красную революцию будет фашистская революция. Диктатура пролетариата вызвала к жизни компенсационный феномен диктатуры реакционеров. Что хорошего это принесет человечеству? Ставка на насилие как раз означает ликвидацию тех свобод и ценностей, на которые должен ориентироваться социализм.

В то время такая логика рассуждений была, на мой взгляд, типичным отражением трусости интеллигентов из средних слоев, у этих культурных и добропорядочных людей не хватало воли для непримиримой борьбы, которая одна только и может принести победу. Мы, большевики, видели свою силу в энергии масс. В этом было существо моего ответа Вандергинсту. Через семь лет мы возобновили наш спор, но наши роли уже изменились. Я еще вернусь к этому, но вопрос, который мы тогда затронули, уже никогда не оставлял меня. Я думал над ним в одиночестве и обсуждал его со многими людьми. И теперь я должен признать, что мои взгляды, которые в молодости казались мне такими прочными, были жестоко разрушены историческими событиями и моим собственным опытом.

Наконец мы вошли в Неаполитанский залив, где краски были такими яркими, что человеку начинало казаться, что до сих пор он жил в полутьме. Совершенно забыв, что меня ждут в Риме, я провел в Неаполе две недели, чем вызвал большое беспокойство Юренева. Он уже начал меня разыскивать. Я был просто ошеломлен богатством исторического прошлого Италии. Я поднимался на Везувий. За весьма непродолжительное время мною было накоплено столько впечатлений, которых могло бы хватить на всю жизнь. Почти все свои сбережения за год я отдал туристскому агентству Кука. После двухнедельного пребывания в Неаполе я наконец отправился в Рим и явился в посольство.

В период пребывания Юренева послом обстановка в нашем посольстве в Риме была достойна традиций начального периода революции, которые в других местах уже успели подзабыть. Посол со своей семьей, машинистки и коменданты – все обедали в одной столовой и получали одну пищу. Во внеслужебное время влияние служебной иерархии было сведено к минимуму. Сотрудники отвечали Юреневу товарищеским доверием и преданностью, которая для него была гораздо важнее авторитета, связанного с его официальным положением.

Однако его дипломатическая карьера преждевременно, буквально через несколько месяцев, чуть было не закончилась. Это случилось, когда среди бела дня был похищен Маттеотти,

который через несколько дней был найден мертвым в одном из пригородов. За день до этого Юренев пригласил на обед Муссолини, и дуче принял приглашение. После гибели Маттеотти разразился такой кризис, что, казалось, фашистская система будет сметена волной гнева, прокатившейся по всей Европе. Поток опровержений, последовавших со стороны правительства и поддерживавших его сил, ясно показывал, что такая перспектива была вполне реальной.

В течение недели положение Муссолини осложнялось с каждым часом. В дипломатическом корпусе считали его падение неизбежным; если в результате политического убийства ему придется уйти в отставку, то это будет означать конец его политической карьеры. Итальянские коммунисты и либералы обратились к Юреневу с предложением отменить встречу с Муссолини. Сотрудники посольства придерживались такого же мнения; в этом же духе были и инструкции из Москвы, которая на основании информации своих секретных служб, по-видимому, считала, что дни Муссолини сочтены.

Юренев оказался более проницательным, чем большинство политических наблюдателей. Он сумел правильно оценить действия оппозиции, ее ограниченность и нерешительность. Он видел, что созданные фашистским режимом партия и бюрократический аппарат достаточно сильны, чтобы выдержать любые нападки оппозиции. Он не хотел подвергать опасности межгосударственные итало-советские отношения, которые в тот период были вполне нормальными. Италия Муссолини и Веймарская Германия были единственными государствами, с которыми у нас в тот период были дружественные отношения (общеизвестно, что Советский Союз пытался возглавить объединение стран, недовольных Версальским договором).

Парадный ужин в посольстве, несмотря на разговоры об его отмене, все же состоялся. Юренев, дипломатический представитель революционной социалистической страны, приветствовал за своим столом главу фашистского государства. Об этом много говорили в самой Италии и за ее пределами. Прошедшая встреча наглядно показала, что в случае необходимости советская дипломатия готова принести в жертву и интересы социалистической солидарности.

В результате этого инцидента Юренев вскоре был отозван в Москву. Однако стабилизация фашистского режима в дипломатическом плане оправдала занятую им позицию. Дружба с Литвиновым избавила его от более серьезных последствий, он только потерял старшинство, то есть стал получать назначения на менее значительные посты – сначала в Вене, а затем в Тегеране.

После того как шум вокруг дела Маттеотти утих, Константин Константинович был назначен послом в Токио. Это было значительным повышением, а значит, здесь требовалось одобрение Сталина. Из Токио в 1937 году К. К. Юренев был переведен в Берлин. Вскоре он получил приглашение в Бертехсгаден для вручения верительных грамот и ужина с Гитлером. Через две недели он был вызван в Москву и там исчез.

На обратном пути я заехал в наше посольство в Берлине и присутствовал на праздничном приеме в честь годовщины Октябрьской революции. Там я слышал выступление Крестинского, одного из самых уважаемых большевиков, который еще при Ленине был секретарем ЦК. Это было одно из самых глубоких его выступлений. Как и Ленин, Крестинский был революционером-идеалистом, для него власть и престиж не имели никакого значения. Он служил партии и революции до конца, о котором я скажу позже.

Прибыв в Москву, я узнал о решении ЦК назначить меня Генконсулом в Китай. Я отказался от этого назначения, ссылаясь на свое не совсем крепкое здоровье, посчитав, что кантонский климат будет так же плох для моей хронической малярии, как и гиланский. К тому же я не считал это место достаточно интересным. В то время никто не предполагал, что через год с помощью Советского Союза в Китае возникнет мощное националистическое движение. В то время самого Сунь Ятсена изгнали из Кантона и он вынужден был уйти в подполье. В этих условиях перспективы большого движения не просматривались. Излишне говорить, что позже я пожалел о своем отказе.

Мне хотелось вернуться на работу в Генштаб Красной Армии, но как коммунист я не был свободен в своем выборе. Судьба и карьера всех членов партии, в том числе и офицеров Красной Армии, решалась в стенах огромного здания ЦК партии на Старой площади. Там специальная комиссия по назначениям переставляла коммунистов как пешек на шахматной доске. Решение могло быть самым необычным, как это случилось, например, в отношении моего друга, генерала одной московской дивизии, которого отправили в Центральную Азию выращивать не то хлопок, не то опиум. На возможные возражения о нелогичности того или иного назначения был один ответ: «Нет таких крепостей, которые большевики не могут взять».

Мне относительно повезло. Центральный Комитет партии, принимая во внимание мои знания иностранных языков и «внешнего мира», решил дать мне работу, связанную с заграницей. Я был принят секретарем ЦК ВКП(б) В. М. Молотовым, от которого вышел через час с подписанной им

путевкой. Она и определила дальнейшую мою жизнь и работу на предстоящие четыре года. Этот листок бумаги, куда надо было вписать только фамилию и название учреждения, свидетельствовал о том, что бывший Генконсул в Персии товарищ Бармин назначается в Народный комиссариат внешней торговли в качестве члена совета директоров компании «Международная книга» в Москве.

Борьба с «троцкизмом» и заграничные канцелярские принадлежности

Следующие четыре года я прожил в Москве жизнью типичного коммунистического служащего; днем работа, а вечером партийные дела. Я жил один в маленькой комнатке в центре Москвы. Мои сыновья воспитывались у матери в Киеве. Как и у каждого коммунистического чиновника, вплоть до самых высокопоставленных, моя зарплата была ограничена партийным максимумом 225 рублей в месяц, которых хватало только на самое необходимое. Беспартийные специалисты и технические работники иногда получали больше, в некоторых случаях они отказывались брать деньги сверх партийного максимума. Этот максимум, который впоследствии был отменен Сталиным, способствовал развитию у коммунистов чувства товарищества и сплачивал партию. Перегруженность служебными и партийными обязанностями не оставляла ни времени, ни сил для личной жизни. Дружба, любовь и другие тонкие человеческие чувства были практически исключены из нашей жизни.

В задачи «Международной книги» входил импорт книг и канцелярских принадлежностей. Объем книжного импорта оставался примерно постоянным, но потребности растущих советских организаций, школ, институтов и т. п. в канцелярских принадлежностях постоянно увеличивались. К моменту моего прихода годовой оборот «Международной книги» составлял около шести миллионов рублей золотом, из которых пять миллионов уходило на канцелярские принадлежности. Иностранные концессионеры, получившие разрешение производить некоторые товары этого ассортимента в России, богатели на наших глазах. Самая крупная из этих компаний принадлежала американцу, доктору Арманду Хаммеру.

Советский Госполиграфтрест попытался наладить производство дешевых карандашей, но качество их было настолько низким, что они не могли конкурировать с более дорогой продукцией Хаммера. Концессионеры, которым было дано разрешение на вывоз своей прибыли в валюте, должно быть, смеялись над неэффективностью нашей работы.

Мы решили попытаться исправить положение и избавить Советский Союз от дорогостоящего импорта. «Международная книга» решила наладить собственное производство этой продукции. Даже небольшой суммы, уходившей на импортные закупки, было достаточно для приобретения высококачественного

оборудования, с помощью которого мы могли бы наладить собственное производство. Такое решение позволяло нам не только достичь независимости, но и сократить безработицу, которая все еще оставалась для нас важной проблемой. В Москве была открыта наша первая фабрика по производству ленты для пишущих машин, копирки и т. п. В этом нам помог известный химик Владимир Ипатьев, который недавно отказался возвращаться из США и в настоящее время является профессором одного из американских университетов. Большую поддержку мы получили от народного комиссара внешней торговли Леонида Красина. Меня назначили директором этой фабрики, и, окрыленный успехом, я тут же начал создавать в Ленинграде фабрику по производству стальных перьев.

В Ленинграде я нашел помещение старой шоколадной фабрики, которая была национализирована и числилась в собственности местных властей. Фабрика была населена полчищами крыс и насквозь продувалась сквозняками. Бывший владелец фабрики, который в качестве муниципального служащего теперь присматривал за ней, пытался отговорить меня, ссылаясь на то, что реконструкция обойдется очень дорого и т. п. Должен сказать, что этот господин обладал терпением святого, и я не знаю, какие у него были истинные мотивы, но похоже, что он просто хотел быть наедине с этими стенами. Мы настояли на своем, и вскоре в отремонтированных помещениях уже стояло современное оборудование, закупленное в Берлине и Праге. Под наблюдением немецких специалистов скоро на фабрике имени Красина работало двести комсомольцев, которые прежде были без работы. Немецкий специалист оказал нам неоценимую помощь, его увлеченность и изобретательность принесли успех, который превзошел все наши ожидания. Через несколько месяцев мы научились делать перья не хуже, чем на фабрике Хаммера, а затем и превзошли его. Однако наш карандашный трест так никогда и не смог сравняться с Хаммером.

Моя война с капитализмом, который в тот момент для меня персонифицировал этот вездесущий доктор Хаммер, перешла в новую плоскость. Госучреждения страны продолжали отдавать предпочтение продукции иностранных концессионеров, хотя она была более дорогой. Нам пришлось немало поработать, чтобы убедить наши учреждения в том, что отечественная продукция была не хуже. К 1929 году фабрики культтоваров в Москве и Ленинграде уже работали на полную мощность и оставили позади иностранных конкурентов. Их общий оборот составлял около шести миллионов рублей золотом, и на них работала тысяча человек.

Мы чувствовали, что одержали победу, причем без всякой помощи со стороны бюрократов Наркомвнешторга, которые постоянно отговаривали нас от каких-то смелых инициатив, советовали не выходить за привычные рамки экспорта книг и импорта карандашей. Мы создали новую промышленность и сэкономили стране около пяти миллионов рублей золотом в год. Я чувствовал, что мое руководство промышленным отделом «Международной книги» принесло стране больше пользы, чем все мои дипломатические контакты с представителями режима Реза Хана. Я начинал забывать о своей карьере на Востоке. Один эпизод, однако, вернул меня к этому и заставил с улыбкой вспомнить мои юношеские мечты. В Москву приехал с визитом король Афганистана Аманулла Шах. Это был наш первый гость королевской крови, и ему был устроен шикарный прием. Советская площадь в центре Москвы была окружена милицией в белых перчатках. Институт Ленина был украшен цветами, от тротуара до двери был расстелен ковер, с которого служители постоянно сдували мельчайшие пылинки. И все это потому, что король захотел взглянуть на рукописи Ленина.

Шах прибыл в автомобиле вместе с Калининым, который выглядел так, как будто напился касторки. Калинин всегда гордился своим пролетарским прошлым и еще не привык к таким спектаклям. Но казалось, что прошло уже сто лет с тех пор, когда мы мечтали опрокинуть все троны в Азии. Из Кабула только что вернулся наш посол Раскольников, который был у истоков персидской революции и, сам того не ведая, зажег меня идеей работы на Востоке. Аманулла наградил его высшим афганским орденом и удостоил титула Королевского принца Афганистана! Раскольников, однако, не пользовался этим титулом и не носил афганского ордена.

Аманулла Шах просил у нас совета по механизации и перевооружению своей армии, но возможностей воспользоваться этими советами у него оставалось очень мало. На следующий год кочевые племена подняли восстание, и ему пришлось бежать из страны.

В дополнение к своей основной работе каждый коммунист должен был выполнять некоторые партийные обязанности, которые назывались нагрузками. Эти нагрузки могли, например, заключаться в чтении лекций на заводах или в организации подписки на партийные издания. Характер поручений, которые давались коммунистам, зависел от их способностей и от наличия свободного времени.

Члены партии в каждом учреждении объединялись в ячейку, которая выбирала своего секретаря. Кроме того, было много

других организаций спортивного, оборонного, культурного и т. п. профиля, работой которых руководили коммунисты. В руководящих органах этих организаций коммунисты играли решающую роль. Таким образом горстка коммунистов могла контролировать жизнь тысяч людей в различных сферах жизни. В силу этого мы, коммунисты, участвуя в работе десятка общественных организаций, всегда были чрезмерно перегружены делами. Наш долг заключался в том, чтобы быть примером для беспартийных и вовлекать наиболее достойных из них в ряды партии. Излишне говорить, что, обремененные многочисленными нагрузками, мы зачастую не могли показать никакого иного примера, кроме как формального отношения к делу. Приводные ремни, как называл Ленин этот метод работы, крутились, но сами механизмы едва двигались.

В 1925–1926 годах внутрипартийная демократия еще была жива, хотя ее конец, как многие из нас чувствовали, был не за горами. Партийные дискуссии все еще велись свободно, без всякой цензуры. Каждый мог поднять любой вопрос, и «большевистская критика и самокритика» все еще что-то значила, она не сводилась к чистке рядовых членов партийной верхушкой. Низовые партийные организации проявляли инициативу. В нашей «Международной книге» из трехсот сотрудников двенадцать были коммунистами. Перед моим уходом число коммунистов в нашей ячейке уже выросло до двадцати пяти.

Секретарь партийной ячейки регулярно сообщал в районный комитет партии имена наиболее подготовленных коммунистов, способных нести более ответственные нагрузки. Вот таким образом я стал руководителем двух политических кружков – по истории партии и марксистской теории, организованных комячейкой текстильного треста. Я ожидал увидеть перед собой молодых слушателей, но оказалось, что в кружках наряду с молодыми слушателями были и старые члены партии, в том числе руководители предприятий. «Мы должны учиться, чтобы не отстать», – говорили они. Для таких высказываний действительно были основания, поскольку все начало стремительно меняться.

На своих занятиях нам приходилось уделять все больше внимания вопросам внутрипартийной борьбы в верхнем эшелоне партии. Неожиданно мне давалось указание обсудить очередную партийную ересь, и приходилось отказываться от запланированной темы. В один день райком обязывал меня обсудить статью Зиновьева в «Правде», направленную против Троцкого, а на следующий день – статью Троцкого двадцатилетней давности о перманентной революции. Все это отражало интриги в верхнем эшелоне. Иногда мы это

чувствовали, но только позже поняли, что «идеологические дискуссии» были основным методом, который использовался Сталиным для подрыва авторитета его соперников в партийном руководстве.

Постепенно внимание Московской партийной организации было полностью поглощено проблемой борьбы с «троцкизмом». Неясные отзвуки этой борьбы я слышал еще в Персии. Сначала мы, молодые коммунисты, инстинктивно упрощали этот вопрос. Для нас это сводилось к тому, кто станет преемником Ленина, и большинство считало, что только один человек мог претендовать на эту роль. Мы знали, что Троцкий был на голову выше всех других претендентов и только он один мог рассчитывать на поддержку широких масс. Мы знали и то, что ему вместе с Лениным принадлежала заслуга спасения революции и советской власти. В те годы редко можно было услышать имя Ленина отдельно от имени Троцкого. «Да здравствуют Ленин и Троцкий!» – это было постоянным рефреном. Теперь же другие лидеры партии выдвигали против Троцкого обвинения в теоретической ереси, которые мы не могли оценить ни с точки зрения теории, ни исходя из своего опыта.

Рядовых коммунистов в этот период захлестнуло половодье псевдомарксистской фразеологии модных словечек. Но какими бы убедительными ни казались теоретические аргументы, мы были глубоко обеспокоены личными нападками на Троцкого. Разве его слава и уникальный авторитет не были бесценным достоянием партии? Оставляя в стороне все партийные догмы, разве не Троцкий обладал необходимым характером и интеллектом, чтобы возглавить партию? Мы испытывали чувство подавленности и разочарования при виде соперничества в руководстве партии. Но в 1925 году мало кто из представителей моего поколения понимал, куда заведет это соперничество.

В то время никто не предвидел возможность установления личной диктатуры Сталина. У нас преобладали настроения здорового оптимизма. Мы были уверены в себе и в будущем, верили, что если война не прервет реконструкцию советской промышленности, наша социалистическая страна через несколько лет явит миру образец общества, основанного на принципах свободы и равенства. Разве может быть иначе? Старая капиталистическая Европа двигалась от кризиса к кризису, в то время как мы скоро должны были продемонстрировать устойчивый рост производства, лучшую жизнь трудящихся в условиях изобилия, порожденного плановой экономикой. Почти все мы были в этом убеждены. И идеологическая борьба никогда не преподносилась нам как конфликт между Сталиным и

Троцким. Сталин был достаточно умен и хитер. Он умело прикрывал свои интриги мнением большинства членов ЦК партии. Его сила отчасти была до недавнего времени в самом факте его безвестности. Позиция каждого большевистского лидера за последние два десятилетия была хорошо известна. Отсюда было очень легко выдергивать «ересь» из их статей, памфлетов и брошюр, написанных до революции. И Сталин умело этим пользовался. Какой-то абзац, строка и даже слово часто служило ему поводом для того, чтобы приклеить видному большевику ярлык «ошибающегося товарища, который еще не сделал должных выводов из своих ошибок». Его жертвы не могли ответить ему тем же, потому что за последние двадцать пять лет он почти ничего не писал, за исключением небольшой компиляции по национальному вопросу, которая была опубликована в 1912 году.

Сначала на нас производило большое впечатление то, что теперь, когда Сталин стал выступать в своем прямолинейном и достаточно примитивном стиле, в его статьях и речах не чувствовалось злобы. Другие лидеры партии свободно переходили на личности, в то время как Сталин оставлял впечатление спокойного, преданного ленинца, терпеливо отыскивающего теоретические ошибки в работах своих коллег и без каких-либо эмоций выносящего их на общее обсуждение. Именно отсутствие в его выступлениях каких-то ярких пассажей, их занудливость заставляли нас верить в то, что говорил Сталин. Мы не понимали, что он подстрекал к более острой личной полемике. Мы считали, что те мелкие теоретические споры, которые он затевал, имели такое же важное значение для практики, как спор о том, сколько ангелов может уместиться на конце иглы.

Весь начальный период фракционной борьбы Троцкий молчал и держался в стороне. Бороться за личную власть – это было ниже его достоинства, а его личная позиция была зафиксирована и общеизвестна. Зачем ему тратить время в бесполезных спорах в печати и на собраниях? Он недооценивал значение партийных дискуссий.

Если бы Троцкий подал хоть малейший сигнал, что он готов к борьбе, большинство партии последовало бы за ним. Вместо этого в разгар борьбы он уехал на Кавказ лечить горло. Он бросил своих сторонников, и они вынуждены были с разочарованием наблюдать, как Сталин постепенно прибирал к рукам партийный аппарат, отправляя своих противников на периферию. Когда Троцкий решил, что пришло время ему включиться в борьбу, было уже поздно. Если еще совсем недавно небольшое выступление

Троцкого на московской партийной конференции могло повернуть ход событий, то теперь Троцкий увидел, что Сталин полностью контролирует партию.

Я помню, с каким чувством удовлетворения я читал серию статей Сталина под общим заголовком: «Перманентная революция и товарищ Троцкий». Тон статей был вполне корректным, и вся критика была сосредоточена на одном тезисе Троцкого о том, что для успеха революция должна быть непрерывной, или перманентной; ограничение революции рамками одной страны или задержка ее на какой-то стадии развития неизбежно приведут к краху Сталин, подкрепляя свои аргументы многочисленными цитатами из работ Ленина, укорял Троцкого за то, что он полностью игнорирует роль крестьянства. Сталин утверждал, что для победы социалистической революции в России нет необходимости ждать революционных выступлений рабочих за рубежом, надо только заручиться поддержкой крестьянства. Спустя два десятилетия этот фальшивый аргумент с его убогой логикой и обещаниями, ни одно из которых не было выполнено, кажется мне столь же двуличным, сколь и невежественным, потому что Троцкий никогда не забывал о крестьянстве. На самом деле в Советском Союзе вместо великого социалистического общества возникла тоталитарная тирания, более несправедливая и жестокая по отношению к человеку, чем это было возможно в средние века. Однако в 1925 году, сбитые с толку потоком доктринальных тонкостей, мы были убеждены, что политика ЦК, как ее выражал Сталин, была правильной и нельзя было давать волю своим чувствам. Теория «перманентной революции» казалась нам опасной. В конечном счете мы, члены комячейки, с облегчением проголосовали за платформу Центрального Комитета, то есть за платформу Зиновьева, Каменева и Сталина. Нам не хотелось голосовать против Троцкого, но поскольку он хранил молчание и вроде как упорствовал в своих ошибках, мы считали своим долгом поступить именно так.

Троцкий ушел в отставку с поста Председателя Реввоенсовета и был назначен на второстепенный пост председателя Комитета по концессиям. Внутреннее чутье подсказывало Сталину, что еще не пришло время открыто выступать против Троцкого. Он был еще слишком популярен и в партии, и в народе, особенно у молодежи. Если бы в то время мы сумели уловить, что, нападая на Троцкого, Сталин метит во все руководство партии, то его карьера тут же и закончилась бы. Вместо этого он выдвинул вперед Зиновьева и Каменева, позволив им развернуть борьбу с «троцкизмом». Он ловко манипулировал сознанием Зиновьева,

позволяя ему думать, что он станет подлинным преемником Ленина. Оба этих деятеля лили воду на мельницу Сталина и одновременно сами дискредитировали себя. Позже, когда Сталин решил от них избавиться, он не встретил в партии сколько-нибудь серьезной оппозиции.

Партийные разногласия и препирательства по доктринальным вопросам утихли на полтора года, но неожиданно в 1926 году вспыхнули с новой силой. На XV партийной конференции, состоявшейся в октябре-ноябре 1926 года, случилось неслыханное и невероятное – Зиновьев вместе со своими единомышленниками, включая председателя Моссовета и заместителя премьера Каменева, оказался в меньшинстве. На первый план опять вышли вопросы теории, прежде всего вопрос о возможности победы социализма в одной стране.

Зиновьев и Каменев, которые теперь были близки к взглядам Троцкого, утверждали, что социализм по своей природе интернационален и предполагает ликвидацию границ, если не всех, то, по крайней мере, между основными индустриальными странами. Сталин, с другой стороны, считал, что «СССР обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы построить социализм в одиночку». Официальная итоговая формулировка была результатом исключительно тонкого компромисса и удовлетворила почти всех. Она заключалась в том, что мы можем строить социализм в одной стране, но не можем завершить его строительство, пока в других странах не произойдут революции. Эта казуистическая формула отражала два различных психологических подхода – одни верили в наступательную политику революционного интернационализма, а другие предпочитали национальную замкнутость и отступление. Примерно с такой же казуистикой встречаются сейчас американские политические наблюдатели, когда они пытаются понять смысл последних выступлений Сталина – будет ли он сотрудничать с западными демократиями или же попытается распространить советскую систему на всю Европу.

Сталин очень хорошо подготовился к этому раунду. Все делегаты конференции, за исключением делегатов из Ленинграда, в основном служащих, зависевших от Зиновьева, политического босса Ленинграда, были назначены секретарями местных партийных организаций, которые, в свою очередь, были обязаны своим выдвижением на эти посты Сталину как Генеральному секретарю партии. К этому времени авторитет Зиновьева значительно пошатнулся, в немалой степени благодаря его злобным и предательским нападкам на Троцкого. Не прибавили ему авторитета и поражения, которые под его

руководством потерпел Коминтерн в Германии, Болгарии и Эстонии, где выступления коммунистов были утоплены в крови. Я был одним из тех, кто нисколько не пожалел бы, если бы Зиновьев был отстранен от руководства, и у меня было такое впечатление, что эта точка зрения была широко распространена в партии. Сталин удачно воспользовался этими настроениями и нанес поражение группировке Зиновьева, не обнаружив в этом какой-то своей особой заинтересованности.

Около года Зиновьев и Каменев оставались в тени, а затем, забыв свои прежние яростные нападки на Троцкого, открыто пошли на союз с ним в рамках объединенной оппозиции. Этот союз был еще одной ошибкой Троцкого. Многие коммунисты считали Зиновьева и Каменева оппортунистами, которые ради личной власти готовы были как угодно менять свои взгляды. В то же время Троцкий все еще продолжал пользоваться авторитетом, хотя и оказался в меньшинстве. Никто не сомневался в его искренности и преданности делу. Пойдя на союз с Зиновьевым и Каменевым, он заметно подорвал свой престиж, но вряд ли приобрел много сторонников. Возможно, и сам Троцкий, думали мы, был не так уж объективен, как хотел казаться. Во всяком случае, все мы хотели положить конец фракционной борьбе. В памяти еще звучал предсмертный призыв Ленина к единству. В итоге оппозиция не сумела завоевать поддержку широкой партийной массы, и Сталин легко сокрушил ее.

Легко ли было разобраться в тех сложных вопросах, вокруг которых шла борьба? Молодежь могла только полагаться на мнение своих старших и лучше информированных товарищей. Несмотря на все колебания и сомнения, мы в конечном счете всегда руководствовались интересами партии и ее единства. Я был одним из тех, кто всегда поддерживал решения ЦК партии. Мы не могли знать тайные пружины этих решений и все махинации, которые творились в ЦК, но если бы мы даже и знали их, то одной угрозы раскола в партии было достаточно, чтобы мы подчинились. Этот аргумент – ослабление партийного единства вызовет кризис, которым воспользуется контрреволюция, – использовался каждый раз, когда надо было свести на нет любые попытки организовать оппозицию. Он в конечном счете сыграл решающую роль в разгроме действительных соратников Ленина.

В то время как под прикрытием теоретических дискуссий шла личная борьба за власть, в стране происходили важные экономические и социальные перемены. В целом они вызывали недовольство трудящихся и побуждали некоторых партийных бойцов, не утерявших связи с массами, перейти в ряды оппозиции. Результаты новой экономической политики, которая

частично восстановила рыночные отношения, были неоднозначны. Нэпманы, получившие контроль над некоторыми государственными предприятиями, нещадно эксплуатировали рабочих, а сами предприятия нередко доводили до злонамеренного банкротства. Продукция социалистического сектора, как правило, не шла напрямую к потребителям, а попадала в руки нэпманов, которые продавали ее с наценкой в несколько сотен процентов. В результате таких спекуляций и расширения черного рынка, подрыва национализированных отраслей экономики в стране появились крупные частные капиталы. Частник действовал умнее и инициативнее, чем государственные предприятия, и при этом не был связан соображениями общественного благополучия.

Роль денег в обществе многократно выросла, в городах появились ночные клубы и игорные дома, и это оказывало деморализующее воздействие. Рабочие, жившие на свою небольшую зарплату, чувствовали себя обделенными в сравнении со специалистами, нэпманами и другими «новыми капиталистами», которые стали появляться из всех щелей. Быстро стала расти разница в доходах. Очень небольшая часть рабочих имела достаточно высокие заработки, но основная масса жила очень бедно. Безработные в Москве бедствовали так же, как и их товарищи по несчастью в Берлине, и даже больше. Рабочие уже были не в состоянии платить высокую квартирную плату за хорошие квартиры, в которые их переселили после революции, и постепенно возвращались в трущобы. Многие дома, еще несколько лет назад выглядевшие красиво и аккуратно, теперь разрушались и превращались в убежища для бедняков.

Те члены партии, которые остро чувствовали эту ситуацию и считали ее более важной, чем идеи единства партии, вбивавшиеся им так старательно в головы, вступали в ряды оппозиции. Однако партия уже устала от фракционной борьбы. К тому же за последние годы Сталин привлек в партию большое число молодежи, не искушенной в политике и не способной к критическому мышлению. В этой обстановке оппозиции никогда не удавалось привлечь на свою сторону больше десяти-пятнадцати тысяч из миллиона членов партии. Голос ее постепенно слабел.

Триумф «партийного единства»

К концу 1927 года, накануне XV партийной конференции, лидеры «Объединенной оппозиции» Троцкий, Зиновьев и Каменев поняли, что бюрократический партийный аппарат, созданный Генеральным секретарем Иосифом Сталиным, не оставляет им никаких шансов на успех, поскольку все делегаты были обязаны своим избранием только Генсеку. В этих условиях лидеры оппозиции, игнорируя нормы партийной дисциплины, решили апеллировать непосредственно к партийной массе.

Было немало признаков того, что симпатии широких масс все еще были на стороне Троцкого и других руководителей, поддерживающих его позицию. В октябре 1927 года в Ленинграде, как обычно, была организована демонстрация в связи с годовщиной Октябрьской революции. Случилось так, что Троцкий и другие лидеры оппозиции, которые ездили по городу в автомобиле, оценивая настроения демонстрантов, застряли в пробке около Таврического дворца. Около дворца были выстроены грузовики, которые должны были служить трибуной ораторам, и один из руководителей местной милиции, видя перед собой столь важных персон, ничтоже сумняшеся провел их на одну такую еще не занятую «трибуну». Быстро пронесся слух о том, что Троцкий был на последней трибуне. Тысячи людей двинулись вперед, окружили Троцкого, преградив путь к трибуне Калинину и другим представителям партийного большинства. Милиция, направленная на восстановление порядка, ничего не могла противопоставить энтузиазму толпы. Несколько сторонников Сталина пытались устроить Троцкому обструкцию, но их свистки утонули в гуле приветственных криков толпы. Калинин и другие лидеры вынуждены были слезть со своего грузовика, вокруг которого не осталось демонстрантов, и перебраться поближе к лидерам оппозиции. Как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет должен идти к горе. А демонстранты тем временем продолжали скандировать: «Троцкий! Троцкий!».

После этого лидеры оппозиции стали встречаться с рабочими-коммунистами в их квартирах. Теперь эти люди, которые в критические годы революции стояли во главе страны, снова, как в дни своей революционной молодости, стали украдкой встречаться с рабочими, на кухнях, за столами, покрытыми клеенкой, стараясь объяснить рабочим проблемы развития промышленности и мировой политики.

Политические страсти накалились до предела, когда

подготовленная Коминтерном и советскими советниками китайская революция начала свое триумфальное шествие. Оппозиция обвинила Сталина в том, что он пошел на союз с Чан Кайши и китайской буржуазией, объединившейся под знаменами гоминьдана против китайской революции. Сталин действительно принудил китайских коммунистов пойти на союз с гоминьданом и заставил их сдерживать наступательный порыв китайских рабочих и крестьян. Он оставался глух к раздававшимся со всех сторон предупреждениям о том, что Чан Кайши готовит в Шанхае военный переворот против коммунистов и профсоюзов. Радек, который как ректор Китайского университета в Москве был достаточно хорошо информирован о происходящем, поддержал Троцкого и Зиновьева, осуждавших тактику Сталина.

Трагические последствия этой тактики очень скоро стали очевидны. На партийной конференции в Москве Сталин заявил, что у него есть договоренность о взаимодействии с Чан Кайши. Это заявление было опубликовано почти одновременно с сообщениями о нападении отрядов Чан Кайши на коммунистов и профсоюзы в Шанхае, что явилось сигналом для антикоммунистической реакции по всему Китаю. Эта реакция достигла своего апогея в кровавом подавлении революции в Кантоне, провозгласившей советскую республику, которая просуществовала всего три дня.

Престиж Сталина был серьезно подорван, и оппозиция удвоила свои усилия. Сталин решил прибегнуть к насилию. Один из секретарей райкомов Москвы по фамилии Рютин предложил создать боевые группы, вооруженные дубинками и свистками, которые должны были заглушать выступления ораторов от оппозиции. Другие группы боевиков по приказу ЦК должны были разгонять неофициальные собрания членов партии.

Накануне 7 ноября 1927 года прошел слух, что оппозиция намерена организовать уличные шествия. До этого момента ОГПУ и милиция оставались в стороне, и Сталин не решался втягивать их во внутрипартийную борьбу. Считалось, что с оппозицией можно будет справиться силами упомянутых боевых групп. Теперь, однако, эти органы были призваны подавить внутрипартийную оппозицию.

Группа оппозиционных членов ЦК заняла один из балконов у входа на Красную площадь, где должны были сходиться колонны демонстрантов. Балкон был украшен портретами Ленина, Троцкого и Зиновьева, а под ним собрались сторонники оппозиции, которые выкрикивали лозунги: «Да здравствует Троцкий!», «Да здравствует оппозиция!». Сотрудники ОГПУ ворвались на балкон, сбросили портреты и арестовали

представителей оппозиции. Сторонники Троцкого в колоннах демонстрантов смогли развернуть несколько лозунгов со словами: «Выполнить завещание Ленина!», «Против оппортунизма, против раскола», «За единство ленинской партии!». Милиция и ОГПУ смяли лозунги и избили тех, кто шел под ними.

Троцкий, у которого не было пропуска на Красную площадь, вместо того чтобы идти с колоннами своих сторонников, бесцельно ездил по Москве на автомобиле. В неразберихе кто-то стрелял в него, а пожарные разбили ветровое стекло его автомобиля.

В день праздника я был на Красной площади на официальной трибуне около Мавзолея Ленина, где стояли партийные лидеры. Обстановка была довольно нервозная. Опасаясь каких-то акций со стороны оппозиции, трибуну и Мавзолей отделили от демонстрантов двойной линией милиционеров. За шесть часов, пока продолжалась демонстрация, произошел лишь один малозначительный инцидент. Китайские студенты развернули лозунг, который они пронесли на площадь под одеждой: «Долой оппортунизм в китайской революции!». Позже все эти студенты погибли в Китае потому, что Сталин, сначала заставивший своих последователей подчиниться гоминьдану, в то время как они были способны на самостоятельные действия, позже, чтобы восстановить свой престиж, толкал их, когда время уже было упущено, на плохо подготовленные вооруженные выступления, примерно такие, как упоминавшаяся выше кантонская революция.

Тем временем дискуссии на партийных собраниях становились все острее, но Сталин и здесь боялся дать слово Троцкому, и его приспешники срывали эти выступления. Сталин также продолжал расширять состав Центрального Комитета за счет своих сторонников, насколько вмещал зал заседаний. Эти новые члены ЦК знали, кому они служат. Стенограммы заседаний ЦК показывают, что на Троцкого оказывалось чудовищное давление, чтобы заставить его замолчать. Среди шума и обструкционистских выкриков пламенная речь Троцкого хлестала Сталина как кнутом. Это было его последнее обращение к партийному форуму. Газета «Правда» так сообщила о начале его выступления:

«Троцкий: Нынешний режим через свой аппарат оказывает давление на пролетарский авангард… *(Шум в зале усиливается. Оратора почти не слышно.)* …бюрократы-выскочки, включая рабочую бюрократию *(волнение в зале, свист)*… служащих, мелких начальников, новых собственников, привилегированную интеллигенцию города и села…»

Шум в зале не позволил продолжить выступление. Подпевалы Сталина кричали: «Долой его! Долой негодяя!». Зал неистовствовал. Ярославский схватил со стола увесистый том первого пятилетнего плана и запустил его в голову Троцкому, промахнувшись на несколько сантиметров. Некоторые сторонники оппозиции бросились к трибуне и окружили своего лидера кольцом, чтобы защитить его. Троцкий спокойно посмотрел на Ярославского: «Ну, если вы не можете убедить людей этой книгой, вы можете прихлопнуть их ею!».

Зиновьев тоже пытался выступить. «Или вы дадите нам выступить и обратиться к партии, или вам придется посадить нас в тюрьму… Другого пути нет…» Публика засмеялась…

Сталин уже выбрал свою альтернативу. Сторонники оппозиции в низшем звене партии подвергались такому же моральному террору. Их также увольняли с работы. Сталин бил оппозицию ниже пояса. Вот, например, как Виктор Серж описывает реакцию коммунистов своей ячейки на происходившее.

– Послушай, – сказал один печатник Сержу, – сейчас большая безработица. К тому же у меня дети. Если я присоединюсь к вам, а вы потерпите поражение, что будет со мной и моими детьми?..

Сталин не хотел рисковать предоставлением трибуны оппозиции на XV съезде партии, открытие которого было намечено на декабрь 1927 года, и решил упредить события. За две недели до открытия съезда Троцкий, Зиновьев и Каменев были исключены из партии за нарушение партийной дисциплины. Я был на открытии съезда в качестве гостя и видел, как Сталин и его сторонники из числа правых – Рыков, Бухарин и Томский – самодовольно располагались в президиуме съезда – покрытые позором победители. Зал единодушно приветствовал «победу линии партии», но в аплодисментах делегатов было какое-то оцепенение. Как и многие другие, я поддерживал большинство, надеясь, что это раз и навсегда прекратит изнурительную борьбу. Я считал, что интересы безопасности государства и предотвращения раскола партии оправдывали такой радикальный шаг.

Не посоветовавшись с партией, Сталин решил сослать Троцкого в Центральную Азию. В Москве эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Несмотря на все происшедшее, члены партии, поддержавшие Сталина, надеялись, что положение еще выправится и репрессивных мер не потребуется.

На вокзале, с которого должен был отъезжать Троцкий, собрались тысячи сторонников, которые скандировали: «Да здравствует Троцкий!». На крыше одного из вагонов был установлен его портрет. Милиция и ОГПУ пытались оттеснить

демонстрантов, но когда состав тронулся, они буквально облепили паровоз, и поезд остановился. Протестующие дважды отцепляли локомотив от состава, но все это было напрасно. Троцкого в поезде не было. ОГПУ проявило предусмотрительность.

Троцкий был отправлен с пригородной станции совсем другим поездом. Перед этим в его квартиру без предупреждения ворвалась группа сотрудников ОГПУ и приказала Троцкому и его жене немедленно собираться. Троцкий, не желая давать Сталину повод представить его ссылку как добровольную, решил оказать сопротивление и закрылся в одной из комнат. Сотрудники ОГПУ запросили инструкций у своего руководства и получили указание взломать двери. Один из чекистов, который раньше служил у Троцкого, разбил стеклянную дверь, но при виде своего старого командира его охватило раскаяние.

– Застрелите меня, товарищ Троцкий, застрелите меня! – кричал он.

– Не говорите чепуху, – ответил Троцкий. – Никто не собирается в вас стрелять. Делайте свою работу.

Троцкого насильно на руках вынесли из дома и на поезде отправили в Алма-Ату.

Благополучно отправив Троцкого, ОГПУ принялось арестовывать и высылать его сторонников. Это вызвало определенное недовольство в рядах партии и вооруженных сил, но время для реального сопротивления было уже упущено. Троцкий потерпел поражение.

В 1928 году стали явственно ощущаться трудности, которые предсказывала оппозиция. Приходилось применять чрезвычайные меры для того, чтобы вынудить крестьян сдавать свой урожай государству. Против крестьян Сталин применил силу. Команды «заготовителей» в сопровождении вооруженной охраны изымали у крестьян даже семенной фонд. Были отмечены многочисленные случаи насилия и жестокости. Тысячи крестьян были подвергнуты аресту.

В этой обстановке Бухарин, Рыков, Томский и Угланов – в то время секретарь Московского комитета партии – требовали нормализации обстановки в провинции. В ЦК они представляли правое крыло, на которое Сталин до этого опирался в борьбе с левой оппозицией Троцкого. Неожиданно Сталин обрушился на своих недавних союзников. Он изощренно использовал в своих целях недовольство, вызванное исключением из партии и арестами левых оппозиционеров. Эти меры были приняты партией «со скрипом», и теперь Сталин переложил ответственность за это на правых.

У правых даже не хватило смелости выступить открыто, и они сразу же капитулировали. Я присутствовал на московской партийной конференции, в ходе которой Угланов, бывший безжалостным к троцкистам, со слезами на глазах каялся в своих грехах и обещал впредь неуклонно следовать линии партии. Он восхвалял дальновидность Сталина и откровенно заискивал перед ним. Это было жалкое зрелище.

У меня сложилось впечатление, что они сдались практически без боя. Калинин и Ворошилов были в какой-то мере на стороне правых и, в отличие от Сталина, пользовались определенной поддержкой, поскольку выступали за расширение свободы производства и обмена в сельскохозяйственной сфере, что позволило бы крестьянам зарабатывать деньги. Но против них выступали левые элементы в партии. Они требовали подавления крестьянского сопротивления силой и обвиняли правых в капитуляции перед кулачеством. Они искренне поддержали не вполне понятный им маневр Сталина. Теоретик правых, Бухарин был главным редактором официального печатного органа партии – газеты «Правда», но Сталин нейтрализовал это преимущество, дав понять, что настоящим органом партии была «Комсомольская правда». Большинство комсомольцев, которые помогали Сталину в этой борьбе, были потом уничтожены как «уклонисты».

Положение на селе ухудшалось с каждым днем. Драконовские меры Сталина еще больше лишь дезорганизовывали сельское хозяйство, и перспективы выглядели очень мрачными. Правые все еще продолжали надеяться. Троцкому удавалось сохранять контакты с несколькими тысячами своих сосланных сторонников, и это держало старых членов партии в состоянии напряженного ожидания. Троцкому было предписано под угрозой ареста прекратить эту деятельность, но он не подчинился этому нажиму. Сталин не решился выполнить свою угрозу, но был распущен слух, что Троцкого вышлют за границу. К этому времени мы уже как-то привыкли к плохим новостям, но эта – привела нас в состояние шока. До этого мы считали внутрипартийные разногласия, какими бы они ни были острыми, ничтожными в сравнении с теми противоречиями, которые существовали между коммунистами и капиталистическим миром. А теперь речь шла об изгнании Троцкого – о передаче его в руки капиталистов. Внутренне я осуждал это решение ЦК, но никто уже ничего не мог сделать. Единственная оппозиция в то время, правая, сидела тихо и изо всех сил старалась, чтобы ее не замечали.

Такой же психологический шок я испытал во время празднования пятидесятилетнего юбилея Сталина. Газеты

посвятили целые страницы его восхвалению, присвоив ему титул «вождя» партии. Но я помнил, как в 1924 году Сталин говорил Троцкому: «Партии не нужны вожди – у нее есть коллективный вождь, Центральный Комитет». Этот аргумент Сталина, поданный в очень корректной статье, в то время оказал сильное влияние на тех, кто не одобрял нападок на Троцкого.

Теперь я начал подозревать, что нас просто обманули. Это заявление Сталина было всего лишь ловким тактическим маневром, направленным на захват власти.

Мой друг, Брикет, такой же наивный, как и я, с большим трудом старался убедить меня в том, что после изгнания многих лидеров авторитет партии ослаб и ей нужен был сильный руководитель, человек решительный и глубоко знающий ленинское учение. Именно таким путем был создан культ лидера партии. Но Брикет только наполовину убедил меня. С большими сомнениями и тяжелым сердцем оглядывался я на фракционную борьбу, в которой я так самонадеянно принимал участие.

Бедный Брикет! Наверное, не было человека более преданного Сталину и «генеральной линии партии» – новый термин, которым обозначали сталинскую политику. На самом деле это была довольно кривая линия, которая меняла свое направление примерно каждые три месяца. Позже Брикет стал влиятельным членом Центральной контрольной комиссии, но в 1937 году его имя появилось в списке «врагов народа». Наверное, тогда он понял, для чего партии нужен был вождь.

За четыре года, проведенные в Москве, мое здоровье восстановилось. Мне по-прежнему хотелось на Восток, и Наркомвнешторг предложил мне снова поехать в Персию в качестве торгового представителя. Не скрою, мне очень хотелось этого назначения. Мои сыновья росли с бабушкой на Украине, и я уже привык к тому, что у меня не было личной жизни, что я жил только интересами партии и государства. Но я по-прежнему числился в резерве Генерального штаба, и оттуда в Наркомвнешторг поступило встречное предложение. С учетом моей военной подготовки и опыта внешнеторговой деятельности мне предстояло ехать в Париж, где Советский Союз производил крупные закупки для авиационной и оборонной промышленности. После четырех лет жизни в обстановке бесконечных партийных интриг я был готов ехать куда угодно. В январе 1929 года я выехал в Париж для работы в советском торговом представительстве.

Париж. Великий план и битва за золото

Я был поражен строгой красотой Парижа. После ярких красок Москвы цвет его зданий – результат воздействия копоти, тумана и времени – создавал ощущение благородной поэзии. Жизнь, по контрасту с московской, казалась здесь яркой и радостной. Но это, последнее, меня не особенно удивляло. Я видел здесь большую разницу между богатыми и бедными и думал, что, когда мы выполним свою пятилетку, наш уровень жизни будет гораздо выше, причем бесплатно и для всех в равной степени.

В то же время мне было больно, когда я вспоминал наши трущобы. Бедные кварталы Парижа выглядели не так плохо, как наши, а должно было быть как раз наоборот. Ведь при капитализме должны быть трущобы, но теперь, когда революция у нас победила, московская нищета казалась мне укором и говорила о том, что, по крайней мере на какое-то время, шествие социализма замедлилось.

Больше всего меня удивила свобода, которой пользовалась пресса. Огромное количество газет всех оттенков, которые могли критиковать кого угодно, невзирая на положение, могли свободно пропагандировать самые противоречивые и смелые идеи. В то время партия большевиков совершенно откровенно боялась свободной прессы. Партия учила нас, и мы верили этому, что если разрешить другим левым партиям свободно выражать свои взгляды, то через эту трещину в монолите непременно просочатся буржуазные взгляды, которые будут ставить под сомнение наши ценности и размывать основы режима. Париж наглядно показывал, что свободная пресса не угрожает господствующему классу, если он в целом пользуется широкой поддержкой народа, а как раз наоборот, является гарантией безопасности и прогресса. Но в то время я не мог особенно углубляться в размышления на эту тему, было слишком много работы, а работа была связана с постоянной борьбой.

Мою работу в последующие четыре года в Париже, Брюсселе и Милане нельзя понять без учета доминирующего для СССР этого периода фактора – первого пятилетнего плана.

Яростная критика, просачивавшаяся в нелегальных памфлетах оппозиции, находила отклик в партии и вынудила Сталина пересмотреть первоначальный вариант пятилетнего плана индустриализации, который был довольно робким. Он решил переплюнуть своих соперников и ударился в другую крайность. Он добился принятия пятилетнего плана, предусматривавшего гигантский рост производства, который

представлялся нереальным. Этим он выбил почву из-под ног левых и одновременно сумел мобилизовать актив партии против тех, кто выступал за более умеренные темпы развития. Партия активно поддержала Сталина против правых лидеров, Рыкова и Бухарина, которые подозревались в том, что они хотят увести страну на путь аграрного и буржуазного развития. Была еще одна причина для такого резкого изменения позиции Сталина. Люди могли смириться с репрессиями в партии и создаваемой в стране атмосферой осажденной крепости лишь в том случае, если им будет предложена достаточно крупная цель, которая заставила бы их терпеть грядущие лишения.

Борьба Сталина с крестьянством уже приняла форму сплошной принудительной коллективизации, но для ее успеха нужно было одновременно и быстро строить заводы по производству тракторов и других сельскохозяйственных орудий. По этой причине, а также в связи с продолжавшейся борьбой с правыми в план через каждые несколько месяцев вносились импровизированные коррективы, которые еще выше поднимали его показатели. Партийные деятели и директора предприятий оказались втянутыми в то, что мы тогда называли «административной горячкой», каждый старался обойти своего соседа в выдвижении «суперпланов» для своих предприятий. В довершение всего Сталин объявил, что пятилетний план, который сам по себе уже был чудовищным, должен быть выполнен в четыре года.

Здравомыслящие члены партии в то время рассуждали примерно так. Железная воля Сталина не знает границ. Его узколобость, так же как и его тиранический стиль руководства, дорого обходятся стране, но, несмотря на кажущиеся непреодолимыми трудности и несмотря на то, что каждую весну режим подходит к грани краха, несгибаемая воля этого человека обеспечивает народное хозяйство страны необходимыми машинами. Еще несколько лет такого почти нечеловеческого напряжения сил, и мы, несмотря на все недостатки Сталина, станем жить лучше и счастливее.

Лозунг этих дней был: «Догнать и перегнать Америку». Сама идея превращения нашей страны в новую индустриальную Америку вызывала у нас огромный энтузиазм. И поэтому, несмотря ни на что, мы решительно поддерживали Сталина. Этот дух проникал даже в ряды оппозиции, что объясняло многочисленные примеры ее капитуляции: «Работа Сталина, как бы ни были неуклюжи и грубы его методы, важнее наших разногласий с ним. Он делает дело плохо и жестоко, но он делает его». Мало кто предвидел, что моральные и политические

средства, которые Сталин использовал в этой работе, в конечном счете изменят сами ее результаты и сведут на нет героические усилия народа по строительству подлинно социалистической промышленности и счастливой жизни для людей. Трудящиеся в России были слишком захвачены своим изнурительным трудом, чтобы размышлять над тем, что творилось вокруг. Это стало ясно лишь намного позже. Те же, кто находился за границей и питался приукрашенной официальной информацией, были уверены в том, что, несмотря на гигантские трудности, в целом система работала И мы делали свою часть этой работы с энергией и энтузиазмом, не обремененные грузом сомнений.

Собрать сто двадцать пять миллионов крестьян в колхозы, «посадить мужика на трактор», механизировать всю Россию было весьма непростой задачей. Нужно было не только построить крупные заводы по производству тракторов и другого сельскохозяйственного оборудования, построить в степях автомобильные заводы, достойные фордовского Детройта. Их нужно было еще обеспечить металлом и электроэнергией. Нужно было построить новые литейные предприятия, электростанции, шахты, угольные и железорудные карьеры, плотины и железные дороги. Нужно было расселить где-то миллионы новых рабочих, построить тысячи заводских корпусов. Все это требовало миллионы тонн цемента и других строительных материалов. Бесчисленные трактора и автомашины нуждались в горючем, и это требовало значительного расширения нефтяной промышленности. Все это напоминало снежную лавину, несущуюся с горы, каждое строительство требовало в свою очередь нового строительства и так далее.

Этого можно было достигнуть только за счет огромных закупок импортного оборудования за рубежом: тяжелых станков и инструмента, оборудования для электростанций, шахт, нефтяных скважин, подвижного состава для железных дорог. Все это нам надо было покупать и платить за это сотни и сотни миллионов долларов каждый год. Для этого Советскому Союзу было нужно золото, а его в Центральном банке было очень мало. Пришлось ускоренно развивать еще одну отрасль промышленности: восстанавливать заброшенные золотые копи в Сибири и на Урале. Но для них тоже надо было закупать оборудование за рубежом, и отдача от них могла стать ощутимой только через несколько лет.

Предпринимались отчаянные усилия, чтобы собрать золото у населения. Были открыты магазины «Торгсин», в которых продукты, недоступные в других магазинах, продавались по довоенным ценам тем, кто приносил золото и ювелирные изделия. ОГПУ арестовывало остатки новой буржуазии из числа

нэпманов и вымогало у них ценности. «Интурист» предлагал любознательным туристам все «чудеса новой России», если они платили за это валютой. Но эти внутренние ухищрения могли дать только малую часть того, что было необходимо.

Единственным способом получения золота, из которого Ленин когда-то обещал делать нужники, был экспорт всего, что только можно было продать капиталистам за любую цену. И мы начали экспортировать все, что попадалось нам под руки, – не только сырье, которое Россия всегда экспортировала: лес, лен, марганец и т. п., но и продовольствие, которого в России остро не хватало. Не жалели ничего, даже самого необходимого, в том числе масла и сахара. На экспорт шли фрукты и птица, которых не хватало даже для госпиталей. Этот вал экспорта был в немалой степени причиной того, что в 1931–1932 годах на Украине и в Центральной Азии разразился голод, отголоски которого ощущались по всей стране. Информация о голоде тщательно скрывалась правительством от внешнего мира, несмотря на наличие в Москве большого числа иностранных корреспондентов. Даже мы, советские служащие за рубежом, не знали всего трагизма ситуации и со спокойной совестью занимались экспортом.

В те годы Советский Союз часто обвиняли в том, что он занимается демпингом, стремясь подорвать торговые позиции других стран. Но правда была в другом. Иностранные импортеры знали, как остро Советский Союз нуждался в золоте, и предлагали за него столь низкие цены, что они иногда были ниже издержек производства. Москва готова была идти на такие убытки, и часто мы соглашались с очень низкими ценами. Главная задача внешнеторговых представителей заключалась в том, чтобы добиться как можно более низких цен на импортируемые товары. Тут мы готовы были драться за каждый доллар. Мы также старались получить как можно больше за наши товары в порядке предоплаты и взять максимально долгосрочные кредиты для оплаты импортируемого оборудования.

В каждой европейской столице шла отчаянная борьба за кредиты и за золото, и в ней я тоже принимал участие. Эта борьба была не менее ожесточенной, чем борьба с басмачами в Бухаре.

Очень скоро мы выбрали все кредиты, а по выданным ранее пришла пора платить. Мы старались вести себя на рынках как можно увереннее, но знали, что наше казначейство пускало в оборот последние банкноты. Советское правительство через все советские и зарубежные коммунистические газеты усиленно распространяло тезис о том, что советская валюта была самой устойчивой в мире, что Советский Союз никогда еще не нарушал

своих обязательств и никогда их не нарушит. Это действительно является фактом, – почти чудом, – но Советский Союз действительно всегда вовремя платил по своим обязательствам. Однако я знаю, какие титанические усилия требовались каждый раз, чтобы спасти нас от катастрофы. Каждый раз, когда приближался срок платежей по крупным кредитам, сотрудники советских внешнеторговых организаций и банков переживали кошмарный период.

Эта война велась под руководством одного человека, которому мы обязаны тем, что страна была спасена не только от унизительного банкротства, но и от серьезных финансовых осложнений. Это был народный комиссар внешней торговли Аркадий Розенгольц. У него было два заместителя, Любимов и Вейцер, которые постоянно находились в Берлине и координировали все торговые и финансовые операции. Любые суммы, полученные или выплаченные нами в течение дня, как бы они ни были малы, обязательно сообщались по телефону в Берлин. В Москву еженедельно направлялись очень подробные отчеты. Если нам, несмотря на отчаянные усилия, не удавалось собрать нужную сумму для очередного платежа, то Москва самолетом посылала золото из своих последних резервов. Для заслушивания сообщений Розенгольца Политбюро часто приходилось собираться на свои заседания в экстренном порядке. Сталин видел Розенгольца в деле и знал, что без него все пошло бы прахом… Но и это его не спасло. Розенгольц был расстрелян как «враг народа» 15 марта 1938 года. В это же время были арестованы оба его заместителя, Любимов и Вейцер.

Наше торговое представительство располагалось в семиэтажном доме по Рю Виль-Эвек, 25. Штат состоял примерно из трехсот человек. К моменту моего приезда в Париж на должность заведующего отделом импорта посольство и торгпредство подверглось полной реорганизации. В руководстве этих учреждений были представители многих национальностей Советского Союза. Украинец Довгалевский заменил румына Раковского на посту посла. Торговым представительством, которое раньше возглавляли украинец Пятаков и грузин Буду Мдивани, теперь руководил бывший министр финансов, русский коммунист Туманов, а затем другой коммунист, еврей Гуревич[25].

Каждую неделю заведующие различными экспортными и импортными отделами собирались в кабинете Гуревича на «военный совет». Гуревич, лукаво улыбаясь, всегда начинал так:

– Товарищи, мне нужно от вас две вещи – деньги и еще раз деньги.

Мы докладывали о полученных и ожидающихся суммах и о поступивших счетах. Очень часто, перебрав все возможные варианты, мы обнаруживали, что денег нам не хватает. Иногда в последний момент нас спасал Михаил Островский, заведующий отделом экспорта нефти – Россия была основным поставщиком нефти во Францию. Хотя французская компания «Петрофина» платила нам огромные авансы, Островский вновь и вновь использовал добрую волю «своих» капиталистов для того, чтобы срочно получить от них один-два миллиона франков под какие-то проблематичные дополнительные поставки нефти в отдаленном будущем. Естественно, его «благодетели» никогда бы не пошли на это без соответствующего снижения наших цен. И на следующем нашем заседании Островский триумфально демонстрировал нам свой чек.

На этих заседаниях мы постоянно ломали голову: что еще можно вывезти из Советского Союза? Некоторые наши предложения были действительно оригинальными. По нашему предложению Москва стала поставлять во Францию кавказские вина, русскую водку, игрушки, изделия народных промыслов и т. п. Русские крестьянки собирали на экспорт ягоды, грибы и лекарственные травы. Я предложил попытаться экспортировать копирку, ручки и карандаши с фабрик «Международной книги», которыми я руководил в Москве. Все, что могло принести хоть один цент, шло на экспорт в великой битве за золото. Но даже самая буйная наша фантазия померкла, когда мы получили циркуляр из «Интуриста», в котором обосновывалось рожденное в Москве предложение по экспорту… людей!

На протяжении многих лет эмиграция из Советского Союза была запрещена. Выезжать из страны могли только дипломаты, а также чиновники и специалисты, направляемые за границу по служебным делам. Во Франции, Соединенных Штатах и других странах были тысячи граждан российского происхождения – как дореволюционных эмигрантов, так и белых, оказавшихся за рубежом после Гражданской войны. Многие из них были неплохо устроены и хотели бы вызвать к себе родственников из России. Обычно советский заграничный паспорт и выездная виза стоили два рубля, но иностранцы должны были платить от 800 до 1500 долларов наличными за паспорт для своего родственника! За эти деньги «Интурист» мог откопать в каком-нибудь сибирском концлагере «врага народа», отчаявшегося когда-нибудь выйти на свободу, и экспортировать его душу и тело в мягком вагоне к зарубежным родственникам.

Должен признаться, что мы в Париже, несмотря на испытываемые финансовые трудности, не выражали особого

энтузиазма по поводу этой статьи экспорта и не старались развивать ее. Но я слышал, что в некоторых других странах эта «линия» пользовалась большим успехом.

В то время отношение к нам деловых кругов Франции, Англии, а также частично Америки существенно отличалось от той позиции, которую занимала Германия. Немцы были готовы предоставить нам долгосрочные кредиты в объеме 300–400 миллионов марок, в то время как французы или вообще отказывались от долгосрочного кредитования, либо предлагали нам крайне невыгодные условия. Если бы не приход к власти Гитлера, Германия смогла бы в течение длительного периода оказывать серьезное влияние на развитие советской экономики. Россия создавала заново целые отрасли промышленности, и если первоначальный заказ на станки и оборудование шел к немцам, то за ним должны были следовать новые заказы на запасные части, на новые станки для новых фабрик и т. п. Для обслуживания этих машин нужно было приглашать немецких специалистов, и в конечном счете немцы руководили бы многими нашими предприятиями.

Я был удивлен безынициативностью французов в этом вопросе. Нам удавалось заключать во Франции некоторые сделки, но платить нам приходилось очень дорого. Французский промышленник, согласившийся дать нам кредит на два года, добавлял к нему до сорока процентов для покрытия риска. Но даже с такой прибылью он не чувствовал себя спокойно потому, что белоэмигрантские круги в Париже продолжали убеждать его в том, что большевистский режим скоро рухнет. Запугав этого французского капиталиста, те же самые эмигранты, зная, что мы в любом случае выполним свои обязательства по облигациям, тут же скупали их по дешевке. Позже, когда наше финансовое положение улучшилось, Госбанк через конфиденциальные каналы стал выкупать эти облигации и таким образом несколько снизил масштабы наших потерь.

В этот период иностранцы очень плохо представляли себе, что происходит в России. Например, я вел переговоры о поставке в Кузнецк в течение девяти месяцев партии коксовых батарей. Директор французской компании запротестовал:

– Я только что приехал из Кузнецка! Там пустыня и бездорожье. Какой смысл поставлять туда оборудование, пока вы не освоили сам район? А на это уйдет не меньше двух лет.

На самом деле беспощадная решительность Сталина бросила в Кузнецк огромное число строительных бригад: старых большевиков и молодых комсомольцев, рабочих-ударников и инженеров, заключенных и кулаков, которые были движимы кто

энтузиазмом, а кто страхом. Эти люди жили в бараках и питались черным хлебом и кислой капустой, но за год завод был построен.

В конце 1930 года меня повысили в должности – я стал заместителем торгпреда и генеральным директором по импорту. Правовые и социальные условия, в которых нам приходилось вести работу, не только не улучшались, но, наоборот, становились все тяжелее. Решения французских судов сделали бы наше существование практически невозможным, если бы мы не выработали систему обхода этих решений. Бывшие владельцы судов, национализированных в ходе революции и плававших теперь под советским флагом, получили решение суда, позволявшее им предъявлять права на собственность и авуары Наркомвнешторга. Посол Довгалевский заявил протест, но это не помешало судебным исполнителям войти в наши помещения и опечатать мебель. Теперь направляемые нам товары и денежные средства приходилось маскировать как собственность совместной компании, большая часть акций которой принадлежала Советскому Союзу.

Недюжинные личные способности Довгалевского ежедневно подвергались испытаниям. Свободно владея французским языком, зная обычаи страны и психологию французов – в студенческие годы он жил во Франции, – посол отличался терпением, вежливостью и очень тонким чутьем. Он вполне мог сойти за французского инженера, и удивительного в этом ничего бы не было, по образованию он был инженер. Довгалевский, как никто другой, умел защищать советские интересы. Наше положение в момент его работы полпредом постоянно улучшалось и, может быть, стало бы еще лучше, если бы не его внезапная смерть.

Французы оказали нам существенную помощь в развитии алюминиевой промышленности, очень ценным было техническое содействие со стороны компании Луи Марлиот. С французским промышленником Луи Люмьером мне довелось подписать контракт на строительство в России первой фабрики по производству кинопленки. Я закупал в Южной Франции виноградную лозу для Крыма и Кавказа, пробку в Алжире, фосфаты в Марокко, часы в Швейцарии, станки в Бельгии, сталь в Люксембурге, тратя на это более 800 миллионов франков в год.

Но среди всех моих обязанностей на первом месте были те, которые относились к советской авиации и авиационной промышленности. Эта работа велась вместе с направленной из Москвы комиссией, в которую входили выдающиеся советские военные инженеры. Возглавлял комиссию начальник советских военно-воздушных сил Яков Алкснис, в нее также входил известный конструктор Андрей Туполев, который создал самолет,

перелетевший через Северный полюс в Америку. В России Туполев отвечал за строительство наших авиационных заводов и экспериментальных лабораторий. В годы чисток он был обвинен в саботаже и исчез из поля зрения вместе с целой группой работавших с ним замечательных конструкторов. Его друзьям ничего было не известно о нем, пока он после гитлеровского нападения снова каким-то таинственным образом не появился на свет и не занял ведущее место в советской авиационной промышленности.

Благодаря нашим крупномасштабным закупкам оборудования для авиационной промышленности, ведущие французские фирмы заключали с нами соглашения о техническом сотрудничестве и разрешали нашим специалистам месяцами работать на французских заводах, изучать их методы. Они работали на крупнейшем авиационном заводе в Гноме на Роне, который выполнял наш заказ на несколько сотен авиационных двигателей последних моделей. В Россию также приезжали французские инженеры для строительства заводов по выпуску самолетов французских типов.

В целом французская, так же как и американская, промышленность оказала нам огромную помощь в создании и развитии отечественного авиастроения.

В буржуазном окружении

Советская колония в Париже, этой космополитической столице Европы, была довольно своеобразным, замкнутым образованием. Под советской колонией я имею в виду тех российских граждан и членов их семей, которые являлись служащими советских организаций – посольства, торгпредства, банка, транспортных компаний, туристских бюро.

Направляя этих людей за границу, московские власти внушали им, что они являются форпостом великой армии строителей социализма, действующим в условиях враждебного окружения. Находясь на вражеской территории, они должны были являть собой образец скромности, стойкости перед искушениями буржуазной среды и преданности пролетарскому долгу. Коммунисты составляли менее половины коллектива. В торговых организациях было немало старых специалистов, получивших образование и опыт еще до революции.

Эта колония была микрокосмом породившей ее страны. Хотя коммунисты составляли меньшинство, партийная ячейка фактически руководила всем. Секретарь ячейки и пять членов бюро диктовали все законы, по которым мы жили. Они контролировали все, что происходило вокруг, еще в большей степени, чем это делалось в России. Я часто присутствовал на заседаниях партбюро и слушал, как они обсуждали повседневные проблемы. По своей психологии они напоминали христианских миссионеров, направленных в страну язычников. Их община была организована наподобие монашеского ордена. А поскольку в данном случае язычники были довольно цивилизованны и весело жили в относительной роскоши, миссионеры смотрели на них как на римлян в состоянии греха и упадка. Миссионеры были не столько заинтересованы в обращении новых членов, сколько в защите своего монастыря от разлагающего воздействия окружения.

Помимо этого небольшого круга советской элиты, в Париже существовала большая советская колония в обычном смысле слова, то есть людей, не связанных с официальными советскими учреждениями, но обладавшими советским гражданством. Часть из них была дореволюционными эмигрантами, которые автоматически обменяли свои паспорта, когда открылось советское посольство, а другая часть принадлежала к белой эмиграции, но быстро покаялась и получила гражданство в результате амнистии советского правительства. Мы никогда не приглашали их на наши собрания или приемы и не

интересовались их жизнью. Численность нашей колонии колебалась в диапазоне от трех до четырех сотен человек. Первая проблема – расселить их так, чтобы они могли организовать свою жизнь в соответствии с принципами, которые предписывала партия. Для сотрудников посольства это было несложно, поскольку их численность не превышала пятидесяти человек и все они жили в здании посольства. Но сотрудники торгпредства, составлявшие около восьмидесяти процентов колонии, представляли собой реальную проблему. На первое время они останавливались в различных гостиницах, но со временем они начинали подыскивать себе квартиры, и тут возникали сложности. Одним из неписаных правил жизни советской колонии считалось неэтичным покупать для сотрудников мебель и предметы домашнего обихода – это считалось «буржуазным перерождением». И им приходилось снимать меблированные квартиры, но в Париже они были очень дорогие, и это заставляло сотрудников искать более дешевое жилье в отдаленных пригородах. Но тут возникала еще одна трудность. Советский служащий не мог купить себе автомобиль – это было запрещено.

Очень немногие рисковали нарушить запрет насчет мебели, но в бюро ячейки постоянно шли жалобы. Однажды я присутствовал на заседании, когда в очередной раз стал обсуждаться этот вопрос. Не будучи лично заинтересован – я вполне был доволен своей гостиницей неподалеку от места работы, – я высказался против этого глупого запрета. Мои аргументы были очень просты. За два года, которые каждый командированный проводил в Париже, он выплачивал хозяину квартиры сумму, примерно в три раза превышающую стоимость самой мебели. Домой в Россию он возвращался с пустыми руками, заметно обогатив своего квартирного хозяина. Я попросил наших партийных законодателей объяснить мне, в чем конкретно заключалась угроза «буржуазного перерождения», если, купив мебель, человек сэкономит деньги да еще сможет увезти мебель к себе домой. Вразумительного ответа я не получил, только общие рассуждения о том, что советский служащий – это солдат, который должен быть готов в любое время сняться с места. Этот вопрос поднимался много раз, но всегда с одним и тем же результатом.

Примерно так же обсуждался вопрос о покупке автомобилей. На этот счет у нас были четкие указания Центрального Комитета партии. Покупка автомобилей была абсолютно запрещена. Причины запрета были схожими. Покупка автомобиля, помимо «буржуазного перерождения», будет связана с получением кредита, а это привяжет его к месту работы за рубежом.

Советский служащий не только должен быть готов к переезду в любое время и в любое место, но он должен ехать с легким сердцем. Поскольку при существующем курсе рубля он будет не в состоянии расплатиться за машину из России, он при отъезде, рискуя потерять машину, может вообще не захотеть уезжать домой. К тому же, если у него появляются накопления, он должен отсылать их в Советский Союз, чтобы улучшить валютный баланс страны.

Мы продолжали спорить: если сотрудникам не будет разрешено покупать автомобили, то они все равно будут тратить свои деньги, но на менее ценные вещи. Так оно и происходило. Из-за этого запрета многие жены сотрудников покупали себе дорогие меха. Наша настойчивость и призывы к здравому смыслу принесли совершенно неожиданный результат. В ЦК партии умные головы решили, раз так много сотрудников хотят купить автомобили, значит, у них слишком высокая зарплата. Валютные выплаты сотрудникам снизили на тридцать процентов, которые стали зачислять на их счета в Москве для обмена по официальному курсу.

Примерно через год мы нашли решение жилищной проблемы, арендовав для сотрудников торгпредства огромный одиннадцатиэтажный дом. Мы сами купили мебель и обставили квартиры и стали сдавать их сотрудникам. Таким образом почти вся колония собралась в одном доме, и скоро его стали в шутку называть «Домом Советов в Париже». Этот дом в какой-то мере изолировал нашу колонию от «нежелательного влияния» буржуазного окружения, но он одновременно стал источником многочисленных слухов и сплетен для белоэмигрантской прессы, которая, очевидно, имела в доме подслушивающие устройства. Эта пресса особенно любила мусолить одну специфическую тему.

Члены советской колонии в беседах и между собой и с иностранцами часто жаловались на то, что вынуждены жить в этом «ужасном капиталистическом окружении». Они испытывали ностальгию и постоянно мечтали о возвращении домой. Я заметил, что эти жалобы высказывались слишком часто и слишком настойчиво, чтобы их можно было считать искренними. Белоэмигрантская пресса постоянно высмеивала эти высказывания, сопоставляя суровые условия жизни в России с тем, что советские служащие встречали в Париже, подчеркивала, что они были обеспечены гораздо лучше, чем французские чиновники соответствующего уровня.

В нашей комячейке никто не ставил под сомнение искренность этих заявлений. Бюро придерживалось правила, по которому каждый служащий, по крайней мере один раз в два

года, должен был выезжать в отпуск на родину. Все это встречали с энтузиазмом, и никто не решался сказать, что, может быть, было гораздо практичнее отдыхать на французской Ривьере. Я не мог понять, почему нам нужно было закрывать глаза на то, что мы жили здесь в лучших условиях, чем то, что большинство из нас знало в своей жизни. Согласиться с этим, на мой взгляд, никак не поставило бы под сомнение лояльность советской колонии, но избавило бы нас от лицемерия.

Я никоим образом не хочу создать впечатления о том, что мы получали какую-то необычайно высокую зарплату или вели экстравагантный образ жизни. Если сравнивать наше положение с положением сотрудников французских коммерческих фирм, то мы могли равняться только с их средним и нижним уровнем. Мы платили секретарю или стенографистке от семидесяти пяти до ста долларов в месяц, бухгалтеру или торговому агенту от ста двадцати пяти до ста семидесяти пяти долларов. Это было примерно на пятьдесят процентов выше, чем в соответствующих французских компаниях. Но наш старший персонал – заведующие отделами импорта и экспорта, включая самых высокопоставленных сотрудников, – никогда не получал больше двухсот – двухсот пятидесяти долларов в месяц, хотя они ежегодно заключали сделки на сотни миллионов франков. Их зарплата, конечно, была намного ниже той, что получали французы, которые имели дело с вдвое меньшим оборотом.

Сам я жил в Париже очень скромно, отчасти потому, что я никогда не жил иначе, отчасти потому, что я посылал две трети моей зарплаты, которая сначала составляла двести, а потом двести пятьдесят долларов, в Москву моим сыновьям. Торгсины еще не открылись, и курс обмена рубля оставался прежним, несмотря на его обесценивание. Нехватка продовольствия вызвала рост цен, и моей матери приходилось платить от трех до пяти долларов за фунт масла, которое она покупала для детей.

Я снимал небольшую комнату в мезонине на площади Маделейн. Квартира мне была не нужна, поскольку я приходил домой очень поздно, только чтобы поспать. Обычно мы работали допоздна. Младший персонал уходил раньше, а старшие обычно задерживались долго. Большинство выходных мы тоже проводили на службе в четырех стенах.

Один-два раза в неделю в посольстве проходили закрытые собрания партячейки. На них мы обсуждали состояние дел в Советском Союзе и наши проблемы в Париже. Обычно эти собрания проходили в обстановке большого энтузиазма и продолжались до двух-трех часов ночи.

Когда мы в предрассветные часы выходили из посольства, все

еще продолжая спорить между собой, естественно, по-русски, французские полицейские у ворот смотрели на нас со смесью недоумения и подозрительности. «Эти сумасшедшие русские!» Чтобы немного успокоиться, мы заходили на Монпарнас выпить стаканчик пива в «Ротонде» или «Куполе». И здесь, когда моя голова все еще шла кругом от дискуссий о пятилетнем плане, я с любопытством наблюдал за беспечной болтовней ужинавшей после театра французской богемы или за жрицами любви, терпеливо ожидавшими своих клиентов за столиками. Мне они казались какими-то нереальными тенями далекого мира.

У нас оставалось очень мало времени для личной жизни или развлечений. В свободные вечера большинство обитателей «Дома Советов», если они не отправлялись в ближайший кинотеатр смотреть американский вестерн, собирались друг у друга в квартирах для выпивки и игры в карты.

В редкие свободные дни, до того как бюро ячейки начало «коллективизацию» нашего свободного времени, я смог посмотреть в Париже все, что хотел. Вряд ли стоит описывать мое восхищение галереями Лувра, Люксембургского музея, Нотр-Дама, хотя я не могу не отметить, как глубоко меня тронули скульптуры Родена. Я был восхищен видами, которые открывались из Лувра на Триумфальную арку или с террас Версаля. Кино для меня было больше чем простым развлечением – оно было средством образования. В Москве я не мог видеть фильмов, которые на Западе делали историю, такие как «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина. В Россию они не могли попасть, а когда я приехал в Париж, они уже считались старыми. Весь Париж спешил увидеть первые звуковые фильмы с Алом Джолсоном в его знаменитой роли в фильме «Солист джаза». А я тем временем тщательно просматривал газетные объявления, находя эти фильмы в маленьких пригородных кинотеатрах.

Однажды я сбежал с партийного собрания, – довольно дерзкий и рискованный поступок – и на такси помчался в какой-то грязный барак в рабочем районе для того, чтобы посмотреть «Золотую лихорадку». Проекция была ужасная, фильм был весь исцарапан, но я получил такое удовольствие, какого не испытывал в самых шикарных кинотеатрах на Больших бульварах. Точно таким же образом в убогих пригородных кинотеатрах я видел «Рождение нации» и «Нетерпимость» – два фильма Гриффита, которые стали поворотным пунктом в истории кино.

На второй год моей работы в Париже я почувствовал, что для успешного ее ведения в сфере импорта мне не хватает технических знаний. И тогда я поступил на вечернее отделение химического факультета, что, конечно, совсем не оставляло мне

времени для наслаждения культурной жизнью Парижа. К тому же как раз в это время бюро партячейки решило, что предоставленные самим себе товарищи понапрасну теряют свое свободное время и надо организовать их досуг. Решили соединить приятное с полезным. В выходные дни арендовали автобусы и отправлялись на экскурсии по знаменитым замкам, соборам и местам сражений. А чтобы занять вечера, организовали танцы и драматические кружки в подвале торгпредского дома, где нам была предоставлена большая сцена и много свободного места.

Другой, не менее важной целью этих вечеров было налаживание дружеских отношений с французами, работавшими в советских внешнеторговых организациях. Мы практически ничего не знали о том, как они живут вне службы. Многие из них были коммунистами или родственниками коммунистов, рекомендованные Французской компартией. Но советское правительство, стремясь избежать прямой связи между местной компартией и нашими торговыми учреждениями, добилось, чтобы эти коммунисты на время работы у нас приостанавливали свое членство в партии и не занимались никакой другой политической деятельностью. Остальная часть наших французских сотрудников политикой вообще не интересовалась. Соответственно, возник вопрос о характере репертуара.

Французы, естественно, думали в привычных для них категориях и предложили пригласить джаз-оркестр, который будет играть модные танцы: фокстрот, танго и т. п. Но в Советском Союзе танго и фокстрот были запрещены как признак «буржуазного разложения». Запрещены они были и для советских сотрудников за рубежом. Мы были в тупике.

Сначала бюро решило твердо придерживаться этого правила. На первом вечере оркестр играл только вальсы и польки. Но от этого ни оркестр, ни наши французские гости не получали никакого удовольствия. Вечер абсолютно не удался.

В следующий раз бюро решилось пойти на компромисс. Оркестру было разрешено играть фокстроты и танго, а гостям танцевать их, но… только французским гостям, а не членам советской колонии. И вот мы были вынуждены сидеть как маменькины сынки и наблюдать, как танцуют французы, и присоединяться к ним, только когда оркестр играл вальс или польку. Все чувствовали себя страшно неловко, и гости, и хозяева.

Я подумал, что с такой детской наивностью мы вряд ли совершим мировую революцию, и решил преподнести нашим блюстителям морали маленький сюрприз. Я пришел к послу Довгалевскому вместе со своим другом – заведующим отделом металлургического импорта, старым большевиком Ивановым,

который был одним из разумных членов партийного бюро.

– Если последовательно придерживаться классовой позиции, – начал я полушутливо, – то нам следовало бы запретить вальс, а не фокстрот, потому что фокстрот появился в среде угнетенных негров. А вальс, наоборот, является танцем аристократов – традиционным для всех европейских монархических дворов!

Читатель, которому не доводилось видеть, какие яростные марксистские филиппики «Правда» обрушивала на фокстрот, вряд ли оценит смелость этого шага. Но мой трюк удался. На следующем вечере, когда оркестр заиграл фокстрот, посол Довгалевский, Иванов и два других высокопоставленных лица – Бреслов и я, – к великому ужасу наших блюстителей морали, пригласили танцевать французских девушек. Мой фокстрот был не так уж плох, потому что накануне я в течение трех вечеров интенсивно обучался этому танцу в городской школе.

В тот вечер все мы хорошо повеселились и не испытали никаких «признаков разложения». Вечер имел огромный успех и продолжался почти до утра. Даже оркестр остался доволен.

Наши моралисты приутихли, через пару месяцев до меня дошло странное эхо этого события. Я получил письмо от своего друга в ЦК партии. Среди прочего он осторожно намекнул мне, что в ЦК поступил доклад, в котором отмечалось, что, несмотря на серьезные задачи, стоявшие перед нами в Париже, некоторые сотрудники, в том числе и я, слишком много времени уделяют танцам. Естественно, он этому не верил, но просил меня быть осторожным, чтобы не повредить своей репутации.

Письмо это прибыло как раз тогда, когда я работал ежедневно с восьми утра и до двух часов ночи, одновременно продолжая учиться на химическом факультете.

Письмо вывело меня из себя, и я показал его своему начальнику – Туманову.

– Не обращайте внимания, – сказал Туманов. – Я как раз направляю в Москву предложение о назначении вас генеральным директором импорта. Я даю отличный отзыв о вашей превосходной работе в прошлом и в настоящее время. Это прекратит сплетни.

Действительно, вскоре я получил эту должность.

Похищение белоэмигрантского лидера, генерала Кутепова, в течение шести недель держало нас в состоянии крайнего напряжения. Я не знал, что на самом деле случилось с Кутеповым. Если его действительно похитило и вывезло ОГПУ, что, похоже, и в самом деле имело место, то эта акция была проведена совершенно независимо от официальных советских

организаций.

Однако в глазах общественного мнения мы, вместе с ОГПУ, были виновниками этого происшествия. Белая эмиграция, в кругах которой Кутепов пользовался популярностью, была в ярости. Монархистская газета «Возрождение», отражавшая взгляды наиболее беспринципных и реакционных эмигрантских кругов, старалась накалить страсти добела. Офицеры-эмигранты провели демонстрацию у нашего посольства на Рю де Гринель и, по поступившим к нам сведениям, собирались захватить посольство. Довгалевский ввел осадное положение. Большинство членов партии вооружилось и оставалось ночевать в посольстве. В больших комнатах были поставлены раскладные койки, и мы по очереди спали и несли караул. В случае нападения мы были готовы силой оружия защищать этот клочок советской территории в сердце Парижа.

Как-то мне пришлось дежурить ночью вместе с секретарем посольства Дивильковским, который был ранен в Лозанне во время убийства посла Воровского. Это был очень нервный человек, который постоянно стонал во сне и часто вскакивал, хватаясь за револьвер.

В один из вечеров состоялась наглая демонстрация прямо под окнами посольства, причем французская полиция как-то подозрительно отсутствовала. Вместе с Довгалевским мы стояли непосредственно за большими воротами и ждали, что с минуты на минуту они рухнут под напором демонстрантов. Мы поставили свои револьверы на боевой взвод, но, к счастью, демонстранты удержались от штурма посольства.

Доходившая до нас информация из дома была довольно скудной, но за парадными сообщениями о громких успехах в индустриализации просматривался тревожный фон, на котором происходили эти успехи. Принудительная коллективизация, арест и высылка зажиточных крестьян, репрессии против интеллигенции, конфликты в партии, хлебные карточки, восстания в отдельных районах страны – все это создавало у нас тревожное настроение. Несколько наших беспартийных специалистов, которых отзывали в Москву, отказались возвращаться и перешли на работу в иностранные фирмы. Возвращение домой означало конец комфортной жизни и необходимость давать отчет о своем поведении за границей. Именно эти обстоятельства подтолкнули большинство из них к такому решению, а не оппозиционные политические настроения. Центральный Комитет партии решил провести чистку всех посольств и торговых представительств.

Комиссия по чистке ездила по всем европейским столицам,

вселяя ужас в сердца советских сотрудников, которых она подвергала безжалостным допросам. На свет вытаскивалось все: происхождение, прошлая деятельность, привычки, увлечения, личные связи и т. п. На собрании, которое проводила эта комиссия, один из ее членов начал грубо и нагло отчитывать нас так, как будто все мы уже подверглись «буржуазному разложению». Я не выдержал и резко ответил ему, особенно не стесняясь в выражениях. Результат был неожиданным. Вскоре из ЦК партии поступила рекомендация избрать меня секретарем партийной ячейки. Излишне говорить, что эта рекомендация была выполнена. Из ста коммунистов нашей ячейки лишь шестнадцати удалось избежать выговоров, исключения из партии или отзыва в Россию.

Чтобы оградить нас от буржуазного влияния, нам рекомендовалось читать газету Французской компартии – «Юманите». Белоэмигрантские газеты «Возрождение» и «Последние новости» были для нас абсолютно запрещены. Относительно немногие из нас хорошо владели французским языком, чтобы читать «Юманите», и если бы они повиновались запрету, то им пришлось бы целиком черпать новости из советских газет, приходивших к нам с большим опозданием. Поэтому практически вся советская колония регулярно покупала белоэмигрантские газеты. Запрет попытались усилить ссылкой на то, что, покупая газеты, мы практически финансировали их, хотя и отвергали их влияние. Однако все члены колонии, за исключением самых пугливых, продолжали покупать и тайно читать эти газеты.

Я считал, что такое лицемерие приносит больше вреда, чем сами газеты, и когда я стал секретарем ячейки, решил с этим покончить. Я обсудил вопрос с Довгалевским, и мы нашли разумное решение. Мы решили довериться способности наших граждан к сопротивлению белой пропаганде и одновременно удержать служащих от закупки большого числа этих газет. Запрет на чтение этих газет был отменен, и наш клуб стал ежедневно покупать по три экземпляра каждой газеты, чтобы все служащие могли их читать.

Я всеми силами старался изменить атмосферу лицемерия и мелкого обмана, которая создавалась моим предшественником. Посол Довгалевский меня всегда поддерживал и помогал мне, не раз выступая на собраниях ячейки, когда некоторые фундаменталисты подвергали меня особенно резкой критике. Мы стали большими друзьями, и я проводил много времени у него в посольстве. Это был большой знаток литературы и искусства. Иногда мы садились играть в покер с ним, президентом банка

Мурадяном и директором нефтяного треста Островским. Мурадян сейчас в тюрьме или каком-то лагере. Островский исчез. Довгалевский умер еще до начала чисток.

Иногда к нам в гостиной присоединялся другой ветеран революции, Николай Кузьмин, Генеральный консул в Париже, чья судьба показательна для своего времени. Профессиональный революционер, он работал с Лениным и до 1917 года долго жил в Париже. После революции он был командиром Красной Армии на Севере, в районе Архангельска, воевал с генералом Миллером, английскими и американскими интервентами. Как бывшему эмигранту, ему очень хотелось вернуться к дорогим его сердцу Монмартру и Монпарнасу, и партия направила его в Париж. Для него просто дышать воздухом Парижа было уже большим наслаждением.

В один из своих приездов в Москву он, однако, совершил глупость, высказав своему старому другу Ворошилову стандартную жалобу на тяготы жизни в буржуазной стране. В большевистской среде такие высказывания были вполне уместны. Через несколько недель после возвращения я видел, как он прочел телеграмму, которая почти лишила его чувств. Ворошилов, искренне полагая, что делает своему другу большую услугу, сообщал, что тот назначен на военный пост в Сибири. Кузьмину ничего не оставалось, как сделать хорошую мину и возвратиться в Россию.

После «Дома» и «Ротонды» Иркутск и Красноярск оказались выше его сил. У него был какой-то неудачный роман с женщиной, и его перевели еще дальше, в Архангельск, руководить арктическими морскими перевозками. Вскоре после его приезда ледокол «Сибиряков» был раздавлен льдами. В 1936 и 1937 годах вину за это стали возлагать на Кузьмина, но его действительным «преступлением» было то, что он дружил с Зиновьевым. И вот бедный Кузьмин, самый безобидный из офранцузившихся русских, был ликвидирован как «враг народа».

Милан, Лондон, Брюссель

В 1931 году решением Политбюро я был назначен советским торговым представителем в Брюсселе. К этому времени Бельгия еще не признала СССР, и торгпред действовал так же, как неофициальный дипломатический агент. Прошло несколько месяцев, прежде чем я получил необходимые визы. В ожидании этого меня отправили в Милан в качестве генерального директора по импорту.

Сразу по приезде в Италию мне пришлось немедленно выехать на Сицилию для закупки пяти миллионов лимонов. Мое прибытие в Палермо и Мессину сразу подняло цену лимонов на двадцать процентов, хотя никто вроде не должен был знать о цели моей поездки. Это было, конечно, лестно, но совсем не то, к чему я стремился. Я решил прикинуться туристом, под предлогом отдыха остановиться на маленьком курорте в районе Палермо и осторожно изучить конъюнктуру рынка. Как только экспортеры увидели, что я не проявляю интереса к лимонам, за мной началась настоящая охота. Цены опять пришли в норму, и я, объясняясь с помощью энергичной жестикуляции, в ряде случаев сумел заключить очень выгодные сделки. В то время я не говорил по-итальянски, и то, что мои партнеры воображали, что умеют говорить по-французски, мало помогало делу. И все же мы понимали друг друга.

Фашистская Италия в целом хорошо относилась к Советскому Союзу. В ходе первой пятилетки она получила от нас немало крупных заказов. Итальянские фирмы давали нам долгосрочные кредиты, гарантированные государством, их цены были намного ниже французских и английских, а оборудование первоклассным. Советские специалисты пришли к выводу, что Италия, которую они всегда считали отсталой страной, после войны сделала огромный шаг вперед и теперь выпускала вполне современное промышленное оборудование.

Мы покупали автомобили фирмы «Фиат», авиационные двигатели, судоремонтное оборудование и суда. На верфях в Венеции, Генуе и Триесте для нас строились суда. Мне часто приходилось ездить по стране для встреч с ведущими деятелями итальянской промышленности. Довелось вести переговоры о покупке судов со старым адмиралом графом Чиано. Он предложил трехлетний кредит, но мы хотели получить пятилетний, и сделка не состоялась. Мои контакты с сенатором Аньелли из «Фиата» и синьором Бенни из электротехнической промышленности были более успешными.

Самое яркое зрелище, которое я видел в современной Италии, – были большие воздушные маневры в Милане, в ходе которых три сотни «вражеских» самолетов атаковали город в кромешной тьме, засыпав его осветительными бомбами. Это было очень внушительное зрелище, которое убедило меня, что в современной авиации атакующий имел неоспоримые преимущества. В реальной обстановке, несмотря на все средства противовоздушной обороны, город понес бы огромные потери. Несмотря на подобные наглядные примеры и выступления итальянского генерала Дуэта, пророка воздушного блицкрига, военные лидеры демократических стран отказывались делать практические выводы, пока в первые годы новой войны тысячи людей не заплатили своими жизнями за их недальновидность.

Мне в помощь из Москвы был направлен член партии, инженер Пучин, который занимался покупкой оборудования. Это был молодой и энергичный ученый, полностью погруженный в свою работу, которая заключалась в выполнении указаний Пятакова об оснащении нашей быстро развивавшейся химической промышленности. По непонятным причинам в 1936 году его имя фигурировало в списке обвиняемых по делу Зиновьева, и он был расстрелян.

По моей просьбе мои сыновья были помещены в образцовую школу-интернат под Москвой. Пока я был в Италии, мой друг навестил их и прислал мне тревожное письмо. Конечно, воздух в школе был прекрасным, так как она была расположена в сосновом лесу, но дети были голодны, ругались, как сапожники, и играли с ножами. Старшеклассники, по словам моего друга, позволяли себе вольности с девочками. Работая в Париже, я однажды приезжал в Москву и имел возможность познакомиться с реальными условиями жизни в России. Официальная пресса и «дружественные» зарубежные издания без устали твердили, что это счастливая страна, где уровень жизни постоянно повышался. Но то, что написал мой друг, в сочетании с моими собственными наблюдениями, привело меня к заключению, что мне лучше забрать к себе Бориса и Шуру, которым было уже по восемь лет.

Я встретил их на вокзале в Милане. Это были маленькие, тщедушные существа, в изношенной одежде – все, что они могли получить в эти трудные годы! Женщина, которая сопровождала их, рассказала мне, что мои ребята были потрясены, когда увидели на венском вокзале буфет, заставленный такими яствами, о которых они даже не смели мечтать. Борис выразил свое удивление вопросом:

– Они уже выполнили свою пятилетку? Поэтому у них так много еды?

Это наивное откровение потом нередко можно было услышать в Москве.

После семи месяцев ожидания наконец пришла моя бельгийская виза, и я выехал в Брюссель. Устроив своих сыновей в пансионат на взморье, я принялся за работу.

Бельгийские власти, преисполненные решимости не замечать существования СССР, отказались поставить визу в моем дипломатическом паспорте и дали ее на отдельном листке. Виза позволяла мне находиться в стране в течение одного месяца, после чего ее нужно было возобновлять. Находясь в Бельгии, я не имел официального статуса и все свои дела вел в качестве частного лица. Все крупные банки и фирмы упорно бойкотировали меня, не будучи в силах забыть убытки, которые они понесли в ходе российской революции. Некоторые из них продолжали считать себя собственниками национализированных в России предприятий. Например, в 1931 году одна из металлургических компаний отмечала в своем ежегодном отчете, что «наши инспекторы не смогли посетить наши предприятия на Украине в Юзовке в силу того, что они временно оккупированы большевиками…»[26].

Однако бизнес есть бизнес, и бельгийцы все-таки покупали у нас некоторые виды минерального сырья и древесину. Они также закупали у нас масло и рыбные консервы, которые мы продавали очень дешево. Но члены правительства отказывались иметь со мной какие-либо контакты. Некоторые бельгийские политики, понимавшие абсурдность ситуации, соглашались выступать в качестве посредников между своим правительством и советским. По моей просьбе член парламента направлял министру иностранных дел Хайману письмо с запросом о том, могут ли советские суда, зашедшие в порт Антверпен, быть секвестрованы. Хайман заверял, что такой опасности нет, но свой ответ он направлял не мне, а члену парламента.

Два моих новых друга, из числа членов парламента от партии социалистов, Вотер и Пьерар помогли мне восстановить контакт с моим старым знакомым Вандергинстом, с которым мы в 1924 году путешествовали из Афин в Неаполь. За ужином мы продолжили с ним политическую дискуссию, которая началась у нас восемь лет назад в Средиземном море.

Оба мы немного изменились. Вандергинст, находившийся под впечатлением нашего пятилетнего плана, о котором он ничего не знал: ни его теневой стороны, ни его стоимости, был почти готов согласиться со мной, что большевистское насилие, диктатура пролетариата и авторитарные методы Сталина приносили плоды. Разве на наших глазах одна из самых отсталых стран не

становилась индустриальной социалистической державой? Я, с другой стороны, мучился сомнениями. Перед моими глазами была Москва, из которой выжимали последние соки, которая сгибалась под тяжестью жестокой необходимости и еще более жестокой партийной дисциплины. Я видел своих анемичных и изможденных сыновей, которые стали такими в результате систематического недоедания. В глубине души я начинал задаваться вопросом, не слишком ли дорого мы платим за наши индустриальные победы и каковы в конечном счете будут их политические последствия.

Возможно, мой собеседник уже забыл все, что он когда-то мне говорил. Но я, оглядываясь назад, вспоминал его аргументы как первый признак серьезного и глубокого поворота в развитии событий. Старые революционеры, сталкиваясь с дегенерацией сталинизма – сначала отвратительной, а потом чудовищной, – начинали в глубине души протестовать против диктатора и его бюрократии. С другой стороны, реформисты, умеренные и либералы, бывшие неутомимыми противниками революции в ее действительно славные дни, теперь с энтузиазмом приветствовали успехи тоталитарного государства Важно отметить, что наша беседа происходила в 1932 году, когда Веймарская Германия билась в смертельных судорогах, от которых демократы-социалисты не могли предложить никакого лекарства, и казалось, что эта болезнь распространяется по всему миру. А Советский Союз, напротив, напрягал каждый свой нерв в строительстве индустриального будущего. Этот контраст отчасти и объяснял новый энтузиазм либералов по поводу успехов сталинской России.

Мало-помалу я, несмотря на трудности, начал деловые операции. Я заключил контракты на поставку асбеста и марганца. Продажа древесины скоро достигла такого объема, что Москва прислала мне помощника, которому я дал титул «Директора департамента древесины». Это был молодой человек по фамилии Ершов, очень болтливый и самоуверенный, который не знал французского языка и практически не разбирался в вопросах лесоторговли. Раньше он был пропагандистом какого-то партийного комитета. Вскоре я узнал подоплеку того странного назначения. Он был протеже наркома труда Цихона (его имени уже давно не слышно) и снабжал его бельем, галстуками, шелковыми носками и т. п., направляя эти вещи дипломатической почтой.

Чем сильнее подавлялась открытая критика, тем больше процветал фаворитизм. По-прежнему было много разговоров о самокритике, но она, как и прежде, шла в одном направлении –

сверху вниз. Ее главная цель была в том, чтобы находить козлов отпущения за грехи верхов. Приведу еще два примера такого фаворитизма.

Посланником в Хельсинки был назначен некий Асмус, все заслуги которого заключались в том, что, будучи секретарем посольства в Вене, куда приезжал для консультаций с врачами член Политбюро Лазарь Каганович, он проявил к нему должное внимание. Литвинов намеревался назначить Асмуса на какой-то мелкий консульский пост, и решение Политбюро о назначении его на ответственный пост в Хельсинки было полной неожиданностью.

Михаил Островский, в бытность его торгпредом в Париже, как-то продал подставной фирме, организованной белоэмигрантами, лес на условиях, которые означали для нас потерю нескольких сотен тысяч франков. Розенгольц отстранил его от должности и передал материалы в Центральную контрольную комиссию для наложения партийного взыскания. Тем временем Островский, который был протеже Ворошилова, уехал послом в Бухарест. Комиссия партийного контроля была уже бессильна его достать.

Бельгийцы отказывали нам в кредитах, и поэтому мы покупали у них гораздо меньше, чем продавали им, что делало их торговый баланс неблагоприятным. Поскольку обстановка не позволяла нам иметь в Бельгии официальное торгпредство, я провел работу по созданию смешанной компании с участием советского и бельгийского капитала или хотя бы насчитывавшей нескольких бельгийцев в числе своих акционеров. Такая компания позже была создана, но уже после моего не совсем добровольного отъезда из Брюсселя.

После нескольких месяцев пребывания в Брюсселе мне представилась возможность съездить в Лондон. Этот необыкновенный английский город всегда занимал мое воображение. Читая английские романы в переводе на русский язык, я получил предвзятое впечатление об Англии, в котором имена Диккенса и Киплинга стояли в одном ряду с бедностью, лицемерием, старыми традициями, добродушием и другими, как мне казалось, типичными сторонами английского быта. Когда я впервые увидел обрывистые меловые берега Англии, меня охватило волнение. И вскоре я растворился в водовороте этой самой большой столицы Старого Света, где, как я скоро понял, можно было встретить всякое, и доброе и злое, но больше всего бросалось в глаза чувство самодисциплины англичан, в которой уважение прав личности играло главную роль.

Вскоре после возвращения из Лондона меня вызвали в Париж,

но в поезде на полдороге из Брюсселя в Льеж я услышал сообщение об убийстве каким-то русским президента Доумера. Русский?! Как и любой другой официальный советский представитель за рубежом, я так привык к подозрительности, к проявлениям злой воли, к искажению информации, что сразу же стал думать о тех осложнениях, которые могут за этим последовать. Я прервал свою поездку и вернулся в Брюссель, чтобы быть готовым ко всему, что может последовать. Как я и предполагал, правые журналисты тотчас постарались найти здесь «руку Советов». Настроение их значительно изменилось, когда на следующий день стало известно, что совершивший убийство Горгулов был не то фашистским безумцем, не то безумным фашистом. Мои друзья в Париже рассказывали, что сотрудники посольства чувствовали то же, что и я. На случай беспорядков все было приведено в боевую готовность, выставлены посты и т. п.

Вернувшись в Брюссель, я обнаружил, что вся моя квартира перевернута вверх дном. Всегда есть что-то грустное и неприятное в квартире, которая подверглась физическому насилию. Вещи были свалены на пол и затоптаны ногами. Ящики столов были открыты, все мои деловые книги и журналы исчезли, одежда и белье валялось на полу, замки чемоданов были взломаны. Сейф был опечатан официальной печатью, которая запрещала мне вскрывать его. На столе лежала повестка с вызовом в штаб-квартиру полиции, куда я немедленно и отправился.

На первом этаже Дворца правосудия меня встретил очень неприветливый инспектор, который даже не предложил мне сесть. Я сам сел в кресло и только после этого заявил протест по поводу взлома моей квартиры и разграбления имущества.

Беседа началась в довольно напряженном тоне.

– Употребляя слово «взлом», – пролаял инспектор, – вы оскорбляете моих сотрудников, которые всего лишь выполняли приказ.

– Мне нет дела до ваших сотрудников, инспектор, – ответил я, – но я не хочу скрывать, что, по моим первым впечатлениям, в моей квартире произошла очень неуклюжая кража со взломом. Только позже я понял, что стал жертвой незаконного обыска, проведенного с совершенно неоправданной грубостью. А поскольку мы живем в цивилизованной стране, то позвольте напомнить вам о такой вещи, как права человека?

Подоплека этого бесцеремонного налета стала мне более понятна, когда я узнал, что ордер на обыск был выдан прокуратурой Монса, города, в котором я никогда не бывал и где у меня не было даже знакомых или корреспондентов. В то время в

Монсе проходила забастовка шахтеров, полная драматических событий. Шахтеры освистали умеренного министра-социалиста Вандервельде, сбросили нескольких полицейских в канал и заперли группу инженеров и чиновников в их кабинетах. Кто стоял за этими эксцессами? Никому не приходило в голову, что шахтеры были сами по себе достаточно недовольны и возбуждены, чтобы прибегнуть к насилию. Нет! В Брюсселе оказался большевистский агент, который притворялся, что интересуется только вопросами торговли, но который, несомненно, по ночам дергал за невидимые веревочки, вызывая шахтерский бунт в отдаленном городе!

По крайней мере, так должен был рассуждать прокурор, чтобы выдать ордер на обыск в моей квартире. Мой протест привел в ярость полицейского инспектора, который решил, что я являюсь опасным агентом Коминтерна. Пока я ожидал в соседней комнате возвращения изъятых личных вещей, в комнату вошли несколько полицейских в штатском. Мы напряженно смотрели друг на друга, а два или три из них намеренно прошлись вокруг меня, задевая плечом. Когда я сунул руку в карман, они было бросились ко мне, но остановились, когда я вытащил всего лишь безобидную зажигалку.

Они должны были пойти со мной в квартиру, чтобы осмотреть содержимое моего сейфа и снять печати. Я, естественно, отказался везти их на своем автомобиле и тем более отказался сесть в их автомобиль, который, кстати сказать, оказался тюремной каретой.

– Хорошо, – сказал я, – вы поедете в своем автомобиле, а я в своем.

– Невозможно! Мы не можем выпускать вас из виду.

– Разве я арестован?

– Никоим образом, но закон не позволяет нам отпускать вас, пока не снята печать с сейфа.

– Ну, если я не являюсь вашим пленником, значит, вы мои пленники!

В качестве компромисса мы все поехали на трамвае.

Мой сейф был абсолютно пуст. У них глаза вылезли из орбит. На их лицах было написано удивление, разочарование и даже восхищение! Конечно же, я как-то сумел почистить свой сейф до того, а может быть, и после того, как были приклеены печати! До чего же ловко!

Москва, узнав о происшедшем, приказала мне оставаться на месте и прислать подробный отчет. В то время я как раз занимался вопросами открытия пароходной линии между Антверпеном и Ленинградом. Несмотря на важность этой

проблемы и то обстоятельство, что я нанял видного адвоката Марселя Анри Жаспара, который впоследствии стал министром образования, правительство отказывалось давать мне обратную визу, которая действовала бы больше одного месяца. Это не позволяло мне съездить в Москву с докладом и вернуться. К тому же я знал, что полицейский инспектор представил подробный доклад, где постарался подчеркнуть мое большевистское высокомерие.

– У полиции на вас большой зуб, – говорили мои бельгийские друзья.

– Из-за забастовки в Монсе?

– Скорее потому, что вы их разочаровали. Они были уверены в том, что вы что-то затеваете!

В конце концов мне пришлось поехать в Москву. Я отправился в путь, оставив своих сыновей в Остенде. Наркомат внешней торговли одобрил мой проект судоходной линии Антверпен-Ленинград, и после обсуждения других накопившихся дел я тронулся в обратный путь. Но к этому времени срок моей визы истек, и мне нужно было получить в Берлине новую визу. Генеральный консул Бельгии не без смущения объяснил, что он получил категорическое указание отказать мне в визе и информировать, что мне запрещено пересекать бельгийскую границу.

– Но у меня в Бельгии сыновья! – воскликнул я.

– Очень сожалею, но это невозможно.

С моими сыновьями обращались в полном соответствии с конвенциями о правилах ведения войны. Их отъезд напоминал обмен военнопленными. Сотрудник советского торгпредства в Париже выехал в Бельгию и сопроводил их до немецкой границы, где я их встретил.

За истекшее время мне стало более или менее ясно, что стояло за всем этим комическим происшествием. В Бельгию сбежал бывший сотрудник ОГПУ Агабеков, который, завалив контрразведывательную работу в странах Ближнего Востока, стал главным советником бельгийцев по советским делам. Чего он не знал, то он выдумывал. Чтобы поддерживать свой статус, он сам вербовал бельгийцев, якобы для ОГПУ, а затем выдавал их полиции. Для него не составляло труда придумать историю об участии Советов в забастовке шахтеров в Монсе.

Спустя три года Бельгия признала Советский Союз, направила своего посла в Москву и приняла советскую торговую миссию. В Афинах уважаемые бельгийские дипломаты нанесли мне визит. Мы говорили о красоте Брюгге и Гента, архитектурных прелестях Дворца правосудия, хотя я, конечно, щадя самолюбие

своих коллег, никогда не делился своими впечатлениями о своем знакомстве с внутренней стороной этого здания. Таковы повороты дипломатии.

Здесь мне хотелось бы сказать еще об одном. В то время, когда Советы были действительно революционны и бедны, вмешательство их дипломатических и торговых представителей в рабочее движение зарубежных стран сильно преувеличивалось. В то время Коминтерн имел свои каналы связи с Москвой, а ОГПУ имело свою собственную секретную службу. Дипломатические и торговые представители старались как можно строже соблюдать свой статус и не выходить за рамки своих непосредственных задач. В то время как иностранная пресса старалась бросить на нас тень подозрения и дискредитировать нас, подлинные агенты в сфере пропаганды и проникновения могли действовать без помех.

К настоящему времени Советский Союз вошел в число респектабельных держав и даже стал богаче вследствие существенного увеличения добычи золота. Однако это не изменило моральных принципов сталинского режима. Он по-прежнему не особенно разборчив в выборе средств, к которым прибегает для распространения своего влияния, тогда как иностранные державы, к сожалению, склонны закрывать глаза на явные ненормальности в работе советских официальных представительств. В последнее время ОГПУ стало использовать возможности дипломатических и торговых миссий, но не для стимулирования рабочего движения за рубежом, в чем обвиняли нас, а для осуществления политических убийств под носом у иностранной полиции. Примеры безнаказанных преступлений такого рода были отмечены во Франции, Швейцарии, Испании и Мексике.

Реальности пятилетки

После моей неудачной попытки вернуться в Бельгию Москва была вынуждена отозвать меня. По возвращении в ноябре 1932 года я был назначен первым заместителем директора объединения «Станкоимпорт», которое закупало промышленное оборудование по всему миру. Значительная часть импорта предназначалась для военной и авиационной промышленности, которая развивалась лихорадочными темпами.

За четыре года пребывания за границей я только один раз был в Москве относительно продолжительное время. Это было весной 1930 года, когда я в числе трех других секретарей крупнейших наших зарубежных партийных организаций – Берлина, Лондона и Парижа – присутствовал в качестве гостя на XVI съезде партии.

Уже в то время надо было обладать слишком твердокаменными коммунистическими убеждениями, чтобы не испытывать сомнений и беспокойства. После относительного улучшения 1922–1928 годов в Москве повсюду были видны признаки упадка. На каждом лице и на каждом фасаде были написаны нищета, изможденность и апатия. Магазинов почти не осталось, а витрины тех, что еще сохранились, оставляли ощущение безысходности. Магазины были практически пусты, если не считать картонных ящиков с консервными банками, на которых продавцы, скорее от отчаяния, чем от безрассудства, наклеили ярлыки с надписью «пусто». Одежда людей была изношенной, не говоря уже о ее первоначальном низком качестве. В своем парижском костюме я чувствовал себя на улицах крайне неловко. Не хватало всего, особенно мыла, обуви, овощей, мяса, масла и вообще жиров.

Я с удивлением заметил большие очереди у кондитерских магазинов. При этом вспомнил, как иностранные туристы из числа «попутчиков» после возвращения из России с восторгом рассказывали о жизни в социалистическом раю, где люди стояли в очередях не за хлебом, а за конфетами. Но правда была иной. Изголодавшиеся люди искали чего-нибудь, чтобы заполнить свои пустые желудки. Даже отвратительные сладости, изготовленные из соевых бобов с сахарином, шли нарасхват как единственно съедобное, что можно было купить, но даже один фунт этих сладостей стоил дневного заработка.

Товаров было меньше, чем денег, а денег меньше, чем работы. Безработицы действительно не было, как об этом твердила пропаганда за рубежом, но прожить на зарплату

рабочего было крайне трудно. Жилищный кризис достиг невиданных ранее масштабов. У пустых кооперативных магазинов люди стояли днем и ночью в надежде получить мизерную норму продуктов. В любом другом месте тот, кто продавал продукты такого низкого качества, был бы предан общественному проклятию и обанкротился. По сравнению с начальным периодом революции, условия на периферии были еще хуже, чем в больших городах.

Я был потрясен этими материальными проявлениями кризиса, но еще больше меня поразило нервное напряжение коммунистов, интеллигенции, технических специалистов и рабочих, то есть тех, кто был непосредственно вовлечен в пятилетку. На лицах была печать тревоги и усталости, все были так измотаны, что никто уже не мог контролировать свою реакцию или спокойно смотреть на вещи. Все находились под прессом жестких инструкций, упрямых фактов, непрекращающихся трудностей, официальной лжи, изматывающей нужды, страха и сомнений.

Я провел несколько дней в доме отдыха ЦК партии «Марино», но и там уже не было того беззаботного смеха и неподдельной веселости, которые так поразили меня в первый раз. Кругом я ничего не видел, кроме хмурых лиц, не слышал ничего, кроме осторожных разговоров; все слишком устали и были просто не способны на новое усилие; истощенная нервная система постоянно держала их на грани ссор и скандалов.

В доме отдыха я познакомился с молодым ленинградским профессором Пригожиным, который учился в Англии и там женился на дочери Джорджа Лансбери. Он стал директором института философии в Москве, но после дела Кирова исчез. Боюсь, что он погиб вместе с другими друзьями Зиновьева. Судьба дочери Лансбери мне неизвестна.

Я присутствовал на заседании Оргбюро Центрального Комитета партии. С формальной точки зрения Оргбюро так же важно, как и Политбюро. Первое должно заниматься вопросами управления, а второе – политики. В Оргбюро входили пять секретарей ЦК, секретарь ЦК профсоюзов и секретарь ЦК комсомола. Гамарник представлял Красную Армию. На заседании председательствовал Каганович. Заместитель Розенгольца, который выступал с докладом, потратил два месяца на его подготовку. Речь в нем шла о состоянии кадров в загранучреждениях, анализ причин последних случаев дезертирства. Каганович дал докладчику для выступления всего шесть минут. Другим ораторам отводилось по две минуты, а кто-то вообще не смог выступить.

Нарком Розенгольц, все еще молодо выглядящий, в рубашке и сапогах полувоенного покроя, прочел список сотрудников, которых он хотел бы иметь у себя в наркомате. Кагановича, похоже, возмутила такая смелость, и он резко заметил: «Мы вместе займемся этим». Формально все собрались для обмена мнениями, но ничьих мнений не спрашивалось. Каганович тут же принял решение сократить на пятьдесят процентов персонал зарубежных представительств и направить двести проверенных коммунистов на дипломатическую работу. Когда я покидал заседание, мне уже было все ясно. Больше никаких дискуссий по важным вопросам, только видимость их. Вся власть сосредоточилась в руках тех, кто пользовался доверием Сталина.

На XVI съезде партии ничего существенного не произошло. Залы и коридоры были заполнены людьми. Постоянно раздавались продолжительные овации, которые делали заседание похожим на спортивное состязание. Не было дискуссии ни по одному серьезному вопросу. Сталин сделал доклад о международном положении. Как всегда, он говорил с сильным грузинским акцентом, подчеркивая свои слова угловатыми жестами рук. Он провозгласил приближающийся триумф коммунизма во всем мире, приближение революции в Германии, а мимоходом осудил французский генеральный штаб за его агрессивные замыслы против Советского Союза.

Я был глубоко обеспокоен, но не показывал своего смятения. Самое тягостное впечатление произвел всеобщий энтузиазм, с которым встречалось каждое слово Сталина. Было совершенно ясно, что люди говорили одно, а думали совершенно другое. На словах было прославление индустриальных достижений, безоговорочная поддержка «генеральной линии», а на самом деле все думали о том, что напряжение в стране достигло предела, и никто не мог предсказать, что случится завтра.

Представители правых – Рыков, Бухарин и Томский – получили слово для того, чтобы покаяться, признать свои ошибки и заявить о своей безоговорочной поддержке «генеральной линии». Если я скажу, что они выглядели проигравшими, то это будет сказано очень слабо – они были полностью деморализованы. Они полностью выдохлись, в них не осталось и капли боевого духа, хотя, если бы они захотели, они могли бы стать эффективной оппозицией. Томский пытался сохранить достоинство, отказываясь признать свои ошибки, но ответом Сталина был грубый сарказм.

С официальным оптимизмом резко контрастировало выступление наркома сельского хозяйства Яковлева, который сообщил о массовом уничтожении поголовья скота. (Позже

Яковлев исчез в ходе чисток.)

Сталин рассчитывал добиться выполнения пятилетнего плана не за счет тщательной организации и опытного руководства, а за счет энтузиазма и нечеловеческих усилий народа. Достижения, конечно, были, но в целом план привел страну в состояние, близкое к анархии. Расходы на строительство резко возросли, огромные человеческие ресурсы затрачивались впустую. Мне довелось близко соприкоснуться с некоторыми сторонами этой кампании индустриализации. Попытаюсь объяснить, почему говорю об «анархии». Я также хочу на примере показать психологические моменты, которые лежали в основе многих дорогостоящих ошибок, равно как и действительных побед.

Во главе металлургического треста был поставлен Александр Серебровский, видный коммунист и замечательный инженер, известный тем, что после возвращения из Америки он реорганизовал российскую нефтяную промышленность по американской модели. Производство меди у нас никогда не превышало сорока тысяч тонн в год, но ЦК выдвинул лозунг: «Дать стране социализма сто пятьдесят тысяч тонн меди!». Первый заместитель Серебровского Шах-Мурадов, тоже инженер и коммунист, стал протестовать против такого немыслимого приказа. Попытка реализовать эту цель, – указывал он, – потребует ввода в строй отдаленных рудников, для которых нужно будет построить через пустыни сотни километров железных дорог, не говоря уже о строительстве фактически самой новой отрасли промышленности. На это потребуется три-четыре года. Если пойти по такому пути, то огромный энтузиазм и энергия людей, которые позволили построить металлургические гиганты в Магнитогорске и Кузнецке, обернутся авантюризмом, приведут к распылению капитала и сил, гибели оборудования. Так оно и случилось.

Но сам Шах-Мурадов, способный инженер, тоже получивший подготовку в Америке, за то, что он высказался против этой гибельной политики, был объявлен «правым оппортунистом», обвинен в подрыве планов ЦК и снят с должности. Понимая, что он бессилен что-либо сделать, так как вопрос шел уже о престиже ЦК, он подчинился решению, признал, что не понимал глубину мыслей тех, кто направлял политику партии. Компромиссное предложение о выходе на уровень производства меди в сто тысяч тонн было отвергнуто, и место Шах-Мурадова заняли другие, более запуганные или менее квалифицированные работники.

Серебровский публично осудил оппортунизм своего опального заместителя и в газете «Правда» торжественно обещал выполнить указание вождя и за один год довести производство

меди до ста пятидесяти тысяч тонн. Будучи хорошим инженером и хорошим организатором, он понимал, что это обещание невыполнимо, но ЦК потребовал от него такого обещания как доказательства его партийной дисциплинированности. В реальности, несмотря на огромные усилия и затраты, производство меди так и не превысило пятидесяти тысяч тонн, и прошло еще много времени, прежде чем производство стабилизировалось на этом уровне.

Подобных инцидентов было тысячи, и наказания для тех, кто пытался отстаивать свою профессиональную точку зрения, становились все суровее. Никто не может воскресить технических специалистов, которые погибли в лагерях или были расстреляны за то, что слишком уважали свою профессию, чтобы одобрять безумные планы Сталина. В случае с Шах-Мурадовым его профессиональная честность вступила в конфликт с партийной лояльностью, и последняя победила. Как коммунист он был обязан признать, что был не прав, хотя как инженер он был убежден в своей правоте. Он, как и многие тысячи специалистов, раздваивал свое сознание, надеясь помочь своей стране и, может быть, спасти что-то даже перед угрозой безумных авантюр, затевавшихся невежественными политиками.

Эти жертвы оказались напрасными. Серебровский и Шах-Мурадов – инженеры высокого класса, опытные руководители металлургического производства, известные в профессиональных кругах двух континентов – были брошены в тюрьму как «враги народа». Остались ли они в живых, неизвестно и поныне. Что же касается медеплавильной промышленности, то, несмотря на огромные затраты, эти новые заводы к концу второй пятилетки оказались в исключительно тяжелом положении, а их материально-техническая база серьезно ослаблена. К несчастью для страны, та же ситуация повторялась во многих других отраслях.

Ценой огромных непроизводительных затрат, которые только государственная экономика может выдержать без банкротства, Россия постепенно осваивала элементарные принципы производства и управления. Как далека она еще от американских стандартов, можно судить по докладу Уильяма Уайта об условиях, с которыми он встретился на лучших заводах Москвы и Ленинграда. Те, кто думает, что эти условия являются следствием войны, – ошибаются. Война, сконцентрировав все усилия на достижении одной цели, скорее уменьшила, чем увеличила неэффективность государственной экономики.

Лояльность к Сталину в то время, о котором я пишу, основывалась на убежденности, что вокруг не было никого, кто

мог бы занять его место, что любая смена руководства будет крайне опасна, что страна должна продолжать идти своим курсом, поскольку остановка или отступление будет означать потерю всего. К моменту моего возвращения в Москву в 1932 году условия жизни по сравнению с 1930 годом изменились еще больше, но мне потребовалось некоторое время, чтобы понять смысл этих перемен. Только находясь здесь, в России, можно было понять, что это значит, когда все силы каждого человека, вся его изобретательность направлены к одной цели – достижению минимального уровня выживания.

На Украине и в некоторых других отдаленных регионах был голод. Засуха тут была совершенно ни при чем.

Нехватка продовольствия была вызвана исключительно крахом сельского хозяйства, вследствие насильственной коллективизации и политики неограниченного экспорта. В городах люди тоже голодали, но там существовала система снабжения снизу доверху, основанная на карточках-купонах, торгсинах и ведомственных магазинах, обслуживавших сотрудников наркоматов. В специальных магазинах для привилегированных кругов, специалистов и высокопоставленных чиновников можно было, хотя и с известными трудностями, купить продукты, лекарства и одежду. Но в торгсинах, якобы ведших торговлю с иностранцами, которых в стране было очень мало, можно было купить все, что угодно, при условии, что у покупателя было золото, серебро, ювелирные изделия или иностранная валюта. Торгсины принимали зубные протезы, серебряные иконы, часы, обручальные кольца, ложки и даже серебряные монеты из Китая или Аргентины. И в этих магазинах можно было найти такие редкие вещи, как обувь, ткани для костюмов, аспирин, чай, шоколад и мыло.

Лишь очень немногие – высокопоставленные чиновники, иностранцы, специалисты высшего уровня – могли посещать первоклассные космополитические рестораны с оркестрами и барами. Ужин в «Метрополе», к примеру, стоил столько, сколько средний служащий зарабатывал за два месяца. Как первый вице-президент «Станкоимпорта», я получал в пять раз больше – пятьсот рублей в месяц – стандартную зарплату бюрократа. Кроме того, заботами наркома Розенгольца я получил комнату в отеле «Новомосковский», в центре города. Я мог жить в этой комнате только потому, что наркомат платил за нее тридцать рублей в день.

Очень сложной для меня была проблема с питанием. В ресторане тарелка супа стоила пять-семь рублей, мясное блюдо – два рубля и стакан чая – рубль. Мне надо было содержать

сыновей и прислугу, которая за ними ухаживала. Если бы я постоянно питался в ресторане, то моей зарплаты хватило бы мне на три-четыре дня. Для того чтобы получить карточку на хлеб, нужно было потратить месяцы на хождение по инстанциям. Как тут выжить? К счастью, во время пребывания за рубежом я увлекся автомобилями, и сейчас это меня выручило. Как раз перед моим отъездом из Брюсселя запрет на покупку автомобилей был отменен, и я за сто английских фунтов купил подержанный «бьюик», который потом отправил морем в Ленинград. Не без труда я продал этот «бьюик» в торгсин и получил за него пятьсот «торгсиновских рублей», каждый из которых стоил сорок рублей. На эти деньги мы жили почти полтора года.

В гостинице было строго запрещено готовить пищу, но наша прислуга все-таки потихоньку готовила. Время от времени управляющий обещал выселить нас, но, как и все, мы отделывались от него обещаниями впредь вести себя в соответствии с правилами. После восьми месяцев проживания в гостинице я получил две комнаты в доме для сотрудников наркомата. Естественно, что на эти две комнаты претендовала дюжина других сотрудников, каждый со своими правами и проблемами, своими покровителями и государственными интересами. Но прошедший войну Розенгольц решил этот вопрос с военной прямотой в мою пользу.

Мой «бьюик», прежде чем он превратился в съедобные вещи, дал мне возможность узнать некоторые стороны действительности, связанные с развитием транспорта в первой пятилетке. До этого я знал о состоянии дел в этой сфере только по советским газетами и более или менее верил этому. Я понимал, что наша автомобильная промышленность была еще молодой, дорожная система – неразвитой, но я полагал, что в этой, так же как и в других, области мы добились большого прогресса, «обгоняя гигантскими шагами наших самых развитых соседей»…

Я давно собирался совершить поездку по Центральной России. Ко мне присоединился мой друг, тоже большой автолюбитель, с которым мы вместе ездили в Ленинград получать наши автомобили, пришедшие одним пароходом. Наши сердца бились учащенно, когда мы наблюдали, как кран сгружал на причал наши «бьюики», выглядевшие такими элегантными рядом с потрепанными машинами, на которых ездило большинство начальников. Но тут нас ждало разочарование. Машины прибыли ободранными до железа. Все запасные части и принадлежности были украдены на судне.

Был ясный холодный день, десять градусов ниже ноля. Нам показалось, что отправлять наши машины в Москву по железной дороге было бы просто святотатством и возмутительным неверием в возможности транспортной системы и правительства нашей страны. Всем известно, что со времени Александра I, то есть более ста лет, дорога между Москвой и Ленинградом была одной из лучших в России. Шла она почти по прямой, поддерживалась в отличном состоянии и до революции была гордостью департамента дорог и мостов. Итак, в путь! Пейзаж может быть скучноватым: поля и леса, занесенные снегом, но утешением нам будет то, что мы приедем в Москву как настоящие европейцы. Расстояние в семьсот пятьдесят километров мы покроем примерно за двенадцать-четырнадцать часов.

Прежде всего нужно было запастись талонами на бензин. Мы обратились в «Автодор», в комиссию по распределению бензина и в райком партии, надеясь, что это ускорит решение вопроса. Учитывая, что мы с другом занимали довольно высокое положение, проблему удалось решить за два дня. Теперь у нас были талоны, на которые мы могли без всяких объяснений заправляться в любой точке Союза.

Отправились мы в очень хорошем настроении. Первые сотни километров проехали без всяких осложнений. Кругом расстилались заснеженные поля, и весь пейзаж был чем-то похож на Арктику. Время от времени нам попадались грузовики, стоявшие на обочинах, некоторые с грузом, другие без. Водителей нигде не было видно. Чем дальше мы ехали, тем больше попадалось покинутых грузовиков. Все это выглядело очень странно. Лишь изредка можно было увидеть движущийся автомобиль, водитель которого реагировал на наше появление с какой-то смесью удивления и уважения.

Приближалось время пополнить запасы горючего. Мы намеревались сделать это в одном из центров бывшей Тверской губернии, достаточно крупном городе, где сходилось несколько дорог. Зайдя в придорожную столовую, мы простосердечно спросили:

– Где можно купить бензин?

Этот вопрос вызвал ироническую усмешку водителей, сидевших за столами.

– Бензин, товарищи? Мы ждем его уже два дня! Нет ни капли! Видели грузовики, стоящие вдоль дороги?

Мы в недоумении переглянулись, так как считали, что Советский Союз занимал второе место в мире после США по добыче нефти. Потом надо будет попытаться разобраться в этой загадке; но что можно сделать для решения проблемы сейчас?

Минут пятнадцать мы ломали голову, и вдруг моему коллеге пришла замечательная идея.

– В этой дыре должны быть аптеки. Попытаемся купить бензин там.

Мы обошли весь город, объясняя нашу проблему любому аптекарю, которого могли найти. На них произвело большое впечатление, что мы были директорами Наркомата внешней торговли, и нам удалось достать несколько литров бензина. И под удивленными взглядами несчастных водителей мы снова тронулись в путь. Я не думаю, что они заподозрили нас в черной магии, скорее они могли предположить, что мы были связаны с ОГПУ, единственной организацией, у которой еще мог быть бензин.

Мы надеялись снова заправиться под Москвой, но из-за задержки уже не рассчитывали приехать к вечеру. Надо было где-то переночевать. Найти место для ночлега было не менее трудно, чем найти бензин. Гостиниц на дороге не было, а немногие постоялые дворы были забиты шоферами, грузчиками и крестьянами. В комнатах была нестерпимая духота и вонь. В большинстве таких заведений не было туалетов. В конце концов нам удалось найти комнату с кроватями и даже простынями, которые, правда, уже кто-то использовал. «Мы стираем их раз в месяц», – пояснил заведующий. Пришлось с этим согласиться, поскольку спасть в машине на морозе было невозможно.

На следующий день наш аптечный бензин позволил проехать еще сто двадцать километров и иссяк. Мы с ужасом обнаружили, что нам предстояло преодолеть по меньшей мере еще почти триста километров. Перед нами расстилалась бесконечная белая лента дороги. Стоявшие на обочинах неподвижные грузовики напоминали отступающую армию. Некоторые уже были так занесены снегом, что их почти не было видно. В каждой деревне и на каждой бензоколонке мы спрашивали одно и то же и получали тот же самый ответ. Бензина нет. Мы с ненавистью смотрели на свои талоны, которые «позволяли нам заправляться в любой точке Союза». Не проще ли было прямо сказать нам, что после пяти лет мирной триумфальной индустриализации на дороге между Москвой и Ленинградом не было ни капли бензина.

– Это часто случается? – спросили мы.

– Если этого нет, то можно считать это большим событием, – был ответ.

В Москве мы сами видели, как сотни людей стояли в очередях за несколькими литрами бензина; нам было известно и то, что на черном рынке бензин продавался в четыре-пять раз дороже официальной цены; но мы думали, что те, кто занимался

пятилетним планом, могли обеспечить хотя бы тех, кто ехал по служебным делам из одной столицы в другую. Все эти застрявшие на дорогах грузовики означали крах транспортной системы и перебои с подвозом продуктов по стране.

Вторую ночь мы провели на пустой заправочной станции. Но все-таки нам как-то надо добираться до Москвы! И тут я увидел керосиновую бочку. В этом был большой риск, но нам ничего другого не оставалось. С замиранием сердца заправляли мы свои машины, привыкшие к чистому шелловскому бензину, тягучей, плохо очищенной жидкостью. Наши двигатели не выдержат такого надругательства! Но они выдержали. Чихая, дергаясь и оглушительно стреляя, мы наконец тронулись в путь.

Дорога, по которой мы ехали, только условно могла считаться дорогой: бесчисленные рытвины и ухабы, снежные заносы и участки сплошного льда. У машин сломались рессоры, и мы вынуждены были наспех чинить их в сельской кузнице. Мы с товарищем промерзли до костей и были совершенно истощены. От усталости мой друг задремал за рулем, съехал с дороги и чуть не свалился в реку, но отделался всего лишь ударом в ребро и согнутым рулевым колесом. Временами возникало ощущение, что мы отступаем из Москвы, а не движемся к столице в современных автомобилях. Наконец в Калинине мы смогли заправиться бензином.

Однако поражение ждало меня у ворот Москвы. На подъезде к городу в районе ипподрома дорога превратилась в сплошное ледяное зеркало. Где-то лопнула труба и залила всю дорогу. Кто мог подозревать такую ловушку? Только те, кто ездил тут регулярно, но я, к сожалению, был новичком. Я увидел опасность, когда уже было поздно. Машину занесло, я сбил небольшое дерево и уперся в другое.

Собралась небольшая толпа. По моей предварительной оценке, ремонт мог обойтись не меньше чем в тысячу рублей. И в этот момент, ко всем моим бедам, я увидел, как на меня и мою машину медленно, но неотвратимо надвигается тяжелый грузовик, попавший на ледяное зеркало. Мой «бьюик» был бы разбит в лепешку, если бы не один бедняга, который заинтересовался моим двигателем и оказался на пути грузовика, сыграв роль буфера. Его раздавило, и он остался висеть, зажатый между двумя машинами. Пострадавшего увезла «скорая помощь», но я не мог навести о нем справки, поскольку моя развлекательная поездка в конце концов уложила меня в постель с приступом радикулита. Не знаю, выжил ли этот человек.

Что касается моего «бьюика», то очень скоро я понял, что мне придется с ним расстаться. Только на оплату стоянки в гараже у

меня ушло бы около трети зарплаты. Какой смысл было иметь автомашину, если нельзя было купить еды? И я пошел в торгсин.

Бюрократическое перерождение

В 1933 году Политбюро решило направить в Польшу специальную миссию доброй воли во главе с заместителем наркома Иваном Боевым, который позже стал президентом Амторга. Длительное время Советский Союз, связанный с Германией Рапалльским договором и рядом коммерческих соглашений, считал Польшу своим самым серьезным противником, называя ее «наемницей французского империализма и основной опорой Версальского договора». Каждую весну Политбюро обсуждало возможность военного нападения со стороны Польши и приводило страну в состояние военной истерии. Потом кому-то пришло в голову, раз Германия пошла по пути нацизма, то нам следует попытаться наладить отношения с Польшей. Сталин, все еще не отказавшийся от надежды на достижение взаимопонимания с Гитлером, начал зондировать настроения поляков и получил положительную реакцию.

По прибытии в Польшу мы были приняты с вежливостью, которая почти граничила с открытой симпатией. Общественное мнение приветствовало ослабление напряженности между двумя странами, а деловые круги надеялись найти в России новые рынки сбыта, в которых Польша остро нуждалась. Польша меньше опасалась России, чем Германии, с которой у нее было три давних территориальных спора: Верхняя Силезия, Познань и коридор. Ничто не препятствовало ее сближению с Советским Союзом, которое, помимо всего прочего, открывало немалые возможности для ее промышленности, на что она не могла рассчитывать в Германии. Полковник Бек, по правде говоря, все-таки больше боялся большевизма, чем нацизма, и уже заигрывал с Германией, но тем не менее официальные круги Польши встретили нас дружественно и устраивали банкет за банкетом.

Если бы я раньше не знал, как пусты и бесполезны могут быть официальные приемы, то всего, с чем я встретился в Польше, было бы вполне достаточно для моего образования. Нам говорилось столько комплиментов, что у меня появилось просто отвращение к тостам. Вместе с тем нам показали немало современных фабрик и заводов, которые в связи с кризисом простаивали.

Наглядное представление о современной индустриальной цивилизации дал мне порт Гдыня. За несколько лет на безжизненных песчаных дюнах возник новый город-порт, способный принимать океанские лайнеры и служить базой для

эскадры военных кораблей. Это был просторный, хорошо спланированный город, продуманный до мельчайших деталей и, что было немаловажно, построенный не с помощью принудительного труда. В то время было еще много вопросов, по которым у меня не было четкого мнения, но я знал, что труд политзаключенных в концлагерях играл значительную роль в наших крупных стройках, таких как Хибиногорск, Магнитогорск и Беломорско-Балтийский канал.

Наша миссия в Польшу не принесла ощутимых практических результатов, кроме небольшого контракта на поставку металла из Верхней Силезии, который подписал мой коллега из «Металлоимпорта», и моего контракта на десяток станков для «Станкоимпорта».

Заключительная церемония, связанная с нашим визитом, состоялась в Москве, где посол Лукашевич устроил грандиозный прием и банкет в честь советской делегации. На приеме присутствовали члены дипломатического корпуса, ответственные сотрудники Наркоминдела и Наркомвнешторга и высшее командование Красной Армии. Присутствовавшие на приеме генералы Тухачевский, Буденный и Егоров, которые вскоре стали маршалами, наравне со всеми не только веселились и танцевали, но и принимали участие в серьезных дискуссиях.

Банкет проходил более интимно. Присутствовали только главы двух наркоматов и их ближайшие помощники. По обе стороны от Лукашевича сидели Розенгольц и Крестинский, в отсутствие Литвинова, который был за границей, исполнявший обязанности наркома. За столом также были заместители наркомов: Сокольников, Элиава, Логановский и, кажется, Радек. С тех пор все эти люди были осуждены или расстреляны как «фашистские шпионы».

Лукашевич и Боев произнесли тосты за «важные результаты» состоявшегося визита и за счастливое будущее советско-польских отношений.

Еще в Варшаве я заболел гриппом и по возвращении в Москву слег в Кремлевскую больницу, где меня лечил доктор Левин, исключительно внимательный человек, пользовавшийся полным доверием всех членов правительства. В 1938 году он был расстрелян за то, что, согласно его собственному «признанию», он, по указанию Генриха Ягоды, в то время начальника ОГПУ, ускорил смерть Максима Горького. В то время Ягода обладал огромной властью, но он был всего лишь инструментом в руках Сталина. Доктор Левин, который всю свою жизнь спасал людей и облегчал их страдания, не был способен на убийство. Истина, конечно, была известна самому Ягоде, который также проходил

по этому процессу и был расстрелян.

В это время я переживал определенный духовный кризис. До этого я был одним из тех коммунистов, которые верили в мудрость партии и надеялись, что ожидаемый успех пятилетнего плана принесет решение всех проблем. Живя за границей и будучи полностью погруженным в свою работу, я принимал на веру высказывания партийных функционеров и позволял правительству обманывать себя. Я знал, что от страны требовали делать немыслимые усилия и терпеть невероятные лишения, но я воспринимал это как-то абстрактно и был вполне уверен, что плоды пятилетнего плана вскоре будут явно ощутимы. Встреча с Москвой открыла мне глаза на многое. Жизнь стала лучше только для единиц, а для остальной части населения она стала такой тяжелой, что люди просто погрузились в отчаяние. Уже никому даже не приходило в голову жаловаться.

Привратник в доме, где я жил, помимо своих основных обязанностей занимался ремонтом обуви в собственной комнатушке, которая битком была набита его ребятишками.

– Почему вы так много работаете? – спросил я, зная, что его рабочий день длился не восемь или десять часов, а был неограничен во времени.

– Почему? Потому, что я подыхаю с голоду! У меня семь ртов, которые надо накормить, а мне платят сто двадцать рублей.

– Но теперь, после отмены хлебных карточек и введения десятипроцентной надбавки для компенсации роста цен на хлеб, вам должно быть полегче.

– Вы так думаете? Вместе со мной и с моей женой нас семь человек. Нам в день нужно семь килограммов хлеба, так как я просто не могу покупать ничего другого. Цена на черный хлеб возросла до одного рубля, а на белый до двух рублей за килограмм, так что вся прибавка для меня составляет восемь рублей в месяц. Не забывайте, что десять процентов, о которых вы говорите, это не десять процентов от моей зарплаты, а десять процентов от того, что я должен был платить за хлеб по карточкам. Но это не семь, а три килограмма. Вот вы и видите, товарищ, что я должен работать по ночам или воровать, если не хочу уморить свою семью голодом.

Меня трясло от негодования, когда я узнавал, что рабочие были в таком отчаянном положении спустя пятнадцать лет после победы «пролетарской» революции. И мне было стыдно. Мы уже вроде давно должны были пройти самую трудную стадию строительства, но комфорт по-прежнему был доступен только немногим. Миллионы были сознательно обречены на бедность и страдания. Спецраспределители, где рабочие иногда могли

получить что-то из дешевых продуктов, были закрыты, исходя из теории всеобщего благосостояния и общедоступности товаров в магазинах. Но в них все продавалось по фантастически высоким ценам, по ценам, за которые еще недавно арестовывали спекулянтов. Новая политика была просто бессовестным грабежом населения во имя индустриализации. Покупательная способность рубля постоянно снижалась, пока наконец она не упала, в зависимости от приобретаемого товара, до уровня десяти-сорока процентов от того, что было в 1926 году. Зарплата же за это время даже не удвоилась. На московской партийной конференции первый секретарь комитета партии Хрущев, говоря о зарплате, – этой темы все старательно избегали, – заявил, что она выросла до двухсот рублей для квалифицированных и до ста рублей для неквалифицированных рабочих. Обычная рабочая семья должна была до девяноста процентов своих доходов тратить на продукты питания. Но какие же это были низкокачественные продукты в сравнении с тем, что я видел в западных странах! Уровень жизни советских рабочих в 1933 году можно оценить, только сравнивая их зарплату с ценами в государственных магазинах.

Мясо стоило десять рублей килограмм, белый хлеб – два рубля, черный – один рубль, сахар – десять рублей, рис – девять, масло – от двадцати двух до двадцати шести, яйца – десять рублей десяток, пара ботинок стоила сто-сто пятьдесят рублей. Таким образом, рабочий, получавший хрущевскую зарплату, должен был обходиться без масла и яиц, не говоря уже о фруктах, и очень редко мог покупать мясо. Черный хлеб, картофель, капуста и гречка – вот был его основной рацион.

Реальное положение дел тщательно скрывалось советской прессой, и никто из живущих за границей его не знал. Мое негодование не могли успокоить обещания повысить зарплату в следующей пятилетке, которыми была полна официальная пресса. Результаты первого плана давали мне основания сомневаться в успехе второго. Однако у меня мелькнул луч надежды, когда в 1935 году премьер Молотов в интервью газете «Le Temps» торжественно заявил, что через два года все цены будут снижены наполовину. Это обещание было откровенной ложью. Оно не было выполнено даже частично. Бедственное положение пролетариата, официально являвшегося хозяином страны, оставалось без изменений. Интересы трудящихся были принесены в жертву диктатуре.

Постепенно я стал понимать это, но только ценой большой внутренней борьбы. Каждый шаг вперед к ясному пониманию обстановки я мог сделать, только преодолевая те чувства,

которые связывали меня с партией, ее властью и провозглашенными идеалами. Я был взращен и воспитан партией, вся моя взрослая жизнь прошла в рядах партии; все мои идеи, суждения и желания были связаны с партией, которая в моих глазах представлялась коллективным разумом, бывшим намного выше моего собственного. А теперь я чувствовал, что если не научусь думать самостоятельно, то мне лучше пойти и утопиться. Значит, мне надо судить партию и осуждать политику партии? Этот вопрос вставал передо мной во весь рост. С этого момента мои личные суждения начали обретать форму, но должно было пройти еще несколько лет, нужны были новые наблюдения и опыт, прежде чем я пришел к окончательным выводам. Мой случай не уникален. Для многих тысяч людей этот период, окончившийся кровавыми чистками 1937–1938 годов, был критическим.

С назначением на пост в «Станкоимпорте» я вошел в круг высокопоставленных сотрудников Наркомвнешторга. В последующие три года, работая под непосредственным руководством Розенгольца, я мог наблюдать работу советского госаппарата и те изменения, которые произошли за годы пятилетки. Нарком Розенгольц сильно изменился со времени начала «битвы за золото». Он всегда был волевым и решительным руководителем. Мне он всегда казался идеальным бюрократом, который энергичен в пределах своей компетенции, но боится критики. Я приведу несколько примеров того, что я делал под его руководством, поскольку это позволит более наглядно объяснить происходившие во мне перемены, а также общую обстановку.

Вскоре после моего возвращения из Польши Политбюро дало указание отменить наши заказы на машинное оборудование в Германии и пересмотреть наш бюджет так, чтобы предпочтение в торговле был отдано Великобритании. Я был приглашен посетить крупную машиностроительную выставку в Англии, но у меня было так много работы, что не только не смог поехать сам, но даже не смог отправить туда кого-нибудь из сотрудников. К тому же власти стали проявлять чрезмерную осторожность в вопросе выезда специалистов, поскольку после судебных процессов над инженерами и последующих репрессий те, кто выезжал за границу, стремились обосноваться там навсегда.

Стало модным говорить: «Пусть директора иностранных фирм приезжают к нам, если они хотят иметь наши заказы!». Именно так я познакомился с господином Брауном, менеджером большого английского машиностроительного концерна. Я показал ему один из наших заводов по производству шарикоподшипников, построенный под руководством моего друга

Бодрова, в прошлом комиссара в буденновской кавалерии, а затем советника нашего посольства в Бухаре, ставшего к тому же способным руководителем промышленности. Когда Швейцария отказалась поставить нам завод по производству часов, именно он поехал в Америку и закупил там необходимое оборудование.

Производство шарикоподшипников связано с очень точными расчетами и требует прецизионных станков, которые дороги и нуждаются в тщательном уходе. Когда мы с господином Брауном ходили по цехам, то многие станки простаивали, так как никто пока не научился работать на них. Заметив, что пол в цехах цементный, Браун подсказал нам, что цементная пыль очень вредна для точных станков. У нас это никому в голову не пришло! Браун предложил покрыть полы линолеумом. Об этом я написал специальную докладную в Наркомат промышленности.

Через два года я вновь побывал на этом заводе. Кругом шла героическая борьба за качество продукции. Большая часть продукции шла в брак как не отвечающая стандартам. На заводе непрерывно проводились расследования, искали саботажников, но ударные бригады, несмотря ни на что, старались «дать план» любой ценой. Но я заметил, что в цехах по-прежнему были цементные полы! Просто не нашлось времени для того, чтобы остановить станки и произвести необходимые переделки. К тому же партийные руководители настаивали на том, что это прославленное предприятие обязательно должно «любой ценой» перевыполнять план.

Бодров, подгоняемый Политбюро, сумел довести производство шарикоподшипников до двух миллионов штук в месяц, но это потребовало практически непрерывной работы станков, без какого-либо профилактического ремонта. В результате оборудование изнашивалось, что приводило к постоянным сбоям в работе, вконец изматывая людей. Нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе требовал трех миллионов подшипников. Бодров, доказывавший, что оборудование нуждается в ремонте, был уволен как саботажник и, как многие другие, исчез. На его место был назначен инженер по фамилии Меламед, который обеспечил дополнительный миллион. Три месяца он держал этот темп и был осыпан наградами. Когда же процент брака вырос настолько, что пришлось останавливать целые цеха, его объявили «врагом народа» за то, что он допустил такой износ оборудования. На его место был назначен инженер-стахановец Юсим. Его судьба мне неизвестна.

Наши газеты часто печатают сообщения о производственных рекордах, но умалчивают о том, какой ценой эти рекорды

достигаются. Обычно оборудование работает на износ и потом заменяется. Таким образом, стоимость советской продукции гораздо выше, чем в любой капиталистической стране, несмотря на то что нашим рабочим платят очень мало. Эта сверхэксплуатация могла бы давать много продукции, которая покрывала бы все расходы, но некомпетентная бюрократическая система, непроизводительные затраты рабочей силы и сырья сводят такую возможность на нет. Такую же картину я наблюдал во многих других отраслях промышленности.

Главная причина, похоже, заключалась в том, что без конкуренции и свободных профсоюзов руководителям не нужно было шевелить мозгами, они могли быть расточительными и некомпетентными; на них не давили ни конкуренты, производящие лучшие и более дешевые товары, ни рабочие, требующие более высоких заработков. У них все делается очень просто. Когда отмененная капиталистическая прибыль недостаточна для того, чтобы покрыть их расточительность и неэффективность, они снижают зарплату рабочим. Вот почему, несмотря на то что советские рабочие делают все больше и больше, чем в капиталистических странах, советская система не может обеспечить им такой же приличный уровень жизни. Основной экономический принцип Ленина сводился к тому, что социалистическая экономика только тогда докажет свое право на жизнь, когда будет производить больше лучших товаров с меньшими, чем у капиталистов, затратами и таким образом гарантирует трудящимся лучшие условия жизни. Этот ленинский принцип никак не выходил из головы, и на его фоне росли сомнения в том, что мы были на правильном пути.

Проработав год в «Станкоимпорте», я на собственном опыте изучил работу огромной и централизованной бюрократической машины, которая управляла жизнью советского государства. Я, естественно, ожидал, что до Политбюро будут доходить только самые важные вопросы деятельности «Станкоимпорта», которые затрагивали наиболее важные проблемы импорта и требовали десятков миллионов рублей. Но я был изумлен мелочностью этого интереса и непреодолимыми бюрократическими рогатками на всех уровнях, вплоть до самого Сталина.

В результате сверхцентрализации столько времени уходило на мелочи, что его не оставалось для обдумывания главных вопросов. Я наблюдал, как Политбюро могло часами обсуждать мелкий контракт «Станкоимпорта». Этот контракт с немецкой фирмой «Сток и Компани» касался поставки нам инструментов и запчастей. У нас были претензии к качеству продукции и некоторые неясности в вопросах оплаты. Директор завода, для

которого предназначались эти импортные товары, написал жалобу Сталину. Судя по всему, они раньше встречались, и Сталин его помнил. Политбюро включило этот вопрос в свою повестку. На заседание были вызваны нарком Розенгольц и его заместители, председатель «Станкоимпорта», я, а также директор и главный инженер заинтересованного завода. По этому мелкому вопросу, где речь шла всего лишь о двухстах тысячах рублей, все мы должны были приготовить отчеты с объяснением наших действий и обоснованием принятых решений. На это у меня ушло три дня и три ночи.

На заседание в Кремль мы прибыли к трем часам дня. Нас провели в большой зал, где ждали все приглашенные на заседание Политбюро. Тут были собраны многие крупные деятели советского и партийного аппарата, руководители наркоматов, учреждений и предприятий. Они вынуждены были часами дожидаться своей очереди, в то время как их учреждения простаивали в ожидании решения. Так было всегда, когда заседало Политбюро. Высокие чиновники обменивались правительственными сплетнями и слухами, ели бутерброды с ветчиной и сыром, пили чай и курили бесчисленные папиросы.

В семь часов нас вызвали в зал заседаний Политбюро. За столом сидели Ворошилов, Молотов и другие члены высшего руководства партии. Сталин, с трубкой во рту, сцепив руки за спиной, прохаживался взад и вперед у окна Он редко председательствовал на заседаниях Политбюро, предпочитая оставлять это Калинину, Кагановичу или Молотову. Когда мы вошли, Сталин слегка улыбнулся и кивнул директору завода, потом присел за стол. Этот знак внимания немедленно повлиял на общую атмосферу, мы все уже почувствовали себя виноватыми.

Директор завода говорил очень долго, обвиняя «Станкоимпорт» во всех возможных грехах, от подписания убыточного контракта до саботажа. Сталин, не обращая внимания на председательствующего Калинина, время от времени подавал реплики или саркастические замечания.

– Значит, немцы уже захватили «Станкоимпорт», – сказал он. Зал взорвался хохотом от непревзойденной остроты Хозяина. Я посмотрел на бедного Розенгольца. Даже он попытался улыбнуться.

В течение двух часов обвинители и обвиняемые, подстегиваемые некомпетентными вопросами членов Политбюро, пытались доказать свою правоту. Вопрос был сугубо техническим, относящимся к спецификациям инструментов. Было видно, что ни Сталин, ни его коллеги не могут уследить за дискуссией. Иногда они задавали какой-то вопрос, но для того, чтобы разобраться в

этой проблеме, даже специалисту потребовалось бы несколько дней, тексты контрактов, техническая документация, каталоги и т. п.

Наконец Сталин, сидевший за столом рядом с Молотовым, поднялся.

– Хорошо, – сказал он. – Достаточно. Видно, что «Станкоимпорт» заключил очень плохой контракт. Я предлагаю объявить Розенгольцу предупреждение, «Станкоимпорту» направить директора завода в Германию для выяснения проблемы, а руководителю «Станкоимпорта» Гальперштейну объявить строгий выговор…

Калинин, не отрываясь от бумаг, сказал:

– Вы слышали предложение. Если нет возражений, принимается.

Возражений не последовало, и мы уступили свое место следующим жертвам.

В деятельности Политбюро все еще поддерживается какая-то видимость коллективной работы. Сталин не командует, а предлагает. Сохраняется фикция голосования. Решение подписывается всеми членами, в том числе Сталиным. Но все знают, что есть только один хозяин. Формулировки отражают традиционную партийную фразеологию, но за ними стоит слово Сталина, которое является законом.

Когда я слушал, как другие члены Политбюро бормотали слова одобрения, я думал, а что будет, если кто-то встанет и выразит свое несогласие с товарищем Сталиным? Но это, конечно, была фантастическая идея. Сталин сумел создать такую систему, которая заблаговременно выявляла всякий зародыш оппозиции. Любой потенциальный лидер выявляется еще до того, как он может испытать свою власть, и его убирают, как это случилось с Сергеем Кировым. Сталина не только называют Хозяином, он является таковым на самом деле.

Именно по этой причине советская бюрократия неповоротлива и часто неработоспособна. Каждый хочет избежать ответственности. Все ждут указаний. И поскольку тысячи важных и даже совсем не важных решений должны пройти через Сталина, наверху всегда затор. Недели уходят на ожидание; наркомы ждут в приемной Сталина, директора заводов – в приемных наркомов и т. д. Нередко я часами ждал, пока Розенгольц сообщит мне решение Сталина, а мои подчиненные ждали, когда я получу это решение от Розенгольца. Когда Сталин уставал или ему все это надоедало, он уезжал на одну из своих дач и давал указание не беспокоить его. Верхний эшелон правительства практически переставал функционировать, и везде возникали завалы.

Почему же Сталин стремится сохранять за собой контроль за мельчайшими деталями жизни советского общества, что ложится на него тяжелым бременем? Ответ заключается в том, что только таким способом человек может оставаться диктатором. Более добрый и способный, менее подозрительный человек, пользующийся доверием большого числа самостоятельных и умных помощников, мог бы сохранять личную власть, не занимаясь решением малозначительных вопросов.

Эта система до предела деморализовала высших управленцев и творческую интеллигенцию. Люди, которых я раньше глубоко уважал, теперь прискорбно изменились. Взять, например, Шумяцкого, с которым я работал в Персии. По возвращении он был назначен начальником школы, готовившей офицеров для революционной армии Китая. Через некоторое время он был переведен в Институт восточных исследований, а затем стал директором киностудии. Это, конечно, было бы очень подходящим полем деятельности для этого энергичного человека, обладавшего широким культурным кругозором. Но нет. После великих фильмов Эйзенштейна, Пудовкина и Довженко советский кинематограф с его прекрасной базой, которая простиралась на весь континент, с сотней оригинальных фольклоров, которые могли питать творчество, с недавним прошлым, которое было переполнено событиями исторического значения, – этот кинематограф деградировал. Ничего стоящего не производилось. И это было для меня загадкой, но общие друзья рассказали мне немного о работе Шумяцкого, и все стало ясно. Любой творческий порыв пресекался педантичной цензурой. Центральная власть вторгалась даже в сферу мысли и воображения. У Шумяцкого не оставалось времени для встреч с самыми знаменитыми режиссерами, которые стучались к нему в дверь. Заведующим отделами он мог уделить лишь по нескольку минут в неделю. Но никто не решался ничего сделать без его согласия, так как было известно, что он пользовался доверием Сталина, а Сталин интересовался кинематографом.

На что же Шумяцкий, этот великий организатор, старый революционер, умевший разрубать гордиевы узлы, тратил свое драгоценное время? Пытался заручиться поддержкой своих начинаний у бюрократии? Даже не на это! Большую часть своего времени он проводил в поездках на дачи сильных мира сего – Кагановича, Ворошилова, Микояна и других друзей Хозяина, устраивая в их личных кинозалах кинопросмотры заграничных фильмов, которые никогда не показывались публике, и даже специалистам кинематографии, но которые импортировались за золото для развлечения этих советских аристократов.

Прежде чем любой советский фильм мог быть показан публике, его должен был посмотреть Сталин со своими приспешниками. Шумяцкий должен был выслушивать их советы, которые на самом деле были приказами; вынужден был вносить поспешные исправления или вообще запрещать весь фильм без объяснения причин; увольнять артистов и специалистов только потому, что Хозяин нахмурился.

Премии в кинематографе Шумяцкого распределялись так же произвольно, как и наказания. Молодая, не обладавшая особыми достоинствами артистка Орлова только за то, что она снялась в фильмах «Цирк» и «Веселые ребята», получила почетное звание заслуженной артистки республики, отличие, которое было установлено для тех, кто по два-три десятилетия отдал искусству. Можно представить себе чувства Станиславского, который должен был произвести переворот в современном театре, прежде чем он был удостоен этой чести!

Шумяцкий, будучи номинальным руководителем крупной отрасли, фактически не мог заниматься своим делом и только мешал работать своим подчиненным, превратившись в придаток правящей бюрократии. Себе он построил шикарный дворец под Москвой, но наслаждался им недолго. Не знаю, что не понравилось в нем Сталину, разве только сам факт того, что он был старым большевиком, потому что Шумяцкий никогда не проявлял ни малейшего тяготения к оппозиции. Он, как и многие другие, был обвинен в некомпетентности и в 1937 году исчез. Исходя из предположения, что никто из крупных советских чиновников не может просто уйти в отставку, я полагаю, что он сейчас находится в концлагере, если вообще не расстрелян.

Иногда самые пустяковые вещи указывали направление дальнейшего развития событий. Я вспоминаю вечер, проведенный в компании нескольких известных советских интеллигентов, которых я не стану называть, чтобы не доставить им неприятностей. Один из них, «Икс», известный архитектор, неожиданно начал рассказывать о проекте строительства грандиозного Дворца Советов, недалеко от Кремля на берегу реки Москвы. Чтобы расчистить строительную площадку, саперы уже взорвали динамитом огромный храм Христа Спасителя. Творческий конкурс был закончен, когда Сталин остановил свой выбор на здании круглой формы с колоннадой, к которому архитектурный гений вождя добавил колоссальную фигуру Ленина из нержавеющей стали.

– Все это будет выглядеть, – сказал «Икс», – как огромный шоколадный торт, так близкий сердцу берлинских кондитеров, в который они иногда втыкают свечку, куколку или маленький

букетик цветов. С технической точки зрения – это шаг назад, к худшим образцам зданий, популярных в прошлом веке. Большая часть помещений будет зависеть от искусственного освещения, число выходов будет явно недостаточно, а огромные размеры помещений создадут серьезные трудности строителям. Но это еще не главное – сама площадка могла выдержать только собор; почва там влажная и часто проседает, часть фундамента будет покоиться на болоте; укрепление грунта обойдется в десятки миллионов рублей. И для чего ставить это чудовище вблизи Кремля? Никому, у кого есть хоть капля вкуса, это не пришло бы в голову.

Спустя несколько дней я прочел в газете, что архитектор «Икс» с большим энтузиазмом поддержал проект этого строительства! Его попросили высказаться, и он знал, что надо говорить.

К этому я мог бы добавить несколько собственных мыслей относительно этого проекта. Зачем тратить миллионы на строительство дворца, когда жители Москвы задыхаются от перенаселенности? Как объяснить то, что ни один из рабочих-депутатов Моссовета не встал и не сказал: «Не лучше ли будет, товарищи, использовать эти миллионы на строительство жилья для рабочих?» Но советская власть уже перестала существовать, от нее осталось одно название. Любой депутат, серьезно относящийся к своим обязанностям, был бы сочтен идиотом или контрреволюционером. Разве Сталин не лучше всех знает, что надо делать?

Многие люди понимали то унизительное положение, до которого их низвели, но что они могли сделать? Они могли только горько усмехаться. В то время среди партийной интеллигенции было распространено такое высказывание, которое отражало общее настроение: «Лучше всего не думать; если не можешь не думать, то не говори; если говоришь, то не пиши; если пишешь, то не публикуй; а если публикуешь, то немедленно сознавайся и кайся».

В своем учреждении я тоже стал замечать подобные перемены. Профсоюз практически перестал существовать. Раньше с профсоюзной организацией надо было считаться во всех случаях наказания сотрудников, их увольнения, изменения условий оплаты труда и т. п. Теперь же директора предприятий и мы, управленцы, уже могли не обращать внимания на тех, кто представлял интересы работающих. Профсоюзная организация продолжала существовать, но она занималась только выполнением партийных указаний. И, помимо этого, она занималась «добровольной» подпиской на облигации

Государственного займа. Фактически служащий, как и рабочий, стал абсолютно беззащитным.

Вся эта атмосфера стала до того тягостной, что я стал подумывать о том, чтобы подыскать себе работу, где я был бы избавлен от всякой ответственности, например библиотекаря или кассира в кинотеатре. Мне хотелось иметь больше свободного времени, чтобы думать о жизни; занять такое место в обществе, которое позволило бы мне взглянуть на все с другого угла, проверить обоснованность своих сомнений. В конце 1933 года я ушел из «Станкоимпорта» и обратился с просьбой в Генштаб перевести меня из запаса на действительную военную службу.

Встреча старых друзей

Я надеялся, что по возвращении в армию меня направят в военно-воздушную академию. Там я на четыре года буду избавлен от политики и бюрократии. Это было пределом моих мечтаний. Но меня ждало разочарование.

Советский Союз уже некоторое время поставлял небольшие партии оружия в ряд стран Востока, осуществляя эти операции через различные ведомства. Теперь Сталин дал указание сконцентрировать весь экспорт вооружений в одних руках. В Наркомвнешторге уже существовал небольшой трест, который занимался экспортом автомобилей. В целях обеспечения конфиденциальности было решено расширить этот трест и создать в нем специальное подразделение для торговли оружием. Как раз в момент моего ухода из «Станкоимпорта» возникла проблема подбора кандидатуры на пост директора нового треста. Генштаб хотел видеть на этом посту военного, и вот, вместо того чтобы направить меня в авиационную академию, он предложил Политбюро мою кандидатуру на эту должность. Сталин ее одобрил. Меня вызвал Розенгольц и сообщил эту новость.

– Вы человек военный, – сказал он, – имеете опыт в области внешней торговли и дипломатии, к тому же востоковед. Более того, вы интересуетесь автомобилями. – Тут он хитро подмигнул мне – моя несчастная одиссея из Ленинграда в Москву была постоянным предметом шуток. – Эта работа как раз для вас, – продолжал он, – перед вами огромная задача – завоевать весь рынок Востока.

Партийная дисциплина была суровой; мне ничего не оставалось делать, как расстаться с мечтой о тихой учебе. Я стал первым президентом «Автомотоэкспорта», один департамент которого занимался торговлей автомобилями, а другой – оружием, что обещало стать довольно важным фактором в советской политике. Экспорт автомобилей осуществлялся вполне открыто. Более важной и более трудной задачей была организация экспорта оружия, которую надо было тщательно скрывать от общественности.

До этого Советский Союз импортировал и автомобили и оружие, но и теперь у нас не было намерения конкурировать с западными производителями; но Синьцзян, Афганистан, Монголия, Турция и Персия представлялись довольно перспективными рынками, к которым мы имели удобный географический доступ. Я не буду вдаваться в детали той напряженной работы, которая требовалась для создания аппарата

треста, так же как и в перипетии борьбы с другими ведомствами за служебные помещения и кадры.

Самое трудное было в том, чтобы заполучить необходимое количество автомобилей и оружия для экспорта в условиях, когда все импортно-экспортные планы утверждались Политбюро. Ни один центнер зерна или килограмм масла, ни один метр ткани, ни один автомобиль или тонна руды, ни один станок сверх утвержденного плана не мог быть направлен на экспорт без специального решения Политбюро. Все списки экспортных товаров, цены и условия оплаты направлялись Сталину. Его решение было окончательным, независимо от того, к каким выводам пришел до этого Наркомвнешторг или Госплан, которые составляли эти планы, или наркоматы, которые занимались производством. Помимо годовых планов в Политбюро регулярно представлялись и квартальные планы с указанием номенклатуры экспорта и стран импортеров.

Эта процедура действовала не только в сфере импорта-экспорта, но и в области внутреннего снабжения. Тресты и органы управления составляли свои заявки, на основе которых Наркомат промышленности определял квоты и направлял их на рассмотрение Политбюро. В случае согласия Сталина они направлялись в Совнарком для принятия формального решения. Совнарком не мог ни на йоту изменить решение Политбюро, он просто выполнял канцелярские функции. Премьер Молотов автоматически одобрял все решения Сталина. Когда я получал решение за подписью Сталина, например, об отправке ста автомобилей в Синьцзян, то немедленно выполнял его. Когда то же самое решение через неделю приходило ко мне на бланке Совнаркома и за подписью Молотова, автомобили были уже в пути. Эта абсурдная ситуация продолжалась до весны 1941 года, когда Сталин, чувствуя приближение войны и видя, какими преимуществами пользуется Гитлер, занимая одновременно посты фюрера и рейхсканцлера, решил покончить с этой нелепостью и сделал себя премьером.

Если в «Станкоимпорте» я постоянно барахтался в бюрократическом болоте, то в «Автомотоэкспорте» меня накрыло с головой. Я не мог и шагу ступить без бесконечных совещаний и согласований с несколькими заинтересованными наркоматами. С Наркоминделом надо было посоветоваться о том, не противоречит ли наш экспорт общей политической линии в отношении данной страны. С Наркомпромом надо было отработать детальный график выпуска продукции. С Наркоматом обороны надо было согласовать вопрос о возможности экспорта последних моделей нашего оружия, а также обеспечить защиту

наших изобретений. Вопросы цен и финансирования надо было согласовать с Наркомвнешторгом и Наркомфином. Нужно было урегулировать проблемы транспортировки и т. п. Горе мне, если я за несколько месяцев не смогу точно предсказать, сколько мне понадобится вагонов и в каком они пойдут направлении. Все это должно было быть включено в квартальный план Наркомата путей сообщения и связи.

Неделями я метался из одного ведомства в другое, улаживая конфликты интересов. Но не только я, все мои помощники ежедневно занимались тем, что метались из одного ведомства в другое, совещаясь и согласовывая. Свою собственную работу порой приходилось делать ночью.

На последнем этапе, перед тем как передавать материалы в Политбюро, нужно было получить согласие Комиссии по экспорту вооружений Высшего совета обороны под председательством К. Е. Ворошилова, двумя заместителями которого были Тухачевский и Гамарник. Я должен был постоянно поддерживать тесный контакт с нашими военными руководителями. В решении этих вопросов я надеялся на помощь своего друга и бывшего командира Тухачевского. Он делал все, что мог, но мог он не так уж много. Армия тоже погрязла в бюрократизме.

Моя первая встреча с Тухачевским после долгой разлуки прочно осталась в моей памяти. Маршал вышел из-за стола мне навстречу с непринужденной вежливостью, с какой он всегда обращался с младшими. Он пополнел, виски его были тронуты сединой. Но лицо его было по-прежнему молодым и оживленным. Он был так же уверен в себе, так же внимателен к собеседнику.

Во время беседы зазвонил телефон. Маршал спокойно взял трубку, но вдруг неожиданно вскочил на ноги и заговорил совсем другим голосом:

– Доброе утро, Климентий Ефремович… Так точно, как вы скажете, Климентий Ефремович… Будет выполнено, Климентий Ефремович…

Так он говорил с Ворошиловым.

Этот случай произвел на меня тяжелое впечатление. Глядя, как этот замечательный военачальник получает и реагирует на приказы, стал понимать, почему на то, чтобы дать ответ на мой вопрос, требуется несколько дней. Даже Тухачевский уже не мог принимать решения, он просто выполнял приказы. Ему тоже приходилось спрашивать и спрашивать, все его действия должны были соответствовать, с одной стороны, указаниям Ворошилова и, с другой – решениям Политбюро. В ходе последующих контактов с ним я сделал вывод, что его воля была сломлена; в огромной бюрократической машине он стал простым винтиком. Из лидера

он превратился в простого служащего.

В другой раз я получил от Тухачевского свою объемистую докладную записку с многочисленными пометками на полях. Посвящена она была сугубо техническим аспектам поставки танков Турции. Оказалось, что пометки, замечания, рекомендации и указания по каждому параграфу были сделаны рукой Ворошилова! Я же полагал, что Тухачевский поручит кому-то из своих подчиненных подготовить мне ответ. Вот до какой степени централизации все дошло. Всякая инициатива, даже на самом высоком уровне, была задавлена. В большинстве случаев и Ворошилов не решался принимать самостоятельное решение, не посоветовавшись со Сталиным.

Однажды возникла проблема с самолетами, которые были ранее поставлены в Персию. Я должен был вынести ее на рассмотрение Тухачевского и Гамарника, поскольку Ворошилов был в отпуске. Вопрос сам по себе имел второстепенное значение. Самолеты уже были проданы, и сейчас речь шла о поставке некоторых запчастей, на что также требовалось согласие Наркомата обороны. Мои переговоры с двумя военачальниками продолжались две недели, а остро необходимые запчасти тем временем лежали без движения. Проблема заключалась в том, что до возвращения Ворошилова с курорта этот вопрос никто не мог решить. Наконец по моей просьбе Гамарник позвонил в санаторий, но получил ответ адъютанта «Ждите возвращения наркома».

В этот период я часто встречался с двумя старыми друзьями, с которыми познакомился еще в Академии Генштаба, – генералами Я. И. Алкснисом и А. И. Геккером. Я часто думаю о их трагических судьбах. Алкснис – известный летчик, установил много воздушных рекордов, стал командующим Военно-Воздушными Силами, которые он практически и создавал. Это был высокоорганизованный человек, сторонник строгой дисциплины. Он часто сам инспектировал летные части, и горе тому летчику, который попадался ему на глаза невыбритым или небрежно одетым. Не потому, что он был просто придирой и педантом, но, как он сам объяснял мне, авиация требует постоянного внимания к деталям. Отсюда и его требования строгой дисциплины. Несмотря на свою прямолинейность, он был хорошим методистом и много сделал для воспитания боевого духа советских летчиков. В том, что сегодня советская авиация является таким мощным оружием, безусловно, есть его большая заслуга. Главком ВВС Алкснис был расстрелян вместе с ближайшими помощниками. Это был страшный удар для авиации, от которого она долго не могла оправиться.

Генерал Геккер в то время был начальником протокола у Ворошилова и отвечал за все контакты с иностранными военными атташе – работа, требующая очень большой тонкости. В нем дипломат оттеснил на второй план солдата. Несколько раз я приглашал его на приемы в честь турецкой и литовской делегаций, с которыми мы вели переговоры о продаже вооружений. Он давал мне полезные характеристики на некоторых участников переговоров, раскрывая некоторые секреты этой специфической отрасли психологии, следил за тем, чтобы я неуклонно соблюдал протокол. Поднимая бокал с тостом, я видел, как он внимательно и с некоторым беспокойством наблюдал за мной. Я чувствовал, что для него я все еще был «Бенджамином» из академии. Хотя уже стал на двенадцать лет старше, но я все еще был самым младшим из тридцати внешторговских президентов. И я его никогда не подводил.

В 1935 году, уезжая в Грецию, я нанес Геккеру прощальный визит. Он только что получил ранг комкора и был одет в расшитую золотом новую военную форму. Эта награда за многолетнюю и безупречную службу, несомненно, была ему приятна. Он попросил меня прислать ему пару метров хорошего золотого шитья для парадной формы, что я с удовольствием выполнил. Это была нетемнеющая позолота. Он получил ее незадолго до своего ареста.

Я хочу привести в этой главе мои воспоминания о последнем съезде Советов, на котором я присутствовал, и о последнем параде Красной Армии, который я видел.

Когда на трибуне съезда, проходившего в Большом Кремлевском дворце, появился Тухачевский, весь зал встал и разразился громовыми аплодисментами. Эта овация отличалась от всех других своей силой и искренностью. Выступление Тухачевского также отличалось от выступлений других ораторов – он ни разу не заглянул в свои записи. Это был стиль старых большевиков той героической эпохи, но после изгнания Троцкого и начала кампании по борьбе с уклонистами страх допустить ошибку стал так велик, что практически все стали читать свои заготовленные выступления. Тухачевский был хорошим оратором, и его выступление произвело глубокое впечатление на делегатов. Приведенные им данные о росте численности и совершенствовании вооружения Красной Армии показывали растущую мощь наших вооруженных сил. Его речь была выслушана в полном молчании и с огромным вниманием. Я видел, как Сталин нарочито громко аплодировал Тухачевскому.

Военный парад был для меня последним в ряду этих великолепных зрелищ, в которых я принимал участие сначала как

слушатель военной академии, а потом как зритель. В отсутствие Ворошилова парад принимал исполнявший обязанности наркома Тухачевский. С этим связан один инцидент, который впоследствии приобрел ироническое звучание. Достать пригласительные билеты было исключительно трудно, но я хотел во что бы то ни стало провести на площадь только что прибывшую к нам турецкую военную миссию, чтобы она могла оценить военное могущество Советского Союза. После нескольких неудачных попыток получить билеты мне дали совет, в качестве крайней меры, связаться с Паукером и Воловичем, двумя руководителями ОГПУ, которые отвечали за личную охрану Сталина. Мне было сказано, что там, где должен присутствовать Сталин, они полностью отвечают за состав приглашенных. Я пошел к ним и немедленно получил необходимые билеты. Было очевидно, хотя тогда я об этом не думал, что эта пара держала жизнь Сталина в своих руках. Каждый из них мог легко организовать его устранение. Несмотря на это, в чистке 1938 года обоих обвинили в том, что они готовили покушение на Сталина. На самом деле подлинная причина заключалась в том, что как руководящие сотрудники ОГПУ они вели расследования по делам наиболее важных жертв политических процессов. Далеко не все знают, что вместе с Ягодой в 1938 году были уничтожены почти все руководители отделов ОГПУ. Это было сделано для того, чтобы скрыть правду о том, какими способами были получены «признания». Мертвые – молчат.

Ровно в десять, с первым ударом кремлевских курантов, цокот копыт нарушил напряженную тишину Красной площади, на которой были построены войска. Из ворот Спасской башни верхом выехал Тухачевский. Командующий войсками Московского гарнизона Корк, старый друг и соратник Тухачевского, отдал ему краткий рапорт. Трибуны были заполнены до отказа. Сталин стоял на трибуне Мавзолея, опираясь рукой на гранитную балюстраду. Тухачевский и Корк в сопровождении своих заместителей заняли место рядом с ним, и мимо этих двух обреченных генералов стали проходить парадным строем войска: пехота с примкнутыми штыками, грузовики с установленными на них зенитными орудиями, танки и амфибии. Небо заполнили самолеты, ведомые Алкснисом. Это был зенит славы. Только абсолютный безумец мог предположить, что человек, стоявший на Мавзолее, хранившем останки Ленина, вскоре обвинит в предательстве и будет уничтожать людей, которые создали всю эту мощь и теперь командовали ею.

На Западе широкая публика и многие государственные деятели действительно верили невероятным сообщениям о

заговоре советского высшего командования с нацистами против советского режима. Сталин обладает огромными пропагандистскими возможностями по всему миру. Однако проницательные читатели, прочтя в газетах эти безумные обвинения, сразу же задались вопросом о том, что на самом деле скрывается за этими фактами. Спустя два года пакт Сталина – Гитлера дал очевидный ответ на этот вопрос. Этот пакт явился результатом длительных тайных переговоров между Сталиным и нацистами. Сталин сам был виновен в том, в чем он обвинил своих генералов и за что послал их на смерть.

Утверждения о том, что Тухачевский и его группа испытывали какие-то симпатии к Германии, не говоря уже о прямых контактах, что они пытались навязать свою волю советскому правительству и зондировали возможную реакцию немцев, столь же абсурдны, как и сами формальные обвинения. В это могли поверить только те, кто не имеет ни малейшего представления о той роли, которую играют в руководстве армией Ворошилов и Сталин. Вопросы, касающиеся политической ориентации армии, да и любые практические вопросы, даже самые мелкие, могут решаться Гамарником, Тухачевским и даже Ворошиловым только после получения точных и детальных указаний Политбюро, то есть Сталина. Этот порядок соблюдается особенно жестко в тех случаях, когда речь идет о контактах с иностранными государствами, даже в ограниченных технических вопросах. Каждый контракт, предусматривавший военное сотрудничество с заграницей, изучался Политбюро строчка за строчкой не на одном заседании. Вся переписка по этим вопросам жестко контролировалась. Мне как человеку, профессионально работавшему в этой сфере, совершенно ясно, что военные руководители не могли вести переговоров и переписки с представителями иностранных держав без того, чтобы каждое слово не было известно Ворошилову и Сталину.

Уничтожение этих генералов, цвета нашего военного руководства, которые в ожидавшейся войне с фашизмом должны были составить основу высшего командования и Генерального штаба, явилось страшным ударом для Красной Армии. Это было вскоре доказано позорной финской кампанией и катастрофическими поражениями первого года новой войны.

Я хотел бы со всей серьезностью и категоричностью, на которые способен, заявить, что эти люди, глубоко преданные своей советской Родине, многие годы готовившие Красную Армию к решающей битве с фашизмом и нацизмом, не могли совершить того преступления, в котором их обвинили, даже если бы захотели, для них это психологически было бы невозможно.

Пакт Сталина – Гитлера и последующая сталинская внешняя политика разоблачили обман, с помощью которого была сделана попытка обесчестить имя Тухачевского. Сталин знал, что Тухачевский и другие советские военачальники были непримиримыми противниками нацистской Германии и выступали за единый фронт с западными демократиями против Гитлера. Чтобы заключить союз с Гитлером, он должен был убрать их.

Парижская газета монархистов «Возрождение» опубликовала заявление некоего Алексеева, который обвинял Тухачевского в том, что он поддерживал тесный контакт с немецким генеральным штабом, как раз в тот момент, когда Тухачевский, находившийся в Англии на похоронах короля Георга V, вел переговоры с французскими и британскими военными представителями. Позже французский военный суд осудил Алексеева как немецкого шпиона.

Сталин получил сфабрикованные документы от агентов, которые работали не только на ОГПУ, но и на гестапо. Интерес гестапо к этому делу был двоякий: во-первых, они уничтожали выдающихся генералов могучей армии, которой Гитлер собирался в подходящий момент нанести удар, а во-вторых, они помогали Сталину этими антинацистскими акциями вводить в заблуждение западные демократии. Получив от немцев фальшивки, Сталин сначала с их помощью убедил чехословацких, а затем через них французских и английских лидеров в том, что Тухачевский был виновен. Только так он мог прикрывать свою предательскую игру до самого момента заключения пакта с Гитлером.

На вопрос о том, кому было выгодно устранение советских генералов и других крупных руководителей, дает четкий ответ статья, опубликованная в нацистской газете «Франкфуртер цайтунг» 29 августа 1939 года, то есть через шесть дней после заключения пакта Сталина – Гитлера. Приведу выдержку из этой статьи, озаглавленной «Из предыстории германо-советского пакта. От нашего московского корреспондента».

> «*27 августа, Москва*
>
> …Потребовались месяцы, чтобы достичь сближения между Германией и Советским Союзом, где за последние годы произошли существенные организационные и кадровые перемены. Мы должны относиться к ним как к неизбежным предпосылкам исторического развития. Устранение из общественной жизни того верхнего слоя, который назывался «троцкистским», а он был устранен именно по этой причине, было, несомненно, весьма

существенным фактором в достижении взаимопонимания между Советским Союзом и Германией…»

Катастрофическое начало войны между Германией и СССР, объясняющееся почти исключительно отсутствием должного руководства Красной Армией, показывает, как Гитлер использовал в интересах нацистской Германии преступную глупость и слепую мстительность Сталина. Русский народ заплатил за это миллионами жизней, опустошением своих богатейших территорий, двумя годами мучительного отступления и нацистской оккупацией. В этой кровавой бане должны были вырасти новые командиры, прежде чем они отбросили Гитлера. Вот подлинная правда, которую пытаются скрыть сказкой американского посла Джозефа Дэвиса о том, что, уничтожая лидеров Красной Армии, дальновидный Сталин ликвидировал «пятую колонну» и готовил страну для войны с Германией.

Дороги торговца оружием

Одну из первых крупных сделок в сфере торговли оружием мы заключили с Турцией. Для обеспечения сделки советское правительство предоставило Турции кредит в размере 8 миллионов долларов. Действительная цель этого двадцатилетнего беспроцентного кредита заключалась в том, чтобы теснее привязать Турцию к Советскому Союзу в политическом и экономическом плане. После долгих переговоров я подписал контракт с турецким послом в Москве Васуф-беем. Танки, бронемашины, пушки – все это упаковывалось в огромные ящики и под видом грузовиков отправлялось на турецких судах. Политбюро дало указание направлять технику только высшего качества, и мы превзошли самих себя, выполняя эти указания. Заводы-производители уделяли особое внимание контролю за качеством продукции, чтобы она могла выглядеть достойно рядом с западными образцами.

Сталин и Ворошилов уделяли этой сделке большое внимание, несколько раз вопрос детально обсуждался на Политбюро, но главный вопрос о количестве танков и бронемашин как-то выпал из поля зрения. Случилось это потому, что не был решен предшествующий вопрос – на каких принципах определять цены за боевую технику. Размер кредита был установлен, и оба вопроса оказались взаимосвязаны. Я пошел к Розенгольцу.

– Какие цены мы должны указать в своей записке в Политбюро на танки, бронемашины, пушки и противогазы для турок? – спросил я его. – Вот данные о нашей себестоимости и ценах, по которым получает эту технику Красная Армия, но эти цены, как вы знаете, совершенно искусственно занижены. От цены будет зависеть, сколько единиц техники получит Турция.

Розенгольц на минуту задумался. Он не был готов взять на себя такую большую ответственность. Он нервно поежился, глядя в сторону.

– Вы сами знаете, что делать, – сказал он. – У вас есть цены конкурентов, Круппа, Виккерса. Подсчитайте сами.

– Хорошо, Аркадий Павлович, – ответил я, – но на каких общих принципах мне вести подсчеты?

– Решайте сами, – отмахнулся он от меня.

В решении этого вопроса мне помогли турки. Министерство обороны Турции направило к нам комиссию военных экспертов во главе с пожилым генералом, которого все называли «паша», хотя Ататюрк отменил этот титул. К моему удивлению, эти эксперты стали выяснять, не могли бы мы установить на танках пулеметы

того калибра, который применялся в Германии. Что бы это значило? Это сделает их зависимыми от поставок немецких боеприпасов. «С кем же они собираются воевать?» – спрашивал я себя. Я осторожно намекнул Розенгольцу, что боевая техника, которую мы поставляем туркам, когда-то может быть повернута против нас. Я рассказал ему, что офицеры, которые побывали в Турции с образцами танков, докладывали о том, что в турецком генштабе очень заметно влияние немцев. Розенгольц никак не реагировал на эту информацию. Я добавил, что когда у турок появляются свободные деньги, они предпочитают покупать вооружение в Германии, во Франции или Швеции. Он сделал вид, что не слышал моих слов.

Предоставленный сам себе, я решил получить с турок наивысшую цену. Я намного повысил цены по сравнению с первоначальными наметками, соответственно уменьшилось количество единиц техники. Предложенные мною цены, объем и график поставок были утверждены Политбюро. Я отправил предложения Васуф-бею, и через два дня Анкара телеграфировала свое согласие. Турки, похоже, особенно не вникали в детали. Расплачиваться за технику они должны были в течение двадцати лет, а кто знает, что может случиться за это время?

Помимо нескольких сотен грузовиков для турецкой армии я продал им в кредит еще сто автобусов для муниципалитета Анкары. Это меня очень удивило. Столица отсталой страны закупала сто автобусов на 130 тысяч жителей; в это же время Москва с населением три с половиной миллиона человек имела менее четырехсот автобусов, одна треть из которых всегда была в ремонте. Для турок мой экспорт был просто подарком.

Танки для Турции должны были изготовляться на Ленинградском танковом заводе. Мне стало известно, что завод проходил стадию реконструкции и производство было остановлено, но там было некоторое количество готовых танков для Красной Армии. И я поехал к Тухачевскому обсудить вопрос о возможности отправки этих танков в Турцию.

– Я с радостью дам их вам, – сказал он, – но не думаю, что вам следует отправлять их. Вот прочтите доклад.

Я прочел доклад командующего Дальневосточной армией. В докладе содержался анализ недавних столкновений советских и японских войск на монгольской границе. Бои были достаточно серьезными и включали применение танков, артиллерии и авиации. Обе стороны рассматривали эти стычки как удобную возможность испытать новую боевую технику. Хуже всего показали себя клепаные танки. Они не только оказались чрезвычайно уязвимыми к противотанковому огню, но взрывами

заклепки выбивались внутрь танков и превращались в крупнокалиберные пули, несущие смерть экипажу. В докладе предлагалось прекратить производство клепаных машин и полностью перейти на сварку.

– Вот почему производство танков прекращено и завод реконструируется, – сказал Тухачевский. – Предложите туркам немного подождать.

Несмотря на то, что мы не продавали Турции все типы машин, которые ее интересовали, мы все-таки поставляли им продукцию высшего качества. Туркам пришлось подождать, но они получили сварные танки.

Я рассказываю эту историю потому, что спустя семь лет я с изумлением прочел в американских газетах, что американские танковые заводы, в том числе предприятия Крайслера, во время критических боев в Северной Африке вынуждены были остановить танковое производство для внесения изменений в техническую документацию и переоснащения производственных линий. Это стоило им нескольких миллионов долларов и нескольких месяцев драгоценного времени. В сообщениях говорилось, что клепаные американские танки были уязвимы для противотанковой артиллерии, опасны для экипажей. От взрывов заклепки превращались в смертоносные пули и т. д. и т. п. Короче говоря, то, что я прочел, почти слово в слово повторяло доклад, с которым я ознакомился семь лет назад в кабинете маршала Тухачевского в Москве. Мне казалось совершенно невероятным, что советский опыт с танками так и остался секретом для Америки в первые годы ее перевооружения.

Мне было особенно грустно слышать это, потому что у меня был шанс помочь моей новой родине – Америке – обогатить ее русским опытом. Но этот шанс был упущен не по моей вине. По прибытии в Соединенные Штаты мой знакомый, очень уважаемый американец, Уолтер Липпман, с которым я познакомился в Париже, рекомендовал меня Байрону Фою из корпорации «Крайслер» на работу в этом концерне. Наши переговоры затянулись, и я вынужден был пойти на другую работу.

Но возвращаюсь к моим туркам: после нескольких месяцев задержки наконец все танки, грузовики и автобусы, которые они заказали, были собраны на причалах в Одессе. Как раз в тот момент, когда специально пришедший в Одессу турецкий пароход готов был принять их на борт, раздался звонок от Розенгольца с приказом остановить погрузку.

– Но почему, Аркадий Павлович?

– Совет по лицензиям только что сообщил мне, что отгрузка не предусмотрена утвержденным Политбюро квартальным

планом экспорта.

– Но она есть в годовом плане, и Политбюро принимало специальное решение о поставке этой продукции в Турцию! Турецкий посол просил ускорить отправку. Мы можем понести убытки в виде штрафа!

– Это невозможно! Вы так же хорошо, как и я, знаете строгие инструкции по этому вопросу. Подготовьте проект решения Политбюро о дополнении квартального плана и немедленно заходите ко мне с ним. При первой возможности я доложу его Хозяину, – сказал мне Розенгольц, заканчивая затянувшийся разговор.

Но Хозяин был чем-то занят. Неповоротливая бюрократическая машина буксовала. Турецкое судно вернулось полупустым. Мы потеряли почти два месяца, что принесло убытки и нам, и туркам. Но неприкосновенность квартального плана была важнее соображений хорошей торговли, здравого смысла и коммерческой репутации. Не имея решения Политбюро о включении этой позиции в квартальный план, Розенгольц не мог разрешить мне отгрузку. Если бы он даже и принял такое решение, то таможенные власти в Одессе не разрешили бы его осуществить.

На такие формальности терялось очень много драгоценного времени. Я уже говорил, что Розенгольц, пытаясь ускорить события, часто сообщал мне о срочных решениях Политбюро, не дожидаясь поступления официальных документов на бланках Совмина из аппарата Молотова. Точно так же для ускорения Розенгольц часто обращался напрямую в Политбюро, минуя формальное правительство.

– Бармин, подготовьте проект решения Политбюро, – нередко говорил он мне. А затем сам правил этот проект и лично относил Сталину в один из приемных дней. Магическая подпись Сталина требовалась на всем. Она была не только на наших принципиальных документах, определявших основные коммерческие и финансовые показатели, но даже на планах грузоперевозок.

Я специально подчеркиваю, что Сталин постоянно и детально контролировал нашу работу потому, что во время второго московского процесса сломленный Розенгольц был вынужден признаться в том, что он троцкист, саботажник и фашистский агент. Его заставили признаться в том, что он использовал деньги из бюджета своего наркомата для финансирования троцкистских заговоров за рубежом, что он намеренно экспортировал в Японию крупные партии чугунного литья, в то время как советская промышленность простаивала (по крайней мере, так

утверждалось) из-за нехватки металла. Подобные «операции», о которых он упоминал в своих признаниях и о которых суд подчеркнуто не стремился получить детальную информацию, на взгляд тех из нас, кто знал все процедуры, были невозможны без одобрения Сталина. Я оставляю читателю самому догадываться, о чем я думал и о чем думали все другие советские деятели в промышленности, торговле, финансах и в самом партийном аппарате, которые, прочтя отчет о процессе, могли сразу сказать, что эти «признания» не могли отражать правду.

Что касается меня, то я испытал чувство негодования и отвращения, когда прочел «признания» Розенгольца о том, что он намеренно увеличил экспорт чугуна в Японию, чтобы подорвать советскую промышленность и помочь фашизму. Я вспоминал, как много раз меня вызывали к Розенгольцу, где я под расписку знакомился с последними решениями Политбюро об увеличении экспорта. Там я часто встречал своего коллегу, президента «Техноэкспорта» Полищука. Этот трест, само создание которого стало возможно в результате индустриализации, занимался в основном экспортом рельсов, сельскохозяйственного оборудования и т. п. в страны Востока. Я хорошо помню, как в документе за подписью Сталина, после параграфа, предписывающего «Автомотоэкспорту» направить новую партию грузовиков и оружия в Синьцзян, шел параграф, имеющий отношение к «Техноэкспорту», который я воспроизвожу почти дословно:

«Представленный “Техноэкспортом” квартальный план по экспорту чугуна признан неудовлетворительным. Принято решение увеличить экспорт на “Х” тысяч тонн и поручить Наркомвнешторгу под личную ответственность товарища Розенгольца и президента “Техноэкспорта” товарища Полищука в тридцатидневный срок выйти на рынок с упомянутыми выше дополнительными объемами экспорта. В осуществлении этой задачи следует принять во внимание особенно благоприятную конъюнктуру, сложившуюся на рынках Японии, Турции и Персии. Товарищам Орджоникидзе и Пятакову поручается обеспечить отгрузку требуемой продукции с предприятий по согласованию с товарищем Розенгольцем в указанный период. Председателю Комиссии партийного контроля товарищу Ежову поручается осуществить контроль за выполнением данного решения и доложить Политбюро».

Бедный Полищук, который подписывался под этим решением, наверное, не предполагал, что его шеф, Розенгольц, а может быть, и он сам заплатят головой за выполнение этого «категорического указания» Хозяина. Имя Полищука как непосредственно

ответственного за выполнение этих «предательских и профашистских» решений не было включено в список жертв очередного процесса, но его детальное знание всех обстоятельств делает вероятным, что и он был уничтожен.

Если бы Розенгольц захотел защищаться, он мог бы сослаться на публикации в «Правде» триумфальных заявлений ее редактора Мехлиса, смысл которых заключался в том, что об успехах индустриализации можно судить по резко возросшему экспорту чугуна во многие зарубежные страны, в частности, в Японию.

По мере расширения масштабов деятельности моего треста я стал испытывать трудности в получении необходимой техники для экспорта, поскольку мои запросы часто приходили в противоречие с потребностями Красной Армии. Наша промышленность не могла справиться одновременно с двумя заказами, и я вынужден был прибегать к помощи своих друзей в Генеральном штабе, а в самых трудных случаях идти к Гамарнику или Тухачевскому. Нам удавалось достигать компромисса, в одних случаях откладывались их заказы, в других – мои поставки. Когда нам не удавалось прийти к соглашению, мой шеф Розенгольц вынужден был спорить с военачальниками на заседаниях Политбюро или апеллировать напрямую к Сталину.

Генеральный штаб, как правило, шел мне навстречу, хотя мой экспорт создавал им только лишнюю головную боль. Иногда необходимые для экспорта материалы я получал непосредственно с армейских складов. И когда некоторые интенданты пытались всучить нам «завалы» пороха с истекшим сроком хранения или устаревшие противогазы, спор, как правило, решался маршалами в мою пользу. Со мной работали лучшие специалисты соответствующих управлений Наркомата обороны, готовили технические требования, участвовали в переговорах с зарубежными представителями, проводили испытания на армейских полигонах. Я помню, как на одном из приемов начальник бронетанкового управления Халепский в шутку пожаловался Тухачевскому, что «Бармин изматывает моих офицеров сверхурочной работой», и попросил маршала прекратить эту «эксплуатацию». Армейские эксперты были действительно первоклассными специалистами и оказывали нам крайне необходимую помощь. Единственным Управлением Наркомата обороны, с которым у меня были проблемы, было Управление Военно-Воздушных Сил, которое возглавлял мой старый друг и коллега по академии начальник ВВС Алкснис. В этот период осуществлялась очень энергичная программа развития ВВС, и весь его персонал был настолько загружен, что не мог уделять мне достаточно внимания.

В целом моя работа с военными шла довольно продуктивно, каждый понимал проблемы и трудности друг друга. Несмотря на несомненную полезность для Наркомвнешторга этих дружеских отношений, Розенгольц подозревал, что иногда я слишком восприимчив к точке зрения Генштаба.

– Как президент «Автомотоэкспорта» вы должны забыть о том, что являетесь офицером резерва. Забудьте про офицерскую солидарность. Вы должны проявлять твердость в отношении ваших друзей в Генштабе. Не будьте мягкотелы, – часто увещевал он меня.

Его недовольство усилилось в середине года, когда работа моего треста шла полным ходом. Меня неожиданно призвали на месячные военные сборы. Я объяснил Розенгольцу, что одновременно со мной на сборы было призвано несколько десятков высокопоставленных сотрудников правительственных учреждений, из промышленности и дипломатической службы. Но Розенгольц с характерным для него бюрократическим упрямством стоял на своем. Через пару месяцев после моего возвращения со сборов он встретил меня с торжествующей улыбкой.

– Теперь вы штатский человек, – сказал он. – По моей просьбе правительство исключило вас из числа офицеров резерва. Генштаб возражал, но мне это все же удалось. Вы можете получить документы об увольнении и теперь можете выступать перед ними как стопроцентный внешторговец. Вот так-то!

Такой неожиданный поворот событий не принес мне каких-то преимуществ и не облегчил мою работу. Но с ним была связана одна частичная компенсация, о которой я тогда не подумал. Красная Армия выплачивала увольняемым ветеранам пособие, пропорциональное их выслуге, в том числе в двойном размере за время участия в боевых действиях. Для меня, с учетом моих шестнадцати лет службы и оклада комбрига, это составило несколько тысяч рублей. Этот свалившийся с неба подарок был как нельзя кстати, поскольку мне предстояли большие расходы на питание, одежду и отдых детей и моей матери на юге. На какое-то время эти проблемы были решены.

В конце 1934 года я получил указание Политбюро провести переговоры с послом Афганистана о поставке в эту страну, на условиях очень благоприятного кредита, самолетов, горной артиллерии и другого вооружения.

Афганистан является буферным государством между Россией и Индией, и в силу этого Великобритания с неодобрением наблюдала за развитием и углублением отношений между Аманулой-ханом и Советским Союзом. Один из племенных вождей Бача-Саков собрал вокруг себя войско и при поддержке

англичан двинулся на Кабул. В Москву стала поступать информация о реальной угрозе режиму Амануллы-хана, и Политбюро решило послать на помощь отборные части Красной Армии. Две дивизии были погружены в эшелоны и отправлены в Афганистан. Командира советской группировки сопровождал министр обороны Афганистана. Наш контингент уже был готов войти в Герат, когда поступила информация о том, что Бача-Саков нанес поражение правительственным войскам и Аманулла-хан сбежал в Италию. Наши приготовления проходили в обстановке такой глубокой секретности, что внешний мир так и не узнал, что мы собирались воевать в Афганистане.

Однако вскоре англичане сочли Бачу-Сакова слишком «красным». Наивный кочевник, он попытался проводить независимую политику. В наших интересах было бы завоевать его доверие, но Сталин упорно отказывался иметь дело с этим «пастухом», который сверг принца королевской крови. Вскоре англичане переориентировались на другого члена королевской семьи, Надир-шаха, и помогли ему захватить власть. Бача-Саков был схвачен и казнен, а Сталин решил установить контакт с Надир-шахом. Мне было дано указание установить хорошее взаимопонимание с афганским послом с учетом нашей заинтересованности в экспорте вооружений. Он казался мне удивительно глупым и беспомощным, наши переговоры тянулись бесконечно и бестолково. Позже я подумал, что он, может быть, был не так уж глуп, а просто играл на руку англичанам.

Огромный район Синьцзян в Северном Китае был еще одним регионом, привлекавшим наше внимание. Отделенный от основного Китая пустынями и граничащий с Советским Союзом, этот район представлялся вполне логичным объектом нашей экспансии. Как раз в тот момент, когда я приступил к работе в «Автомотоэкспорте», Политбюро приняло решение об оказании полномасштабной помощи губернатору Синьцзяна, который был осажден в своей столице мусульманскими повстанцами, действовавшими при поддержке англичан. Отправка оружия была поручена мне, и это оказалось очень трудной задачей.

Учитывая, что повстанцы уже непосредственно угрожали столице Синьцзяна Урумчи, Политбюро приказало двум бригадам войск ОГПУ при поддержке авиации расчистить дороги, ведущие к столице, и подавить мятежников. Тем временем мы, действуя на основании того же решения Политбюро, подвезли к границе с Синьцзяном несколько самолетов и запас бомб. Все это имущество на какое-то время застряло на подходах к Синьцзяну, поскольку дороги были блокированы мятежниками. В конце концов этим имуществом занялось командование ВВС. Летчики

«доставили» груз губернатору, сбросив бомбы на головы мятежников в окрестностях столицы и посадив самолеты прямо в осажденной крепости. Я получил указание направить губернатору счет за бомбы и другое имущество.

Прорвавшись к Урумчи, советские войска разгромили повстанцев, и скоро в Синьцзяне прочно укрепилось просоветское правительство. Сталин намеревался сделать Синьцзян зоной исключительного советского влияния и нашим опорным пунктом на Востоке. Нам пришлось полностью экипировать десятитысячную армию Синьцзяна, от ботинок до гоминьдановских эмблем. К губернатору были направлены советские советники, которые практически выполняли функции министров. В Синьцзян была направлена комиссия под председательством родственника Сталина, Сванидзе, которая должна была составить план реконструкции района. Мне было поручено направить в регион инженеров для строительства дорог, аэродромов и ангаров по всему Синьцзяну.

Вскоре Синьцзян стал практически советской колонией. Советское правительство гарантировало стабильность ее валюты путем предоставления большого кредита, мы доминировали в сфере торговли и направляли политику этой китайской провинции. Являясь номинально частью Китая, Синьцзян направил в Россию своих консулов, и посол Китая, понимая ситуацию, не высказал возражений. Примерно в это же время, в 1935 году, Чан Кайши через свое министерство ВВС запросил у нас самолеты. Мне было дано указание ответить отказом. Сталин не хотел усиления позиций Чан Кайши.

У меня возник небольшой конфликт с ОГПУ по поводу артиллерии, которую мы направляли в Синьцзян. Губернатор сообщил, что присланные ему пушки уже были в употреблении. Проведенная проверка показала, что бригады ОГПУ, возвращавшиеся из Синьцзяна после подавления мятежа, решили «обменять» свои пушки на новые, не удосужившись информировать об этом Москву. Я пожаловался Розенгольцу и услышал в ответ: «Не ссорься с ОГПУ. Уменьши цену Синьцзяну и забудь об этом».

В целом я старался не допускать вмешательства ОГПУ в мои дела и только значительно позже узнал, как внимательно оно следило за моей работой. Моя рабочая нагрузка постоянно увеличивалась, часто приходилось работать по ночам, и я попросил Наркомвнешторг прислать мне еще одну стенографистку. Вскоре у меня появилась молодая женщина с хорошими рекомендациями наркомата. Одета она была по последней моде, причем в одежду явно иностранного

происхождения, с лакированными ногтями, ухоженной кожей и даже ювелирными украшениями, что было разительным контрастом с нашими бедно одетыми секретаршами. Она рассказала, что ее муж Грозовский работает в аппарате ЦИК и что недавно они возвратились из-за границы. У нее были превосходные рекомендации, и я поручил ей работу с секретной корреспонденцией. По существу, она в течение трех-четырех месяцев контролировала всю мою переписку. Однако она не отличалась особым служебным рвением и аккуратностью. И когда в конце этого периода она захотела уволиться по семейным обстоятельствам, я расстался с ней без сожаления.

Я бы не вспомнил об этом случае, если бы ее имя не появилось в парижских газетах, когда я там жил на положении беженца. Газеты были полны сообщениями о похищении лидера белогвардейской эмиграции генерала Миллера. В организации этого похищения французские газеты обвиняли советское посольство. Упоминался высокопоставленный сотрудник ОГПУ, пользовавшийся дипломатическим иммунитетом, который сразу после похищения неожиданно уехал в Москву. Полиция подозревала, что его жена, работавшая секретарем в торгпредстве, была причастна к этому заговору Решением суда ей было запрещено покидать Париж до окончания расследования. Она жила в здании посольства и всегда выезжала на роскошном посольском «кадиллаке» в сопровождении его сотрудников. Французские полицейские следовали за ней на некотором расстоянии в своем «ситроене».

Однажды, в самый разгар газетной кампании с требованием ее ареста, она, как обычно, выехала на прогулку и за ней, как обычно, последовал полицейский «ситроен». Она выехала за город, и, когда на дороге стало свободно, ее шофер нажал на газ и оторвался от преследователей. Больше они ее не видели. На следующий день французским газетам оставалось только констатировать, что «мадам Грозовская и ее муж находятся вне пределов французского правосудия». И тут я понял, что во время работы в «Автомотоэкспорте» я был под неослабным наблюдением ОГПУ.

Моя работа была связана с поддержанием постоянных контактов в дипломатическом корпусе, особенно с представителями стран Востока. Я не только имел возможность наблюдать их работу, но и в какой-то мере светскую жизнь. За пятнадцать лет, прошедших со времени моих контактов с Чичериным, произошли большие перемены. Теперь все великие державы имели своих дипломатических представителей в столице мировой революции. Несомненно, самыми выдающимися

личностями были Буллит, Васуф-Бей и Лукашевич, представлявшие соответственно США, Турцию и Польшу. Но самой оригинальной личностью был литовский посол Балтрушайтис, который перед войной был известным российским поэтом. Дипломатическая жизнь в Москве в эти годы была довольно колоритной, но я опускаю это время, чтобы перейти к описанию инцидента, который совершенно неожиданно для многих людей приобрел к настоящему моменту историческое значение.

Рождение парашютных войск

В 1934 году, еще будучи офицером резерва, я был призван на военные сборы и в течение трех месяцев работал в аппарате Генерального штаба. Там я имел возможность наблюдать создание нового вида вооруженных сил Красной Армии – парашютных войск. Многие выражали удивление по поводу того, что это военное новшество впервые появилось в индустриально отсталой стране. История создания парашютных войск, которая совершенно случайно стала мне известна, пока еще никем не рассказывалась. Это особенно интересно потому, что сама идея косвенно пришла к нам из Соединенных Штатов, правда, не из промышленной, а из развлекательной сферы.

В наших ВВС было много несчастных случаев, и пилоты, как из числа курсантов летных училищ, так и из состава регулярных частей, очень часто гибли. В 1929 году Алкснис решил послать в США эксперта для ознакомления с работами в области применения парашютов. Его выбор пал на Сергея Минова, молодого, энергичного майора ВВС, с которым я познакомился через генерала Александра Фрадкина, ставшего впоследствии главой советской военной закупочной комиссии в США.

По пути в США Минов остановился в Париже, и я вместе со своим заместителем по авиационным закупкам Фрадкиным провел с ним несколько часов. Минов был настроен несколько скептически в отношении возможных практических итогов своей поездки. Что ему позволят посмотреть? Да и вообще, есть ли там что-то полезное для нас? «Но все-таки, – сказал он, – если там есть что-то стоящее в парашютном деле, я до этого доберусь».

В Америке он провел почти год и на обратном пути снова в Париже предстал перед нами полон энтузиазма. Несмотря на то что США еще не признали Советскую Россию, его встретили очень вежливо, показали авиационные заводы, аэродромы и летные школы. В Америке он совершил свой первый парашютный прыжок; качество американских парашютов и уровень подготовки американских летчиков, на его взгляд, были очень высокими.

Но даже за выпивкой в парижском кафе он не мог удержаться от высказываний в типично советском духе:

– Я видел некоторые вещи, за которые было просто стыдно. Чтобы свести концы с концами во время депрессии, первоклассные пилоты вынуждены подрабатывать, совершая прыжки с парашютом для развлечения публики. Подумать только! Я видел, как один пилот прыгал с парашютом на сельской ярмарке! Изобретение, предназначенное для спасения

человеческих жизней, превращается в развлечение для зевак!

– Конечно, это капиталистическая Америка, – поддержали мы его. К счастью, в Советском Союзе, думали мы, где энергия людей используется в плановом порядке, классным пилотам не приходится зарабатывать себе на жизнь парашютными прыжками на ярмарках.

Тогда мы не знали, что в Америке парашютные прыжки на ярмарках были традиционным развлечением с момента изобретения парашюта. Мы с Фрадкиным уже собирались переменить тему разговора, а Минов все продолжал переживать за американских летчиков.

– И все-таки, – завершил он, – вы бы видели восторг публики! В этом есть какой-то пропагандистский потенциал.

В своем докладе Алкснису Минов упомянул большой спортивный интерес, который вызывали прыжки с парашютом, и предложил использовать парашютизм для привлечения внимания советского населения, и особенно молодежи, к авиации. Алкснис передал эти соображения Сталину, которому идея понравилась, и колеса бюрократической машины завертелись. В газетах стали появляться статьи с восторженным описанием парашютных прыжков. Начали создаваться парашютные клубы, а сами парашютисты получать всесоюзную известность. Юноши и девушки, затерявшиеся в безликой массе, обнаруживали, что могут быстро стать известными, занимаясь парашютным спортом.

Радио и газеты постоянно рассказывали об успехах парашютистов, каждый орган печати считал это своим долгом. Для России это скоро стало тем, чем бейсбол являлся для Америки. Проводились соревнования по затяжным прыжкам. Прыжки совершались в различных условиях: зимою, ночью, над лесами, над озерами, одиночно и в группе, с оружием и без него. По радио сообщалось, что сын колхозника Иван Петров решил навестить родителей, но возвращается он в родительский дом не пешком и не на поезде, а падает с неба на парашюте. Парашютный прыжок Ивана к себе домой жители его села или городка будут обсуждать неделями.

Довольно быстро советские парашютисты установили значительное количество мировых рекордов, а многие юноши и девушки были удостоены правительственных наград. В результате этой пропагандистской кампании десятки тысяч молодых людей стали классными парашютистами. Многие увлеклись авиацией и добровольно поступили на службу в Военно-Воздушные Силы. Другие, будучи призваны на военную службу, оказались в пехоте. Высшее командование обнаружило, что в дополнение к авиации, приданной каждой дивизии, в сухопутных войсках появились

тысячи парней, умеющих прыгать с парашютом. Было принято решение выделить их в отдельные подразделения для специальной подготовки.

Вот так из идеи, пришедшей в голову советскому летчику, наблюдавшему, как живо реагировала американская публика на парашютные прыжки на американской сельской ярмарке, родились советские парашютные войска.

Советские стратеги уже не верили, что революция на Западе произойдет в результате стихийных выступлений трудящихся. Она произойдет в результате войны между Советской Россией и капиталистическим миром. В случае войны советские парашютисты, выброшенные за линией фронта в основных индустриальных центрах противника, поднимут рабочих на борьбу с капиталистами в тылу. У парашютных войск появилась очень серьезная миссия, и они стали элитными частями Красной Армии.

В 1935 году Красная Армия проводила крупные учения в Белоруссии, на которых я, уже как гражданское лицо, был в качестве гостя генерала Уборевича. Присутствовали также военные наблюдатели многих иностранных государств. На этих учениях, которые проводились командующим округом, присутствовали маршалы Ворошилов, Тухачевский и другие крупные военачальники, а также военные наблюдатели из многих государств.

С высокой платформы, построенной на вершине холма, мы наблюдали за действиями войск. Мы увидели первое применение парашютного десанта для захвата плацдарма, пригодного для приема транспортных самолетов. Операция, занявшая всего несколько минут, произвела огромное впечатление. Первые 1200 парашютистов приземлились в квадрате размером с небольшой аэродром. Через десять минут они полностью взяли под контроль район десантирования, и тут же под прикрытием пулеметного огня десантников стали прибывать тяжелые транспортные самолеты. Они высадили 2500 пехотинцев; из-под брюха самолетов с урчанием выползли легкие танки, появились полевые пушки. Таким образом, парашютисты обеспечили десантирование бригады численностью 3500 человек с легкими танками и артиллерией.

Все иностранные наблюдатели не могли скрыть своего восхищения действиями этого вида вооруженных сил. Было ясно, что это было новым словом в военной стратегии, и я уверен, что ни один наблюдатель не преминул отметить это в своем отчете. В 1936 году была проведена серия из семи или восьми таких же учений; завершилась она учениями Московского военного округа,

когда в присутствии Молотова и Ворошилова был высажен десант в 5000 человек.

После окончания учений в Белоруссии командующий, генерал Уборевич, устроил банкет в честь иностранных наблюдателей. Многие считали, что именно эти страны станут нашими союзниками против Гитлера. Кульминационным моментом банкета был тост Уборевича, который сказал: «Я поднимаю этот бокал за вооруженные силы Великобритании, Франции и Чехословакии и представляющих их здесь наших уважаемых гостей».

С ответным тостом от имени британской делегации выступил командир Второй Олдершотской дивизии, который на превосходном русском языке сказал:

– На нас произвели сильное впечатление ваши огромные технические достижения. Особенное восхищение вызвали действия парашютных войск. Я пью за процветание Красной Армии и здоровье маршала Ворошилова.

Этим английским генералом был сэр Арчибальд Уавелл, который сегодня, после своего опыта на Крите, несомненно, еще выше оценивает это техническое достижение Красной Армии. Я не сомневаюсь, что он и тогда составил подробный отчет, но в то время британское и французское командование сочли это нововведение чем-то театральным и не заслуживающим практического внимания. Зато это хорошо поняли немцы.

Гитлер, не теряя времени, начал создавать свои парашютные части. Немецкая эффективность и организация в сочетании с великолепной русской идеей позволили ему вскоре превзойти достижения Красной Армии. Достаточно вспомнить Роттердам, Осло и Крит. От норвежских фьордов до греческих островов немецкие парашютисты вписали новые страницы в мировую военную историю. Все эти города были захвачены парашютистами-десантниками, этим новым видом вооруженных сил, задуманным и созданным под руководством маршала Тухачевского и его верных соратников: генералов Якира, Уборевича и Алксниса. А в это же время Сталин расстреливал создателей парашютных сил, что едва не привело к их утрате. И как результат – первая же попытка применить парашютные десанты в реальной войне с Финляндией окончилась полным провалом. Причина заключалась не только в уничтожении руководства, сама цель, для которой эти войска использовались, была прямо противоположна тому, ради чего они создавались. Вместо горячего приема со стороны финских рабочих, жаждущих сбросить ярмо капитализма, советские парашютисты в тылу финнов были враждебно встречены представителями всех слоев

населения, которые защищали свою страну от вторжения советской армии.

Немцы, лучше организованные и более искушенные в «пиратских» делах, на первых порах добились больших успехов. Однако теперь мощные американо-английские парашютные силы расплачиваются с ними за полученные уроки.

Автомобильный чиновник в сетях бюрократии

Основным предметом нашего автомобильного экспорта должен был стать трехтонный грузовик «ЗИС», построенный по американским стандартам на Московском заводе имени Сталина. Помимо этой модели, наш завод в Горьком выпускал грузовики поменьше и легковые автомобили по чертежам Генри Форда. Дальновидный господин Форд при подписании контракта обусловил, что мы не можем экспортировать эти автомашины, хотя в 1934 году мы все еще производили фордовскую модель 1930 года. Таким образом, чтобы предложить моим клиентам на Востоке грузовики и легковые автомобили, мне надо было сначала создать правовые предпосылки для их экспорта. С этой целью я заключил соглашения с английской компанией «Воксхолл» и египетской компанией «Форда», по которым мой трест стал монопольным торговым агентом этих компаний в Монголии, Синьцзяне и Северном Афганистане.

Для привлечения внимания к нашей автомобильной промышленности было решено организовать автопробег на грузовиках «ЗИС» с полным грузом по дорогам Персии и Афганистана. Оснащенные мощными двигателями, которые создавались без особого акцента на экономичность, эти грузовики совершили рекордный автопробег по очень сложной местности. По всему маршруту местные власти с почетом встречали наших водителей и механиков, устраивали для них банкеты, которые получали широкую огласку. На одном из этапов маршрута в Персии наш караван подъехал к неглубокой речушке, мост через которую был разрушен наводнением. У реки уже стояли в ожидании парома грузовики американских и английских моделей, которые со своими более экономичными и менее мощными двигателями не решались идти вброд. Но наши водители просто нажали на педаль газа, проскочили реку и скрылись за обратным скатом высотки на другом берегу. Успех автопробега во многом способствовал тому, что мы продали довольно много автомашин в Персии и Афганистане. Я предложил организовать такой же автопробег в Финляндии и отправить пару автомашин на парижскую выставку. Розенгольц доложил о моих планах в Кремле, но Сталин почему-то с ними не согласился.

На счету моего треста в одном из лондонских банков был небольшой остаток в размере четырех-пяти тысяч фунтов

стерлингов, образовавшийся за счет комиссионных, которые мы получили от продажи американских и английских автомашин на рынках стран Востока. Ожидая приезда важных покупателей из Персии и Афганистана, я предложил купить за счет этих средств для представительских нужд треста комфортабельный американский легковой автомобиль. Розенгольц не мог взять на себя ответственность за решение этого вопроса и доложил Сталину, но тот опять отказал. Вот так и пришлось мне, главе автомобильного треста, возить своих иностранных гостей на арендованных у «Интуриста» автомобилях.

Мои трудности не ограничивались чисто внутренними бюрократическими препонами, а нередко затрагивали и собственно сферу внешней торговли. Однажды я направил своего заместителя в Персию, где он заключил выгодный контракт на поставку двухсот пятидесяти грузовиков. В это же время в Тегеране находился заместитель наркома внешней торговли Элиава, старый большевик, грузин по происхождению. Он остался очень доволен своей поездкой и представил в Политбюро отчет, на основе которого Политбюро приняло решение «увеличить экспорт грузовиков в Персию до четырехсот единиц». По чьей-то халатности в аппарате Розенгольца меня об этом решении в известность не поставили. Я и не подозревал о существовании этого решения, пока меня не вызвали на заседание Комиссии партийного контроля, весьма серьезной организации, которая бдительно наблюдала за работой коммунистов.

В то время председателем комиссии был Ежов, который позже, после расстрела Ягоды, возглавил ОГПУ как раз в самые безумные годы чистки 1937–1938 годов. Затем в один из дней он был неожиданно снят со своего поста и исчез. Ни слова не было сообщено о судьбе этого человека, который одно время являлся секретарем ЦК и председателем КПК. Ходили слухи, что он окончил свои дни в сумасшедшем доме, и это представляется вполне правдоподобным.

Один из заместителей Ежова, Жуковский, сурово отчитывал меня.

– Моей вины здесь нет, – пытался защищаться я. – Мне не сообщили об этом решении. Кто виноват в том, что такое важное решение было доведено до всех, кроме того, кто должен был его исполнять?

– Незнание закона не оправдывает его нарушение, а решения Политбюро имеют силу закона.

– Все равно это решение не могло быть выполнено потому, что Советско-Персидский банк не дает нам больше кредитов.

Этот ответ вызвал ярость Жуковского. Он не привык, чтобы с

ним спорили. Позже я узнал, что от тех, кого он вызывал для допроса, ожидалось, что они сразу будут признавать себя виновными. «Не может быть выполнено!» – эту фразу просто нельзя было использовать применительно к решениям Политбюро. В моем случае он решил разыграть удивление.

– Что?! Вы говорите, что наш экспорт финансируется нашим собственным банком? А кто получает от этого прибыль? Наверное, какая-то капиталистическая фирма? Вы понимаете, что вы совершаете преступление?!

Было совершенно очевидно, что он не имел представления о том, как строилась торговля с Востоком. Все страны-экспортеры создают банки для обеспечения собственных финансовых операций. Наш контракт в Персии был заключен с фирмой Рамазанова, который для оплаты наших поставок и одновременного кредитования своих контрагентов в Персии брал необходимый кредит в Советско-Персидском банке. В этом не было никакого риска. Банк сохранял за собой право собственности на грузовики до тех пор, пока не был выплачен кредит. К тому же фирма Рамазанова пользовалась вполне солидной репутацией.

Я пытался объяснить это Жуковскому, но он просто не хотел меня понимать. К тому же еще одна выяснившаяся деталь лишь увеличила его ярость. Мой заместитель Нодель, которого я посылал в Тегеран, был беспартийным.

– Бармин, вы совершили очень серьезное нарушение. Это похоже на халатность. Мы примем к вам необходимые меры.

Я понимал, что у меня очень мало шансов доказать свою невиновность. Единственное, что мне оставалось, – попробовать выполнить решение Политбюро. Для этого мне необходимо было получить дополнительный кредит в московском Внешторгбанке. Директор банка Сванидзе, с которым я поговорил, отнесся с пониманием к моей проблеме. Но когда дело дошло до выделения денег, все вдруг застопорилось. Оказалось, что виной всему был телефонный звонок из Комиссии партийного контроля. Сотрудники банка испытывали чувство крайней неловкости, но я видел, что и над ними нависла пугающая тень КПК. Они были так напуганы, что направили в советский банк в Тегеране телеграмму с указанием прекратить кредитование Рамазанова, что сделало невозможным осуществление даже первоначального контракта на двести пятьдесят грузовиков. Когда я добрался домой, то обнаружил, что дома меня уже ожидала повестка с вызовом в экономический отдел ОГПУ. Это означало уже второе расследование по одному и тому же «нарушению» и в таком же абсурдном ключе. Однако ОГПУ, узнав о ведущемся КПК

расследовании, к счастью, свое прекратила Перед началом заседания Комиссии партийного контроля, на котором она должна была вынести свое решение, я столкнулся с заместителем Розенгольца Логановским. «Думаю, что тебе объявят выговор», – сказал он. Выговор – это вторая по строгости мера партийного взыскания. Идут они в следующем порядке – предупреждение, выговор, строгий выговор и исключение из партии.

На заседании председательствовал заместитель Ежова Шкирятов. Одно обстоятельство, похоже, беспокоило комиссию и свидетельствовало в мою пользу. Фирма Рамазанова, лишенная советского кредита, обратилась в банк Ирана и сумела получить достаточно средств для оплаты оставшейся партии наших грузовиков. Однако срок их поставки уже истек; переговоры были прерваны, и уже не было никакой надежды выполнить решение Политбюро об увеличении экспорта грузовиков. А это уже было не столько следствием того, что меня не информировали о решении Политбюро, сколько результатом грубого и глупого вмешательства КПК в мои отношения с банком. Для того чтобы наказать меня за «преступление», которого я не совершал, Комиссия партийного контроля фактически срывала наши важные экспортные планы и подрывала в Персии нашу репутацию как надежного партнера. Розенгольц и Логановский прекрасно это понимали, но кто отважится сказать правду в лицо моим партийным судьям?

Жуковский в своем заключении обвинял меня в том, что по халатности я заключил контракт и предоставил кредит слабой фирме, не имевшей надежных гарантий, и тем самым создал угрозу причинения материального ущерба государственным интересам. Я ссылался на благоприятный отчет Элиавы и утверждал, что Рамазанов, несмотря на то что ему было отказано в советском кредите, исправно расплачивался с нами. Государственный банк Персии поддержал его и тем самым подтвердил прочность его положения. Соответственно мы не понесли никакого материального ущерба Я чувствовал, что моя защита не достигает своей цели и лишь еще больше злит комиссию, поскольку показывает ее неправоту. Шкирятов изменил направление атаки:

– Но решение Политбюро же не выполнено.

– Меня об этом решении не информировали. Я сделал все, что было в моих силах, и не моя вина, что мне не удалось достичь результата.

На этом же заседании комиссии рассматривался вопрос Левского, одного из директоров советского нефтеэкспортного синдиката, который обвинялся в таких же «грехах», как и я. Он не

пытался защищаться. Признал себя виновным и просил о снисхождении. В перерыве Логановский сказал мне:

– Вы ведете себя как ребенок. Почему вам, как другим, не признать свою неправоту? В этом случае вы отделаетесь предупреждением.

Левский действительно получил предупреждение, но мне объявили выговор. Это было первое взыскание за семнадцать лет моего пребывания в партии, но особенно больно было сознавать его несправедливость. Розенгольц отказался вмешаться. Когда я сказал ему, что в подобной ситуации нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе без колебаний защищал своих сотрудников от произвола Ежова, он сухо посоветовал поговорить об этом с Элиавой. Элиава согласился в моем присутствии позвонить Ежову и попытался убедить его отменить выговор. Но говорил он с таким недостойным старого большевика подобострастием, что я сразу понял бесполезность такого заступничества. Новый фаворит Сталина, Ежов, уже сосредоточил в своих руках огромную закулисную власть, и его боялись даже самые видные члены партии.

По служебным делам мне приходилось часто бывать на автозаводе имени Сталина в Москве и на Горьковском автозаводе. Оба они были постоянно на осадном положении. Там царила атмосфера лихорадочного возбуждения. Работа шла круглосуточно; везде были партийные инструкторы; директора были настолько утомлены, что почти ничего не соображали; у них не оставалось времени для сна, еды и бритья, не говоря уже об отдыхе. В любой момент мог разразиться какой-то новый кризис. Иногда его причиной были люди, иногда сырье, иногда управленческий аппарат. В любой час дня и ночи в критический момент что-то шло не так, но, несмотря ни на что, план выпуска автомобилей должен был выполняться. Каждый был лично ответствен и знал, что за провал может поплатиться жизнью.

Я как сейчас вижу директора завода имени Сталина Лихачева, который с багровым лицом мечется по заводу в окружении группы инженеров и мастеров, кричит, ругается, угрожает. Что он давал заводу, то и получал от него. Это был настоящий ад. В любой момент мог подбежать посыльный с криком: «Центральный Комитет вызывает!» – и Лихачев бросался навстречу новым испытаниям. В таких ужасающих условиях он должен был руководить работой коллектива в двадцать пять тысяч человек, из которых десять тысяч занимались строительством новых цехов. Его проблема осложнялась тем, что отрасли промышленности, которые должны были снабжать его, практически еще не существовали. Он вынужден был создавать

собственное производство для обеспечения своих собственных потребностей и сам управлять этим производством.

В Горьком была аналогичная ситуация, под началом Дьяконова было двадцать семь тысяч человек и еще пятнадцать тысяч было занято на строительстве. Он был в своем кабинете круглосуточно, но начальникам отделов с большим трудом удавалось попадать к нему раз в неделю для серьезного разговора. Он был завален бумагами, инструкциями, планами, чертежами или занят непрерывными совещаниями, растрачивая свою энергию на бесчисленные мелочи и пустяковые неполадки. Он вложил всю свою душу в это производство, полностью измотал себя и в конце концов сгинул, уступив место новому директору. Его судьбу разделили тысячи директоров заводов, трестов, колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций и других предприятий, которые погибли в чистках 1937–1938 годов. Они ушли в небытие. Их место заняли другие. Но система осталась прежней.

В общей иерархии автомобильной промышленности Лихачев и Дьяконов подчинялись Дыбецу, бывшему рабочему-анархисту. В 1920 году он вернулся из эмиграции в Америке и по рекомендации Бухарина, с которым был знаком в Нью-Йорке, вступил в партию большевиков. Это был очень энергичный и способный человек, сыгравший большую роль в создании советской автомобильной промышленности. Его карьера закончилось тюрьмой, где он оказался вместе со своим заместителем Майерсом, вернувшимся из Америки в 1938 году. Обнаруженная в архивах ЦК партии положительная характеристика, данная Дыбецу Бухариным, сыграла роковую роль в его судьбе. Насколько я знаю, всех, кого поддерживал и выдвигал Бухарин или его товарищи по процессу на протяжении двадцати лет, постигла такая же судьба.

Я помню, каким разительным контрастом явилось для меня посещение в 1932 году завода Форда в Антверпене, где я познакомился с директором и мог наблюдать его стиль работы. Он принял меня в своей застекленной конторке, расположенной в самом центре производства. Для меня уже один вид его рабочего места был достаточно красноречив. Вместо заваленного бумагами, планами, чертежами и запечатанными пакетами стола, типичного для любого советского директора, я увидел чистый стол с одним блокнотом. Сам директор был спокоен и весел. Во время нашей беседы он спокойно сидел за столом, лишь время от времени отдавая короткие распоряжения по телефону. Для человека, воспитанного в советской действительности, было просто невероятно наблюдать работу фабрики в такой спокойной

обстановке. Я ушел от него с чувством глубокого уважения к американской системе.

В другом случае мне было поручено показать парижский завод Ситроена Оболенскому-Оссинскому, потомку старинного княжеского рода Оболенских и одновременно старому большевику. Это был широко эрудированный человек, который первым высказался за создание советской автомобильной промышленности. Господин Ситроен проявил интерес к нашим планам и их первым результатам. Оссинский повторил последние хвастливые заявления пятилетнего плана. «Один наш завод в Горьком, – улыбаясь, заявил он, – будет выпускать больше автомобилей, чем все ваши заводы».

Тактичный ответ господина Ситроена сводился к следующему:

– Меня восхищают ваши усилия, но мне кажется, что столь высокая концентрация производства потребует исключительно высокой технической эффективности, бесперебойного поступления сырья и материалов. Пока таких условий нет, я бы считал более разумным построить несколько заводов меньшего размера. Управление гигантскими предприятиями – очень сложная проблема.

Этот умный капиталист и опытный инженер был абсолютно прав, и он это знал. Наше некритическое использование американского опыта строительства огромных предприятий в принципиально иных условиях часто приводило к плачевным результатам. После первых неудачных результатов Сталин изменил свое мнение: то, что раньше считалось прогрессивной «американской системой», стало преступной «гигантоманией». Нашлись и козлы отпущения, на которых взвалили ответственность за допущенные им ранее ошибки.

Я больше не встречал Оссинского. Он стал директором Центрального статистического управления, а потом был арестован. Как и все, кто верно служил республике в первый ее период, он вдруг оказался «врагом народа».

В одно из своих посещений московского автомобильного завода Орджоникидзе увидел подготовленный на экспорт сияющий грузовик. Я настоял на том, чтобы грузовики, идущие на экспорт, имели более элегантную отделку, чем остальная масса, предназначенная для внутреннего рынка.

– Вся продукция должна быть такого качества! – заявил он Лихачеву, как будто для этого просто было достаточно одного его приказа.

– Будет исполнено, – не моргнув глазом ответил Лихачев.

Конечно, ничего не было и не могло быть исполнено на том

оборудовании, которое имелось в цехах, и при постоянной погоне за количеством лозунг того же Орджоникидзе – «Всегда опережать план!» – делал это невозможным.

Мне сообщили об этом имперском указе как раз в то время, когда я занимался родственной проблемой. Наши трехтонки так понравились персам, что они стали наращивать кузова, увеличивая их грузоподъемность до пяти-семи тонн. Это стало возможным потому, что, принимая во внимание состояние русских дорог, мы заложили в конструкцию полуторный запас. И все же наша модель была слишком мощной и тяжелой. Я предложил некоторую модификацию, которая дала бы нам более экономичную машину с грузоподъемностью пять-шесть тонн, в два раза больше наших рекламных параметров. Но это потребовало бы повышения уровня организации всего производства и точности обработки деталей на некоторых участках.

Вооружившись письмами персидских водителей наших грузовиков, я без труда убедил Лихачева и его шефа Михаила Кагановича, брата Лазаря Кагановича. В журнале «За рулем» была опубликована моя статья по этому вопросу. Однако Орджоникидзе отодвинул все в сторону со словами: «Нет! Лучше подождать, пока мы построим новый завод. Деньги и трудовые ресурсы у нас всегда найдутся». Он думал, что одним своим приказом может увеличить выпуск грузовиков, но не сумел оценить предложения о модернизации производства и создания на этой основе новой модели. Короче говоря, он предпочитал растрачивать капитал на строительство ненужных новых заводов, а не повышать технический уровень существующих.

Как я уже говорил, мы продолжали одновременно с нашими грубыми грузовиками поставлять в Монголию и Синьцзян лимузины и другие легковые автомобили фирм «Воксхолл» и «Форд». Контейнеры, отправленные Фордом из Нью-Йорка, проделывали путь в несколько тысяч миль до Ленинграда или Одессы, а оттуда почти еще столько же по железной дороге через Сибирь и Киргизию. В Верхнеудинске сияющие лаком и хромом «форды» извлекались из контейнеров и по грязным дорогам через многочисленные речки и болота доставлялись в Улан-Батор.

Монгольское правительство распределяло их среди высокопоставленных функционеров народной партии. Все они, как правило, были заядлыми охотниками и скоро нашли довольно оригинальное применение этим чудесам инженерной мысли. Шофер гнал машину на полной скорости по бескрайней степи, а седок, стоя во весь рост, стрелял зайцев и птиц, которые попадались на дороге. От такого жестокого обращения машины

быстро приходили в негодность, и нам приходилось поставлять огромное количество запасных частей, на что уходили месяцы.

Совсем другие проблемы возникали в более цивилизованных Турции и Персии. Торговля с этими странами требовала большей гибкости и быстроты. Мы справлялись с этим только за счет усовершенствования наших методов работы. В России мы могли позволить себе продавать автомашины без запасных частей и заставлять покупателя месяцами ждать их. В Турции и Персии то, что не могли поставить мы, тут же поставляли другие, мы оказывались в проигрыше и теряли своих клиентов. На совещании директоров трестов с участием Розенгольца я предложил создать склады запасных частей в Ашхабаде, Баку и Одессе, что позволило бы организовать быстрое снабжение запасными частями, но чиновники наркомата оказали сопротивление, которое оказалось непреодолимым.

Я выступал очень резко, но мои аргументы были встречены ледяным молчанием, и предложение было отклонено. Розенгольц, который до этого был настроен ко мне очень дружески, вдруг стал относиться ко мне с неприязнью. Еще бы, я позволил себе критиковать бюрократию! Этого он стерпеть не мог. Он принял это слишком близко к сердцу – как нападку на иерархию, в которой он занимал не последнее место.

Отношение Розенгольца ко мне становилось все более прохладным. Его аппарат быстро уловил это, и мне стало работать еще труднее. Мои заявки на технических специалистов и докладные оставались без внимания. Я знал, что Розенгольц получил мое письмо, но он по два месяца не отвечал на него, хотя мы встречались почти каждый день. Видя такое отношение, я сам стал напоминать ему о своих проблемах. Проработав два года в «Автомотоэкспорте», я отказался от мысли занять какое-то место в руководящем эшелоне внешнеторговой иерархии. Политическая обстановка и партийная жизнь настолько опротивели мне, что мне вновь захотелось найти себе какое-то тихое занятие. Я снова стал надеяться, что с помощью Генштаба смогу попасть в авиационную академию. И когда наконец Розенгольц отпустил меня и мы прощались, я чувствовал к нему почти дружеское расположение. Никто из нас не знал, что это было наше последнее рукопожатие.

В то время Розенгольц был чуть старше пятидесяти лет – широкоплечий красивый еврей, с массивной челюстью и железной волей. Я был знаком с его дочерью от первого брака, девушкой, которая внешностью и характером во многом походила на отца. Случилось так, что мы встретились в санатории в Гагре в 1935 году, где она остановилась по пути на виллу друга своего

отца Лакобы. В тот вечер мы танцевали с ней на веранде санатория, и мне показалась она очень напряженной и неестественно веселой. Позже мне рассказали, что у нее были сложности в семейной жизни. Через два дня пришло сообщение, что она застрелилась.

Ее отец вел отшельническую жизнь в правительственном доме недалеко от Кремля, посвящая все свои вечера работе. Он был сильным руководителем и прирожденным бюрократом, умевшим употреблять власть, и в тот период, когда я знал его, он был безоговорочно предан Сталину. Однако он знал Троцкого и в 1923–1928 годах принадлежал к оппозиции, пока она имела шансы на успех. С тех пор он служил Сталину пунктуально, без малейших сомнений и колебаний.

Не так давно он женился на молодой женщине, которая работала в его аппарате, веселой, рыжеволосой, с весьма поверхностным образованием, воспитанной в религиозной семье. Напуганная накатывающимся валом репрессий, она дала ему ладанку-талисман, который был найден у него при аресте и фигурировал на третьем московском процессе. То, что было знаком внимания и беспокойства напуганной и дезориентированной женщины, стало объектом насмешек сталинских прокуроров.

Его последними словами на процессе, после того как он сам заклеймил себя как гнусного предателя, были: «Да здравствует Сталин!». На следующий день его расстреляли.

«Жизнь стала веселей, товарищи»

За три года, которые я проработал в Москве, произошли самые важные изменения в политике Сталина с момента его прихода к власти. Именно в 1933–1935 годах была определена судьба Советского государства и в значительной степени современная европейская история, хотя мы тогда об этом не подозревали. Эти перемены не были поняты ни иностранными корреспондентами, ни заезжими литераторами. Они просто не могли быть поняты людьми, находившимися за пределами узкого круга руководителей большевистской партии. Поэтому я хочу посвятить отдельную главу этим изменениям и тому влиянию, которое они оказали на взгляды и чувства.

Давайте вернемся в 1933 год.

Лишь ценой больших усилий Сталину удавалось преодолеть последствия голода 1931–1932 годов, который последовал за принудительной коллективизацией. Во время этого голода Сталин понял, что это напрямую затрагивало вопрос о его лидерстве. Еще один неурожай мог означать для него катастрофу. Весной 1933 года вся энергия партии была направлена на весенний сев. На село были направлены тысячи коммунистов. ОГПУ неустанно трудилось над выявлением неверящих и недовольных. Нервы у всех были напряжены до предела, но кампания увенчалась успехом.

К лету стали поступать сообщения о хороших видах на урожай, и напряжение в партии спало. Многие сомневавшиеся начали думать, что, несмотря на авторитарные методы Сталина – а может быть, и благодаря им, – страна в конце концов преодолеет трудности. Я сам с надеждой следил за улучшением экономического положения. Как и ожидалось, первые признаки улучшения жизни стали заметны сначала в Москве: в магазинах постепенно стали появляться давно забытые деликатесы, стало легче купить одежду, хотя, разумеется, от этого выигрывали в первую очередь те, у кого был полный кошелек.

Настроения в партии уже давно не были такими оптимистичными. Мы надеялись, что успехи в области экономики позволят ослабить партийный режим, положить конец репрессиям. Нам хотелось единства в партии и мира в стране. Этого требовала и международная обстановка, и внутреннее положение. Вместо пролетарской революции в Германии, которая предсказывалась советскими лидерами, к власти пришли нацисты. Германия вооружалась без каких-либо помех со стороны Англии и Франции, и было похоже, что свое оружие она может

обратить против нас. Советский народ должен быть готов к войне, – говорилось все чаще с трибун. Но для этого нужны были не только слова. Для этого требовалось примирение как внутри самой партии, так и партии с народом. Такая линия способствовала бы росту производства, укреплению морали и росту авторитета власти в стране. Это также облегчило бы нам сближение с демократическими странами на основе политики «коллективной безопасности», провозглашенной Литвиновым.

Эта линия постепенно стала реализовываться. Многие большевики, ранее исключенные из партии за оппозиционные взгляды, были восстановлены в членстве. Тысячи из них вернулись на производство. Нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе, к примеру, даже назначил некоторых из них на ключевые посты в наркомате.

Важную роль в этих переменах играл Сергей Киров, член Политбюро и секретарь Ленинградского обкома партии. Ему удалось частично оживить прежний дух либерализма, что позволило Ленинграду стать в своем роде по-настоящему культурным и научным центром страны. В своей области он, насколько мог, проводил политику «примирения». В то же время в Политбюро он был верным сторонником «генеральной линии» Сталина, и это снимало любые сомнения в его коммунистической убежденности. Все это в сочетании с организаторскими способностями и замечательным ораторским даром – здесь он уступал только Троцкому – скоро сделало его выдающимся пропагандистом политики примирения.

В числе восстановленных в партии старых большевиков были Каменев и Зиновьев. Как показатель того, до каких пределов Сталин был готов следовать политике примирения, рассматривалось то, что обоим им была дана возможность выступить на очередном съезде партии в феврале 1934 года. Всюду оживились дискуссии, стал спадать страх перед ОГПУ. Киров активнее других выступал за ограничение деятельности карательных органов. Было хорошо известно, что в 1933 году Сталин предлагал расстрелять Рютина, оппозиционера, который выступил с программой, открыто требовавшей смещения Сталина. Киров убедил членов Политбюро не проливать кровь товарища только за то, что он придерживался иного мнения. Сталин утверждал, что в программе Рютина содержался призыв к его убийству, но он не стал настаивать на своем и уступил Кирову – жизнь Рютину была пока сохранена. Известно также, что, когда в 1934 году ОГПУ выявило «террористические» настроения среди молодых рабочих и студентов, Киров выступал за умеренное отношение к ним, считая, что вся их «заговорщическая»

деятельность не пошла дальше молодой горячности.

На съезде партии в феврале 1934 года Кирова встретили овацией. Окончание его выступления съезд приветствовал стоя. В кулуарах съезда даже велись разговоры о том, не была ли овация Кирову более бурной и продолжительной, чем Сталину. Киров был избран одним из секретарей ЦК, а это означало, что он переедет в Москву и будет работать в центральном партийном аппарате рядом со Сталиным. На большом митинге, состоявшемся на Красной площади в честь съезда, Киров выступал от имени делегатов. Его пламенная речь была настоящей одой наступающему новому времени и вызвала огромный энтузиазм участников митинга.

Сталин, похоже, разделял взгляды Кирова на примирение, которые тот так ярко отстаивал в своих выступлениях. И он пошел дальше в этом направлении, объявив о подготовке новой конституции, которая, по его словам, должна была стать «самой демократической в мире». В состав конституционной комиссии вошли бывшие лидеры оппозиции Радек, Бухарин и Сокольников. Нам казалось, что годы раздоров и репрессий остались позади. Наступала новая эра.

Сейчас невозможно сказать, в какой момент Сталин испугался последствий такого курса. Растущая популярность Кирова, несомненно, его тревожила. У него не было иллюзий относительно истинных чувств тех, кто ежедневно хором прославлял его. Он начал опасаться, что новая политика демократизации рано или поздно потребует новых лидеров. Может встать вопрос о целесообразности сохранения неограниченной власти и самого кремлевского диктатора. Не придется ли ему, олицетворявшему жесткость и подавление, по мере развития этого более человечного режима уступить место другим лидерам? Киров персонифицировал именно эту опасность.

Признаки недовольства Сталина Кировым стали заметны в высшем эшелоне партии вскоре после съезда. Его не приглашали на некоторые заседания Политбюро, а сам переезд в Москву постоянно откладывался. Под предлогом того, что ленинградские дела требовали постоянного внимания Кирова, Сталин фактически девять месяцев оттягивал его переезд в Москву, где его ждал пост секретаря ЦК. Однако влияние Кирова росло, и на Пленуме ЦК в ноябре 1934 года он выступил с новыми предложениями по углублению процесса примирения, которые были встречены аплодисментами. Снова встал вопрос о его переезде в Москву, и Пленум счел его безотлагательным. Киров возвращался в Ленинград только для того, чтобы сдать дела

своему преемнику.

Через несколько дней, 1 декабря 1934 года, Киров был убит в коридоре Смольного молодым коммунистом по фамилии Николаев.

Весть об этом потрясла партию. Мы задавались вопросом, кому была нужна смерть видного лидера партии, выступавшего за примирение? Было немыслимо, чтобы какая-то группировка в партии преследовала такую цель. Нам было сказано, что Николаев был агентом «фашистской державы» и получал деньги от иностранного консула в Ленинграде. На основе этих сообщений и в порядке возмездия сто четыре антисоветских «заговорщика», которые находились в тюрьмах задолго до убийства Кирова, были расстреляны. Эта вспышка террора потрясла многих. Меня наполнял ужас от того, что Сталин, видимо, был в состоянии ярости и паники. Но я надеялся, что эта расправа не является предвестником новой волны террора. Не было никаких оснований отказываться от политики примирения из-за одного террористического акта.

Через несколько дней нас пригласили на собрание в райком партии. Сначала я думал, что это будет обычный траурный митинг, на котором ораторы будут отдавать должное покойному лидеру и вспоминать о его делах. Я вошел в зал вместе с директором Института философии Абрамом Пригожиным. В свое время он имел «грех» поддержать то ли Зиновьева, то ли какого-то другого лидера оппозиции, но об этом уже все забыли, по крайней мере, он так думал.

В зале чувствовалось необычное напряжение. Руководители районной партийной организации в президиуме собрания выглядели очень мрачными и явно нервничали. Я отнес это за счет важности предстоявшей церемонии, но было предчувствие чего-то еще более тревожного. Секретарь райкома начал свое выступление очень напряженно, я подумал, что гибель Кирова произвела на него глубокое впечатление. Но, лишь вскользь сказав о заслугах Кирова, он неожиданно заговорил совсем о другом. Мы слушали с изумлением.

– В партии нужна бдительность и еще раз бдительность… В наших рядах находятся тысячи замаскировавшихся врагов…

Что же теперь будет?.. Мы думали, что все это уже закончилось.

– Товарищ Сталин лично провел расследование убийства Кирова, – продолжал нагнетать обстановку докладчик. – Он подробно допросил Николаева. Лидеры оппозиции вложили оружие в руку Николаева!

Тут же мы узнали, что пятнадцать молодых коммунистов,

которые обвинялись в поддержании контактов с Николаевым, были незамедлительно расстреляны вместе с ним, а бывшие лидеры оппозиции Зиновьев и Каменев были осуждены в закрытом порядке и находились в тюрьме.

Нам стало ясно, что это значило. Примирение закончилось. Начался новый террор. Я взглянул на своего друга Пригожина, он сидел белый как стена. После первого выступающего последовали другие.

– Центральный Комитет должен быть беспощадным – партию надо очистить… нужно разобраться с каждым членом партии, – звучало из уст многих выступающих.

Никто уже не упоминал версию о «фашистском агенте», на основании которой уже было расстреляно много народа. Никто не говорил, что Киров выступал как раз за то, чего добивалась оппозиция. Каждый оратор старался переплюнуть своих коллег в разоблачении оппозиции и требовании беспощадной расправы. Во всем этом чувствовалась какая-то принудительность, и за всем этим, на наш взгляд, стоял страх. Страшно было подумать о возможных последствиях такой политики. Это означало войну в партии против всех, кто когда-либо был не согласен со Сталиным. Оставалось только надеяться, что припадок ярости и паника у него пройдут.

Когда мы вышли на улицу, Пригожин был бледен как смерть, его колотила дрожь.

– Со мной все кончено. Никто не спасется, – твердил он. Через три дня он зашел ко мне на квартиру.

– Меня исключили из партии, – сообщил он. – Я потерял работу, в моих лекциях нашли отклонения. Я не знаю, что делать. Каждый день я жду, что за мной придут. Что станет с моей женой и ребенком?

Меня после его горестных речей охватило чувство отчаянной беспомощности. Что я мог сказать? Я предложил ему попытаться найти себе работу где-нибудь подальше от Москвы.

– Чем дальше ты будешь отсюда, тем лучше будут твои шансы.

Я не знаю, что он сделал. Больше я его никогда не видел.

Когда я попытался позвонить ему, то мне сказали, что телефон отключен.

Партию мели железной метлой, тысячи людей были обречены. Во всей огромной стране не было уголка, где можно было бы спрятаться. Все, кто когда-либо голосовал за оппозицию или симпатизировал ей, были поставлены под удар. Чтобы оправдать эту волну террора убийством Кирова, прежних лидеров оппозиции Каменева и Зиновьева, этих сломленных и

деморализованных трусливыми раскаяниями людей, заставили заявить о том, что они берут на себя «моральную ответственность» за убийство Кирова. Им было сказано, что они должны принести такую жертву ради партии, для того, чтобы оказать сдерживающее воздействие на своих сторонников и объединить партию перед лицом террористической угрозы.

В этом не было ничего особенно нового. Правда уже давно была подчинена интересам партии. Они просто сделали то, что от них требовалось, неизвестно только, под каким нажимом. Эти первые, пока еще довольно робкие «признания» своей ответственности за преступление, которое разрушило их собственные надежды и было выгодно только Сталину, стали первым шагом на долгом пути, по которому Сталин и ОГПУ повели страну к последующим «московским признаниям». Они, как известно, вскоре потрясут весь мир.

В некоторых районах целые группы населения были подвергнуты высылке для очистки оставшихся от «враждебных элементов». Только из Ленинграда в концлагеря на Волге и в Сибири было выслано до ста тысяч человек. Железнодорожные станции неделями были забиты этими несчастными жертвами нового террора.

Никто не решался обсуждать то, что происходило. Мы молча встречали новости о той судьбе, которая выпадала на долю наших друзей и знакомых. Я помню, что на следующий день после партийного собрания Розенгольц сообщил мне об аресте директора импортного объединения точного машиностроения Герцберга. С Герцбергом мы занимались иностранным языком у одной и той же преподавательницы. Она его постоянно хвалила – несмотря на занятость, он никогда не пропустил ни одного занятия. И теперь она была крайне удивлена – в назначенное время его не было в кабинете, где она давала ему уроки. Что могло случиться? На следующий день она была удивлена еще больше. Но с моей стороны было бы неосторожным посвящать ее в суть произошедшего. Любое упоминание о проходившей чистке было неосторожностью и могло вызвать эмоциональную реакцию. Наконец, когда были опубликованы списки приговоренных вместе с Зиновьевым и Каменевым и Герцберг оказался в числе осужденных, наша учительница узнала правду о судьбе своего самого способного ученика.

Помнится, через несколько дней после того собрания в райкоме наша партийная ячейка в «Автомотоэкспорте» получила закрытое письмо Центрального Комитета ВКП(б). Это был настоящий «гимн ненависти». Составленное в злобном тоне, оно содержало прямой призыв к новым репрессиям. Из этого письма

мы узнали, что после начала чистки тысячи коммунистов уничтожили свои партбилеты и перешли на нелегальное положение, многие уехали подальше в глубинку, другие пытались бежать за границу. Авторам письма, видимо, не приходило в голову, что они описывали картину триумфа контрреволюции – именно так все происходило, когда были перед началом 20-х годов свергнуты советские режимы в Венгрии и Баварии. Но они твердили о том, что партия полна предателей и чистку надо проводить с удвоенной силой.

Сейчас кажется странным, что тогда мы не понимали смысла происходящего. Сталин уничтожал старую гвардию большевиков, служившую основой советского режима. Думаю, что идея физического уничтожения своих соперников возникла у него после того, как в июне 1934 года Гитлер устроил свою кровавую чистку, когда его противников убивали без суда там, где их находили. Эта акция Гитлера оказалась успешной не только с внутренней точки зрения, но она не вызвала отвращения или бойкота со стороны цивилизованного мира. Еще несколько лет государственные деятели Англии и Франции продолжали относиться к Гитлеру с уважением. Говорили, что, когда Литвинов предупредил Сталина о том, что массовые казни оттолкнут сочувствующих коммунизму в демократических странах и затруднят осуществление политики «народного фронта», тот ответил: «Ничего, проглотят!».

В те трудные и напряженные дни 1935 года нам было трудно понять, что Сталин встал на путь тоталитарной контрреволюции, потому что он полностью контролировал прессу и все каналы распространения информации. После смерти Кирова газеты были заполнены похвалами в адрес покойного и выражениями скорби, которые фактически превосходили все, что говорилось после смерти Ленина. Двенадцать дней после гибели Кирова все газеты от первой до последней строчки были посвящены жизни и смерти любимого лидера. Выходившие с траурной каймой газеты рассказывали о том, какая скорбь охватила всю страну, наших лидеров и больше всех убитого горем товарища Сталина.

В это же время или чуть позже мы узнали, что убийца Кирова, Николаев, был известен ОГПУ как неврастеник, проявлявший террористические наклонности. Он открыто грозил убийством партийным бюрократам. Сталин решил, что ленинградское ОГПУ не справилось со своими обязанностями, и все местные руководители были отданы под суд. Один из них был осужден на десять лет лишения свободы. Об этом нам тоже говорилось, но все это тонуло в море обвинений против оппозиции и предателей партии, которые «вложили оружие в руку Николаева». Двумя

инструментами диктатора, страхом и пропагандой, Сталин сумел подавить мнение всей партии.

В этой атмосфере мрака и смятения мы не разглядели, что Сталин был единственным, кому была выгодна смерть Кирова, который пользовался в партии достаточно сильной поддержкой, чтобы оказывать ему сопротивление. Мы не заметили, что такая небрежность ОГПУ в охране высших руководителей партии была беспрецедентной. Мы не обратили внимания, что приговоры руководителям ленинградского ОГПУ были удивительно мягкими в сравнении с бессудной казнью ста четырех арестованных, которые были абсолютно непричастны к убийству, или шестнадцати коммунистов, из которых все, кроме трех человек, отрицали всякую осведомленность о «заговоре». Что же касается руководителей ОГПУ, то они даже не были в тюрьме, их перевели на руководящую работу в концлагеря, то есть просто понизили в должностях.

От нашего внимания также ускользнула абсурдность попытки направить возмущение и гнев по поводу убийства Кирова на лидеров оппозиции. Киров был единственным членом Политбюро, на которого могла рассчитывать оппозиция как на последовательного сторонника политики примирения, которая давала им шанс вернуться в партию и участвовать в строительстве социалистического государства.

На базе приведенных фактов нельзя утверждать, что Сталин спровоцировал убийство Кирова. Хотя вполне возможно, что ленинградское ОГПУ проявляло халатность с молчаливого согласия Хозяина. Вряд ли он мог дать прямое указание на этот счет Ягоде, возглавлявшему тогда всесильное ОГПУ. Скорее, Ягода мог пожаловаться Сталину, что либерализм Кирова затрудняет работу ОГПУ по недовольным элементам в ленинградской партийной организации и создает трудности в организации его охраны. По распоряжению Кирова были освобождены из-под стражи несколько подозреваемых только потому, что против них не было достаточно доказательств. Вот и сейчас, например, в ленинградской партийной организации есть один молодой коммунист, близкий к Николаеву, который критикует политику партии и оправдывает терроризм.

Сталин мог дать весьма глубокомысленный ответ: «Если Киров настаивает, то пусть все так и остается…»

Последующие признания Ягоды о его деятельности как тайного сталинского отравителя и убийцы – возможно, единственные правдивые показания на процессе – создают уверенность в том, что он сделал бы необходимые выводы из такого замечания Сталина.

Такое объяснение непонятной халатности, проявленной ОГПУ в организации охраны инициатора политики примирения и единственного реального соперника Сталина в борьбе за власть после Троцкого, кажется мне вполне правдоподобным. Совершенно очевидно, что смерть Кирова явилась той вехой, которая отмечала начало конца коммунистической партии и наступление самой кровавой в истории контрреволюции. [Некоторые читатели неизбежно подумают, что этот мой вывод продиктован личной ненавистью к Сталину. В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что независимый историк-социалист Борис Николаевский, пользующийся международным авторитетом, не имеющий оснований для личной неприязни к Сталину, пришел после глубокого изучения этого вопроса к точно таким же выводам. Информированные читатели знают, что я цитирую одного из самых эрудированных и беспристрастных историков революционного движения:

«Состоявшийся в феврале 1934 года съезд партии решил, что Киров должен стать ведущим партийным лидером, олицетворяющим новый курс партии. С учетом этого он должен был переехать из Ленинграда в Москву и возглавить основной политический отдел ЦК. Для Сталина это могло означать только одно – начало конца его эры…

Основную опасность для Сталина представляла угроза утраты контроля за партийным аппаратом, и Киров персонифицировал эту угрозу. Убийство Кирова и его последствия составляют одну из наиболее важных и одновременно самых темных и загадочных страниц в истории большевизма…

Одна вещь представляется несомненной: Сталин был единственным человеком, которому убийство Кирова принесло пользу. (Уолтер Дьюранти считает, что личная диктатура Сталина началась после убийства Кирова.) Теперь уже невозможно было ограничить его власть какими-либо правовыми или внутрипартийными нормами. И теперь Сталин начал подготовку к ликвидации своих оппонентов внутри партии, особенно тех, кто выступал за примирение и соглашение с демократиями…» (Журнал «Новый лидер», 23 августа 1941 года)]

Этот процесс был непонятен иностранным наблюдателям еще и потому, что, проводя политику кровавых репрессий внутри правящего режима, Сталин открыто не отказался от «политики примирения» в стране в целом. Наоборот, он использовал эту политику или ее видимость как прикрытие для систематического уничтожения партийно-государственных кадров, которые сопротивлялись установлению тоталитарной власти. Он должен был на кого-то опереться, и он нашел поддержку в широких слоях

политически неискушенного населения. Наиболее символично эта ситуация отразилась в том, что к моменту торжественного провозглашения «самой демократической в мире» конституции наиболее способные ее авторы были брошены в тюрьмы без суда и вскоре расстреляны.

Хороший урожай и улучшение положения с продовольствием способствовало успешному осуществлению этого маневра. В начале 1935 года были отменены хлебные карточки и хлеб стал свободно продаваться. Чтобы еще больше укрепить свои позиции, Сталин разрешил колхозникам иметь приусадебные участки и домашних животных. Им также было разрешено продавать излишки своего производства на рынке.

В это же время Сталин наводнил страну всякого рода наградами, почетными званиями и премиями. Полярные исследователи и стахановцы получали звания Героев Советского Союза. В армии были восстановлены офицерские звания и привилегии, были введены маршальские звания. Военнослужащие, инженеры, рабочие и колхозники награждались орденами Красной Звезды, Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени. Были учреждены почетные звания народного артиста, заслуженного артиста, заслуженного деятеля науки, которые присваивались представителям интеллигенции. В результате, начав разрушение партии, Сталин одновременно приобрел себе довольно много сторонников, которые были обязаны ему своим новым положением в жизни.

В одном из своих выступлений диктатор провозгласил: «Жить стало лучше. Жить стало веселей, товарищи». Все подхватили это высказывание. Пресса была заполнена хвалебными статьями по поводу новой конституции. Она должна была явить собой торжество человеческого разума. Она гарантирует свободу слова и печати, всеобщее и равное избирательное право, защиту от произвольных арестов. Она даже гарантировала право на труд. Ее называли «монументом сталинской мудрости» и сравнивали с Девятой симфонией Бетховена. Сталин в интервью Рою Хендерсону заявил, что на выборах по новой конституции «списки кандидатов будут выдвигаться не только коммунистической партией, но и любыми другими общественными организациями вне ее».

Реальный смысл сталинской «демократии» и ее практическое применение показали первые же выборы. Избиратели, которые приняли на веру все содержавшиеся в конституции обещания, оказавшись в кабинах для тайного голосования, к своему удивлению, обнаружили в бюллетене имя только одного кандидата. Этот единственный кандидат часто был поддержан не

только коммунистической партией, но и различными «общественными организациями» и т. п.; так Сталин реализовал то, о чем хвастливо заявлял Рою Хендерсону. Более того, новый раунд чистки партии почти совпал с выборами в новый «демократический парламент». Многие кандидаты, которых до этого всячески превозносила пресса, были арестованы ОГПУ, а их имена в бюллетенях в последний момент заменены. Избиратели были вынуждены голосовать за неожиданных или совершенно неизвестных им лиц. Другие кандидаты хотя и были избраны, но тоже оказались в тюрьме еще до первого заседания нового парламента – в этих условиях идея парламентской неприкосновенности выглядела насмешкой, – и избиратели обнаруживали, что единственный депутат, которого они избрали, был лишен возможности представлять их.

После первой сессии Верховного Совета чистка продолжалась, и на второй сессии депутаты обнаружили, что около четверти из всего депутатского состава все в промежутке между сессиями были арестованы. Никто не позаботился о проведении дополнительных выборов с целью заполнения образовавшихся «вакансий» – это было бы пустой тратой времени.

На первой сессии для руководства работой парламента был избран президиум, но ко второй сессии некоторые члены этого президиума также таинственно исчезли. Никто не стал объяснять причину их отсутствия, а председатель как ни в чем не бывало предложил список кандидатур для «пополнения президиума». В атмосфере сгущавшегося страха все депутаты молчаливо согласились не обсуждать причины отсутствия своих коллег. Что же касается оставшихся депутатов, то это, наверное, первый случай в истории, даже с учетом первоначальных достижений Гитлера в этом плане, когда пятнадцать процентов депутатского корпуса составляют высокопоставленные деятели тайной полиции – в данном случае начальники различных органов и подразделений ОГПУ.

Вот таким образом был услышан «голос народа». Так Сталин консолидировал свою тоталитарную власть. Американцы должны помнить об этом, когда они слышат сообщения о проведении «демократических выборов» в странах, «освобожденных» советской армией. Нет никаких оснований полагать, что их процедура намного отличается от описанной выше.

В зарубежных либеральных кругах, симпатизировавших Советскому Союзу, новая конституция имела шумный успех. Она придала дополнительную привлекательность политике «народного фронта» и вызвала известное доверие к жестам Сталина, направленным на установление союза с демократиями

против Гитлера.

Однако внутри партии многие понимали, что конституция использовалась главным образом как витрина, но все же надеялись, что ее принятие может положить конец террору, последовавшему за убийством Кирова. В то время мы еще не понимали, что сама политика «примирения» и маскарад с «демократией» были в руках Сталина всего лишь уловкой, с помощью которой он устранил своих соперников в руководстве партии, реальном правительстве страны, и установил режим личной диктатуры. В истекшие шесть лет эта «самая демократическая в мире» конституция служит циничным камуфляжем для наиболее совершенной тоталитарной тирании в мире. Мне кажется, что иностранные наблюдатели все еще не понимают этого.

Сталин, каким я его знал

Описывая эти годы в России, я старался воздерживаться от высказываний о личности Сталина, если это выходило за рамки моей собственной истории. Мои отношения были главным образом с режимом, а не с человеком. Однако после 1941 года, когда Гитлер отверг отчаянные попытки Сталина добиться мирного урегулирования и тем самым вынудил его пойти на союз с демократиями, в Англии и Америке стало модно не только прощать грубую силу его характера, но даже восхищаться ею. Это большая ошибка, и я думаю, будет полезно, если я расскажу о том, как он виделся тем людям, которые работали с ним долгие годы и в награду получили смертный приговор.

Я много раз встречался со Сталиным и видел его на протяжении тринадцати лет не только на парадах и перед восторженной публикой, но и за работой в кабинете. Я также был дружен с братом его второй жены и единственным человеком, которому он доверял, Павлом Аллилуевым. От Павла я постепенно узнал горькую судьбу его сестры, ее замужества и смерти в 1932 году, загадочность которой породила столько слухов. У меня также были дружеские отношения с несколькими секретарями Сталина, а с одним из них некоторое время жил в одной комнате. Теперь этого человека уже, возможно, нет в живых, но я точно этого не знаю и не могу раскрыть его имя. Мы часто и доверительно говорили с ним о Сталине и обо всем, что было с ним связано. Например, я заранее, еще до того, как это стало известно партии, узнал, что принято решение об изгнании Троцкого.

Я говорю об этом не потому, что считаю, что слухи, даже из первых уст, могут заменить личные впечатления, а для того чтобы показать, что мои личные впечатления подкрепляются многочисленными свидетельствами моих знакомых, которые были близко с ним связаны. Мне трудно отделить сведения, полученные из бесед с этими людьми, от моих собственных впечатлений, с которыми они тесно связаны. Мне кажется, что я достаточно хорошо знаю этого человека, и не буду утверждать ничего, в чем сам не уверен.

Впервые я увидел Сталина в 1922 году на Четвертом конгрессе Интернационала Тогда это был еще простой смертный и он отнюдь не считался выдающимся деятелем партии или советского правительства Он был одним из секретарей Центрального Комитета партии, то есть занимал второстепенный пост, носивший в известной степени технический характер,

однако скоро он сумел превратить этот пост в такое сосредоточие власти, которое не снилось русским царям. Но в то время нам, конечно, не могло прийти в голову, что секретарь ЦК, даже старший из трех секретарей, занимавший к тому же второстепенный правительственный пост комиссара Рабоче-крестьянской инспекции, может через два года стать ведущей политической фигурой, а через десять лет почти божеством. Его относительная малозначительность была очевидна для всех участников конгресса В то время как такие ведущие лидеры, как Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Радек, Раковский и еще с полдюжины других, были постоянно окружены делегатами из различных стран, а их выступления слушали с огромным вниманием, Сталин всегда ходил один.

Я увидел Сталина как раз в тот момент, когда он выходил из Георгиевского зала, где проходил конгресс. На нем была серая военная шинель, сапоги и гимнастерка полувоенного покроя. Он уже спускался по лестнице, когда к нему подбежал какой-то мелкий служащий из аппарата Коминтерна и задал какой-то вопрос. Я сидел в нескольких шагах, курил и наблюдал за делегатами конгресса. Служащий Коминтерна был очень мал ростом и, как это часто бывает у низкорослых людей, компенсировал этот недостаток чрезмерной активностью. Сталин и сам был невысок, но этот клерк доставал ему только до плеча. Сталин, возвышаясь над своим собеседником, спокойно слушал, иногда кивал или вставлял одно-два слова. Маленький человечек прыгал вокруг Сталина, дергал его за рукава, за лацканы и пуговицы и безостановочно говорил, что даже у меня стало вызывать раздражение. Но что привлекло мое внимание и заставило запомнить эту сцену, было удивительное терпение, с которым Сталин слушал своего собеседника. Я подумал, что он, должно быть, идеальный слушатель. Он уже собирался уходить, но вместо этого в течение почти часа спокойно слушал собеседника, был так нетороплив и внимателен, как будто у него был неограниченный запас времени и он мог без конца слушать этого маленького суетливого клерка. В его манере было что-то монументальное.

Первое впечатление навсегда осталось в моей памяти. Это было впечатление о человеке какой-то удивительной стабильности и уверенной силы. Терпение – довольно редкая черта у людей дела. Она редко сочетается с «капризностью», «нелояльностью», «грубостью» и опасной жаждой власти – как раз теми четырьмя чертами характера, которые Ленин отметил у Сталина в своем предсмертном письме к съезду партии, известном как его «завещание».

В реальной жизни Сталин сильно отличается от его ретушированных фотографий, которые доносят его облик до мира. Он более груб, прост и меньше ростом. У него лицо землистого цвета, изрытое оспой. Черные волосы начинают седеть, проблески седины заметны в его усах и густых бровях. У него темно-коричневые, иногда кажущиеся карими, глаза. Его лицо никак не отражает его мысли. На мой взгляд, в нем есть какое-то сочетание тяжести и угрюмости. Он не похож ни на европейца, ни на азиата, но представляет собой какую-то смесь этих двух типов.

Полувоенный костюм, в котором я впервые его увидел, стал постоянной одеждой, пока наконец не превратился в нынешнюю внушительную форму маршала. Для этого могло быть несколько причин. Одна, я думаю, заключается в его комплексе власти. Из-за физических дефектов – усохшей руки и двух сросшихся на ноге пальцев – он был признан негодным к военной службе в царской армии. Военная форма, видимо, дает ему некоторую компенсацию за это.

Но главная причина его постоянства в одежде, наверное, тоньше. Чтобы тоталитарная система была устойчивой, необходимо, чтобы большинство населения обожествляло лидера. Для этого им нужен постоянный образ. Неизменность – один из атрибутов божества, и Сталин достаточно умен, чтобы чувствовать это.

На публичных мероприятиях Сталин никогда не сидит в центре, а где-нибудь сбоку или сзади. Когда он поднимается для выступления, то для вида всегда досадливо отмахивается от аплодисментов, хотя очевидно, что они ему приятны, а жизнь того человека, который получит больше аплодисментов, чем Сталин, не стоит и ломаного гроша. На государственных приемах для стахановцев, героев труда, полярных летчиков и т. п. он держится с расчетливой простотой, как близкий друг для каждого, особенно для робких провинциалов. Когда он принимает гостей дома, то сам выбирает пластинки для патефона и ставит их. Сам он никогда не танцует, но поощряет других, заставляет гостей преодолевать робость от присутствия вождя. Может даже найти партнершу для молодого человека.

На партийных мероприятиях и деловых совещаниях он обычно молча слушает, курит трубку или папиросу. Слушая, рисует бессмысленные узоры на листе своего блокнота. Два личных секретаря Сталина, Поскребышев и Двинский, однажды писали в «Правде», что иногда в таких случаях Сталин пишет в своем блокноте: «Ленин – учитель – друг». Они утверждали: «В конце рабочего дня мы находили у него на столе листки бумаги с

этими словами». Нельзя исключать, что Сталин сам инспирирует подобные рекламные трюки, но это совсем не значит, что нам следует верить в его сентиментальность.

Перед войной Сталин редко выезжал из Москвы, если не считать его поездок в отпуск на Кавказ. Его поездка в Ленинград после убийства Кирова стала эпохальным событием. Парадные выезды его царственных предшественников не отвечают ни его стилю, ни его политике. Он осторожный человек и лучше всего чувствует себя дома. Он также понимает, что, дистанцируясь от всех, он приобретает какой-то налет таинственности. Если не считать коротких похоронных процессий, когда он идет по короткому маршруту, заранее расчищенному ОГПУ, или когда он появляется на Мавзолее в дни государственных праздников, Сталин, насколько я помню, только один раз ходил по улицам Москвы. Его спонтанная прогулка от Большого театра до Кремля произвела Фурор, и на следующий день все советские газеты дали ее красочное описание.

Сталина многие считают таинственной личностью. Для этого есть несколько причин. Во-первых, он сам культивирует такой образ как элемент техники современного абсолютизма, он носит таинственность, как цари носили пурпурную мантию. А кроме того, у него нет и не может быть близких людей. Человек, который отправляет на смерть одного за другим своих ближайших соратников, должен держать свои мысли при себе.

Однако для тех из нас, кому довелось работать со Сталиным, он не казался таинственным; это был человек с комплексом неполноценности, очень обидчивый, мстительный и подозрительный. Это был безжалостный и беспринципный человек, сконцентрированный на проблеме собственной власти и отчасти по этой причине, а также в силу природной ограниченности не обладавший подлинно-государственным виденьем. Соображал он медленно, осторожно, с подозрительностью. Бела Кун, незадачливый лидер неудачной большевистской революции в Венгрии, называл Сталина «тугодумом». Его французский биограф Анри Барбюс, который неустанно собирал о нем всевозможные легенды и мифы, раболепно сравнивал его с осторожным львом. Сам Сталин как-то высказался следующим образом: «Здоровое недоверие – самая хорошая основа для сотрудничества». Для Сталина это не просто афоризм, а концентрированное выражение его темперамента и рабочего стиля. По существу, эта идея пронизала жизнь всего Советского Союза; она искорежила жизнь ставосьмидесятимиллионного народа.

Троцкий отзывался о Сталине как о «посредственности», и с

точки зрения таланта, вкуса, знаний и интеллекта – это недалеко от истины. Но факт остается фактом – именно эта «посредственность» свергла Троцкого с его пьедестала, изгнала из России, приговорила к смерти и привела в исполнение этот приговор за рубежом. По некоторым своим качествам он далеко не посредствен: сила воли, терпение, коварство, способность выявлять человеческие слабости и с презрением использовать их в своих интересах и, наконец, высший дар – способность идти к цели неуклонно, не останавливаясь ни перед чем. Этими талантами Сталин одарен в полной мере. Он может думать медленно и осторожно, но умеет действовать быстро и беспощадно, если он принял решение.

Многие посторонние люди задавались вопросом, почему в своем «завещании» Ленин упомянул как недостаток такое качество Сталина, как грубость, которое для пролетарского революционера может считаться достоинством.

Это происходило потому, что они не могли себе представить, до какой степени грубости мог дойти Сталин в своем неуважении к товарищам. Хорошим примером может служить его замечание, которое он сделал, ознакомившись с «завещанием» Ленина, но я, к сожалению, не могу привести его в этой книге.

Хотя Сталин, может быть, не менее культурен, чем средний политик, но по сравнению с Лениным и его ближайшими соратниками он невежда. Это был еще один фактор в формировании его комплекса неполноценности. Верхний эшелон лидеров большевистской революции принадлежал к среднему классу или аристократии и был воспитан на культурном наследии не только своей страны, но и Европы в целом. Они знали по нескольку иностранных языков. Многие обладали литературным талантом, были не чужды искусству. Среди них Сталин был исключением. Он был наименее способным из них – ни оратор, ни публицист, ни теоретик. В отличие от других, он очень мало времени провел за границей. Даже в российских масштабах его кругозор был ограничен провинциальным происхождением.

Русский язык он начал учить в возрасте девяти лет и никогда так и не овладел им в полной мере. Он пользуется им как тупым и неуклюжим орудием. У него не только чувствуется сильный акцент в устной речи, но и его письменный стиль неестествен и бесцветен. Несмотря на многие годы ссылки – «революционные университеты», – он, в отличие от других большевистских лидеров, так и не приобрел сколько-нибудь глубоких познаний в литературе и общественных науках. Даже его хваленая настойчивость не позволила ему сколько-нибудь продвинуться в

изучении немецкого языка, и он бросил это занятие. Не лучше были и его успехи в изучении эсперанто, к которому он обратился как к будущему языку Интернационала. Этот лидер, хвастливо заявлявший, что нет таких крепостей, которые большевики не могут взять, сам не одолел ни одного лингвистического бастиона. Это его угнетает. Не владея ни одним иностранным языком, он никогда не мог составить свое собственное представление о жизни за пределами России.

Речь Сталина монотонна и утомительна для слуха. При жизни Ленина он обычно сидел на заседаниях Политбюро отдельно от всех и молчал, будучи неспособным принимать участие в оживленной дискуссии, которую считал пустой болтовней.

Тот факт, что человек таких интеллектуальных и духовных качеств смог стать абсолютным властителем на одной шестой части Земли, осуществлять полный контроль над жизнью сотен миллионное людей, используя по своему усмотрению знания и силы других, должен послужить предупреждением тем, кто склонен свысока относиться к нормам, обеспечивающим демократию.

В написанной Анри Барбюсом биографии Сталина, которая является скорее собранием легенд, чем фактов, утверждается, что, в отличие от Ллойд-Джорджа, у которого было двадцать два секретаря, Сталину помогает в его сверхчеловеческом труде только один, Поскребышев. В мое время Поскребышев был главным личным секретарем Сталина и одновременно являлся заведующим секретным отделом ЦК. До него этот пост последовательно занимали Товстуха и Братновский. В дополнение к этому у Сталина есть еще около дюжины личных секретарей, которые готовят для него материалы и его письма по конкретным вопросам: военным и военно-морским делам, в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, финансов, иностранных дел, международной прессы и информации, советского аппарата, партийного аппарата и т. п. Каждый личный секретарь имеет пару помощников, которые могут использовать любые ресурсы соответствующего наркомата в сфере своей компетенции. Доклады такого секретаря обычно имеют больший вес, чем материалы наркома, официального члена правительства. Официально эти люди именуются помощниками секретаря Центрального Комитета и объединены в секретный отдел ЦК – любопытное свидетельство о природе единоличной власти.

Другой отдел личного секретариата Сталина занимается его личной перепиской с советским народом, которая является

огромной по объему. Я думаю, что переписка Сталина с простыми людьми превышает переписку любого лидера в истории. Специальный секретарь со штатом помощников занимается этой перепиской. Ни одно письмо не остается без ответа, и на многих ответах есть личная подпись Сталина. Поскольку он всемогущ и вездесущ, все обращаются к нему – колхозники, студенты, школьники, ученые, инженеры, солдаты, рабочие, – все просят его совета в житейских делах и в вопросах марксистско-ленинской теории, по политическим, научным и литературным проблемам; присылают ему инженерные и научные проекты, изобретения, книги, картины, скульптуры, изделия народных промыслов – одним словом, все. Жалобы на местных советских и партийных руководителей, начальников всех степеней и отраслей составляют значительную часть этой корреспонденции. Еще один важный сектор этой переписки составляют поздравления и пожелания, иногда в стихах, иногда в виде каких-то подарков. Анри Барбюс утверждал, что Сталин лично читает каждое письмо! Если это действительно так, то он должен быть богом, но ему удается создавать у людей такое впечатление.

Вот два примера из газеты «Правда».

Старая колхозница, поблагодарив вождя за счастливую жизнь под его руководством, просит принять в подарок то, что для нее самое дорогое – ее корову. В ответе из Кремля Сталин собственноручно благодарит колхозницу за щедрый подарок, объясняет, что он не может принять корову и просит сохранить ее в память о товарище Сталине.

Другой пример. Стахановец, награжденный медалью за ударный труд на производстве, предлагает свою медаль, самое ценное, что у него есть, любимому вождю, считая, что Сталин более достоин этой награды. Вождь скромно отвечает:

«Медали не для тех, кто уже хорошо известен. Они предназначены для тех достойных людей, которые еще никому не известны, но заслуживают уважения и почета».

Я был знаком со многими из личных секретарей Сталина. Его главный секретарь, круглолицый, розовощекий и лысеющий Поскребышев, с которым я познакомился в 1923 году в доме отдыха «Марино», учил меня играть в бильярд. За пятнадцать лет нашего знакомства он стал важным и помпезным человеком. Многие годы личным секретарем Сталина по кадровым вопросам был старый большевик и старый алкоголик Селицкий. Двинский отвечал за контроль над ОГПУ. Гришин, который раньше отвечал за финансы и внешнюю торговлю, был впоследствии переведен в Наркомат финансов. Старая большевичка с подпольным стажем, Стасова, которая когда-то сама, как Сталин, была секретарем ЦК,

отвечала за Коминтерн, Профинтерн, МОПР и другие международные организации. Радек занимался внешней политикой и прессой, ему помогал Тивель, который когда-то возглавлял комитет Коминтерна по индийской революции; позже он был расстрелян по обвинению в терроризме. Сообщалось, что Литвинов после своей отставки в 1938 году три года занимал бывший пост Радека в секретном отделе ЦК.

Некоторые из секретарей Сталина впоследствии поднялись очень высоко. Мехлис, который когда-то занимался прессой, стал редактором «Правды» и позже заместителем наркома обороны. Ежов, еще один личный секретарь, возглавил ОГПУ, а потом, в зените своей власти, исчез в небытие.

Любимым секретарем Сталина был молодой паренек по фамилии Каннер, который попал к нему почти ребенком. Сталин презирал своего старшего сына, но очень любил Каннера, во всяком случае, берег его как сына. У Каннера еще не было среднего образования, а Сталин сделал его своим секретарем по тяжелой промышленности.

После десяти лет преданной конфиденциальной службы Каннер попросил отпустить его для продолжения образования. Новость об этом стала сенсацией. Сталин дважды или трижды отказывал ему. Наконец еще большая сенсация – Сталин отпустил его, и Каннер пошел учиться в Промакадемию. Довольно великодушное решение! После окончания академии Каннер получил назначение на один из самых ответственных постов в Наркомате тяжелой промышленности. Это был почти кронпринц новой тоталитарной аристократии. К тому же он обладал несомненными способностями, и его будущее казалось гарантированным. Но в ходе чисток Каннер был объявлен «врагом народа» и исчез. Я подозреваю, что единственным преступлением этого молодого человека было то, что он мог слишком горячо защищать перед Сталиным подчиненных ему директоров трестов наркомата, которые обвинялись в самых фантастических преступлениях.

Сталин был женат три раза. У него было трое детей, два сына и дочь. Его первая жена, простая грузинская женщина, умерла в 1907 года. Его сын от этого брака, Яков, не переносил отца, и это чувство было взаимным. Я слышал, как Сталин в присутствии своих секретарей называл сына «мой дурень». Когда Сталин женился во второй раз, он взял Якова жить с собой в Кремль, и это была очень несладкая жизнь. Сталин бил своего сына так же, как в свое время его отец, вечно пьяный сапожник, бил его самого. (Согласно не очень умной теории Эмиля Людвига, именно эти впечатления были решающим фактором, сделавшим

из Сталина революционера.) Яша не отличался особыми талантами, но учился в институте. Когда он подрос, то отец приказал ему держаться подальше от Москвы, и он жил в разных городах России. Несколько лет о нем не было ничего слышно, но вскоре после начала войны в газетах сообщалось, что немцы взяли в плен младшего офицера артиллерии, сына Сталина. В 1917 году Сталин познакомился с шестнадцатилетней девушкой Надеждой Аллилуевой, которая стала его второй женой. Это была очень живая девушка с большими, как у ее матери-грузинки, черными глазами. Ее отец был старый большевик, рабочий, который укрывал Ленина, когда тот был на нелегальном положении. В 1918 году он сам вступил в партию большевиков. Вскоре после этого Надежда Аллилуева стала одним из секретарей Ленина. Спустя год, когда ей уже было восемнадцать, она по служебным делам попала на Царицынский фронт, где Сталин был комиссаром. Сорокалетний ветеран влюбился в молодую красавицу, и они поженились. От этого брака у него было двое детей: сын Василий и любимая дочь – Светлана. Василий является полковником советских ВВС, имеет звание Героя Советского Союза. Он женат и имеет двоих детей. Об этом, насколько я могу судить, нигде еще не сообщалось, может быть, потому, что Сталин не хочет, чтобы о нем знати как о дедушке.

То, что началось на фронте как пылкий роман, вскоре стало для Надежды тяжелым испытанием, а с превращением Сталина в диктатора – просто невыносимым. Я уже упоминал, что был знаком с братом Надежды, простым и симпатичным парнем, очень способным управленцем, который в одно время со мной работал в Наркомвнешторге. Как только упоминалось имя его сестры, он мрачнел. Он был очень сдержан в рассказах о ее жизни, но из того, что я узнал, у меня сложилось убеждение, что она была несчастлива. Умная и чувствительная женщина, серьезная и сдержанная, она была окружена подхалимами и льстецами, которых презирала. Даже после рождения двоих детей она продолжала учебу в Промакадемии, надеясь сделать самостоятельную карьеру в народном хозяйстве. У нее была своя жизнь и свои интересы.

На нее тяжелым грузом давила растущая жестокость сталинского режима и изменившееся отношение к старым боевым товарищам. Сама активный член партии, она была глубоко оскорблена неуважительным отношением к себе Сталина. А он в компании Ворошилова иногда по нескольку дней проводил на дачах в увеселениях, которые ему организовывал шеф ОГПУ Ягода. Несколько раз Надя заставала своего мужа во время такого времяпровождения, это были безобразные сцены, и диктатор

обходился с ней очень грубо.

Я видел ее вместе с братом на праздновании 15-й годовщины Октября. Через три недели она должна была получить в Промакадемии диплом инженера-химика. Она выглядела очень бледной и усталой и не интересовалась тем, что происходило вокруг. Ее брат тоже выглядел очень обеспокоенным.

Через два дня, 9 ноября 1932 года, было объявлено о скоропостижной смерти Нади Аллилуевой. Причина смерти никогда официально не называлась. Был слух о том, что ее убили. Этот слух приобрел некоторую правдоподобность, особенно среди тех, кто знал об имевшем место прецеденте: Буденный во время ссоры убил свою жену выстрелом в спину и позже женился на молодой актрисе. Престиж Буденного как военного героя был настолько велик, что дело замяли, он не понес никакого наказания и стал одним из пяти Маршалов Советского Союза. Если престиж Буденного высок, то престиж Сталина несравненно выше – так распространялся этот слух. Но я знаю из уст брата подлинную причину смерти Надежды Аллилуевой. В тот вечер на даче Ворошилова, которая была расположена по соседству с дачей Сталина, она высказала критические замечания относительно политики на селе, которая обрекла крестьян на голод. В ответ Сталин грубо и непристойно оскорбил ее перед лицом своих друзей. Надя вернулась домой и выстрелом в голову покончила с собой. В официальном сообщении говорилось только о том, что она «безвременно и скоропостижно скончалась».

Вскоре после смерти Надежды мы узнали, что Сталин женился на сестре Кагановича. До сих пор, однако, в советской печати об этом не было сказано ни слова.

Еще один случай, который особенно ярко показывает, как прав был Ленин, когда он говорил о «нелояльности» Сталина, касается убийства Енукидзе. Если Каннер был для него как сын, то Енукидзе долгие годы был для него как брат. Еще в самом начале революционной карьеры, когда молодой Джугашвили (Сталин) был известен как Коба, Енукидзе учил его марксизму и применению этой теории к русским условиям. Это было около сорока пяти лет назад. С той поры они были ближайшими товарищами и друзьями. Они вместе боролись за свержение царизма, они вместе были в тюрьме и ссылке, они вместе росли в рядах партии и советского правительства, которое они помогали устанавливать. Если положение Калинина как Председателя Центрального Исполнительного Комитета можно определить приблизительно как президента Союза, то Енукидзе как секретарь ЦИК должен был бы считаться вице-президентом, а как друг Сталина он неофициально обладал почти неограниченной

властью.

Как это нередко бывает в мужской дружбе, Енукидзе и Сталин обладали диаметрально противоположными характерами. Там, где Сталин был черств и груб, Енукидзе был добр и отзывчив к чувствам и нуждам других людей. Несмотря на свое возвышение, он остался прежним простым другом и товарищем, каким был всегда, человечным и отзывчивым. Часто выходил за рамки негибкой большевистской доктрины, которая считает, что между личной и политической дружбой не должно быть никакой разницы. Енукидзе навещал старых друзей, оказывал им помощь, хотя они были из лагеря оппозиции. Все это знали, Сталин знал это лучше всех. Он также знал, как знали и все остальные, что Енукидзе, который был несгибаемым большевиком все сорок пять лет их дружбы, никогда не станет принимать участие в каких-либо антисоветских действиях, независимо от того, какую личную помощь он оказывал старому другу дореволюционного периода, сейчас оказавшемуся в оппозиции.

Я знаю одну такую семью, которая очень многим обязана благородству Енукидзе. Вместе с отцом этой семьи, меньшевиком, Калистратом Гогуа, Сталин и Енукидзе в 1900 году создали в Тифлисе организацию социал-демократической партии. Все трое вместе были арестованы и отбывали тюремное заключение. Все трое были влюблены в одну и ту же девушку, но она досталась меньшевику. Они поженились, и у них родилась дочь. Хотя отец подвергался преследованиям за его меньшевистские убеждения, Енукидзе не забывал его. Он помог жене и дочери переехать в Москву, помог дочери, Ирине, получить работу в «Международной книге», где в тот период работал и я.

Я познакомился с ней в 1925 году. Тогда ей было двадцать три года и мы часто виделись. Ее отец был в ссылке, и я с ним никогда не встречался, но я знал ее мать, с которой она жила в Машковом переулке. Я знал круг их друзей, с которыми они жили в одном доме. Наиболее примечательными из соседей были жена Горького, Екатерина Пешкова, и его издатель, Ладыжников. Эти люди сочувствовали большевикам еще до революции, но после прихода большевиков к власти они от них отдалились. Моя дружба с Ириной началась с острого спора как раз по этому вопросу, но, несмотря на наши политические разногласия, Гогуа и их друзья очень хорошо ко мне относились и часто приглашали к себе домой.

Именно в этой семье я однажды в 1925 году познакомился с Авелем Енукидзе. В доме его встретили с большой любовью, как старого друга. Из разговоров было понятно, что он нередко бывал тут и проявлял заботу о материальном благополучии семьи.

После его ухода Ирина подтвердила мои предположения. Эта семья, как и многие другие семьи, находившиеся в таком положении, полностью зависела от благородства и человечности Енукидзе. Единственное, чего Енукидзе не мог сделать, – возвратить из ссылки отца, человека, который был более счастливым соперником Сталина в любви. Гогуа больше никогда не было разрешено жить вместе с женой и дочерью.

Когда я в 1932 году вернулся из-за границы, Ирина уже была замужем и перешла работать в аппарат ЦИК к Енукидзе. Под его покровительством она была в безопасности, но в 1935 году, после убийства Кирова, в обстановке паники и террора случилось невероятное – Сталин снял с высокого поста своего ближайшего друга и отправил его на Кавказ. Однажды, в один из дней в конце этого года, мне доставили большой пакет с обратным адресом ЦИК. Я открыл его с любопытством, но там не было ни строчки, а только большая пачка старых фотографий. Это были снимки меня одного, с Ириной и ее друзьями, которые были сделаны в последние десять лет. У меня сжалось сердце, это был четкий сигнал. Он говорил, что Ирина готовилась к обыску и аресту. И она защищала меня от возможных последствий.

Поскольку сведений об опале Енукидзе еще не поступало, это было мне абсолютно непонятно. В то время я лежал в постели с гриппом и пытался неоднократно звонить ей, но никакого ответа не получил. Наконец стало известно о том, что Енукидзе снят со своего поста. Это сопровождалось лживыми и оскорбительными нападками в тех же самых газетах, которые еще две недели назад печатали правительственные указы за его подписью. На следующий день я встретил подругу Ирины, которая сообщила мне о ее аресте и высылке в неизвестном направлении.

Авель Енукидзе был расстрелян как предатель в 1936 году Дружба Сталина и Енукидзе была легендой в партии. Те, кто знали об их длительной связи, говорили, что Каин убил своего брата Авеля.

Патологическая мстительность Сталина настолько очевидна, что не нуждается в комментариях. Он как-то сам однажды признался Каменеву, что самое большое наслаждение ему доставляет расставить капкан жертве, потом захлопнуть его и отправиться спокойно спать. Его чистки доказывают именно это. Он, видимо, наслаждался безграничной местью всем тем, кто когда-либо что-то сказал против него. Все его личные враги, насколько они нам известны, уже мертвы. Но для нас, которые пережили эти кровавые годы, месть, уготованная его врагам, еще ничего не говорит о них. У меня такое чувство, что Сталин испытывает какое-то извращенное наслаждение, отправляя на

смерть своих друзей.

Балтиморский архиепископ Майкл Керли в 1941 году заметил, что Сталин отправил на смерть больше людей, чем кто-либо в истории человечества. Чтобы увидеть его в истинном свете, достаточно вспомнить, что в речи на съезде партии, состоявшемся в самый разгар чисток, он спокойно заявил:

«Из всех богатств, которыми располагает государство, самым ценным является человеческая жизнь».

Одна драгоценная жизнь

Многие думают, что Сталин ведет по-спартански простую жизнь, которая целиком посвящена служению интересам многострадального советского народа. Его спартанская простота – это не что иное, как искусно поддерживаемая инсценировка. До конца 20-х годов Сталин действительно жил скромно, как и другие большевистские лидеры, и занимал двухкомнатную квартиру в Кремле. Теперь же он живет как восточный деспот и, отправляя на смерть сотни тысяч людей, затрачивает огромные ресурсы на сохранение и продление своей собственной жизни.

В то время, о котором я пишу, Сталин получал зарплату тысячу рублей в месяц. Один из дюжины его секретарей получал за него деньги и распоряжался ими. Первого числа каждого месяца комендант Кремля направлял Сталину небольшой счет за квартиру и такой же небольшой счет за питание. Когда Хозяин уезжал в отпуск на Кавказ, его секретарь оплачивал стоимость обычной путевки в доме отдыха. Кроме того, три процента зарплаты уходило на партийные взносы. Как член правительства Сталин имел право на бесплатный проезд по железной дороге. Личных автомобилей у него не было. У него практически не было никакого личного имущества. Не было ни чековой книжки, ни кошелька. Как Микадо или Далай Лама, Сталин никогда не прикасался к деньгам. Но это совсем не значит, что он жил экономно; это означает, что он жил без всякого отчета о том, во что могут обойтись любые его капризы.

Как лидер «государства трудящихся» с очень низким стандартом жизни, он должен был скрывать это. Он вынужден был поддерживать камуфляж «простоты», и делал это очень искусно. Именно по этой причине, в отличие от американской практики, в советской прессе нельзя, например, встретить описание его жилища.

Даже в абсолютных монархиях публикуются отчеты о расходах на содержание королевского двора. Там люди, по крайней мере, знают, во сколько им обходится содержание короля. Но в советской прессе никогда не сообщалось о том, как Сталин расходует национальное богатство. Советские люди, которые в конечном счете платят за все, не имеют никакого контроля и даже представления об этих расходах. Его многочисленные резиденции считаются домами отдыха и являются собственностью государства. Дороги к ним строятся за счет государственного бюджета. Автомашины, на которых он

ездит, приходят за ним из государственных гаражей. Все, чем он пользуется, включено в государственный бюджет. Вот почему, когда советские люди слышат заявления Сталина о том, что он построил социализм «в одной стране», они шепотом добавляют, что «Сталин прав, это социализм не только в одной стране, но и для одного человека».

Центральный правительственный гараж заполнен дюжинами «роллс-ройсов», «паккардов», «кадиллаков» и «линкольнов» с круглосуточным дежурством водителей. По железной дороге он ездит в специальном поезде, впереди и позади которого идут другие поезда, а вдоль всего маршрута через равные промежутки выставляются охранники. В его распоряжении четыре дворца, которые круглогодично поддерживаются в постоянной готовности с полным штатом. Например, один из них, в Сочи, самый скромный, в котором мне довелось побывать в 1935 году, официально числится как «правительственный дом отдыха № 7». По внешнему виду или удобству он мало отличается от того, что может позволить себе процветающий американский бизнесмен во Флориде или Калифорнии. Дом расположен на вершине горы у знаменитых серных источников Мацесты, вода из которых поступает в специальную баню на вилле. На вершине горы разбит парк, охраняемый специальным подразделением ОГПУ. Непосредственно за воротами виллы находятся домики для охраны и обслуги. Ниже, на склоне горы, расположен гараж на двадцать пять – тридцать автомашин. Недалеко от дома Сталина есть три виллы для его гостей. В ноябре 1935 года я провел несколько дней в одном из этих домов. Вместе со мной там отдыхали: нарком сельского хозяйства Иванов, расстрелянный после третьего московского процесса в 1938 году; секретарь ЦК партии Белоруссии Гикало, уничтоженный как «враг народа»; заместитель председателя комиссии советского контроля Захар Беленький, который позже исчез в период чисток; председатель правительства Абхазии Нестор Лакоба и его брат, один из братьев был расстрелян в период чисток, а другой умер примерно в это же время.

Еще одна вилла Сталина в Абхазии, высоко в горах, по дороге в Гагру, была построена, я думаю, по образцу «Орлиного гнезда» Гитлера в Берхтесгадене. Сталину эта дача не понравилась, и недавно в районе Зеленого мыса на Черном море был выделен огромный кусок парка с пляжем, закрытым для публики, где построен еще один дом для Сталина. Четвертый дом отдыха для Сталина построен в Крыму.

Мне рассказывали, что все эти дома, как и тот, что я видел в Сочи, оборудованы всеми удобствами, от бильярда и кинозалов

до конюшен со скакунами. Сталин особенно увлечен автоматическими музыкальными устройствами. У него есть целая коллекция пианол, фонографов и радиол, которые он любит демонстрировать своим гостям. Наркомвнешторг постоянно следит за рынком и закупает за рубежом новинки техники для многочисленных резиденций диктатора. Я помню, сколько хлопот мне доставило выполнение одного такого заказа в 1931 году в Италии, где мне надо было закупить грампластинки различных итальянских певцов.

Основные развлечения Сталина на открытом воздухе – охота и купание в море. Иногда он играет в городки с Ворошиловым и другими ближайшими коллегами. Проигрывает он редко. Его усохшая левая рука не позволяет ему заниматься спортом более активно.

Его два дома в Подмосковье не столь роскошны. Несколько лет назад он жил в довольно скромном доме в Горках, там, где когда-то жил Ленин со своей семьей. Для этого ему пришлось выселить вдову Ленина – Крупскую. Теперь, однако, Горки превращены в исторический музей, а для Сталина построили два других загородных дома, из которых он больше всего любит Барвиху. Вокруг этих резиденций располагаются дома поменьше для его приближенных.

Иностранные туристы часто удивляются прогрессу, достигнутому в Москве в области гражданского строительства. Они ничего не знают о бессмысленном уничтожении таких монументов, как Сухаревская башня. Им не приходит в голову спросить, не лучше ли было, с точки зрения прогресса, снести московские трущобы и построить на их месте дома для рабочих, достойные цивилизованной страны.

Они также не замечают, что эта реконструкция расчистила для быстрого автомобильного движения некоторые магистрали и создала милиции лучшие возможности для их охраны. Речь идет о дорогах, которые идут от центра в сторону Можайского шоссе, Воздвиженки и Арбата, то есть тех магистралях, по которым Сталин ездит из Кремля в Барвиху От Москвы во все стороны отходит двенадцать образцовых автомобильных дорог, которые простираются, однако, не далее сорока километров – это единственные хорошие дороги во всей России. Они обслуживают главным образом пригороды, где расположены дачи правительственных чиновников. Проехав эти виллы, вы опять оказываетесь на дорогах царской России, которые не являются таким инженерным достижением, которым Россия может гордиться.

По решению Московского совета в Барвихе создана

заповедная зона, где запрещено строительство и купанье в реке, в качестве причины делается ссылка на заботу о недопущении загрязнения воды в реках. Из прилегающих деревень были выселены сотни людей, а оставшимся не разрешается гулять в лесу. Я задавался вопросом: в чем причина этих ограничений, когда вверх и вниз по течению реки от Барвихи можно купаться, ловить рыбу и т. п.? Выяснилось, что весь этот район отведен для дач сотрудников Центрального Комитета и ОГПУ, которые на почтительном расстоянии окружают дом диктатора.

Я был на одной из таких вилл у своего друга. Наша машина въехала на территорию огромного поместья, которое содержалось в идеальном порядке и так же идеально охранялось. На каждом перекрестке милиционеры в белых перчатках проверяли наши пропуска. Но даже моему другу было запрещено заходить в одну, самую охраняемую зону. Дороги были безукоризненно чистыми и безлюдными. Время от времени по дороге проезжала какая-нибудь роскошная машина. Весь пейзаж выглядел так, как будто он был тщательно проветрен, выметен и подстрижен до идеального состояния. Вилла моего товарища вполне могла бы выдержать сравнение с виллами богачей, которые можно найти в пригородах любой западной столицы. Были предусмотрены все удобства: террасы, веранды, теннисные корты, газоны и т. п. Правда, эта вилла не принадлежала моему другу, а была известна как «дача № 10» Центрального Исполнительного Комитета. Однако счастливый ее обладатель мог пользоваться ею до конца своих дней или до тех пор, пока не попадет в опалу, которая тоже в конечном счете ускорит наступление конца его дней, то есть так, как будто она была его собственностью.

Фантастическую щедрость, с которой человек, привыкший к абсолютной власти, расходует государственные средства по своему усмотрению, скрывая это за широковещательными заявлениями о защите интересов трудящихся, лучше всего можно проиллюстрировать случаем с Институтом экспериментальной медицины. Даже Рокфеллеры или монархи былых времен не могли направить научные ресурсы великой страны на обслуживание своих личных интересов. Но Сталин в некотором роде сделал именно это.

Сталин приближался к своему шестидесятилетию, когда предусмотрительные люди начинают серьезно заботиться о своем здоровье. Его друг Горький был старше и еще больше интересовался своим здоровьем. Соответственно, однажды «Правда» опубликовала его статью с рассуждениями от том, как уберечь людей от старения и преждевременной смерти. В заключение он предложил создать в Москве Институт

экспериментальной медицины, главной задачей которого должно быть проведение исследований о путях продления человеческой жизни. Горький подчеркнул, что это будет уникальное учреждение, которое может возникнуть только в Советском Союзе, где так заботятся о человеке и где есть достаточно средств для проведения исследований.

За статьей Горького последовали полные энтузиазма статьи ученых и врачей. Правительство выделило несколько сотен миллионов рублей. Институту отвели территорию в одном из самых роскошных пригородов Москвы, в Серебряном Бору. Строительство лабораторий, клиник, библиотек и жилья для огромного числа сотрудников института велось беспрецедентными темпами. Вся Москва говорила об этом эпохальном событии, но для тех, кто имел доступ в высшие эшелоны, было ясно, что лихорадочные темпы строительства определялись тем, что сам предмет исследований – продление человеческой жизни – представлял первостепенный интерес для самого лидера. Совсем не случайно институт возглавили личные врачи Сталина, профессора Преображенский и Сперанский. В институт также был приглашен известный украинский ученый, профессор Богомолец.

Но это еще было не все. Неожиданно в газетах объявили, что Академия наук с десятками ее институтов и годовым бюджетом в сотни миллионов рублей, которая двести лет находилась в Петербурге и двадцать лет при советской власти в Ленинграде, вдруг в полном составе переезжала в Москву. Названная причина переезда – академия должна быть в столице – представлялась достаточно убедительной. Но почему это никому не пришло в голову в предшествующие двадцать лет? И почему нужно было затрачивать гигантские средства на переезд институтов и строительство для них новых зданий, когда эти средства и строительные материалы были так нужны промышленности, армии, жилищному строительству в переполненной Москве и на тысячи других более срочных дел? А было это потому, что ведущие специалисты в области экспериментальной медицины, психологии, биологии, эндокринологии и т. п., которые работали в институтах Академии наук в Ленинграде, срочно понадобились новому институту. Некоторые наивные люди протестовали, но им быстро заткнули рот. Поскольку специалистов в области медицины трудно оторвать от их академических лабораторий, вся академия со всеми ее отделениями и институтами, библиотеками, лабораториями, музеями и даже огромными палеонтологическими экспонатами должна быть с колоссальными затратами перевезена в Москву. Новые миллионы ушли на

строительство комплекса зданий академии на берегу реки Москва. К сожалению, обязанности профессора Богомольца как президента Академии наук Украины требовали его присутствия в Киеве, а придумать хороший предлог для перевода украинской академии в Москву не удалось. Но и эта проблема была быстро решена. В Киеве для профессора Богомольца был создан филиал московского института, а по существу – новый институт с полным штатом. Атмосферу, в которой осуществлялись все эти мероприятия, довольно точно отражают приветствия Сталину, опубликованные в это время. Например, компартия Туркменистана прислала пожелание: «Живите тысячу лет!» – и это было опубликовано в «Правде». Знаменитый полярный исследователь Папанин: «Вы бессмертны, наш любимый вождь! Живите еще трижды по столько, сколько вы прожили до сих пор!». В последующие годы этот мотив долголетия диктатора постоянно повторялся в стихах и публичных выступлениях.

Сегодня Институт экспериментальной медицины, укомплектованный лучшими специалистами и руководимый личными врачами Сталина, дает рекомендации о режиме его работы, отдыха и питания, обо всем, что может сохранить его здоровье и продлить жизнь. И пока высокооплачиваемые экспериментаторы лихорадочно ищут секрет долголетия, Сталин терпеливо ждет. Он уже покорил Россию и ее стовосьмидесятимиллионный народ. Неужели он надеется победить саму смерть?

Пока наиболее важным результатом деятельности Института экспериментальной медицины явилось создание Богомольцем знаменитой сыворотки молодости.

Известный американский врач, доктор Гамперт, с восторгом отзывался об этом открытии Богомольца. Он, в частности, отмечал, что когда немцы оккупировали Киев, то институт Богомольца, который, несомненно, был одним из самых современных научных учреждений в России, эвакуировался в Уфу и продолжал свои исследования. Доктор Гамперт писал:

«Когда удивительные свойства сыворотки Богомольца и результаты работы сотни советских экспериментаторов будут подтверждены, доктор Богомолец, несомненно, будет причислен к сонму тех героических фигур, которые открыли человечеству путь к лучшей судьбе. Надежные данные показывают, что Иосиф Сталин и стареющий президент СССР, Калинин, испытали на себе благотворное действие сыворотки Богомольца. Если наука в этот критический момент истории сможет сохранить и продлить жизнь наших наиболее опытных и достойных лидеров, то мы можем стоять на пороге новой эры…»

И далее:

«В январе 1945 года профессор Богомолец был удостоен звания Героя Социалистического Труда; ему был вручен орден Ленина и медаль “Золотая Звезда”. Его книгу “Продление жизни” прочли миллионы советских людей, и она, видимо, играет не последнюю роль в поддержании того неистребимого оптимизма, с которым многострадальный советский народ идет к победе…»

В советских больницах и родильных домах по-прежнему не хватает лекарств, антисептиков, марли и других самых элементарных вещей, которые требуются для ухода за больными и ранеными. Целые районы, опустошенные войной, лишены медицинской помощи, а те, кто страдает от малярии, не имеют даже хинина. Самым простым способом продления жизни советских людей было бы обеспечить их элементарным медицинским и гигиеническим обслуживанием, накормить, прекратить расстрелы и выпустить из лагерей двенадцать миллионов заключенных. Но в Советском Союзе, похоже, не осталось ни одного человека, который мог бы высказать эти очевидные комментарии к тому, что я рассказал.

Рай для дипломата

В октябре 1935 года, когда вопрос о моем уходе из «Автомотоэкспорта» окончательно решился, я поехал в отпуск на Кавказ в санаторий для высшего командного состава Красной Армии имени Ворошилова. Сотрудник Наркомвнешторга Власов, который занял мое место, уже через несколько недель был снят за халатность. Дело было в том, что он неосмотрительно разрешил отправить через Германию несколько парашютов, которые Турция заказала для своего национального праздника. И эти парашюты пропали в пути. Сталин, которому доложили об инциденте, вызвал Власова «на ковер» и объявил ему строгий выговор, а в Турцию тем временем была послана новая партия парашютов.

Санаторий командного состава, в котором я отдыхал, представляет собой пять великолепных пятиэтажных корпусов, каждый из которых выходит своим застекленным фасадом к морю. Роскошь и комфорт этих зданий строго соответствуют рангу тех, кто в них размещается. Высшее командование размещается в отдельном корпусе, оборудованном по последнему слову техники. Здесь созданы максимальные удобства для полного наслаждения свежим воздухом, солнцем и тишиной на террасах, которые оборудованы специальными устройствами для дозирования солнечного света с помощью подвижных перегородок. Специально сконструированный фуникулер доставляет отдыхающих на пляж, избавляя их от малейшего напряжения сил.

На сооружение этого замечательного комплекса, стоящего на вершине скалы, было затрачено десятки миллионов рублей. Не случайно Ворошилов приказал принять все меры, чтобы построенное не могли видеть со стороны. Эти здания и их внутреннее убранство могли созерцать только избранные. Я был поставлен в очень неловкое положение визитом моего бывшего клиента, военного атташе Турции, капитана Энвер-бея, которого в довершение всего сопровождал иностранный корреспондент. Было невозможно отказать этому иностранному гостю, но начальник санатория не скрывал от меня своего беспокойства по поводу возможных последствий для него этого визита.

Когда я приехал туда в 1935 году, строительство санатория только что было закончено. Тех из моих читателей, у кого описываемая роскошь, в которой отдыхали генералы и полковники Красной Армии, вызовет зависть, могут утешиться тем, что примерно девяносто процентов тех, кто отдыхал там, в ближайшие три года были расстреляны или просто исчезли в

ходе чистки.

По возвращении в Москву я снова попросил направить меня в авиационную академию, и эта просьба была поддержана моими друзьями в Генштабе. Но Сталин, который сам решает, куда направить того или иного ответственного работника, сказал «нет». «Он уже достаточно образован», – это были его слова, как их мне передал заведующий отделом загранкадров Центрального Комитета партии. Литвинов, узнав, что я ушел из Наркомвнешторга, попросил откомандировать меня в распоряжение Наркоминдела. Так я был назначен первым секретарем нашей миссии в Афинах и в декабре 1935 года выехал в Грецию.

По пути я сделал остановку в Софии, где встретился с моим другом, посланником Раскольниковым. Он был еще достаточно молод, прекрасно выглядел и был в отличном настроении. В Болгарии он вел очень активную работу по привлечению славянских симпатий на сторону Советской России. В свободное время он писал роман – помимо всего прочего, этот бывший командир красной флотилии на Волге и Каспии был неплохим литератором – его пьеса «Робеспьер» была поставлена в Москве и имела успех.

Когда мы с Раскольниковым и его женой гуляли в саду миссии, мы не могли представить, что наша судьба скоро будет похожа на судьбу последователей Робеспьера, последних якобинцев, которые вынуждены были бежать от гильотины. Покоритель Казани и Северной Персии в 1938 году отказался вернуться в Россию. Более года он вынужден был скрываться и в июле 1939 года прислал мне письмо откуда-то с французской Ривьеры. Это было открытое письмо с разоблачением сталинской диктатуры, очень умное и страстное. Спустя несколько недель после публикации письма он умер в состоянии умопомешательства, по мнению его друзей, в результате отравления ядом. В ходе нашей встречи я с удовольствием рассказал ему, что его знаменитая военная операция в Энзели в 1920 году изменила мою жизнь, направив интересы на Восток.

На вокзале в Афинах меня встретил посланник Кобецкий, и мы вместе поехали в нашу миссию. После московской суеты и нервотрепки здесь было так спокойно!

В то время Греция переживала период непростых перемен. За несколько лет сменилось несколько режимов. За год до моего приезда сын крестьянина, генерал Кондилис, бывший друг Венизелиса, провозгласил себя диктатором. В ответ его прежние друзья в марте 1935 года подняли мятеж венизелистов, который он подавил. Страна в этот период была расколота почти поровну

между сторонниками монархиста Салдариса и республиканцами, упорно поддерживавшими Венизелиса и Софулиса.

В ноябре 1935 года, думая, что он полностью контролирует ситуацию, Кондилис провозгласил реставрацию монархии и призвал на трон находившегося в изгнании в Лондоне короля Георга II. Воспитанный в либеральной английской школе и обладавший гораздо более тонким политическим чутьем, чем Кондилис, король понимал, что лучшим способом стабилизации монархического режима будет всеобщее умиротворение. Соответственно, он амнистировал Венизелиса, восстановил политические свободы, провел демократические выборы и, добившись соглашения с республиканцами, положил конец диктатуре Кондилиса. Последний пытался напугать короля перспективой своей отставки, но король хладнокровно принял эту отставку и поручил возглавить правительство старому и мудрому адвокату Демердзису.

Демердзис провозгласил восстановление гражданских свобод. С островов возвратились эмигранты, легализовалась коммунистическая партия, снова стала выходить ее газета «Ризоспастис». Кондилис скоропостижно скончался, – возможно, от разрыва сердца Уставший от политической борьбы Венизелис оставался в эмиграции в Париже, где через год тоже умер. Вскоре за ними последовали Салдарис и Демердзис. В течение года Греция потеряла всех своих ведущих политических лидеров. В образовавшейся политической пустоте медленно стала обретать зловещие очертания фигура Матаксиса, будущего нового диктатора Греции.

К моменту моего прибытия в Грецию, в последние дни 1935 года, положение реставрированной монархии представлялось довольно шатким. Вместе с Кобецким мы отправились во дворец, чтобы поздравить короля с Новым годом. Дворец производил впечатление еще не полностью заселенного дома Главный церемониймейстер, граф Меркатис, представил королю членов дипломатического корпуса. Король пожал нам руки и сказал каждому по нескольку слов. Обладавший типично английской внешностью, он произвел на меня впечатление спокойного и твердого человека Он был чисто выбрит и носил монокль, что очень шло к рельефным чертам его лица Я в течение года наблюдал, как он существенно укрепил свои позиции монарха, которые при нашем первом знакомстве казались такими шаткими. Постепенно он превращал роялистскую мечту в реальность. Дворец был обновлен, по улицам столицы снова стали ездить королевские экипажи в сопровождении конной стражи в национальных костюмах, состоялись внушительные

парады, толпы горожан снова стали приветствовать королевский выезд на улицах. Короче говоря, король исполнял свою должность серьезно и эффективно.

Я с интересом следил за работой первого парламента в этой конституционной монархии. Сторонники Салдариса и Венизелиса имели примерно равное число мандатов, а коммунисты со своими пятнадцатью мандатами определяли баланс сил. В этой ситуации они могли влиять на принятие того или иного решения. Здесь, как и везде, они отказались от доктрины классовой борьбы и пошли по пути «народного фронта». Именно голоса коммунистов определили избрание на пост президента парламента лидера венизелистов.

Король, в соответствии с конституционной процедурой, предложил лидеру венизелистов, Софулису, сформировать двухпартийное правительство. В течение месяца он безуспешно пытался решить эту трудную задачу. Слишком сильны были еще воспоминания о прошлых схватках.

Затянувшийся парламентский кризис ставил под угрозу само существование парламентаризма в Греции. В огромных залах античного дворца, где заседал парламент, лучшие ораторы всех партий, Софулис, Кафандарис и Папанастасиу, изо дня в день упражнялись в красноречии. Метаксис, исполнявший обязанности премьера после смерти Демердзиса, наблюдал за этим, не скрывая своей скуки и раздражения. Дипломатам, которые присутствовали на открытии дебатов, это тоже очень скоро надоело. Я почти всегда был в дипломатической ложе в одиночестве, стараясь привыкнуть к новому для меня музыкальному строю греческого языка и пытаясь уловить тонкости аргументации различных ораторов.

Наконец, 4 августа 1936 года, король, уступая требованиям Метаксиса, который постарался максимально использовать профсоюзные волнения, тупиковую ситуацию, сложившуюся в результате неуступчивости двух основных партий, и растущее влияние коммунистов, приостановил действие конституции. Метаксис, с согласия короля, провозгласил себя диктатором.

Наряду с чисто дипломатическими функциями на меня был возложен контроль за работой торгового представительства. В этом качестве я провел переговоры с греческим правительством о заключении торгового соглашения, но в целом нагрузка у меня была гораздо меньше, чем в Москве. Сразу же возникла отличная возможность заключить необычайно выгодную бартерную сделку с нашей пшеницей в обмен на коринфский изюм, но Наркомвнешторг категорически запретил бартер, и благодаря этой бюрократической тупости хорошая возможность была

упущена. Но к этому времени я уже, кажется, потерял способность удивляться чему-либо.

Я рассматривал свое дипломатическое назначение как счастливую возможность сменить тягостную московскую обстановку. Посланник Кобецкий был замечательным человеком, который умело избегал всяких осложнений, был остроумен и красноречив, умел ценить прелести жизни в Греции. Мы вместе часто совершали автомобильные экскурсии, никогда не уставая любоваться пейзажами, руинами и божественно голубым морем. Наши дипломатические обязанности оставляли достаточно времени для этих восхитительных поездок.

Другим обстоятельством, которое сделало мою дипломатическую миссию необычайно приятной, было то, что Кобецкий поручил мне сферу советско-греческих «культурных отношений», то есть все контакты миссии с греческой интеллигенцией. Это позволило мне познакомиться с греческой литературой, живописью, скульптурой, архитектурой и театром – всем, что так нравилось мне в Москве в годы моей учебы в военной академии. Я очень быстро почувствовал дружелюбие и гостеприимство греков, и скоро передо мной открылись двери многих самых культурных семей Афин. И я был очень горд, когда к концу первого года моего пребывания в Афинах члены дипломатического корпуса стали встречать на наших приемах не только обычное собрание скучных чиновников, а три или четыре сотни самых интересных людей в Афинах.

Но самое важное заключалось в том, что эти культурные связи привели меня к встрече, которая оказала огромное влияние на мою жизнь.

Через пару недель после моего прибытия в Афины из Москвы приехала группа советских архитекторов. Они совершали поездку по Европе с целью изучения современной и античной архитектуры. Естественно, Греция была первой остановкой на этом маршруте, и на мою долю выпала честь представить их 8 января 1936 года Обществу архитекторов Греции. В зале Афинской промышленной палаты нас встретило человек пятьдесят-шестьдесят мужчин и одна молодая золотоволосая и грациозная женщина. Наших архитекторов засыпали вопросами, но так как только один член нашей делегации говорил на плохом французском языке, мне пришлось переводить и вопросы, и ответы. Постепенно мои ответы становились все обстоятельнее, и в конце концов я закончил довольно обстоятельной речью о принципах советской архитектуры. Когда все собравшиеся разделились на небольшие группы, ко мне подошел президент общества.

– Разрешите представить вам одного из моих коллег, который хотел бы с вами познакомиться?

И я оказался лицом к лицу с невысокой золотоволосой девушкой. У нее был классический греческий лоб и живые, умные глаза Я предполагал, что она является женой или дочерью кого-либо из членов общества, но президент сказал:

– Господин Бармин, это Мари Павлидес, моя уважаемая и преуспевающая коллега.

После обычных приветствий она спросила меня:

– Вы скоро покидаете Афины?

– Нет, я никуда не уезжаю, – ответил я. – Я остаюсь в Афинах в советской миссии.

– О, это замечательно, – улыбнулась она, слегка смутившись. – Прослушав ваше выступление, я решила, что вы архитектор.

– Благодарю вас, мадемуазель. Это очень лестно слышать, но я всего лишь дипломат. К стыду своему, должен признаться, что и я не разглядел в вас архитектора. Пожалуйста, примите мои извинения.

– А вы примите мои за то, что я не распознала в вас дипломата. – Мы оба рассмеялись. Тут подошли наши русские коллеги, и после взаимных представлений мы расстались.

Описывая мои контакты в сфере культуры, я вовсе не хочу, чтобы у читателя создалось впечатление, что я не вел собственно дипломатической работы в миссии и не интересовался политикой. По своей активности мы ничуть не отставали от других миссий. Но я должен разочаровать тех читателей, которые ждут от меня как бывшего советского дипломата сенсационных разоблачений секретной деятельности ОГПУ и Коминтерна. Миссия не имела никакого отношения к работе ОГПУ, и ни я, ни Кобецкий о ней не знали ничего, кроме того, что агенты в составе миссии, естественно, были. Агенты ОГПУ, как и везде, следили за нами, за нашей работой и жизнью.

О деятельности Коминтерна мне тоже известно очень мало, поскольку мы никак не были связаны с этой работой. В те времена ведомство иностранных дел старалось держаться в стороне от этого, строго придерживаясь установленного правительством принципа – полной самостоятельности Коминтерна. Исходя из этого принципа, мы даже воздерживались от контактов с депутатами-коммунистами, хотя часто встречались с представителями других фракций.

Правда, однажды я нарушил это правило и занялся «секретной деятельностью». В дополнение к моей работе в миссии я был еще и консулом в Афинах и в этом качестве дважды в

неделю принимал в консульстве посетителей. Большинство моих посетителей составляли греческие бизнесмены, желавшие совершить поездку в Советский Союз, или русские эмигранты, стремящиеся восстановить свое гражданство. Иногда появлялся какой-нибудь пронырливый тип с захватывающим революционным проектом, которому для этого, конечно же, были нужны деньги и «коминтерновская литература». Эти личности были довольно примитивными, и от них за километр несло асфалией (греческая тайная полиция). Они, однако, были неутомимы в своих провокациях и регулярно нас посещали, а мы их так же регулярно выпроваживали.

Однажды консульский привратник впустил ко мне молодую высокую блондинку с ребенком. Она выглядела внешне спокойно, но чувствовалось, что она сильно взволнована.

– Чем могу помочь, мадам? – спросил я стоявшую передо мной особу.

Подождав, пока выйдет привратник, она медленно и с большим трудом заговорила на ломаном французском языке. Она была женой Генерального секретаря греческой компартии Захариадиса, чешкой по национальности. С момента перехода партии на нелегальное положение жила в маленьком домике в пригороде Афин, ни с кем не встречалась и почти не выходила из дома. Муж бывал дома очень редко и после непродолжительного отдыха снова неделями пропадал, но другие члены партии оказывали ей материальную поддержку.

– Вы, наверное, знаете из газет, что десять дней назад Захариадиса арестовали. С тех пор я дважды выходила в условное место на встречу с его помощником, но он не появился. У меня совсем кончились деньги. Я долго не решалась прийти к вам, но я никого в городе не знаю, а у меня ребенок.

Она назвала мне имя помощника Захариадиса, и я сразу вспомнил, что как раз утром это имя попалось мне в списке арестованных лиц, который я видел в утренней газете.

– Боюсь, что вы с ним уже не встретитесь, – сказал я. – У вас есть какие-то планы? Что вы хотите от нас?..

Она хотела поехать в Москву. У нее был просроченный чешский паспорт, но она надеялась получить советскую визу и деньги на дорогу. Я пошел с этой проблемой к Кобецкому. Тот был обеспокоен и раздражен:

– Вы отлично знаете, что мы не имеем права заниматься такими делами. Мы не можем компрометировать миссию.

– Но мы же не можем так просто оставить эту женщину с ребенком на улице. Ее муж в тюрьме, и ей не к кому обратиться за помощью. Мы можем дать ей визу и немного денег, и об этом

никто не узнает. Мы не можем выгнать ее.

– Не уговаривайте меня, Александр Григорьевич. Я ничего подобного не могу делать и не буду делать, – нервно сказал Кобецкий.

Разговор был долгим, трудным и бесполезным. С трудом сдерживая гнев, я вернулся в консульство.

– Вот ответ нашего посланника, – сказал я терпеливо ожидавшей женщине. – Миссия абсолютно ничего не может для вас сделать. Но я хочу поговорить с вами просто как частное лицо. У вас есть какие-нибудь друзья или знакомые в Чехословакии? Если вы доберетесь до Праги, вы сможете дальше сами пересесть на поезд в Москву? Тогда вот вам деньги, которых вам хватит на дорогу и питание. Это мои личные средства, которые я даю вам без всякой санкции своего шефа. Об этом никто не должен знать. Если он узнает, то запретит мне это делать. Отправляйтесь в чешскую миссию и получайте визу. Если будут какие-то трудности, попросите их позвонить мне.

Коллеги в чешской миссии были гуманны и отзывчивы. После небольшого деликатного разговора со мной по телефону они согласились дать ей визу. Она зашла в консульство поблагодарить меня, и больше я ее никогда не видел.

Еще одна «тайная деятельность», в которой я должен признаться, заключалась в том, что я действовал как иностранный корреспондент советского агентства новостей ТАСС – обязанность, которую я унаследовал от моего предшественника на дипломатической должности. Перед отъездом из Москвы мне в Наркоминделе сказали, что ТАСС «приготовил для меня эту работу». Сам Наркоминдел ни санкционировал мне это совместительство, ни отговаривал от него. Я встретился с директором ТАСС Долецким, и мы быстро нашли общий язык.

Раньше я уже писал статьи в журналы, но то были первые и, надо сказать, робкие опыты моей газетной работы. Новое задание, конечно же, ускоряло темп моей неспешной дипломатической деятельности и давало дополнительный стимул интересу к динамичной политической жизни Греции. Мои сообщения имели штамп «Отделение ТАСС в Афинах», и курьер миссии всегда их относил на почту для цензуры. Греки были достаточно тактичны и не старались выяснить, кто скрывался за этим таинственным штампом, тем более что направлявшиеся по этому каналу сообщения объективно освещали события в Греции. Но члены дипломатического корпуса не подозревали, что все сообщения ТАСС из Афин выходили из-под пера их коллеги. Я это точно знаю, потому что они не раз спрашивали меня, почему я так

терпеливо выслушиваю парламентские дебаты. Я небрежно отмахивался от этих вопросов, но однажды мне стало жаль, что я не мог раскрыть эту маленькую тайну. Думаю, что в этой связи я стал причиной отзыва из Афин японского поверенного в делах.

В Токио группа офицеров вооруженных сил организовала террористический акт против нескольких членов правительства. Комментируя это происшествие, японский поверенный неожиданно вышел за рамки обычной для японцев дипломатической сдержанности. Он заявил, что этого как раз и следовало ожидать от японской армии, и те, кто внимательно следит за обстановкой в этой стране, предвидели такое развитие событий. Я мимоходом процитировал это заявление в одном из своих сообщений, но «Правда» и «Известия» подали мое сообщение очень выпукло на первых полосах. Возможно, это было не единственной причиной, но так или иначе японский поверенный был срочно отозван.

Вскоре после моего приезда в Афины мы получили из английской миссии приглашение посетить религиозную службу по случаю кончины короля Великобритании Георга V. Официально Советский Союз был атеистическим государством, и я и Кобецкий уже много лет не бывали в церкви. Он колебался, стоит ли идти, и наконец попросил указаний из Москвы. Литвинов ответил: «Делайте как другие дипломаты». И вот мы с Кобецким во фраках и цилиндрах, с развевающимся на автомашине красным советским государственным флагом с серпом и молотом, торжественно подъехали к собору. В то время как мы с Кобецким спокойно поднимались по ступеням собора, толпа зевак с изумлением рассматривала нашу машину с красным флажком. Наверное, для них наше появление у собора было чем-то сверхъестественным.

Через несколько дней мы получили от британского посланника сэра Сиднея Уотерлоу выражение благодарности от имени нового короля Эдуарда VIII. С этой же почтой к нам пришли журналы с фотографиями траурной церемонии в Лондоне. Среди генералов и принцев, которые шли за гробом, был маршал Тухачевский. Он шел рядом с низкорослым толстым генералом, чье имя я запомнил – Франко, представлявшим молодую Испанскую республику.

Примерно через месяц после встречи с архитекторами я в фотографическом магазине снова встретился с девушкой-архитектором, чьи золотые волосы так запомнились мне. Мы улыбнулись друг другу, и она показала мне фотографии, за которыми зашла в магазин, – это были ее снимки в национальном костюме, танцующей на плоской крыше дома. Указывая на эту

крышу, она сказала с гордостью:

– Я сама спроектировала и построила этот дом для моей матери. Из этих окон видны Акрополь и Парфенон.

Как раз в это время мы задумали некоторую перестройку в здании миссии.

– Само провидение послало вас! – сказал я. – Мы как раз ищем архитектора Может быть, вы сможете сделать так, что и мы из своих окон будем видеть Парфенон!

Она согласилась посмотреть нашу миссию, и, таким образом, наше первое свидание носило профессиональный характер. Вместе с ней мы осмотрели комнаты, но скоро перешли от обсуждения планировки помещений к обсуждению различий между античной и современной архитектурой. И вот она уже начала объяснять мне, как исключительно точный рисунок колонн Парфенона подчеркивает воздушность этого сооружения. Она рассказывала с таким энтузиазмом, что было просто противоестественно вести этот разговор в закрытом помещении, когда сам Парфенон был всего в двух километрах от миссии. Закончили мы нашу беседу уже в Акрополисе.

Я сказал ей, что собираюсь посетить знаменитые руины Муценуса и Эпидауруса, и попросил ее порекомендовать кого-нибудь в качестве гида. Она сказала, что с удовольствием будет моим гидом.

Через неделю мы поехали в те места, которые история сделала всемирно известными: величественный амфитеатр в Эпидаурусе, строгие гробницы Клитемнестра и Агамемнона, мрачное Дельфийское ущелье, покрытые мхом руины стен, где несколько столетий назад стояла деревня Тангра. Если бы я мог не думать о набиравших полную силу страшных тенденциях у меня на родине, я был бы вполне счастлив. Я всеми силами старался, чтобы тень от этого не омрачала наше путешествие по пыльным дорогам под палящим солнцем Греции. Где бы мы ни были, всегда перед нами на горизонте в двух-трех местах мерцало голубое море. Я был полон восхищения Грецией и этой прекрасной дочерью Греции, которая меня сопровождала.

По вечерам, когда я оставался дома один, меня постоянно одолевали мрачные мысли. Я пытался читать, совершал длительные прогулки, но ничто не могло развеять этих настроений. Я искал развлечений в компании своих друзей из греческой интеллигенции. Мы посещали кафе и небольшие таверны в пригородах Афин. Но эти ужины с веселыми и умными друзьями, хорошей пищей и музыкой казались мне пресными по сравнению с моими археологическими экскурсиями. Мне было намного легче и интереснее в обществе Мари.

Как-то я сказал ей, что, посвятив столько времени и сил искусству и истории, она имеет право немного отдохнуть. Не согласиться ли она поужинать со мной в уютном ресторане на побережье?

Мы поехали в Глифаду, небольшой курорт в Фалеронском заливе. Проехав мимо фешенебельных отелей, мы остановились у небольшой таверны, стоявшей прямо на пляже. Мы ужинали одни на террасе, тихий воздух был заполнен ароматом цветов, в море отражалась полная луна. Величественный усатый официант принес нам барбуну только что пойманную в море, и бутылку вина Ретцина. Закончился ужин белым сыром.

Я наполнил бокалы вином.

– За ваше счастье, Мари. Делайте как я – это обычай в моей стране.

Медленно мы выпили свои бокалы до дна и звонко чокнулись ими. Затем я бросил мой бокал через плечо. Она последовала моему примеру.

Услышав звон разбитого стекла, владелец таверны вскочил со своего места. Но мы вроде не ссорились, и он снова сел. К нам подошел официант и вопросительно уставился на наши улыбающиеся лица.

– Принесите новые бокалы, а те включите в счет, – сказал я ему.

– Когда в России двое выполняют этот ритуал, – сказал я Мари, – это приносит им счастье.

Мы еще долго гуляли по пляжу, пили кофе в еще одном маленьком ресторанчике, танцевали на открытой террасе под музыку греческого джаза. Было много танцующих, но мне казалось, что музыка играла только для нас. Впервые за много лет у меня было спокойно и легко на душе.

Потом мы вернулись на пляж и расположились на скалах. Никто не произносил ни слова. Я заглянул в лицо Мари. Наши взгляды встретились, и ее голубые глаза стали совсем темными. Я обнял ее и поцеловал.

Первый московский процесс

Советские газеты так мало сообщали о том, что действительно происходило дома, что первая половина зловещего 1936 года прошла для нас почти в идиллическом спокойствии. Я убеждал себя, что жизнь в Советском Союзе, видимо, приходит в норму. Конечно, потребуется время, чтобы залечить старые раны и забыть горькую нужду первой пятилетки. И все-таки я себя сознательно обманывал, умышленно не вспоминая того, что мне довелось увидеть. Я просто бежал от своих собственных мыслей.

Но однажды в августе гром грянул среди ясного неба. Сначала московское радио, а потом и газеты сообщили о том, что через пять дней начнется судебный процесс над Зиновьевым, Каменевым и еще четырнадцатью членами «антисоветского террористического центра». Два бывших партийных лидера, на основе теории «моральной ответственности» за убийство Кирова, уже были осуждены на десять лет каждый, тысячи их сторонников были или брошены в тюрьмы или депортированы. Казалось, что этих жертвоприношений на тризну по Кирову было достаточно. Как и многие мои товарищи, я был потрясен этой злонамеренной затеей до глубины души. Но Сталину этого было мало. Он снова вытаскивал на свет труп несчастного Кирова и использовал его, чтобы избавиться от своих уже поверженных и раскаявшихся критиков и противников. Тональность статей в «Правде» не оставляла сомнений в исходе процесса. Каждая строка указывала на смертный приговор, но мы в миссии просто не могли в это поверить. Кобецкий, в прошлом секретарь Зиновьева, старел у нас на глазах. Этот обычно разговорчивый человек хранил глухое молчание, проводя целые дни в своем кабинете, где он часами слушал радио и беспрерывно курил. Во время процесса эмоциональная атмосфера в миссии напоминала дурной сон. Мы избегали говорить о том, что казалось сплошным безумием, каким-то диким вывихом со всех возможных точек зрения.

Читая сообщения в газетах, мы не верили своим глазам, что Зиновьев, Каменев, Смирнов и другие публично признали себя виновными в чудовищных и совершенно очевидно невозможных преступлениях. Их «признания» были полны нелепостей и противоречий и состояли исключительно из общих заявлений и намерений. Не было никаких ссылок на конкретные действия или документы. Ни один человек, знакомый с фактами и методами «юстиции», которые уже применялись по делу Кирова, не мог принимать иначе как зловещий трагикомический спектакль бойкие показания обвиняемых о «Ленинградском центре»,

который готовил убийство Сталина и свержение советской власти с помощью иностранных держав. Это стало особенно отвратительным, когда на мгновение трагическая правда прорвалась через этот бесстыдный спектакль.

Смирнов неожиданно отступил от заготовленной ему роли и на вопрос прокурора: «Когда вы вышли из состава центра?» – неожиданно ответил: «Я никогда и не собирался выходить из состава центра потому, что неоткуда было выходить».

Вышинский с удивлением и нажимом: «Разве центр не существовал?»

Смирнов устало: «О чем вы говорите?»

Но такие человеческие проблески были крайне редки. Кошмар возобновлялся, и этот полунасмешливый и полубезумный диалог продолжался.

Для нас, старых членов партии, эти процессы представлялись сплошной выдумкой. Не могло быть и речи о том, чтобы верить этим признаниям. Мы знали этих людей, мы работали с ними со времен революции и Гражданской войны. Мы также знали, что в советских условиях то, в чем они признавались, было невозможно. Но нам от этого было не легче. Основную аудиторию составляло новое поколение, которое не знало своего прошлого. Им надо было просто верить, и у них не было никакой другой информации, кроме собственных признаний обвиняемых и сыпавшихся на них со всех сторон разоблачений и проклятий. Никаких критических статей в газетах или журналах, никаких публичных дискуссий или частных бесед – только шепотом за закрытыми дверьми. Нам, кто жил при советской системе, было ясно, что молодое поколение в целом поверит этим чудовищным выдумкам.

Но нам казалось невозможным, чтобы внешний мир принял это чудовищное действо всерьез. Мы полагали, что в мире есть немало зрелых людей, проницательных политиков и журналистов, которые смогут отличить факты от вымысла. Но мы ошибались. С помощью «либеральных» журналистов и «попутчиков», которые сами хотели быть обманутыми, Сталин сумел убедить остальной мир в том, что его война на уничтожение со своими соперниками за власть есть «защита социалистического отечества» от невиданного нашествия полчищ мерзких предателей. «Загадка московского процесса» объяснялась ими с циничной простотой: Троцкий в своей отчаянной борьбе за власть вступил в сговор с нацистами, фашистами и японскими милитаристами для того, чтобы свергнуть режим Сталина. Новый друг демократий, Сталин, вовремя вскрыл этот заговор и заслуживает благодарности за своевременный срыв «зловещих»

планов Троцкого.

Во время «процесса шестнадцати», когда я читал сообщения телеграфных агентств и слушал радиопередачи, в моем сознании навязчиво пульсировал один-единственный вопрос. Для нас не было вопроса в том, верить или не верить признаниям. Мы знали, что они были продиктованы Сталиным и ОГПУ. Но в то время мы не знали и не могли понять цели этой чудовищной затеи. Для чего Сталин поднимал этот ураган страха и ненависти, деморализуя советскую систему и нанося ущерб ее престижу в глазах международного сообщества?

Мы все думали, что невероятная бездна самоуничижения, в которую низвергли себя шестнадцать обвиняемых, по крайней мере спасет их от расстрела. В конце концов, разве они не были друзьями Ленина и товарищами Сталина? Нельзя же расправиться с ними, как с «бешеными псами».

Я перебирал в уме различные прецеденты. После революции крупные судебные процессы почти никогда не оканчивались расстрелами. В первые годы многие антибольшевистски настроенные социалисты просто изгонялись из страны. Суд над эсерами в 1922 году завершился только условными смертными приговорами, хотя обвиняемые фактически боролись с советской властью с оружием в руках и организовали покушение на жизнь Ленина. Из обвиняемых, проходивших по «шахтинскому делу», лишь несколько были приговорены к смерти, остальные получили непродолжительные сроки, и скоро им было разрешено работать на промышленных предприятиях Сибири. Обвиняемые по делу Рамзина, которые признались в подготовке вооруженной иностранной интервенции в сговоре с французским генштабом, после отбывания непродолжительного заключения были помилованы и восстановлены в прежних должностях. На следующем процессе меньшевиков обвиняемые, обвинявшиеся в аналогичных преступлениях, были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Судебный процесс над Торнтоном и другими английскими инженерами в 1933 году – я был на этом процессе – закончился умеренными приговорами. Нет, до сих пор Сталин никогда не проливал кровь своих бывших товарищей, с которыми он работал не один год и которые принадлежали к старшему поколению лидеров Октябрьской революции. Было просто невозможно предположить, что этот процесс будет иметь какой-то другой исход.

Эта надежда подогревалась поступившими сообщениями о восстановлении накануне процесса института помилования, отмененного после убийства Кирова. Это, совершенно очевидно, было сделано в интересах Зиновьева и обвинявшихся вместе с

ним товарищей. Никому из нас не пришло в голову, что это была всего лишь приманка, имевшая своей целью склонить обвиняемых к «признанию».

Когда мы получили известие о приговоре и казни, мы все были в состоянии оцепенения. Никто не решался говорить даже шепотом. Не хватало смелости взглянуть друг другу в глаза. Я был потрясен. Я понимал, что это означало конец большевистского периода в истории страны.

Бедный Кобецкий, чьи деловые и дружеские связи с Зиновьевым были нам известны. Он был молчалив и бледен. Он был сломлен. Но ему еще предстояло выполнить свой долг. Он должен был собрать сотрудников, прочесть им сообщение об итогах процесса и предложить им принять резолюцию, одобряющую приговор суда. Он закрылся в своем кабинете, написал выступление и прочел его нам срывающимся голосом. Там были все официально требовавшиеся выражения: «человеческие отбросы», «расстрелять как бешеных собак», «под мудрым руководством любимого вождя», «уничтожить троцкистскую заразу». Читать это для него было пыткой, как и для нас слушать это. Никто не обнаружил своих истинных чувств. Резолюция была принята единодушно без голосования; и каждый из нас остался наедине со своими угрызениями совести.

Через несколько дней в греческих газетах было опубликовано сообщение из Москвы о предстоящем отзыве нескольких скомпрометированных дипломатов: Давтяна, Раскольникова, Кобецкого. Я показал это сообщение Кобецкому. Его лицо стало напряженным, но он ничего не сказал. В тот же день он направил телеграмму Литвинову с требованием опровержения этого сообщения или своего немедленного отзыва. Ответ Литвинова гласил: «Оставайтесь на своем посту и ждите указаний».

Внешне течение нашей жизни восстановилось, но тяжесть, которая давила на наше сознание, не может быть передана словами.

С каждой почтой из Москвы для руководства, секретарей партячейки и библиотекарей стали поступать списки книг, которые должны быть немедленно сожжены. Это были книги, в которых упоминались теоретики марксизма и другие публицисты, которые считались скомпрометированными прошедшим процессом, Поскольку практически перво-, второ– и третьеразрядные фигуры за последние пятнадцать лет уже были изобличены в какой-нибудь ереси, я с изумлением подумал, что у нас останется на полках библиотек! Достаточно было предисловия Бухарина, Радека или Преображенского к любой классической работе – и она летела в печку!

В таком темпе, – подумал я, – мы сожжем больше книг, чем нацисты, и определенно больше марксистской литературы. Что и случилось на самом деле. Огромное число книг было сожжено только потому, что их редактировал недавно изгнанный из страны известный советский библиофил Рязанов, основатель Института Маркса – Ленина. Первое издание сочинений Ленина, вышедшее под редакцией Каменева и содержавшее положительные отзывы о сегодняшних «предателях», было изъято из обращения.

Сталин лично почистил и переиздал единственный том его «сочинений» – компиляция статей и речей – прежние издания были потихоньку изъяты из магазинов и библиотек. Причина этого могла заключаться в том, что в прежних изданиях содержались следующие высказывания:

«Вся практическая организационная работа по подготовке Октябрьского вооруженного восстания проводилась под непосредственным руководством председателя Петроградского совета товарища Троцкого. Мы можем сказать со всей определенностью, что быстрым переходом гарнизона на сторону Советов и хорошей организацией работы Военно-революционного комитета партия обязана прежде всего товарищу Троцкому».

«Товарищ Троцкий утверждает, что в лице Зиновьева и Каменева мы имели дело с правым уклоном… Как же объяснить тогда, что партия смогла избежать раскола?.. Раскола не произошло, и разногласия сохранялись всего лишь несколько дней потому, что Каменев и Зиновьев были большевиками, ленинцами».

«…Бухарин… не нарушил ни одного решения Центрального Комитета. Вы требуете крови Бухарина? Так знайте, что вы ее не получите… Мы против политики ампутаций… Мы за единство… Если мы это начнем, то где это закончится? Сегодня мы отсечем Бухарина, завтра другого, и так, пока партия не будет окончательно уничтожена!»

Но уже никто не был так безрассуден, чтобы вспоминать во время процесса эти высказывания Сталина.

В течение лета мы с Мари совершили много замечательных экскурсий, которые я никогда не забуду. Мы посетили острова Эгейского моря, в том числе Самос, откуда происходила ее семья, – место просто непередаваемой красоты и спокойствия. Но события августа абсолютно выбили меня из колеи. Ни любовь, ни красота греческих пейзажей не могли преодолеть моей депрессии, и мы перестали ездить по античным местам Греции. Иногда мы совершали прогулки по крутым и узким улицам афинских пригородов. Большую часть времени я молчал, и Мари понимала,

что творилось у меня в душе. Она тоже переживала напряженный период.

Мы планировали наше общее будущее: она закроет свое бюро в Афинах и поедет со мной в Советский Союз. Мы будем вместе там работать, строить нашу великую страну. Но когда она поделилась своими планами с семьей, это вызвало в ней бурю различных, но больше отрицательных эмоций. Родственники и слышать ничего не хотели о ее возможном браке с русским. Их маленькая хрупкая девочка, которая всегда жила в теплой и солнечной Греции, просто замерзнет в снежной России, где медведи свободно бродят по улицам! Она там будет постоянно болеть! Она погибнет!

Мари не верила в эти ужасные картины и стояла на своем. Она с улыбкой рассказывала об этих страхах в семье и не принимала их всерьез. Но меня беспокоили не столько медведи на улицах, сколько вещи, более опасные для тонких нервов. Я знал, как ей, всегда жившей в достатке и комфорте, будет трудно привыкать к трудностям повседневной жизни в Москве. Ее храбрость и решимость не вызывали у меня сомнения. Я знал, сколько настойчивости и терпения проявила эта молодая гречанка из привилегированных слоев общества, чтобы преодолеть скептицизм профессоров и непонимание своих товарищей и после пяти лет напряженной учебы стать инженером-архитектором. Именно поэтому родственники, зная ее твердый характер, так энергично пытались отговорить Мари от этой новой «эксцентрической затеи». Но больше всего меня беспокоила и печалила перспектива неизбежного разочарования, которое, я знал, ожидало ее в России. Я ведь хотел, чтобы она любила Россию и была там счастлива.

В один из дней после обеда, когда я собирался идти на официальный прием, раздался телефонный звонок. Звонила Мари. Ее голос дрожал от волнения: «Шура, я знаю, ты очень занят, но мне нужно немедленно тебя видеть – на несколько минут».

Я быстро пошел в небольшое кафе около стадиона. Мари уже была там. На лице ее отражалась тревога и смятение.

– Мне нужно было просто увидеть тебя на минуту, – сказала она извиняющимся тоном. – Просто поддержать мою решимость – мне показалось, что она оставляет меня.

В ее борьбе наступил критический момент. Мать со слезами умоляла дочь отказаться от планов поездки в Россию. Скоро из дома уходил сын, и дочь оставалась ее единственной радостью. До сих пор Мари успешно противостояла рациональным аргументам, но этот эмоциональный взрыв был выше ее сил.

Некоторое время мы сидели за столиком молча, держась за руки. И вдруг мне вспомнилась одна надпись, которую мы видели на одном из древних памятников: «Anaskhomen tas kardias!» (Поднимите выше свои сердца!) Мари улыбнулась, и глаза ее посветлели. У нее снова появились силы бороться за наше счастье. Я следил, как она садилась в такси, и испытывал чувство нежности и гордости.

После августовской трагедии наша дипломатическая активность значительно снизилась, а на некоторых направлениях практически прекратилась. Из дома мы не получали ориентировок об общей политической ситуации и сами перестали посылать в Москву информацию о местной ситуации и деятельности правительства. С изумлением я наблюдал, как во время итало-абиссинского конфликта Советский Союз, официально выражая свои симпатии Эфиопии, продолжал поставлять нефть в Италию, никак не объясняя нам свои действия. В Испании началась гражданская война, и на первых порах наше правительство старательно воздерживалось от любых действий, которые могли быть истолкованы как поддержка защитникам республики. И по этому поводу к нам не поступило никаких разъяснений.

Когда, наконец, Сталин решил оказать помощь республиканцам и направил в Испанию посла, несчастного Марселя Розенберга, бывшего поверенного в делах в Париже, я получил телеграмму от Крестинского с назначением меня Генконсулом в Аликанте. Это случилось 3 ноября 1936 года, но спустя несколько дней это назначение было отменено, когда испанское правительство, а с ним и советское посольство переместились в соседнюю Валенсию.

В декабре я решил поехать в Москву в отпуск на автомобиле. В это время года балканские дороги непроходимы, и я планировал ехать через Италию, Австрию, Чехословакию и Польшу с общей протяженностью маршрута около пяти с половиной тысяч километров. Меня уже давно привлекала спортивная сторона такой поездки, так как моя зимняя одиссея из Ленинграда в Москву не излечила меня от этой страсти. И еще мне хотелось занять себя чем-то, что полностью захватило бы и отвлекло от мрачных мыслей.

Кобецкий и другие друзья в миссии как могли старались отговорить меня от этой авантюры, указывали на риск, которому я буду подвергаться, особенно в Польше и России. Действительно, пока еще никто не совершал такой поездки зимой. Они предсказывали, что я только разобью вдребезги свою машину и вообще не доберусь до Москвы, затерявшись где-то в снежных

заносах. Но эти мрачные прогнозы только разжигали мой спортивный азарт, к тому же мне казалось, чем труднее будет на дороге, тем лучше это будет отвечать моему настроению.

Чтобы успокоить своих друзей, я рассказал им, что советский план строительства дорог предусматривал создание современной автомагистрали от польской границы до Москвы. Строительство этой дороги предполагалось закончить к ноябрю. Сам я не очень в это верил, но аргумент представлялся довольно убедительным. К тому же я сказал им, что в одной из наших миссий по пути прихвачу себе попутчика.

Понимая, что поездка все-таки связана с немалым риском, я не хотел использовать автомобиль, принадлежащий миссии, и за счет тщательной экономии в течение года купил себе новый «форд», который прибыл из Нью-Йорка как раз за несколько дней до намеченного мной отъезда.

Перед отъездом я поехал с Мари к морю. Мы провели вечер в том же самом ресторане, где разбивали бокалы, и снова выпили за наше будущее. У Мари было много планов работы в России, и я обещал ей принять меры к тому, чтобы меня быстрее отозвали домой. Машину я собирался оставить в Москве, и мы уже мечтали, как будем вдвоем ездить по улицам столицы.

Мы бросили последний взгляд на Фалеронский залив, который был так же тих и прекрасен, как в наш первый вечер здесь. Было очень тепло, и я рассказал Мари, как выглядит в это время года заснеженная Россия. Я пообещал ей вернуться в конце января.

На следующее утро я был уже на пути в порт Пирей. По дороге заехал в цветочный магазин и заказал букет роз для Мари, который ей должны были доставить 8 января в честь годовщины нашего знакомства на встрече архитекторов.

Я упоминаю об этом потому, что спустя три года случилось то, что придало этой дате особое для нас значение. В канун Рождества 1939 года, прожив три года как гонимые беженцы в Париже, мы отправились в трансатлантическое плавание из затемненного порта Гавра, чтобы начать в новом мире новую жизнь. Наш пароход «Де Грасс» должен был прибыть в Нью-Йорк через десять дней. Но нам пришлось несколько дней дожидаться конвоя в Саутгемптоне, а потом медленно, зигзагами пересекать Атлантический океан, прячась от вражеских подводных лодок. Плавание продолжалось больше двух недель, и мы оказались в Нью-Йорке в холодный солнечный зимний день 8 января.

Мы шли вдоль Гудзона по западной стороне Манхэттена по улицам, покрытым снегом и слякотью. Проносившиеся такси забрызгивали нас грязью. Нам приходилось пробираться в

лабиринте фруктовых ящиков, сложенных штабелями на тротуаре. Было очень грязно и неуютно, со всех сторон нас толкали встречные прохожие, но нам казалось, что мы еще никогда в жизни не видели такого прекрасного города. Мы шли, держась за руки. На душе было легко. Хотелось петь.

Теперь мы каждый год отмечаем этот день как наш двойной День Благодарения. Он соединил нас, он дал нам новую страну и дом.

Последняя поездка в Россию

После лихорадочных сборов, 14 декабря, я на своем новеньком «форде», нагруженном бесчисленными запасными частями, но без обогревателя, отправился в направлении Пирея в порт Бриндиси. Рано утром мой автомобиль уже был поднят на борт и я, стоя на верхней палубе, мысленно прощался с Грецией. Небо было пасмурным; лишь изредка робкие лучи солнца пробивали серую пелену облаков, освещая вершины гор мягким прозрачным светом, какой я видел только в Греции и которым всегда восхищался. Но солнце светило недолго, большую часть дня, пока мы шли Коринфским заливом, горы были темными и меланхоличными. В середине дня мы подошли к Итаке, родине Одиссея, и бросили якорь у маленького прелестного города Вати, стоящего у кромки живописного залива, посреди которого был небольшой остров с крепостью. От Итаки наш путь лежал к Корфу, куда мы прибывали к вечеру. Меня поразило, как этот город был похож на города итальянского Средиземноморья за исключением того, что живописность пейзажа здесь дисциплинировалась чистотой и строгостью архитектурных линий, характерных для Греции. На следующий день наш пароход вошел в просторную гавань Бриндиси.

От Бриндиси до Рима – что составляло около семисот пятидесяти километров – я доехал за один день. Было довольно холодно, но светило солнце, и разнообразие пейзажа радовало глаз, особенно в горном районе после Фоггии. Маленькие деревенские домики, построенные в совершенно незнакомом мне стиле, перемежались с убогими многоквартирными домами, на облупившейся штукатурке которых были намалеваны обычные лозунги о величии дуче и новой римской империи. Я ехал без остановки до Неаполя, где задержался на десять минут, чтобы выпить чашку кофе и полюбоваться ночным заливом. Ближе к полуночи, подъезжая к Риму, я попал в такой густой туман, что должен был снизить скорость до пятнадцати километров в час, чтобы не столкнуться с огромными фургонами, которые доставляли овощи и фрукты для римского рынка. Надо было внимательней следить за дорогой, чтобы не столкнуться с фурами, постоянно возникавшими из тумана. Вести машину стало опасно и неприятно.

Проведя четырнадцать часов за рулем, я неожиданно для себя оказался на улицах Рима. Они были молчаливы и зловещи, туман казался еще гуще. Вечный город казался закутанным в покрывало, через которое просвечивала громада Колизея.

В советском посольстве заспанный комендант отвел меня в комнату для гостей, где, приняв горячую ванну, я уснул как убитый. Два дня, проведенные в Риме, были как сказочный сон, как встреча со старым другом. В Милане я присутствовал на совещании, которое проводил наш посол, Борис Штейн. Обсуждались итоги сессии Лиги наций, с которой он только что вернулся, а также советской внешней политики в целом. Штейн выступал с энтузиазмом лояльного советского чиновника. Его выступление было насыщено тяжеловесными комплиментами в адрес советского руководства, и я с грустью подумал, что «правильный стиль выступлений» полностью вытеснил шероховатый, но искренний стиль прежних дней.

На площади Сан-Марино я покормил голубей и двинулся дальше на север, где в сильный снегопад пересек Бреннерский перевал. Путешествие становилось все труднее, но и интереснее. Дороги в австрийских Альпах, особенно в сезон лавин, не самые безопасные в мире, но пейзажи везде превосходны. Спуск с вершины Семмеринга с наступлением темноты, особенно для незнакомого с местностью водителя и на дороге, покрытой льдом, – это не для плохих тормозов и слабых нервов, но благодаря цепям, в которые я одел колеса, для меня все окончилось благополучно. Я еще не раз благодарил эти цепи, особенно на дорогах Польши и Белоруссии.

В Вене, в доме нашего посланника, Лоренца, я встретил группу офицеров Красной Армии и сотрудников ОГПУ, которые направлялись в Испанию. Думаю, кое-кто из них позже заплатил своей жизнью за провал политики Сталина в Испании. Даже те, кто пытался заслужить благодарность Сталина ликвидацией некоторых несогласных с ним республиканцев, не избежали общей судьбы козлов отпущения.

В Вене мне пришлось оставить надежду найти себе попутчика. Все опять дружно убеждали меня отказаться от рискованной затеи ехать зимой по дорогам Польши и России. Предлагалось оставить машину в Вене и ехать дальше на поезде. Но я настоял на своем.

Дорожные условия в Польше были действительно плохими. За два дня, которые ушли у меня на то, чтобы доехать до Кракова, а оттуда до Варшавы, я дважды попадал в снегопад с сильными порывами ветра. В одном месте дорога могла быть покрыта мокрым льдом, а в Другом на тридцать сантиметров снегом. После Кракова у меня отказали фары, и я ехал в кромешной темноте, каждый раз съезжая с дороги при появлении встречного автомобиля. Я страшно устал и временами испытывал даже чувство страха, но это отвлекало меня от того, что я хотел забыть.

Больше всего я боялся, что не успею в Москву до конца месяца, так как я обещал своим сыновьям встретить с ними Новый год.

Пейзаж здесь был замечательный, хотя и неброский – покрытые снегом холмы и поля. Не раз я останавливался, чтобы насладиться бескрайним одиночеством. Впереди и позади меня не было ни души, только бесконечная лента дороги с деревьями по обеим сторонам и бескрайние заснеженные поля. Ветер со свистом наметал сугробы. Дорога была безжизненной, если не считать нескольких ворон, которые неуклюже прыгали перед автомобилем. Я включил радио, и приглушенные звуки музыки странным образом слились в какой-то единой гамме с завыванием ветра и белым безмолвием дороги.

В канун Рождества я пробирался по заснеженным улицам Варшавы. Я был гостем посла Давтяна и его жены актрисы Максаковой. Как и многие советские чиновники, этот хитрый и неискренний посол, сам того не зная, доживал свои последние дни на свободе и в буквальном смысле последние дни своей жизни.

На следующий день я выехал из Варшавы. Дорога проходила через множество мелких еврейских деревушек, которые, казалось, были навечно придавлены безысходной нищетой. Дорога стала еще хуже, но погода, несмотря на сильный мороз, была приятной. На второй день пути я почувствовал страшную усталость, но все же собрался с силами и хотел засветло пересечь советскую границу.

Из придорожного окопа выскочили два польских пограничника и приказали мне остановиться. Из караульного помещения, стоявшего в нескольких сотнях метров, показался польский офицер. Он был вежлив, но тверд. Мой переезд через границу в этот день был исключен, правила запрещали пересечение границы после заката солнца. Кроме того, как ни кричи, советские пограничники все равно не появятся. В результате мне пришлось ехать сорок километров до ближайшей деревни, чтобы заночевать.

Я снял комнату у одной еврейской женщины, в конюшне среди телег, коров и коз нашлось место и для моей машины. Пришел местный пристав. Он долго рассматривал мои документы. На следующее утро при температуре несколько градусов ниже ноля в сопровождении польского офицера и солдата я опять отправился к границе. Ветер продувал нас до костей, что снижало температуру еще раз в десять. Остановились у небольшого моста через замерзшую речку. На мосту было два шлагбаума. Шлагбаум на польской стороне был покрашен красной и белой краской, а на советской – ярко-красной, а за ним

простиралась огромная территория Советского Союза. На бескрайней снежной пустыне в полутора километрах от нас на пригорке виднелась свежесрубленная избушка пограничного поста.

По приказу офицера польский солдат дважды выстрелил в воздух. Прошло десять, тридцать, шестьдесят минут, но с советской стороны не доносилось ни звука. Отдаленная избушка казалась необитаемой.

Посиневший от холода польский офицер раздраженно сказал:

– Вот так всегда с вашими. Они должны ответить на мой сигнал и подойти сюда. Но они, когда хотят, предпочитают отсиживаться в своей избушке.

Мы продолжали стрелять и примерно через час услышали слабый звук ответного ружейного выстрела. Из домика показались две фигуры в военных шинелях. Еще полчаса потребовалось им, чтобы добраться до моста. Молодой советский офицер с любопытством посмотрел на мою машину и отдал честь польскому капитану, который передал ему мой паспорт и всем своим видом показывал, что хочет ускорить процедуру. Явно смущенный советский офицер долго вертел в руках мой паспорт.

– Моего командира сейчас нет, а до его прихода я не могу пропустить вас. Лучше будет подождать его.

Польский офицер повернулся ко мне и поцокал языком:

– Вот видите, всегда так. – На его губах блуждала ироническая усмешка.

– Мы пошлем за командиром, – пробормотал покрасневший молодой советский офицер.

– Товарищ, немедленно поднимите шлагбаум! – потребовал я. – Мои документы в полном порядке, и вы должны выполнять свои обязанности и не заставлять ждать наших соседей. Мы не можем заставлять этих господ ждать здесь целый день. Любые объяснения, которые вам нужны, вы можете получить от меня в вашем штабе.

Тон моего голоса возымел должный эффект. Я завел машину и пересек мост. По дороге на пограничный пост молодой офицер извиняющимся тоном объяснил, что появление автомашины среди зимы было совершенно неожиданным. Последнюю машину, которая принадлежала британскому дипломату, они видели в августе, и в том случае Москва предупредила их телеграммой. Они не могли себе представить, что кто-то решится путешествовать в автомобиле в это время года.

В избушке пограничников меня ждал более теплый прием. Вскоре появился командир, маленькое недоразумение было забыто, и через некоторое время я снова был в пути. Но от

пограничников я узнал плохую новость: строительство новой автодороги, которое уже должно было закончиться, еще только началось[27]. Мне пришлось ехать по тем дорогам, которые были в отдельных местах вполне приличные, но большей частью просто не поддающиеся описанию. Не было никакой логики в том, где начинались и где заканчивались эти хорошие и плохие участки.

В Минске я остановился у Гикало, секретаря ЦК партии Белоруссии, в прошлом известного партизанского командира на Кавказе. В следующем году он был расстрелян. В нескольких километрах от Минска мой «форд» попал в снежный занос высотой более метра. Было пять часов утра, а снег все шел и шел. Не было видно ни зги. В течение двух часов на дороге не появился ни один автомобиль, ни один человек. Я чувствовал, что мои ноги в тонких ботинках начали замерзать и терять чувствительность. Сняв ботинки, я стал яростно тереть ноги снегом, чтобы восстановить кровообращение. Через час мне снова пришлось повторить эту процедуру.

Меня уже начало охватывать отчаяние, когда на дороге показалась одинокая фигура. Это был бедно одетый мужчина средних лет с котомкой за плечами. Он сказал мне, что примерно в трех километрах был расположен колхоз. Я отправился в указанном направлении и скоро добрался до колхоза, состоявшего из нескольких лачуг. В каждой было полно детей и домашних животных, но хозяева с готовностью согласились помочь мне. Они ухитрились взять машину на буксир несколькими истощенными лошаденками и вытащили **ее** на чистое место.

Проведя следующую ночь в Рославле, я во второй половине дня 31 декабря по Подольскому шоссе въехал в Москву. Я не забыл аварию, которой закончился мой предыдущий приезд в Москву, и ехал с повышенной осторожностью. Милиционеры и прохожие с удивлением смотрели на иностранные номера моего автомобиля. Позвонив в Наркоминдел, я поставил машину на стоянку в гараж на Спиридоньевке, в доме, где жил Литвинов.

Думаю, что я был первым, кто проехал от Варшавы до Москвы зимой, и гордился этим. Теперь я понял, почему путешественники часто предпочитают трудные дороги избитым туристским маршрутам – до этой поездки я относился к этому как к снобизму. Единственное, что было повреждено в моей автомашине, – потолочный плафон, о который я стукнулся головой. В остальном машина была в таком же отличном состоянии, как в тот момент, когда я получил ее в Афинах. Я оставил машину в гараже Литвинова и больше никогда не видел, так как она была конфискована вместе со всем моим московским

имуществом после вынесения мне смертного приговора.

Я приехал в Москву ровно за три недели перед вторым процессом над Пятаковым. Я заметил, что никто, даже в самых откровенных беседах, не говорил о политике. Многие из моих друзей, довольно заметные фигуры, уже исчезли, то есть были арестованы. Упоминание их имен даже по ошибке вызывало у всех чувство неловкости, и люди делали вид, что не слышали их. Как смертельно больной человек цепляется за последнюю надежду, так и видные коммунисты надеялись, что все как-то образуется и жизнь вернется в нормальное русло, а тем временем искали забвения в работе.

Я очень хотел получить дополнительную информацию о процессе над Зиновьевым, но вынужден был соблюдать исключительную осторожность. Наконец мне удалось поговорить с человеком, с которым я был очень близко знаком. Это был журналист, очень близкий к Сталину и входивший в его непосредственное окружение. Он рассказал мне, что всем шестнадцати обвиняемым было дано официальное обещание, что исполнение смертного приговора будет отложено при условии признания ими своей вины. В качестве доказательства лояльности партии и готовности борьбы с троцкизмом от них потребовали принести в жертву личную честь. Чтобы убедить их в серьезности предложения, им сообщили о том, что за пять дней до начала процесса был принят указ, восстанавливающий институт помилования. Зная Сталина, они отнеслись к этому скептически, но у них не было другого выбора.

После начала процесса они скоро поняли по общей атмосфере в суде, по кампании в прессе, бесчисленным митингам, участники которых, от двенадцатилетних школьников до седовласых ученых, требовали смертной казни для этих «бешеных фашистских собак», что они проиграли. Но им уже ничего не оставалось делать, как испить эту чашу до дна, то есть подчиниться приказу Сталина.

В своей книге о судебных процессах «Преступления Сталина», Троцкий выразил удивление по поводу признаний обвиняемых в том, что их единственным движущим мотивом была «жажда власти».

«Для партии пролетариата, – писал Троцкий, – власть только средство для преобразования общества. Стремление к власти ради самой власти есть доказательство глупости и вульгарности, не поддающейся описанию…»

Мой друг из «Правды» представил этот очевидный акт вульгарности и глупости в новом свете.

– Они отрицали, что у них когда-либо были какие-то

политические разногласия со Сталиным… Они просто рвались к власти – понятно! – объяснил он. – И судьи, и Генеральный прокурор Вышинский, и журналисты – все это проглотили. Мы все громко провозглашали, что у них не было никаких политических разногласий со Сталиным, что к пределу падения их привела жажда власти, потеря идеалов. Это был очень умный трюк, он стал лейтмотивом всего процесса.

Но я все-таки чего-то не понимал.

– Неужели ты не понимаешь? Если у них не было никаких разногласий со Сталиным и они просто жаждали власти, значит, и у него не было никаких разногласий с ними и он тоже боролся за свою личную власть. По существу, все они говорили о том, что больше не считали его лидером партии, а он готов был послать на смерть соратников Ленина для того, чтобы защитить свои позиции.

– И что же? – настаивал я.

– Такой ход событий ужасно разозлил Хозяина, – продолжал разъяснять мне мой товарищ. – До этого он был так уверен в исходе процесса, что поехал в отпуск на Кавказ. Получив информацию о маневрах обвиняемых, он пришел в ярость. Особенно досталось шефу ОГПУ Ягоде и нам в «Правде» и в «Известиях», которые не смогли раскусить замысел обвиняемых.

– А что же вы? – продолжал наивно спрашивать я.

– Все мы дрожали за свою шкуру и, разумеется, тут же изменили трактовку событий. «Правда» стала развивать тезис о том, что обвиняемые продались заграница, надеясь с ее помощью реставрировать капитализм, но свои цели прикрывали простой жаждой власти. Этой же линии придерживался государственный обвинитель. Но теперь уже было поздно добиваться от обвиняемых другой версии, которая больше бы подходила Хозяину. По его мнению, процесс ударил мимо цели и это предопределило конец Ягоды, который отвечал за инсценировку процесса. Ты же знаешь, что в течение восьми лет Ягода симпатизировал Бухарину. Хозяин ничего не забывает. Вот теперь Ягоду сняли с должности и на его место назначили Ежова.

От своего друга я узнал, что сейчас московские библиотекари находились под пристальным вниманием ОГПУ. В библиотеках постоянно устраивались чистки. Подшивки газет за прошлые годы оказались под запретом, поскольку в этих номерах были статьи, подписанные «врагами народа». Если библиотекарь отказывался показать какому-нибудь настойчивому читателю прошлые выпуски «Известий», то его могли обвинить в саботаже. Но если он показывал их, то его могли обвинить в контрреволюционной пропаганде. Если он пытался вынести этот вопрос на

рассмотрение своих руководителей, те могли обвинить его в том, что он пытался подставить их…

А я когда-то хотел стать библиотекарем, считая это очень спокойной работой!..

В связи с новой линией, занятой обвинением на процессе Зиновьева, и для исключения досадных срывов в дальнейшем развернулась широкомасштабная кампания по обвинению иностранных правительств в сговоре с членами разгромленной оппозиции. Население убеждали в том, что страна была наводнена иностранными шпионами и любой человек может оказаться вражеским агентом, готовящим реставрацию капитализма. Эта тема по команде сверху стала центральной: газеты, радио, театр, кино, книжные магазины были полны шпионских историй, которые неизменно заканчивались призывом к бдительности. В стране началась самая настоящая шпиономания; люди стали на всех иностранцев, даже на политэмигрантов-коммунистов, которые жили в Советском Союзе по десять – пятнадцать лет, смотреть как на шпионов. Люди стали сторониться контактов с иностранцами. Даже получение открытки из-за границы таило в себе опасность. Многие туристы заметили это явление в России, но никто не понял его причин. Оно возникло из необходимости подготовки атмосферы для фантастических судебных процессов и вынужденных признаний, которыми Сталин прикрывал свою кровавую расправу со старой большевистской гвардией.

Чтобы показать, до каких масштабов правительство раздуло шпиономанию, я хочу сослаться на пример Павленко, талантливого молодого писателя-коммуниста. Павленко написал роман «На Востоке», посвященный китайским коммунистам. Начинается он так. На берегу реки Амур японские солдаты расстреливают китайского коммуниста. Но перед роковым залпом он падает в реку и под водой, тяжело раненный, все же уходит от преследователей и достигает советского берега. Ему помогают, он выздоравливает, учится в военной академии и, возвратившись в Китай, покрывает себя славой как командир партизанского отряда, борющегося против японских оккупантов. Роман имел определенный успех.

Однажды мое внимание привлекла киноафиша с названием «На Востоке» по сценарию Павленко. Фильм начинался так же, как и роман, но конец был совсем другим. Китайский коммунист, которого спасли русские братья, после окончания военной школы был неожиданно разоблачен как японский шпион. Павленко – довольно известный писатель, его книга была переведена на французский язык, но и он не устоял перед тем, чтобы, в угоду

властям, не превратить свою идеалистическую книгу в зловещий сценарий совершенно противоположной направленности. Его главный герой, который служил примером революционера-интернационалиста, становится олицетворением опасности, исходящей от каждого иностранца, даже того, кто на первый взгляд является преданным другом Советского Союза.

Диктатор и музы

С каждым годом тень диктатуры все больше сгущалась над искусством. Это было особенно заметно после моего годичного отсутствия. Атмосфера становилась удушливой. Ежедневные указания о том, каких ориентиров придерживаться в области культуры, практически парализовали творческую жизнь страны. Место гордости заняло самоуничижение, посредственность заняла место гения. Без благословения Кремля любая карьера в области искусства стала невозможной.

Когда-то известные писатели один за другим уходили в безвестность. Пильняк, которого когда-то провозгласили «отцом советской литературы», больше не публиковался. Любое упоминание о нем в обзорах советской литературы жестоко наказывалось. Официальная позиция сейчас заключается в том, что Пильняк вообще не был писателем. То же самое сейчас говорят о некоторых других писателях, чьи книги издавались сотнями тысяч и даже миллионами экземпляров. С другой стороны, некоторые писатели, которые еще недавно были не в фаворе, вдруг были вознесены на пьедестал. У знаменитого поэта Маяковского была двойственная судьба. Позиция официальных критиков была главным фактором, который толкнул его на самоубийство. Но несколько лет спустя после смерти Сталин неожиданно провозгласил его величайшим поэтом нашей советской эпохи. Одна из московских площадей получила его имя, так же как один из театров и колхозов.

Графа Алексея Толстого подвергали жестокой критике вплоть до начала 30-х годов как литературного провокатора, который старался протащить чуждую идеологию в советскую литературу. Потом вдруг по приказу Сталина эта кампания прекратилась и он неожиданно стал крайне желательной фигурой, а после смерти Горького занял его место «лидера» советских писателей.

Быстрый взлет Толстого от поношений к восхвалениям довольно типичен. Побочный отпрыск дворянской семьи, он получил право пользоваться дворянским титулом после демонстрации своей преданности царскому режиму в своих произведениях, описывавших нравы и обычаи помещиков. Как писатель-патриот он был включен в делегацию русских писателей, которая в 1916 году выезжала в Англию с целью укрепления отношений между Уиндзорской королевской династией и царским домом Романовых. Он осуждал Октябрьскую революцию и в течение пяти лет находился в эмиграции. Только в 1922 году, с наступлением нэпа, он вернулся в Россию. Его

произведения публиковались, но они неизменно подвергались суровой критике как идеологически вредные. Наверное, самой уничтожающей критике подверглось его основное произведение – роман и пьеса под названием «Петр Первый». В конце концов Толстой устал. Один его близкий друг передал мне слова, сказанные им в 1930 году другому, тоже не пользовавшемуся официальной поддержкой писателю.

– Ты знаешь, мой друг, мы с тобой просто дураки. Все, что нам надо для успеха, – прочесть последний стенографический отчет о работе съезда партии и придерживаться заданной там политической линии.

И в действительности он именно так и поступил. Все его последующие произведения получали положительную оценку, в том числе самого Сталина. Даже его «Петр Первый» после соответствующей доработки был встречен с энтузиазмом, когда стало известно, что Сталин проводил параллель между своей деятельностью на благо России с карьерой этого царя.

Во время массовых чисток и истерической шпиономании, которая развернулась после московских процессов, Алексей Толстой дал интервью советской печати, в котором заявил, что он намерен переделать свою к тому времени уже хорошо известную пьесу «Петр Первый». В ней уже проводилась иносказательная параллель между борьбой Петра с его сыном Алексеем и стоявшими за ним консервативно настроенными боярами с борьбой Сталина против оппозиции, которая отражала «мелкобуржуазное влияние». Но теперь Бухарин и другие оппозиционеры были объявлены агентами иностранных держав. И Алексей Толстой «обнаружил» новые данные в архивах Петра, на основе которых он решил переписать свою пьесу. В новой версии Алексей, по существу, является шпионом и платным иностранным агентом шведского короля и турецкого султана!

Став таким образом лауреатом Сталинской премии (сто тысяч рублей), Алексей Толстой опубликовал трилогию, посвященную диктатору как лидеру Красной Армии и победителю в Гражданской войне. В этой трилогии он в строгом соответствии с официальной историей показал преступную роль Троцкого, который, оказывается, был никаким не организатором и лидером Красной Армии, а тайным агентом иностранных интервентов. В апогее своей карьеры придворного лизоблюда Алексей Толстой писал почти в религиозном экстазе:

«Мне хочется восторженно выть, реветь, визжать и стонать от одной мысли о том, что мы живем в одно время со славным, единственным и несравненным Сталиным! Наше дыхание наша кровь и наша жизнь – принадлежат Вам! О, великий Сталин!»

Однако из случая с Алексеем Толстым вовсе не стоит делать вывод, что в Советском Союзе кандидат в лауреаты должен обладать литературным талантом. Алексей Толстой как раз обладает талантом, но это случайность. Соревнуются не в литературном мастерстве, а в восхвалении диктатора. Талант уже не имеет значения, так же как чувство достоинства и хорошего вкуса. Вопрос в том, кто громче восхваляет диктатора. Взять, например, случай «знаменитого поэта» Колычева. Этот человек никогда не написал ни одной читабельной поэмы и, вероятно, никогда не напишет. Но вдруг, в один прекрасный день, критика стала превозносить его до небес как величайшего поэта Советского Союза. В чем же дело? Шедевр, который сделал его в один день знаменитым, теперь повторяется на всех ста шестидесяти семи языках и диалектах Советского Союза. Его учили наизусть дворники и полярники, безусые школьники и бородатые профессора. Его непрерывно передавали по радио и распространяли в миллионах экземпляров. Вот этот шедевр.

Первой Конной эскадроны
Зимним утром едут.
Ворошилов и Буденный
В Кремль везут победу.
Утыбается Буденный –
Лед пошел по Дону…
Утыбается Буденный –
Расцветают клены.
Улыбнулся Ворошилов –
Солнце засияло.
Утыбнулся Ворошилов –
И весна настала.
По степи широкой мчат,
Гривами играючи,
Конь Климент Ефремыча,
Конь Семен Михайлыча[28].

Весьма посредственный поэт, но член партии, Безыменский, написал оду к столетию со дня смерти Пушкина, которую он прочел на торжественном собрании в Большом театре. Она завершалась или должна была завершаться знаменитым призывом Пушкина:

– Да здравствует Солнце! Да скроется Тьма!

Но Безыменский добавил:

– Да здравствует Пушкин! Да здравствует Сталин!

Собравшиеся любители поэзии вскочили от восторга и

наградили автора громом аплодисментов. Этому акту литературной проституции вторил член Академии наук, профессор Луппол, который к этому же юбилею написал:

«Чествование Пушкина – это чествование ленинско-сталинской национальной политики. Сталин и Сталинская конституция дали народу Пушкина».

К счастью, в то время у нас еще были люди, способные смеяться над непристойным низкопоклонством, заменившим литературу.

В тот год в Москве рассказывали анекдот об открытии памятника Лермонтову по случаю его столетнего юбилея. На открытие собрались советские знаменитости, произносились речи, играла музыка, и наконец подошел черед снять покрывало. Публика вытянула шеи, но, когда покрывало спало, **ее** взору предстала гигантская статуя Сталина.

– Но какое отношение это имеет к Лермонтову? – прошептал один служащий на ухо другому.

– Не будь дураком, – ответил его собеседник. – Посмотри! Разве ты не видишь, что он держит в руках томик стихов Лермонтова!

Музыкальные вкусы Сталина в молодости ограничивались народными песнями. Став диктатором, он вдруг заинтересовался оперой и балетом и считается покровителем этих искусств, как, впрочем, и всего другого в России. Но в отличие от капиталистических меценатов, пожертвования которых редко превышают несколько тысяч долларов, он «жертвует», разумеется, из государственной казны, многие миллионы. Благодарность артистов неизменно адресуется лично Сталину. На кремлевских банкетах в честь стахановцев, полярников и других героев, а также иностранных гостей артисты выступают целыми коллективами, с операми, балетами и драматическими спектаклями. Для артистов была создана целая иерархия титулов и званий от заслуженного до народного артиста. В дополнение к этим почетным званиям правительство «по предложению» Сталина выделяет театрам миллионы рублей на строительство новых зданий, на премии и другие поощрения артистам – все это, разумеется, из государственного бюджета. Пресса, сообщая об этом, всегда подчеркивает, что то или иное поощрение было сделано «по инициативе» товарища Сталина.

Сталина часто можно видеть в императорской ложе Большого театра на премьерах опер и балетов. Обычно он сидит во втором ряду, позволяя своим спутникам занимать первый ряд. Соседние места занимают сотрудники ОГПУ в военной форме и в гражданском. Во время антрактов в смежном с ложей помещении

накрывается роскошный стол, и диктатору никогда не приходится спускаться в общий буфет. Иногда публика даже не подозревает о его присутствии, но узнает об этом назавтра из газет. Когда же публика его замечает, то разражается бурной овацией и до хрипоты выкрикивает здравицы в честь вождя. Спектакль прерывается, и актеры присоединяются к общей овации.

Чтобы удовлетворить каприз диктатора, однажды в Москву привезли грузинскую оперу. Представление было довольно заурядным, но критика восхваляла ее на все лады. Ведь артисты были земляками Сталина!

Если Хозяин раздает награды с восточной щедростью, то и карает он с холодной жестокостью. Однажды Второй Московский Художественный театр поставил пьесу Жака Дюваля, на премьере которой присутствовал сам автор. За спектаклем последовал банкет, на котором, как доложили Сталину, директор театра, Иван Берсенев, пожаловался французскому драматургу, что он никак не может получить от властей разрешения на зарубежные гастроли. На основе этого доноса Сталин приказал театр закрыть, а его труппу отправить в Ростов-на-Дону Когда труппа отказалась «добровольно» отправиться в эту ссылку, в прессе началась бешеная травля театра. Оказалось, что Второй Московский Художественный театр полностью утратил связь с эпохой великих социалистических свершений и абсолютно бесполезен для искусства. В конце концов театр ликвидировали, а его актеров распихали по разным театрам. Таков был конец Второго Московского Художественного театра, основанного Михаилом Чеховым и являвшегося продолжением прославленного Московского Художественного театра Станиславского.

В разгар чисток на торжественном заседании в Большом театре была исполнена «Героическая симфония» Бетховена. На следующий день ведущие музыкальные критики объявили, что это сочинение Бетховена отражает дух советской эпохи. Они даже обнаружили, что этой симфонией Бетховен провидчески предсказал роль Сталина в истории.

Во всяком случае, это способствовало популяризации сочинений великого композитора. Это обстоятельство также очень помогло самому талантливому советскому композитору, Дмитрию Шостаковичу. Все годы, до «обретения» Сталиным Бетховена, этот ныне всемирно известный композитор подвергался официальному бойкоту. Это было равнозначно смертному приговору в искусстве. Его произведения не публиковались и не исполнялись в Советском Союзе. Композитор был практически лишен источника средств существования, отчаянно нуждался и жил только за счет поддержки нескольких

своих верных друзей.

Это тоже было результатом одного из капризов диктатора. Случилось так, что он пропустил премьеру знаменитой оперы Шостаковича «Катерина Измайлова», которая принесла мировую известность молодому композитору. Но слава оперы росла просто в силу ее художественных достоинств. Все спектакли оперы в Музыкальной студии Немировича-Данченко шли с аншлагом. И вот наконец настал день, когда в театре без предупреждения появился Хозяин. Его усадили на лучшее место, каким в театре считалась директорская ложа. К сожалению, Музыкальная студия Немировича-Данченко располагалась в помещении, которое первоначально не предназначалось для театра, и особенно для постановки таких звучных опер, как «Катерина Измайлова». Раньше это был деловой клуб, и акустика зала не была необходимым образом скорректирована. Поскольку директорская ложа располагалась практически над оркестровой ямой, медь оркестра раздражала диктатора. К тому же он пришел в тот вечер в скверном настроении и хотел развеяться. В порыве гнева он встал и покинул театр еще до окончания второго акта.

На следующий день «Правда» спустила на Шостаковича всех собак. Тон всей этой кампании травли был задан статьей председателя правительственной комиссии по искусству Керженцева, который неожиданно обнаружил, что Шостакович оказался настоящим музыкальным контрреволюционером, «диверсантом» с буржуазными музыкальными стандартами и вообще никаким не композитором. Короче говоря, Шостакович оказался почти «врагом народа» в музыке. Этот чувствительный молодой человек, гений, каких русская музыка не знала со времен Чайковского, Глинки и Бородина, вдруг обнаружил, что его со всех сторон поносят те же самые критики, которые еще совсем недавно превозносили его до небес. Пресса стала публиковать покаянные заявления этих критиков, которые признавали свои ошибки и клеймили Шостаковича как шарлатана и растлителя революционных вкусов.

Председатель Союза советских композиторов писал в газете «Известия» от 27 февраля 1936 года:

«Статья в газете “Правда” является уроком не только для Шостаковича, но и для всего фронта искусства… На нашем музыкальном фронте произошли три события первостепенной важности: беседа товарища Сталина и Молотова с композитором Дзержинским, автором оперы “Тихий Дон”, и две статьи в “Правде”. Если мы правильно поймем значение этих событий, то сумеем найти правильную дорогу, по которой должна идти советская музыка».

Пролетарская музыкальная ассоциация заявила:

«В свете письма товарища Сталина возникают новые огромные задачи на музыкальном фронте. Долой гнилой либерализм с его буржуазным влиянием и теориями нашего классового врага!»

Ассоциация потребовала пересмотреть наше отношение ко всем великим композиторам, начиная с Бетховена и Мусоргского. Письмо товарища Сталина, по заявлению ассоциации, должно было сделать каждый оркестр коллективным бойцом за чистоту марксизма-ленинизма. (Письмо, о котором шла речь, не имело никакого отношения к музыке и вообще к искусству, а касалось преподавания истории.)

Казалось, что Шостаковичу пришел конец. Его жизнь композитора внезапно оборвалась. С величайших высот он был низвергнут в пучину безвестности и отчаяния. Трудно представить, как он прожил следующие несколько лет, поскольку это очень хрупкий и чувствительный человек. Но после того как Сталин открыл Бетховена, Шостаковичу полегчало. Один очень умный друг Шостаковича посоветовал ему сочинить что-либо наподобие «Героической симфонии» Бетховена, в то время как другие его почитатели старались как-то утихомирить диктатора. Шостакович написал свою героическую симфонию под названием «Золотой век» и добился разрешения исполнить ее в присутствии Сталина. С аккуратной подачи почитателей Шостаковича все вдруг заговорили о том, что эта симфония является непревзойденным отражением сталинской эпохи, реализацией той мечты, которая была высказана в симфонии Бетховена. Шостакович был спасен. Те же самые критики, которые публиковали униженные покаянные письма, теперь снова каялись, но уже в ошибочности своих предыдущих раскаяний, и вновь открывали для себя гений Шостаковича.

В области кино Сталин был не только покровителем, здесь он был абсолютным и прямым начальником. Поскольку фильмы считались мощным средством пропаганды, а иностранные фильмы могли раскрыть советским людям некоторые привлекательные моменты жизни при капитализме, все иностранные фильмы должны были проходить цензуру Политбюро, то есть практически Сталина. Руководитель советской кинопромышленности, мой друг, Борис Шумяцкий, сам говорил мне, что по распоряжению Сталина каждый иностранный фильм, намеченный к прокату в Советском Союзе, прежде всего должен был быть просмотрен им самим. Многие из этих фильмов отвергались как идеологически вредные. Только такие шедевры, как безобидные сказки Уолта Диснея, фильмы о крестьянской

революции, как «Вива Вилья!», или фильмы с критикой капитализма вроде «Хлеб наш насущный» Кинга Видора получали одобрение Сталина. Это вовсе не значит, что Сталин не любил иностранных фильмов. Наоборот, он был поклонником Голливуда, особенно ему нравились Кларк Гейбл, Уоллес Бери и Пол Муни. Шумяцкий говорил мне, что Хозяин любил гангстерские фильмы, но он раз и навсегда распорядился о том, чтобы такие фильмы советскому зрителю не показывались.

Несмотря на популярность у советского зрителя Чарли Чаплина и преклонение перед ним советских кинематографистов, его фильмы долго были под запретом в Советской России потому, что Сталин не любил комедии. Когда режиссер Александров снял первую советскую комедию «Веселые ребята», критики, зная о вкусах начальства, подвергли фильм уничтожающей критике как буржуазное отклонение и подражание американскому кино и тем самым чуть не довели бедного Александрова до умопомрачения. Но потом Шумяцкий все-таки показал фильм Сталину, которому он понравился. Немедленно все узнали, что Хозяину понравилась картина и понравилась молодая актриса Любовь Орлова, исполнявшая главную роль. Кинокритики – те же самые кинокритики – снова схватились за перья и стали превозносить картину до небес. Александров стал одним из самых крупных режиссеров в Советском Союзе. По указанию Сталина он был награжден орденом Трудового Красного Знамени и вместе с Орловой получил почетное звание заслуженного артиста республики. В 1939 году после третьего фильма сталинские любимцы, Александров и Орлова, были награждены орденами Ленина. В конце концов и Чарли Чаплин был восстановлен в правах, и его фильмы сейчас смотрят по всей стране.

Роль Сталина как покровителя искусств, однако, не удовлетворяла полностью его подхалимов. Они провозгласили его гениальным ученым, великим философом и писателем. В газете «Правда» от 27 мая 1938 года, в статье, озаглавленной «Сталин – знаменосец науки», мы читаем:

«…В прошлом Россия давала миру гениальных ученых: Ломоносов, Лобачевский, создатель периодической системы элементов Менделеев. Другой гениальный русский ученый, Павлов, тоже прославил русскую науку. Но величайшим из всех корифеев был Ленин. Он не только проложил путь современной науке, но он подготовил своего ученика и наследника, непревзойденного Сталина. Ленин и Сталин – эталоны в науке. История не знала больших достижений, чем те, которые были достигнуты под руководством Ленина и Сталина…»

Согласно писаниям одного из авторов в журнале «Революция

и культура», Сталин является одним из самых «глубоких знатоков и критиков Гегеля»; он принадлежит к числу «наиболее авторитетных специалистов по проблемам современной философии». В журнале «Культурный фронт» можно прочесть следующее:

«По-настоящему некоторые предсказания Аристотеля были поняты и реализованы в полном масштабе только Сталиным».

И далее:

«Сократ и Сталин – вершины разума».

На собрании Коммунистической академии один из профессоров заявил:

«Положения тезисов Канта в современной науке могут быть поняты только в свете последнего письма товарища Сталина».

(Это то же самое письмо, которое определило правильный путь советской музыки.)

Из другой публикации мы узнаем:

«Каждый параграф речи Сталина есть благодатная почва для художественного творчества».

«Литературная газета» доходит до того, что превозносит Сталина как стилиста «Лингвисты и критики должны изучать стиль товарища Сталина». Речь президента Советского Союза Калинина заканчивается на следующей ноте:

«Если вы спросите меня, кто лучше всех знает русский язык, я отвечу вам – товарищ Сталин».

Известный поэт Демьян Бедный призывает на собрании:

«Учитесь писать, как пишет товарищ Сталин!»

Главный редактор газеты «Известия» заявляет на другом собрании:

«На рубеже новой эры стоят два титана – Ленин и Сталин».

И заключает:

«Может ли кто-нибудь писать сейчас о чем-нибудь, не зная работ Сталина? Это абсолютно невозможно! Никто не может ни создать, ни объяснить что-нибудь без Сталина».

Одна женщина, очевидно, связанная с литературой, пишет, что Сталин является прямым продолжателем Гете.

Вот до такого маразма опустилась советская интеллигенция! Любой, кто думает, что Сталин верит этой белиберде, глубоко заблуждается. Он просто считает, что это полезно для укрепления его власти. И еще он получает удовольствие, наблюдая всю эту пресмыкающуюся интеллигенцию, которая пишет и подписывает идиотские заявления, самоубийственные для ее собственной духовности. Он точно так же унижает их духовно, с тем же мстительным сладострастием, с которым он унижал дух и уничтожал плоть тех, кто «признавался» в ходе московских

процессов. Он никому не прощает духовного превосходства. Американские интеллектуалы и попутчики должны крепко призадуматься над той судьбой, которая выпала на долю их русских коллег.

Когда-то, укоряя Сталина за его злобные высказывания в адрес социалистической интеллигенции, Ленин заметил:

«В самом общем виде можно сказать, что злоба играет самую неблаговидную роль в политике».

Из всех факторов личного порядка, которые играли заметную роль в российской внутренней политике в последние два десятилетия, ненависть Сталина к талантливым людям, на мой взгляд, была одним из самых губительных. Она принесла и продолжает приносить России несчастья.

Мечта о социализме кончается расстрелом

Последние дни, которые я провел в стране всеобщей подозрительности и жалкого подхалимажа, были для меня чрезвычайно болезненными. Я ловил себя на мысли, что сознательно стремлюсь избегать контактов с друзьями и знакомыми, кроме тех, с кем мне нужно было увидеться по официальным делам.

Дважды, с интервалом примерно в три недели, я встречался с заместителем наркома иностранных дел Крестинским и директором ТАСС Долецким. На первой встрече оба они выглядели вполне нормальными людьми, очень занятыми, но способными улыбаться, шутить, строить планы и давать советы. Спустя три недели это уже были совсем другие люди, хмурые и нервные, настолько поглощенные собственными мыслями, что они едва ли понимали, что я говорил им. Они уже понимали свою обреченность. Они уже знали, что через несколько дней начнется процесс над Пятаковым. Ежедневно арестовывались сотни людей, главным образом, из числа тех, кто занимал ответственные посты. Через несколько дней после моей встречи с Долецким он был арестован. Если верить слухам, то в тюрьме он покончил с собой. Это был старый член партии, который никогда не участвовал ни в каких политических интригах.

В день своего отъезда из Москвы, в конце января, я зашел попрощаться к Крестинскому. Было это за два дня до открытия судебного процесса. Он был настолько подавлен, что, говоря о моих задачах в Греции, он часто терял мысль и забывал закончить предложение. Он извинился, сказал, что переутомлен, и отпустил меня. Через несколько дней ЦК партии освободил его от обязанностей заместителя наркома.

Последнее публичное выступление Н. Н. Крестинского состоялось на партийном собрании наркомата. Медленно, с явным усилием он говорил о том, что лучшие свои годы он посвятил служению партии, но он понимал, что его прошлая деятельность в оппозиции делала необходимой его отставку. «Руководители наркомата, – говорил он, – должны пользоваться абсолютным доверием страны и иметь безупречное большевистское прошлое». Он понимал, что девять лет назад совершил страшную ошибку, присоединившись к оппозиции, которая противопоставила себя ленинской мудрости нашего вождя, Сталина. Он безоговорочно поддержал решение Центрального Комитета, которым был переведен в Наркомат юстиции. «Преданные коммунисты, – заключил он, – должны

работать там, куда их направляет партия».

Крестинский поблагодарил своих бывших коллег, заверил, что он их никогда не забудет, и просил их отдать все свои силы служению делу партии. Он, несомненно, понимал, что его новое назначение было всего лишь остановкой на пути в тюрьму и к смерти. Было слишком много подобных примеров, чтобы в этом сомневаться. Это был типичный прием Сталина: за несколько месяцев до ареста изолировать намеченную жертву от привычного окружения, от тех, кто хорошо знал обреченного человека и мог поручиться за его невиновность[29].

Мои беседы с Крестинским касались предложений о путях недопущения экономического закабаления Греции и других Балканских стран Германией на основе изощренной системы «клиринга», придуманной доктором Шахтом. Эта система возникла в связи с тем, что Германия испытывала острую нехватку твердой валюты и не могла тратить свой золотой запас на покрытие импорта из Греции. Нацистское правительство сумело убедить греков в том, что Германия будет хорошим рынком сбыта для некоторых греческих товаров, которые не пользовались большим спросом за рубежом (например, коринфский изюм), и под этим предлогом заключило соглашение между Рейхсбанком и греческим государственным банком о предоставлении немецким импортерам крупного кредита в греческой валюте для оплаты импорта греческих товаров. Соответствующая сумма в немецких марках была депонирована в берлинском отделении греческого банка, но оказалось, что эти деньги могли быть потрачены только на приобретение товаров немецкого производства.

Заманив греков в эту финансовую ловушку, немцы стали сбывать им все, что не находило спроса в другом месте, а покупать в Греции, например, табак, который Греция могла продавать за золото в Англию, Америку и другие страны. Поскольку греки платили обесцененными марками из замороженных авуаров, немцы были согласны платить более высокие цены, чем американские и английские конкуренты, и скоро вытеснили их с греческого рынка. Они скупали в Греции все, что попадало им в руки, причем в количествах, превышавших их собственные потребности, а тот же греческий табак перепродавали в Англию за золото.

Греки, не уловив угрозу, таившуюся в этом соглашении, были очень удивлены, когда вскоре выяснилось, что Германия должна Греции много миллионов рейхсмарок, которые Греция никак не может использовать, кроме как покупая немецкие товары. Греческое правительство пыталось остановить рост этого

ненужного ему кредита, но столкнулось с нажимом со стороны греческих производителей, которые были заинтересованы в увеличении объема экспорта по выгодным ценам. Дефицит торгового баланса Греции увеличивался с каждым месяцем.

Этим же соглашением был установлен очень невыгодный для Греции обменный курс, но чтобы хоть частично компенсировать ущерб, греки все-таки были вынуждены закупать в Германии почти все свое промышленное оборудование. Немцы, понимая, что грекам некуда деться, еще больше повышали цены на свои товары. Таким образом немцы многократно вернули себе то, что они переплатили за греческие товары. В результате немецкая хватка на горле греческой экономики становилась все туже и туже. Постепенно греческие экономисты и политики стали понимать, в какой они оказались ситуации, и стали обращаться за помощью к Франции и Англии, надеясь, что те примут меры в противовес Германии. Но это все еще было мирное время, поэтому ни Франция, ни Англия ничего не предприняли.

Я считал, что германская экономическая экспансия на Балканах представляла серьезную угрозу для Советской России и западных демократий и нам следовало противодействовать этому всеми доступными средствами. Моя аргументация, которую я изложил Крестинскому, сводилась к следующему. Советское правительство обладает монополией внешней торговли. То, что другие государства не могут делать, даже если бы захотели, мы можем делать простым распоряжением Наркомвнешторга. Этот наркомат осуществляет все наши закупки за границей, а огромный советский рынок может поглотить все, что немцы за бесценок выкачивают из Греции. Платить мы можем наличными или зерном, в чем Греция очень нуждается и чего она не может получить от Германии. Достаточно было соответствующего решения Политбюро, чтобы остановить германскую экономическую экспансию и значительно усилить советское влияние на Балканах.

Еще в Афинах я подготовил подробный доклад по этому вопросу и конкретный план действий. Этот план заинтересовал Крестинского, и он обещал обеспечить ему поддержку «наверху». Такую же поддержку я получил от заведующего отделом Балканских стран Давида Штерна. Когда я был в международном отделе ЦК партии, заведующий отделом сказал, что уже слышал о моем докладе, и попросил прислать ему копию. Это вселяло оптимизм. Такими темпами вопрос может быть вынесен на рассмотрение Политбюро еще до моего отъезда, и я вернусь в Афины уже с конкретными новыми задачами. Однако я не знал, что в это время (январь 1937 года) Сталин уже начал игру с

Гитлером, которая окончилась заключением пакта.

На последней встрече с Крестинским ответом на мой вопрос о судьбе доклада было тягостное молчание. В международном отделе ЦК меня весело похлопали по спине: «Все в порядке, Бармин. Отправляйтесь в Афины, а мы тут с этим разберемся».

Больше я о судьбе своего доклада ничего не слышал. Крестинский и Штерн были арестованы, и я стал думать, что, может быть, мой замысел потребовал слишком больших расходов. Только позже, когда я узнал о тайных переговорах между Москвой и Берлином, я понял, что мою идею похоронили. Видимо, не хотели раздражать Гитлера в этой деликатной ситуации.

Я покидал Москву со смешанным чувством печали и облегчения. Так иногда бывает во сне, когда ты находишься в знакомом окружении, но оно вместе с тем кажется чужим и незнакомым; оно угнетает тебя. Примерно так я чувствовал себя в Москве.

На обратном пути в Афины я повстречал еще двух человек, которые скоро должны были исчезнуть в ходе чистки. Один из них был наш посланник в Литве Подольский, который ехал со мной в одном поезде к месту своего назначения в Каунас. Через несколько месяцев он был арестован и, скорее всего, расстрелян. В Будапеште я провел один день у старого друга, посла Бекзадяна, прекрасного человека, большого знатока и коллекционера редких манускриптов и книг. И еще у него был полный погреб самых лучших венгерских вин. Вскоре после моего отъезда он был без всяких объяснений отозван и тоже исчез.

В Афинах я нашел Кобецкого в состоянии глубокой депрессии. Казнь Зиновьева совсем надломила его. Он с нетерпением ждал моего приезда, чтобы сдать мне дела и ехать в Москву.

Когда я снова увидел Мари, я был в состоянии сильного внутреннего конфликта. После всего того, что я увидел в Москве, я понимал, что взять ее с собой туда – значит подвергнуть ее серьезной опасности. Никакая лояльность или честный труд не спасет ее, если маньяки из ОГПУ решат включить ее в свой список подозрительных иностранцев. Не помогут никакие мои усилия или хлопоты влиятельных друзей. Мне только останется разделить ее судьбу, но ей это не поможет.

Что мне делать? Сказать ей об этой опасности и навсегда проститься с ней? Этот вопрос постоянно мучил меня. Наконец я решился и сказал ей, что сейчас в Москве к иностранцам плохо относятся и, хотя я по-прежнему хочу взять ее с собой, я беспокоюсь, что с ней что-то может там случиться.

Она отнеслась к этому спокойно, но в свою очередь

рассказала, что она тоже испытывала тревогу за наше будущее, но по другим причинам.

– Это правда, что советских граждан, которые женятся на иностранках, ждут крупные неприятности? Мне говорили, что это может сломать карьеру. Если это так, то ты не должен этого делать.

Я сказал ей, что это совсем не так. К тому же меня не беспокоила моя карьера.

– Мы можем с тобой делать любую работу. Кругом так много дел.

Мари продолжала настаивать, что она не может позволить себе разрушить мою карьеру. А я отвечал, что меня больше всего беспокоило ее будущее. В конце концов мы пришли к самому простому решению – не думать об этом. Что судьба нам приготовила, то мы и встретим вместе.

– Пока ты меня любишь, я готова к чему угодно, – сказала Мари.

Но я, однако, не могу сказать, что выполнил свое обещание не думать.

Едва я приступил к выполнению обязанностей поверенного в делах, как из Москвы стали поступать сообщения о процессе над Пятаковым. Мы снова оказались в таком же ужасном состоянии, в каком находились в августе во время суда над Зиновьевым. Теперь еще одна плеяда наших самых талантливых и преданных людей втаптывалась в грязь, но все надеялись, что на этот раз Сталин, конечно же, не решится пролить кровь. Пятаков был его преданным сторонником с самого начала первой пятилетки. Он был одним из двух человек, которых Ленин рекомендовал в своем «завещании», причем он был единственным, кто рекомендовался без всяких оговорок. Вся страна знала, что она у него в долгу за его гигантскую созидательную деятельность в сфере промышленности и финансов. А Муралов! Ведь член Политбюро, нарком тяжелой промышленности, Орджоникидзе, не позволит расстрелять своего друга и заместителя. Всем были известны огромные заслуги Серебрякова и Богуславского. Дробнис, герой Гражданской войны, его уже один раз расстреливали белые, и он лишь чудом выжил. Не может быть, чтобы эти люди тоже были обречены на смерть!

Но скоро пришло ошеломляющее известие – все расстреляны, за исключением Радека, Сокольникова и еще одного никому не известного обвиняемого. Почему же их пощадили? Чтобы сделать из них приманку для тех, кто должен был признаваться на следующих процессах?

В ходе судебного процесса Радек упомянул имя маршала

Тухачевского. То, что сказал Радек, было вполне безобидным, но само упоминание этого имени в контексте тщательно отрежиссированного процесса заставляло содрогнуться. Коллега Тухачевского, генерал Путна, наш военный атташе в Лондоне, был обвинен в сговоре с троцкистами. Жена Путны узнала о его аресте уже в Варшаве по пути домой. И это тоже было плохим предзнаменованием для Тухачевского. Еще одним предвестником приближающегося конца стало известие об отмене поездки Тухачевского в Лондон на коронацию короля Георга VI. Вместо Тухачевского послали менее крупную фигуру – адмирала Орлова.

Все обвиняемые признались в самых невероятных преступлениях, а весь мир продолжал ломать голову над тем, почему признаются эти люди, если они не совершали преступлений. Я думаю, что это объяснить нетрудно. Это были люди, вся жизнь которых была неотделима от партии большевиков, от ее идей и методов. Они не верили в демократию и в реформизм. Счастливое стечение обстоятельств, которые могут не повториться в течение нескольких поколений, обеспечило успех большевистской революции в России. И теперь эти люди, которые посвятили свою жизнь революции, видели, что она не оправдала их надежд. В партии и в стране воцарилась жестокая, почти феодальная диктатура. Ради чего им оставалось жить? Некоторые западные наблюдатели высказывали предположение, что своими признаниями старые большевики выполняли последний долг перед партией и брали на себя ответственность за ее ошибки. Но это не так. В их глазах партии больше не существовало. Сталин уничтожил ее.

Этих несчастных людей по нескольку месяцев терзали в подвалах ОГПУ, ломая их волю к сопротивлению и добиваясь признаний. Они видели, как их верных друзей и сторонников отправляли на бессмысленную гибель, и это лишало их последней моральной опоры. Они могли только цепляться за жизнь или купить себе смерть ценой признания. В этом, я думаю, и заключался секрет их признаний.

Надо помнить, что на каждого признавшегося были сотни партийных деятелей, которые ни в чем не признавались. После бесконечных пыток они героически встречали свою смерть за тюремными стенами. Какая новая мечта или старая лояльность поддерживала этих людей в их последний час?

Те из нас, кто находился на свободе, видели, что старая большевистская партия систематически уничтожается. С гибелью партии гибли и мечты о социализме. Нам оставалось только надеяться на то, что мы можем еще как-то послужить своей стране.

Я продолжал свою работу, надеясь после возвращения Кобецкого снова поставить перед Москвой вопрос о своем отзыве. Неожиданно из Москвы пришла телеграмма с сообщением о том, что Кобецкий умер в Кремлевской больнице после операции. Меня глубоко опечалило это известие. Ко всему прочему, это предвещало еще задержку в несколько месяцев, пока будет назначен новый посланник и пока он приедет в Грецию.

Мари тем временем готовилась к отъезду в Москву, завершая свои деловые обязательства.

– Я больше не беру заказов на проектирование домов, – как-то сказала мне она. – Не хочу оставлять здесь ничего неоконченного после нашего отъезда в Москву. Единственное, над чем я работаю, – это проект детского приюта. Думаю, я закончу его к нашему отъезду.

– Вот видишь! Ты не послушалась своих родителей и теперь несешь убытки! Выходить замуж за русского – это очень невыгодно, – сказал я ей как-то с грустной иронией.

– Я только надеюсь, что нам не придется уезжать до того, как я окончу работу над приютом. Мне не хотелось бы разочаровывать старого генерала Меласа и оставлять о себе здесь плохое воспоминание в профессиональном плане.

Мари победила в архитектурном конкурсе на проектирование детского приюта и школы, а затем и получила работу по наблюдению за строительством, несмотря на то, что генерал Мелас, финансировавший строительство, ворчал по поводу женщины-архитектора Он не верил в эмансипацию женщин. И чтобы доказать неправоту генерала, Мари отдавала все силы работе, и дом сооружался с опережением графика. Увы! Я и тут осложнил ее жизнь. Строительство приюта уже близилось к завершению, когда ей поручили представлять греческих архитекторов на Международном архитектурном конгрессе в Париже. Она уехала в Париж в июне 1937 года, рассчитывая пробыть там три недели и поручив на время своего отсутствия наблюдение за строительством своему помощнику.

– Я буду ждать тебя, – сказал я, провожая ее на пароход. – Не поддавайся искушениям Парижа и не забывай нас. Тебя здесь жду не только я, но и генерал Мелас.

Но старый генерал ждал напрасно, больше он ее никогда не увидел и, несомненно, посчитал, что его худшие опасения в отношении женщин оправдались.

– Я все-таки был прав, – наверное, говорил он. – Что можно ждать от женщин? Они всегда ставят любовь выше бизнеса!

Через месяц, как раз когда Мари должна была возвращаться в Афины, я присоединился к ней в Париже – беженец без родины,

гонимый и отчаявшийся.

Эпилог

За годы, прошедшие после московских процессов 1936–1938 годов, я провел немало бессонных ночей, думая над проблемами российской революции. Я изо всех сил старался четко представить себе результаты, которые стоили стольких усилий и стольких жертв.

Ленинская идея социализма была основана на двух постулатах: во-первых, считал он, в обобществленной экономике производительность труда будет расти гораздо быстрее, чем при капитализме, и, во-вторых, ликвидация эксплуатации наемных рабочих принесет наибольшие блага трудящимся. Советская экономическая система в сочетании с тоталитарным сталинским режимом опровергла оба эти постулата.

Работая в ходе двух первых пятилеток в промышленности и торговле, я убедился на личном опыте, что бюрократическая и деспотическая регламентация экономической жизни в России сводит на нет все преимущества, которые должно было принести обобществление производства. Можно было достигнуть гораздо большего за счет нормального частного предпринимательства без выжимания последних сил из рабочих, без расстрела честных руководителей и инженеров. Фетишизация плановой экономики приводила к огромным затратам на плохо продуманные эксперименты, стоимость которых исчислялась миллиардами рублей.

Другой основной постулат социализма – что в обобществленной экономике не будет эксплуатации рабочих – наглядно опровергается самой жизнью. Советские рабочие получают значительно меньшую часть произведенного ими продукта, чем рабочие в любой капиталистической стране, меньшую, чем они получали до революции. И эта часть столь мала не только потому, что доля, раньше уходившая капиталистам, теперь присваивается привилегированными слоями общества, но потому, что огромная часть производственного потенциала просто теряется вследствие неэффективности бюрократического управления.

Никто за рубежом не представляет действительную степень эксплуатации советских рабочих, фактически низведенных до положения рабов, даже те, кому удалось проникнуть за лживую завесу советской статистики. чтобы понять это, надо было пожить в России эти несколько лет. Даже Троцкий, который уехал из России за несколько лет до начала процесса закабаления, не представлял этого, когда он писал в своей книге «Преданная

революция»:

«Национализация земли и средств производства составляет основу советской социальной структуры. Именно эти достижения пролетарской революции, – подчеркивал он, – определяют природу СССР как государства трудящихся».

Несмотря на жесткую критику сталинского режима, Советский Союз оставался для Троцкого до самой его смерти «государством трудящихся». При этом он отлично видел все те бюрократические искажения. Он считал, что главное было в государственной собственности. Если бы он оставался в России, он бы увидел своими глазами, как мало значения имеет форма собственности. Самый главный вопрос заключается в том, какая часть общественного продукта возвращается рабочим в виде заработной платы и государственных социальных услуг. По этому критерию советские рабочие накануне войны и после двадцати пяти лет экспериментов могли сравниваться только с париями Индии или феллахами Египта. Но в действительности их положение еще хуже. Если рабочие в Индии и Египте получают мизерную заработную плату, то они и платят очень мало за то, что они потребляют. Сталинская политика в области цен и заработной платы не только держит последнюю на невероятно низком уровне, но и сохраняет цены на товары потребления необычайно высокими. Таким образом советский пария в «государстве рабочих» подвергается ограблению дважды.

В первые годы после революции рабочие получили неслыханные ранее привилегии: удобные квартиры, бесплатное медицинское обслуживание, освобождение от налогов, оплачиваемый отпуск, бесплатные путевки в дома отдыха, бесплатное обучение, бесплатные билеты в театры, продукты питания по сниженным ценам и т. д. По мере того как мечта о высшей производительности труда превращалась в бюрократический кошмар, а «государство трудящихся» в крепостничество, эти привилегии одна за другой отменялись. Вместо того чтобы наслаждаться жизнью, которую им обещал Ленин после захвата власти от имени трудящихся, советские рабочие спустя четверть века с трудом могли обеспечить себя едой и одеждой. В довершение к этому, когда в 1939 году была отменена пятидневная рабочая неделя и ее продолжительность увеличилась на восемь часов, это не сопровождалось какой-либо прибавкой в зарплате. Война принесла новые лишения, но я не говорю о чрезвычайных условиях. Еще в предвоенные годы уровень доходов рабочих был гораздо ниже того, что они имели до революции.

От этих фактов никуда нельзя уйти. Я совершенно четко

вижу, что произошло: государственная собственность на средства производства потерпела провал, и рабочий класс, вместо обретения свободы, вынужден расплачиваться за этот провал своей нищетой.

Эти два фактора образуют порочный круг: чем больше показывает свою неэффективность государственная собственность, тем больше страдают рабочие, и чем больше они страдают, тем еще ниже падает эффективность государственного производства. Можно сказать еще проще: главной причиной низкой производительности является истощение трудящихся бюрократическим аппаратом. А это уже видно невооруженным глазом. Рабочие плохо питаются, плохо одеваются, живут в плохих условиях, переутомлены и истощены.

Некоторые симпатизирующие Советскому Союзу иностранные наблюдатели считают, что отсутствие в России «миллионеров» облегчает жизнь рабочих, поэтому, мол, они и готовы мириться с таким низким уровнем жизни. Действительно, некоторых рабочих удается обмануть камуфляжем «общественной собственности». Но для них является слабым утешением, что те, кто живут как миллионеры, называются не миллионерами, а «ответственными работниками». Но они не настолько глупы, чтобы верить всему тому, в чем удается убедить легковерных иностранных симпатизантов. На этих «попутчиков» коммунизма производит большое впечатление лицемерная приверженность пролетарским принципам, которая в моде у советского правящего класса. Жизненный уровень в Советском Союзе настолько низок, что даже те, кто живет в советской роскоши, не могут позволить себе всего того, что доступно на Западе. Но разрыв в доходах у этих людей и советских рабочих гораздо больше, чем соответствующие показатели в Америке. И голодающие советские рабочие не могут так легко забыть об этом, как иностранные гости.

Я бы хотел поподробнее описать жизнь одного из представителей правящего класса в СССР, как ее удалось наблюдать перед войной. В Москве он живет в правительственном здании, где занимает восьмикомнатную квартиру с прекрасной мебелью и двумя слугами. Для отдыха ему предоставляется госдача № 10 ЦИК с двумя, тремя или четырьмя слугами, личным кинозалом, комнатами для гостей, всевозможные развлечения – все это за счет государства. Ему стоит только заполнить «бланк заказа», и будут доставлены любые продукты для него самого, его семьи и гостей. Счет будет оплачен государством. В его распоряжении одна-две автомашины с водителями. Если ему вдруг захотелось чего-нибудь, не важно, сколько это стоит, ему нужно только позвонить по телефону. За его сыном ухаживают

так, как будто это сын миллионера: из-за границы для него выписывают игрушки, за ним смотрят лучшие врачи. Он знает, что ему достаточно только попросить папу, а тому позвонить по телефону, и любое его желание будет исполнено. Если этот «ответственный работник» захочет отдохнуть в Крыму или на Кавказе, то и там он найдет такую же роскошь. Путешествовать со своей семьей он всегда будет в отдельном купе спального вагона, а иногда в отдельном вагоне или специальном поезде.

Если за четыре года войны в этом и произошли какие-то изменения, то, несомненно, в сторону ухудшения положения трудящихся, а не снижения уровня роскоши тех, о ком я написал выше. Война только расширила пропасть между привилегированной бюрократией и массами.

В этом так называемом «бесклассовом обществе» возник новый правящий класс, и если кто-то думает, что эксплуатация там менее грубая, чем в демократических странах, тот впадает в опасное заблуждение. Она не менее, а более грубая и еще более отвратительная, поскольку сопровождается всепроникающим лицемерием по поводу «государства трудящихся».

Рабочий в этом государстве трудящихся не только постоянно испытывает нужду в одежде и продуктах питания, но он никак не может улучшить свое положение. Протестовать в одиночку он не решается. Как член профсоюза он не может объявить забастовку. Государство является одновременно хозяином, штрейкбрехером и полицейским. Оно полностью контролирует профсоюзы, которые, по сути, являются частью полицейского аппарата. Простым указом или с помощью манипуляции ценами реальные доходы трудящихся могут быть снижены, а продолжительность рабочего дня увеличена без какой-либо компенсации. У них нет абсолютно никаких возможностей не только требовать чего-то, но даже напомнить хозяину о данном им обещании.

Какому-нибудь наивному иностранцу это может показаться привлекательным. Но для тех, кто всерьез принимает идею социализма и надеется, что она может решить все наши проблемы, я скажу только одно: социалистический эксперимент с треском провалился.

Советская бюрократия во всех отношениях превратилась в новый класс эксплуататоров. Формально она не обладает собственностью, но она контролирует государство, которое владеет всем. Государство, которое номинально всем владеет и номинально является социалистическим, на самом деле выступает как инструмент более новой и более жестокой системы эксплуатации и ограбления трудящихся.

Отмена частной собственности на средства производства

сама по себе не ликвидирует эксплуатацию человека человеком, – этому нас научил Сталин!

Его режим доказал нам, что социализм как общество свободы и равенства не может быть построен посредством диктатуры пролетариата. Я убежден в том, что такое общество вообще не может быть построено на основе монополии государства на собственность. Провал российского эксперимента заключается не только в том, что из партийной диктатуры вырос уродливый режим, основанный на привилегиях, но и вследствие несовместимости человеческой природы с предложенной моделью экономического развития. Я могу привести тысячи фактов, которые говорят о том, что русский эксперимент не уникален, а является уроком для всего человечества. Реальное улучшение положения трудящихся может быть достигнуто только в демократическом обществе с частной собственностью и конкуренцией, которые удерживаются в соответствующих рамках посредством прогрессивной общественной администрации, где собственность не присваивается, как в России, и не удушается, как в Германии.

После экспериментов с пятилетними планами те советские лидеры, которые не утратили реализма и гибкости, стали понимать невозможность прихода к социализму через диктатуру и стали обращать свои взгляды к демократии. На мой взгляд, даже Сталин понимал, что это невозможно. Его представления о социализме далеко расходятся с тем, что большинство из нас вкладывает в это понятие, но я думаю, что, каковы бы ни были его представления, он какое-то время искренне пытался реализовать эту идею. Но постепенно и он утратил веру и к моменту убийства Кирова полностью от нее отказался.

Сталин был достаточно последовательным сторонником идей Ленина о том, что национализация промышленности и сельского хозяйства оправдает себя и приведет к успеху социализма только в том случае, если производительность труда в Советском Союзе будет расти быстрее, чем в капиталистических странах, а жизненный уровень советских рабочих будет выше того, что имеют рабочие в других странах. Лихорадочное напряжение пятилетки и ее провал по основным показателям продемонстрировали Сталину, что без конкуренции, без материальной заинтересованности работника производительность труда никогда не достигнет того уровня, который существует в капиталистических странах. Сталин оказался перед необходимостью принципиального выбора: ослабить диктатуру и позволить советскому обществу развиваться по демократическому пути или отказаться от идей социализма,

равенства и последовать примеру нацистов и фашистов.

Какое-то время он соглашался с такой перспективой и даже поощрял демократические тенденции лучших представителей большевиков старого поколения. Какое-то время он заигрывал с идеей демократической конституции. Но когда Киров стал лидером национального масштаба, Сталин понял, что демократия будет означать конец его власти. Имея перед глазами нацистский пример кровавой чистки и зная, что в этом ему нет равных, он сделал выбор в пользу диктатуры. С этого момента он стал сознательно отказываться от программ, направленных на улучшение положения трудящихся и снижение интенсивности их эксплуатации. Он взял курс на создание общества, основанного на жестокой эксплуатации трудящихся в интересах привилегированного меньшинства, которое составляет костяк тоталитарного режима.

Это вовсе не означает, что он отказался от поддержки так называемых «коммунистов», которые стремятся к власти в других странах. Если бы он хотел этого, ему было бы достаточно одного своего слова. На мой взгляд, он просто использует их для того, чтобы ослабить эти государства в интересах Советского Союза. Он постарается распространить свою тоталитарную систему везде, где это будет возможно. Нет никаких признаков того, что он может пойти по пути «развития демократии» или «возврата к капитализму» в России или еще где-либо. Все его инстинкты направлены на захват и удержание власти, и он будет защищать позиции России в мире точно так же, как он защищал свою власть в России, убивая тех, кто начинал понимать, что демократия дает ключ к решению многих ее проблем.

В этом состоит причина и действительное значение репрессий 1936–1938 годов. Это не было ликвидацией какого-то фантастического заговора, не было уничтожением враждебных партий и группировок и подавлением оппозиции. Это было систематическим истреблением всех тех, кто сознательно служил делу социализма и сопротивлялся сознательному превращению страны в тоталитарное рабовладельческое государство. Это была контрреволюция. Если бы в ходе Гражданской войны Врангель, Колчак и Деникин дошли до Москвы, они не менее жестоко, хотя, может быть, и не так тщательно, уничтожали бы всех тех, кто сыграл заметную роль в революции или проявил бы какую-то заботу о защите интересов трудящихся.

Это было поколение революционеров, которое не стремилось к личной выгоде, не имело собственности. Будучи на государственной или военной службе, они вели скромную жизнь, думая только о том, как лучше послужить человечеству Они

боролись за то, чтобы уничтожить эксплуатацию, построить более свободное и справедливое общество, которое должно было обеспечить всем людям достойную жизнь. Некоторые из них поняли свою ошибку и пытались вернуться на путь демократии, другие – цеплялись за свою мечту. Ни тех, ни других уже нет в живых. Сталин расстрелял всех. Тот строй, за который они боролись, сегодня существует лишь по названию.

Но Сталину была нужна какая-то точка опоры, и, как все диктаторы, он стал искать ее в вооруженных силах. Ценой огромных затрат и напряжения сил всего народа он реорганизовал и оснастил армию как привилегированную часть общества. Но чтобы надежно держать этот инструмент в своих руках, ему нужна была новая офицерская каста, полностью преданная ему лично и свободная как от всяких «пережитков» революционной идеологии прошлого, так и от опасных новых демократических идей. Вот почему чистка в армии была еще более жестокой, чем среди гражданских чиновников.

Когда он уничтожил советский Генеральный штаб – этот мозг армии, лишил его возможности вести войну с нацизмом, он пошел на заключение пакта с Гитлером. Он рассчитывал, что этим маневром он завоюет расположение Гитлера и упрочит свой диктаторский режим. Позже он заявил помощнику президента Рузвельта, Гарри Гопкинсу, что он «верил этому человеку». Но ему следовало лучше разбираться в повадках бандитов. Гитлер переиграл Сталина в его же собственной игре. Отвергнув все заигрывания и попытки умиротворения, Гитлер, зная, что Советская Армия обезглавлена, напал на Советский Союз. И советскому народу снова пришлось расплачиваться своей кровью и жизнями за политическую близорукость и глупость этого ненасытного тирана.

Мы сейчас испытываем такой восторг от победы Красной Армии, что почти забываем о том, что Советский Союз был на грани поражения и какой ценой досталась эта победа советским людям. Очень важно оставить в стороне наши естественные, но преходящие эмоции и посмотреть на это событие, как оно останется в истории. Первый год войны был для СССР годом ужасающего разгрома. К концу этого года враг был у ворот Москвы, Ленинграда и Ростова. Он всадил нож в самое сердце России. Даже в самые худшие годы послереволюционной интервенции иностранные войска никогда не достигали этих рубежей. В первые шесть месяцев немецкие войска оккупировали советскую территорию, которая в три раза превышала площадь Германии. Численность населения оккупированных территорий также превышала численность населения Германии. На этих

территориях было сосредоточено около двух третей промышленного потенциала СССР, который был создан за годы первых пятилеток ценой огромных жертв. На второй год войны немецкие армии достигли Волги и Кавказа. Гитлеровские альпийские стрелки водрузили на Эльбрусе нацистский флаг. Только на третий год войны появились новые командиры, прошедшие жестокую школу поражений, они смогли переломить ход событий и погнали немцев на Запад. Но все это стоило большой крови и огромных потерь, а территории, которые с таким трудом и жертвами были превращены за годы советской власти в индустриальные районы, оказались в руинах.

Во время первой мировой войны, при прогнившем и ненавистном царском режиме, плохо оснащенная, без необходимого вооружения и боеприпасов армия остановила в Припятских болотах нашествие огромной современной армии Гинденбурга и Макензена. За три года кровопролитных боев, когда у русских было от шестидесяти до ста снарядов на дивизию, немцы никогда не ступили на исконно русскую территорию. Они никогда не прошли дальше Польши, Литвы и Латвии. А недавно созданная гитлеровская армия смогла за полгода захватить половину европейской части России, а еще через три месяца выйти к Волге. Даже шведский король Карл и Наполеон не достигли этого рубежа. Первый был отброшен от Полтавы, а второй – от Москвы. Нужно ли говорить, что главной причиной первоначальной катастрофы было состояние страны и армии после больших чисток? Гитлеровская армия существовала всего семь лет, но она сохранила все старые офицерские кадры. Красная Армия двадцать пять лет готовилась к этому нападению с Запада, но незадолго до вторжения командный состав Красной Армии был уничтожен.

Нацисты оценивали общие потери Советского Союза в вооруженных силах и гражданском населении в тридцать миллионов. Русские называют цифру восемь миллионов. Если вдвое увеличить русские цифры и вдвое уменьшить немецкие – получаем пятнадцать миллионов – вполне реалистическую цифру. Из этого числа примерно шесть миллионов должны составлять военнослужащие, а это значит, что половина Красной Армии была уничтожена. Несомненно и то, что было потеряно около половины всей военной техники.

Победа колоссальна, но и катастрофа первых двух лет войны ужасающая. И нет другого объяснения этой военной катастрофе, как полное отсутствие стратегического руководства и должной организации в Красной Армии к началу войны.

Если оставить в стороне это отсутствие стратегического

руководства и организации, то в остальном силы двух армий были примерно одинаковы. У Сталина было немало естественных преимуществ над Гитлером. У него было двенадцать лет, чтобы вооружить свою армию, если принять за точку отсчета первую пятилетку, начавшуюся в 1928 году, хотя Советская Россия строила свою армию с 1918 года. В 1935 году, когда Гитлер начал создавать свою армию, Сталин имел самые крупные вооруженные силы в мире. Он также вывел советскую военную промышленность на уровень Германии. Он имел двукратный перевес в численности населения и десятикратный по ресурсам. У него не было недостатка в сырье. Весь советский народ уже давно был в состоянии военного психоза. Кроме того, Сталин имел абсолютный контроль над экономикой страны, никаких юнкеров или капиталистов, с которыми надо договариваться. Для вооружения своей армии он мог уморить голодом свой народ, чего не мог сделать Гитлер. И Сталин сделал это. В России проблема была не «пушки вместо масла», а «пушки вместо хлеба».

Располагая этими естественными преимуществами, Сталин к моменту начала войны должен был быть многократно сильнее Гитлера. В действительности по авиации и боеприпасам он был на одном уровне с Германией, а по танкам и артиллерии превосходил ее. Несмотря на это превосходство, которое должно было быть еще большим, армия Сталина, по численности вдвое превосходившая немецкую, в течение первого года войны, по существу, была неспособна вести серьезные боевые действия на современном уровне. А современный уровень требует искусного стратегического мышления, превосходной организации войск и надежного тылового обеспечения. Он требует точной координации действий всех элементов сложного военного механизма. Со всей своей огромной армией Сталин, который был главнокомандующим, и его три бесталанных маршала, Ворошилов, Буденный, Шапошников, не могли провести крупномасштабное контрнаступление. Они даже не пытались реализовать какую-то стратегию. У них не было никакого плана. Все имевшиеся в их распоряжении силы они использовали только для закрытия брешей в дамбе, через которые в Россию хлынула немецкая армия. А в начальный период войны как раз они должны были направить свои танковые дивизии через Польшу и Закарпатскую Украину в Чехословакию и Германию. Они могли быть там еще до того, как немцы достигли Минска, если бы в верховном командовании кто-то обладал стратегическим воображением и достаточными полномочиями для выполнения смелого маневра.

У меня нет ни малейшего сомнения в том, что именно так

поступили бы Тухачевский, Блюхер, Якир, Уборевич; так поступил бы любой талантливый и хорошо подготовленный генерал, из числа тех, кого Сталин уничтожил для того, чтобы сохранить личную власть.

Расстрел этих генералов и тысяч других офицеров – первая и наиболее очевидная причина крупномасштабной военной катастрофы начального периода войны. Если бы Сталин в 1937 году не расстрелял эту «пятую колонну», то решающие битвы, которые спасли Россию, происходили бы на рубежах Вислы и Немана, а не Волги и Невы. Трех лет мирного развития оказалось недостаточно, чтобы у обезглавленной армии отросла новая голова. Это простое обстоятельство предпочитают игнорировать те, кто делает из Сталина героя. Бывший американский посол Джозеф Дэвис даже пришел к выводу, что расстрел военных лидеров Красной Армии пошел ей на пользу!

Вот примерный список тех, кто был уничтожен чистками:

•трое из пяти маршалов;

•одиннадцать заместителей наркома обороны;

•шесть из восьми генералов, входивших в состав военного трибунала, который приговорил к смерти Тухачевского и еще семь обвиняемых;

•семьдесят пять из восьмидесяти членов Высшего военного совета Красной Армии (все генералы и адмиралы), включая всех командующих военными округами, главком ВВС, главком ВМС и все, кроме одного, командующие флотами;

•девяносто процентов всех генералов;

•восемьдесят процентов всех полковников;

•примерно около тридцати тысяч офицеров более низкого ранга[30].

Большинство различных источников сходятся на том, что за два года примерно триста тысяч человек было расстреляно и около миллиона заключено в тюрьмы. Еще примерно десять миллионов было депортировано или отправлено в концлагеря. К этим цифрам надо прибавить еще полтора миллиона поляков, которых, согласно заявлению генерала Сикорского, обнаружили в советских лагерях польские представители, занимавшиеся формированием польской армии.

Мало кто в Америке представляет себе подлинные масштабы и ужасающие последствия этого всеобщего убийства лояльных граждан. Один из американских публицистов и издателей, Ральф Ингерсолл, например, утверждает, что в России на десять невиновных расстреливали все-таки одного виновного и такой способ отправления правосудия вроде бы находил поддержку советских людей. Это утверждение является наглядным примером

того, до каких маниакальных пределов могут дойти люди в попытках объяснить и оправдать все, что делается в Советском Союзе. Это не было убийством десятков виновных или невиновных, счет велся на сотни тысяч. Это было систематическое истребление тех, в ком ум сочетался с компетентностью и искренностью. Это было уничтожение всех потенциальных оппонентов и критиков диктатора, просто всех тех, кто хотел, чтобы Россия пошла с Кировым по пути демократии, а не со Сталиным по пути тоталитарной автократии.

Сталин видит любую проблему в терминах силы и воли, а и то, и другое есть у него. Как черта характера его воля действительно производит сильное впечатление. Но за этим личным феноменом скрывается трагическая неспособность России обеспечить поступательное экономическое развитие, усугубляемая бюрократическим и полицейским режимом, на вершине которого восседает Сталин.

Сталин, несомненно, обладает одним огромным талантом – безжалостностью. Он знает только один метод решения проблем – систематическая безжалостность.

Этот метод принес превосходные результаты в его борьбе с оппонентами и с беззащитным русским народом. Он вознес его на вершину власти, сделал его премьером, диктатором. Он даже может сделать его хозяином Европы. Что же будет означать этот его «успех» для европейской цивилизаций?

Вся моя книга является ответом на этот вопрос. Но сегодняшние газеты заставляют вспомнить один показательный пример. Оборона Ленинграда увенчалась военным успехом, но Ленинград мог бы, без всякого влияния на исход войны, быть провозглашен открытым городом. Когда в 1942 году Манила была провозглашена американской армией открытым городом, советская пресса иронизировала по этому поводу, намекала на то, что американцы не умеют воевать. В этом и заключается один из главных контрастов войны: американцы берегли жизни людей и не жалели техники, Сталин не жалеет людей. Сегодня в газете «Нью-Йорк геральд трибьюн» со ссылкой на советские источники сообщается, что за время двухлетней героической обороны Ленинграда там погибло от голода и холода более полутора миллионов жителей, в основном женщин и детей. Были ли эти жертвы абсолютно необходимы для победы? Сколько из них погибло в результате неимоверной черствости, неуважения к человеческим страданиям, в результате ведения войны методами, которые не считаются с людскими потерями? В эйфории победы все это кажется «мелкими деталями». Но так ли великодушна будет к нам история?

Моя беспощадная критика сталинского режима продиктована моей глубокой симпатией и любовью к нашему храброму союзнику, советскому народу. Гораздо легче, как это делают многие «либералы», восхвалять тиранический режим и осуждать всякую его критику как подрыв единства и нападки на Россию. Эту политику умиротворения легко оправдать, как это сделал недавно один видный либерал, тем, что «чем больше погибнет русских, тем больше останется в живых американских парней». Вопрос, однако, заключается в том, не приведет ли эта новая мюнхенская политика к прямо противоположным результатам.

Я хочу еще раз повторить, что трагизм положения русского народа делает его храбрость и решительность еще более заслуживающими уважения. В первой мировой войне, под деспотической властью самодержавия, они сотнями тысяч шли в бой безоружными, надеясь подобрать винтовку погибшего товарища и продолжать битву. Они не просто проявляют героизм, они умеют быть героями. Никакое красноречие даже таких фигур, как Черчилль или Бивербрук, не может в должной степени оценить мужество этих людей.

Но было бы несправедливо по отношению к русскому народу и опасно для демократий приписывать, относить героизм, проявленный русским народом, на счет режима Сталина. Это тоталитарный режим до мозга костей. Отдавать заслугу в достижении победы этому режиму – значит повышать авторитет тоталитаризма в мире. «Успех Сталина – успех диктатуры». Такая линия рассуждений вполне очевидна, но она порочна в своей основе. С демократическим правительством русский народ воевал бы еще лучше и добился победы с меньшими потерями. В этом заключается правда. И эта правда абсолютно необходима всем в борьбе за демократию в мире.

Некоторые спросят меня: зачем напоминать нам о слабостях и поражениях Сталина в начальный период войны, когда это уже стало историей? Именно потому, что это так легко забывается, нужно напоминать об этом, чтобы сохранить возможность трезво оценивать современные проблемы. Слишком много людей, поддавшись сталинской пропаганде и эмоциональному воздействию замечательных событий в Европе, начинают испытывать комплекс неполноценности перед победоносным тоталитарным государством. Если этот комплекс начнет оказывать воздействие на формирование общественного мнения и нашу внешнюю политику, то вместо твердой защиты демократии мы скатимся к политике умиротворения.

Чемберлен и Даладье, загипнотизированные агрессивным тоталитаризмом нацистов, уже пробовали проводить такую

политику. Всем, кто осмеливался критиковать ее, в том числе Черчиллю, они говорили: вы призываете к войне. А правда заключается как раз в том, что именно политика умиротворения с неизбежностью приводит к войне. Сегодня это так же справедливо, как и во времена Мюнхена. Истоки политики умиротворения заключаются в недооценке собственных сил и переоценке, под влиянием пропаганды, сил своего партнера. Это позволяет ему блефовать и принуждать вас занимать все более невыгодную позицию, пока наконец вы вынуждены будете «бороться за выживание».

Ведущие американские военные эксперты считают, что без американской помощи советский гигант потерпел бы поражение. В момент восхищения победой русских об этом как-то слишком легко забывают. Апологеты тоталитаризма в американской прессе и на радио стараются изо всех сил, чтобы это поскорее было забыто. Давайте для контраста послушаем журналиста, близкого к авторитетным американским кругам, в том числе к Белому дому, Эрнста Линдли.

«По общей военной мощи, как собственной, так и полученной в рамках ленд-лиза, ни Россия, ни Великобритания не могут сравниться с Соединенными Штатами. Без этих двух стран ни одна из трех великих держав не смогла бы рассчитывать на победу, но Россия и Великобритания, несомненно, потерпели бы полное поражение».

Это означает, что без помощи со стороны самой великой демократической страны мира одно тоталитарное государство, более эффективное, уничтожило бы другое, более крупное, но и более слабое. Своим выживанием в войне с Гитлером тоталитарный режим Сталина обязан двум факторам: во-первых, великому русскому народу, который так ненавидит диктатуры, что даже в момент наибольшей опасности Сталин должен был держать двенадцать миллионов человек в концлагерях, и, во-вторых, помощи со стороны демократий. Это нужно повторять снова и снова. Их нужно вдалбливать в голову восторженных приверженцев «планового общества», которые, ослепленные поверхностной информацией и пропагандистскими выдумками, готовы отбросить «старую», «прогнившую» и «изжившую себя» американскую систему и встать на путь тоталитаризма.

В заключение, чтобы меня правильно поняли, хочу добавить, что я с самого начала был за оказание Советскому Союзу массированной помощи. Я выступал за это еще в 1942 году, три года назад, когда многие американцы еще колебались, но моя позиция была твердой[31]. Я более старый противник фашизма, чем лорд Ванситтарт. Создавая советскую военную и

промышленную мощь, мое поколение не жалело своих жизней, готовясь к схватке с этим смертельным врагом. Это был уже не первый случай, когда германские правители повели свой послушный народ войной на Россию. Читатель уже знает, что два моих брата погибли в первой мировой войне на германском фронте. Во время немецкой оккупации Киева я сам был арестован немцами и чуть не был застрелен во время побега. Через два года я был дважды ранен под Гомелем, где польские генералы вели в бой против нас подготовленных немцами ветеранов из Силезии.

Кроме того, как миллионы американцев русского, польского, норвежского происхождения, я ненавижу нацистов в большей степени, чем коренные американцы, которые не имеют связей с родиной своих предков. Мы более трагически ощущаем происходящее. Для нас героическое сопротивление русских и поляков означает не только лишний день для подготовки американских и английских войск, это означает еще и пятнадцать тысяч убитых и пятьдесят тысяч раненых наших братьев. Это голодные дети и женщины, разрушенные дома, сожженные города, взорванные плотины и фабрики – полное опустошение нашей родной земли. В результате бандитского нашествия гитлеровцев, которое многократно усугубило все ошибки и преступления Сталина, то немногое, что еще оставалось от завоеваний русской революции, было потеряно. Трагедия русского народа – это моя личная трагедия. Как и все американцы русского происхождения, я глубоко благодарен Америке за помощь по ленд-лизу, хотя она и должна пройти через руки тирана. Но я все-таки хочу предупредить американский народ.

В течение трех лет «попутчики» и «реалисты-умиротворители» Сталина почти не давали пробиться слову правды о сталинском режиме. Под предлогом сохранения единства союзников они отвергали любые, даже самые робкие попытки сознательных сторонников демократии поставить перед Сталиным вопрос об освобождении из концлагерей миллионов русских людей, готовых включиться в борьбу с Гитлером.

Справедливости ради надо отметить, что ни защитники «единства», ни советская пресса не считали необходимым со своей стороны воздерживаться от нападок на другие союзные страны, Великобританию, Польшу, Бельгию, Грецию в их час опасности.

Тем не менее Россия действительно была в смертельной опасности, и в течение трех лет я воздерживался от каких-либо выступлений против сталинского тоталитаризма, откладывал публикацию этой книги. Все эти годы я хранил молчание, если не считать отмеченного выше выступления в поддержку ленд-лиза, а

также одной-двух статей с анализом военного положения в разгар наступления Гитлера на Москву и Ленинград в 1941 году, в которых я предсказывал, что он не сможет взять эти города и он сам это уже понимает. Но сегодня, когда опасность для сталинской империи миновала и он заливает кровью таких наших союзников, как Польша, когда события в Греции и политика, проводимая коммунистами в других странах, бросают вызов демократии, долг каждого честного человека, знающего правду, говорить о ней.

Я знаю сталинский режим в России, я прожил там свою жизнь, и я знаю, что это тирания в самой неприкрытой и разрушительной форме. Президент Рузвельт был абсолютно прав, когда он 11 февраля 1940 года заявил: «Советский Союз, как хорошо знает каждый, кто имеет смелость смотреть в лицо фактам, является самой абсолютной диктатурой в мире». Как эксперимент с целью поиска новых форм организации жизни общества она потерпела полный крах. Те, кто в своем энтузиазме по поводу мощного союзника в борьбе с Гитлером закрывает на это глаза, оказывают плохую услугу всему цивилизованному миру, и особенно русскому народу.

Мы должны больше верить в демократию. Сейчас демократические страны доказывают всем, кто не ослеплен тоталитарным «светом с Востока», что они тоже могут добиваться военных побед, причем более эффективно, с меньшими людскими потерями.

Победа России достигнута не благодаря гению диктатора или преимуществу тоталитарного режима, в чем стараются убедить Америку «пропагандисты-попутчики». Здесь сыграли решающую роль огромные пространства России, снег, грязь, помощь по ленд-лизу и, самое главное, ожесточенное сопротивление русского народа.

Русские люди героически сражались за свободу и демократию, которых они лишены. Все они, кто еще обладал политическим сознанием и смелостью думать, воевали с надеждой, что после они будут жить в условиях демократии. Но что теперь обещают им наши дипломаты и журналисты, которые, возвращаясь из России, прославляют не народ, а сталинский режим? Увековечение рабства и распространение тоталитаризма под флагом победы демократии!

«Вы так хорошо сражались за свободу, – говорят им поклонники режима Сталина, – потому что вы порабощены. За это мы освятим ваше рабство, и теперь оно будет называться демократией». Вот суть позиции тех, кто приписывает победу русского народа тоталитарному режиму Сталина. Они ставят под

угрозу демократию в США и наносят русскому народу удар в спину.

У Соединенных Штатов и Советского Союза нет конфликта интересов. Обе великие страны испытывают друг к другу симпатии, и их отношения должны быть мирными и дружественными. Главное препятствие на пути к этому – каменная стена тоталитарной тирании, которая окружает и душит Россию. Видный американский обозреватель Уолтер Липпман в своей книге «Военные цели США» писал:

«России удалось изолировать свое население от пропаганды идей западной конституционной системы, но мы не изолированы, потому что мы терпимо относимся к тоталитарной пропаганде… Пока существует это неравенство, не может быть подлинного сотрудничества между Советским Союзом и Западом. Может быть только сосуществование, только компромиссы, сделки, конкретные договоренности, только дипломатия проверки и перепроверки… Русские не должны рассчитывать на то, что остальной мир поверит в демократическую направленность их внешней политики, если они не будут соблюдать демократические принципы у себя дома».

К этому я хочу только добавить, что, если русские начнут жить у себя дома по этим принципам, дружба наших двух народов будет нерушимой. С учетом этого каждый честный и думающий американец должен отвергнуть оскорбительное утверждение, что русским нравится их рабское состояние. Он должен понимать, что у них те же чаяния и надежды, такое же право, как у американцев и других людей во всем мире на жизнь, основанную на «свободе и справедливости для всех».

notes

Сноски

1

После *самоубийства* Гамарника в течение шести месяцев оставшиеся трое были расстреляны.

2

В течение года все они были арестованы и расстреляны.

3

Когда я пишу эти строки, маршалы Буденный и Шапошников являются единственными уцелевшими из восьми судей. Маршал Блюхер, генералы Алкснис, Каширин, Дыбенко и другие в течение года исчезли или были расстреляны.

4

Могущественное ОГПУ (в прошлом ЧК) в 1934 году было включено в состав Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). С тех пор названия менялись еще несколько раз, но его по-прежнему нередко называют ОГПУ, и я для простоты буду придерживаться в своей книге этого «популярного» названия.

5

Пароход был назван в честь Яна Рудзутака, заместителя председателя советского правительства и близкого друга Ленина, который позже был объявлен «врагом народа» и исчез.

6

Русское выражение, обозначающее заговор с целью убийства.

Большинство из них было расстреляно без суда.

8

Федор Раскольников, посланник в Софии, услышав этот призыв, бежал и получил убежище во Франции. Там он быт отравлен агентами ОГПУ и умер в самом начале войны. Мой другой друг, посланник в Бухаресте Островский, был отозван в Москву. Островский был известен тем, что, несмотря на еврейское происхождение; он во время Гражданской войны стал комиссаром Конной армии Буденного. Эта армия, комиссарами которой были Сталин и Ворошилов, была известна частыми проявлениями дикого антисемитизма – случай довольно уникальный в истории Красной Армии. Когда Островского вызвали в Москву, он заколебался и даже списался со своими друзьями во Франции относительно возможности получения убежища, однако получил личное письмо от своего товарища по оружию Ворошилова.

9

Лидер большевистской революции на Украине, один из самых талантливых и влиятельных деятелей советского правительства. Был осужден как «враг народа» на втором московском процессе в 1937 году и расстрелян.

В этот период партия именовалась «Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)». Через год, по предложению Ленина, она была переименована в «Российскую коммунистическую партию».

11

В Гражданскую войну большевики были вынуждены использовать офицеров царской армии. Многие из них служили честно и хорошо, но для того, чтобы гарантировать их надежность, к каждому командиру был приставлен «политический комиссар». Обязанности комиссаров были разнообразны. Они вели работу по укреплению морального духа войск и поддерживали контакты с недружественно настроенным крестьянством. Они разделяли ответственность с командирами, но в момент кризиса власть комиссара была выше власти командира.

12

Христиан Раковский впоследствии был советским послом в Лондоне и Париже. Отправленный в сибирскую ссылку за участие в оппозиции, он был одним из последних, кто «раскаялся». Во время московских процессов он был арестован вместе с Бухариным и обвинен в шпионаже в пользу Германии. Он признался в бесчисленных и самых немыслимых преступлениях и был осужден к двадцати годам лишения свободы.

Эта цель была достигнута через десять лет, и такое положение сохранялось до 1937 года, пока Сталин, уничтожив высшее командование, не оказался перед необходимостью приставить к воспитанным революцией офицерам-коммунистам новых комиссаров, которые выполняли функции тайной полиции. Хорошо известно, что этот шаг привел к почти полному уничтожению среднего и высшего командного состава армии. Спустя два года, осенью 1939 года, когда уничтоженный офицерский корпус был заменен молодыми выдвиженцами, чья верность Сталину была гарантирована их быстрым продвижением по службе, привилегиями и почестями, диктатор снова ликвидировал институт комиссаров. Он снова восстановил его после нападения на Финляндию, затем, после заключения перемирия, опять отменил его и снова вернулся к этому в критический период войны с Германией. Он восстанавливает его как раз в те моменты, когда с военной точки зрения он приносит наибольший вред, а отменяет тогда, когда он становится относительно безвредным. Это объясняется тем, что после чистки офицерского корпуса он не уверен в лояльности к нему армии.

14

Свои последние дни он провел в тюрьме. Я помню, что его имя упоминалось в связи с московскими процессами в 1937 или 1938 году.

Позже она присоединилась к большевикам. В 1937 году оказалась в тюрьме.

16

Один из восьми генералов, расстрелянных вместе с Тухачевским 11 июня 1937 года.

Эта зловещая формулировка спасала осужденного от немедленного расстрела, но гарантировала ему смерть в случае повторного дезертирства.

Оба были широко известными большевистскими лидерами; позже оба сгинули в годы чисток.

19

Позже Александра Коллонтай стала первой советской женщиной-послом, работала в Мексике и Скандинавии. В силу каких-то неясных причин она приняла диктатуру и находится в фаворе у Сталина.

20

Обвиненный в антипартийной деятельности и преследуемый ГПУ, Томский в 1937 году совершил самоубийство. Рудзутак также погиб в ходе чисток.

21

Он был приговорен к смерти как фашистский шпион вместе с Бухариным, Рыковым и другими в ходе третьего московского процесса в марте 1938 года.

22

Кассис, очень способный офицер, позже был направлен Генконсулом в Кантон. В декабре 1927 года китайское правительство подавило кантонское восстание коммунистов, Кассис вместе с четырьмя другими сотрудниками генконсульства был расстрелян китайцами.

23

Когда в сентябре 1941 года в Иран вошли советские и английские войска, Реза был смещен и отправлен в изгнание, где спустя три года умер.

24

Потемкин был советским послом в Риме и Париже, заместителем народного комиссара Литвинова и, наконец, народным комиссаром просвещения. Тот факт, что он уцелел в чистках, видимо, связан с тем, что во время Гражданской войны он работал в личном аппарате Сталина.

25

Политика национального равенства так же последовательно соблюдалась в ходе чисток. Довгалевский умер естественной смертью, но Туманов сгинул в какой-то тюрьме; Гуревич был арестован в 1937 или 1938 году вместе со своим бывшим начальником, наркомом здравоохранения Каминским; Пятаков и Мдивани были расстреляны в 1937 году; Раковский был приговорен к длительному сроку лишения свободы и, по имеющимся сведениям, умер в тюрьме.

26

Юзовка теперь переименована в Сталино, и это вряд ли дает основание бельгийским инспекторам надеяться на большее гостеприимство агентом, которого юридически никто не хотел признавать.

По сообщениям советской прессы, эта дорога была закончена только в 1941 году, а не в ноябре 1936 года, как это планировалось.

28

Цит. по: Колычев Осип. Пулеметная лента. М., 1938. С. 11.

29

Крестинский был арестован вскоре после перехода в Наркомат юстиции. Точно так же Генеральный консул СССР в Барселоне, Антонов-Овсеенко, быт назначен на пост наркома юстиции. Он отправился на пароходе в Союз, но где-то в пути был арестован. Портфель наркома юстиции был всего лишь приманкой в этой ловушке.

30

Подсчеты произведены генеральным штабом Франции. Они подтверждаются таким авторитетом по Советскому Союзу, как Борис Суварин. Они совпадают с моими собственными подсчетами и с тем, что сообщил Вальтер Кривицкий, который покинул Москву в разгар чисток.

31

The Reader’s Digest, February, 1942.